3. 1978

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ДИМИТР ГЮДЖЕНОВ.
Дружина Ботева сходит на болгарский берег
Фрагмент

Цветные иллюстрации номера — произведения болгарских художников, посвященные борьбе болгарского народа за освобождение от османского ига.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

3 1978 МАРТ

Содержание

Из болгарской поэзии

ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ. ИВАН РАДОЕВ. ДИМИТР МЕТОДИЕВ. ЛУЧЕЗАР ЕЛЕНКОВ. ЛИЛЯНА СТЕФАНОВА *(Переводы Лорины Дымовой и Олега Шестинского)* 4

Рассказы монгольских писателей

СЭНГИЙН ЭРДЭНЭ. ДАРМААГИЙН БАТБАЯР *(Переводы Л. Скородумовой, Б. Намжилова и Н. Очирова)* 12

ТЕННЕССИ УИЛЬЯМС — Рассказы *(Перевод с английского С. Митиной)* 32

Чилийская поэзия борется

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР. ФЕРНАНДО АЛЕГРИЯ. МАНУЭЛЬ РОДРИГЕС. ОСКАР АН. ГОНСАЛО РОХАС. ТИТО ВАЛЕНСУЭЛА. СЕРХИО МАСИАС. СЕСИЛИА ВИКУНЬЯ *(Перевод с испанского Сергея Гончаренко)* 49

ГАСТОН ДЮРНЕ. Моя жизнь среди бельгийцев *(Картинки в прозе. Перевод с фламандского В. Ошиса)* 55

КЭНДЗАБУРО ОЭ — Объяли меня воды до души моей... *(Роман. Перевод с японского В. Гривнина. Предисловие Т. Григорьевой)* 142

Критика

Литература молодых: грани проблемы

Начало (Выступления Росена Босева, Сильвестра Эрдега, Гильермо Родригеса Риверы, Александра Навроцкого, Александра Русова, Юрия Помпеева, Георге Сучу, Павла Францоуза) 192

ЖАН ПЕРЮС — Поэт нашего времени (Заметки о творческом пути Жака Гошрона. *Перевод с французского Н. Стрижевской)* 206

Культура и современность

Заметки на полях

В. Злыднев — Живые традиции ✦ Н. Ржевская — Мнение романистов 212

Публицистика

Зарубежные деятели культуры о 60-летии Октября

МИРА АЛЕЧКОВИЧ. МИХАЙ БЕНЮК. АТУКВЕЙ ОКАЙ. ВАЦЛАВ САДКОВСКИЙ 218

НГУЕН ТУАН — Багрянец Черной реки *(Перевод с вьетнамского М. Ткачева)* 226

Слово об учителе

ИГОРЬ НЕВЕРЛИ — Живая связь *(Отрывки из книги. Перевод с польского Э. Гессен)* 231

БЕЛ КАУФМАН — Письмо покойному учителю *(Перевод с английского В. Воронина)* 239

Наши гости

А. Н. — Сэнгийн Эрдэнэ ✦ Н. Булгакова — Альфредо Гравина 243

Антирубрика

У нас в гостях авторы юмористического болгарского еженедельника «Стършел»

РАДОЙ РАЛИН. ГЕНЧО УЗУНОВ. ХРИСТО МИХОВ-ЧЕРЕМУХИН *(Перевод Л. Никольской)*. СТАНИСЛАВ СТРАТИЕВ (Перевод Ники Глен) 246

К нашим иллюстрациям

Г. ЧЕРНЕЙКО — За свободу Болгарии 256

Среди книг

Издано в СССР

Тамара Жирмунская — Могучее древо ✦ Лев Озеров — Читая Поля Валери ✦ А. Симонов — Давайте читать детям сказки 260

Издано за рубежом

Николай Андреев — Жизнь-подвиг ✦ Ласло Илеш — «Я в ногу шёл и с будущим и с прошлым...» ✦ Е. Гениева — «Вы — не исключение» ✦ Мариу Невиш — Книга должна служить взаимопониманию 266

Из месяца в месяц 272

Авторы этого номера 285

На обложке, картина СВЕТЛИНА РУСЕВА «Болгарка». На страницах 3, 11, 141, 191, 225, 245, 271 рисунки болгарских художников, посвященные борьбе болгарского народа против османского ига.

© «Иностранная литература», 1978.

НАУМ ХАДЖИМЛАДЕНОВ. Болгария. Иллюстрация к «Запискам о болгарском восстании»

1878–1978

100 лет
со дня освобождения
Болгарии
от османского ига

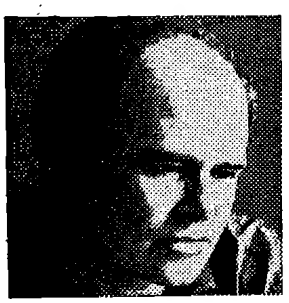
Из болгарской поэзии

ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ

Вкус настоящего

Где бы ни жил я,
где бы ни умирал —
утром,
рано утром,
когда
звезды становятся людьми
и спешат безымянные
первые смены
к огневым рубежам,
к своему крещению,
и жуют по дороге
бутерброды,
холодные,
как тело Христово,
и я среди них...
Когда уже не темно,
но еще не светло.
Именно в эти мгновения
я ощущаю
неповторимый и чудотворный
вкус настоящего.
Я счастлив,
хотя понимаю,
как это опасно —
быть счастливым.
И душа моя, ликуя, кричит:
«Здравствуй, встающий, будущий день,
можешь рассчитывать и на меня!»

Где бы ни жил я,
где бы ни умирал —
вечером,
поздно вечером,
когда
люди становятся звездами
и шагают домой —
синеблузые частицы тумана,—
и я среди них...
Когда уже не светло,
но еще не темно.
Именно в эти мгновения
я ощущаю
незабываемый и чудотворный
вкус настоящего.
Я спокоен,
хотя понимаю,
как это опасно —
быть спокойным.
И душа моя улыбается тихо:
«До свидания, уходящий, прожитый день,
ты можешь рассчитывать и на меня!»



ИВАН РАДОЕВ

Старый клуб Рабочего союза молодежи

Моей родной деревне Пордим

Почему, молодые люди,
бывает, вы хнычете из-за удобств вожделенных?
А другие
стараются побольше урвать,
хотя — было время — они все отдавали?

Ту расходную книгу в трактире пули разорвали давно.
Много весен нас отдаляет от бедности.

Но только закроем глаза — вспыхивают воспоминанья.
Газовая лампа раскачивает наши тени
над красным проектом всемирного будущего.
Птица феникс распахивает крылья.
Смотрите!
Смотрите, как тяжко ее пробуждение!

Нет, это не птица!
Старый клуб РСМ
открывает свои старые ставни.
Смотрите!
Смотрите, Байконуры, Кейптауны!
Старый клуб восстает из золотого пепла,
ударной волной превращая тишину в ураган,
бросая призывы в окошки голубых наших глаз,
он бьется, как огромная бабочка,
в свете совести нашей;
он сердца достает,
словно жемчужные раковины,
из глубин самых темных сомнений;
он, насвистывая, встречает смертоносную тучу,
с песенкой пересекает зоны циклонов,
околдовывает своим легендарным полетом страны Латинской
Америки.

— В дорогу, друзья!
В дорогу!
Никому ничего пообещать не могу, кроме ветра в лицо
и ливней из радостных слез.

Я беден!
Нет в наследстве моем ни дорических гордых колонн,
ни родословного герба, ни клавесинов.
Из черепицы бедная крыша моя.
Я — приют для ласточек и деревенских мальчишек,
незаметный, кирпичный, врастающий в землю.
Меня никогда не коснется любопытство туристов,
моя книга для посетителей распахана тракторами,
спят в ней Мараты и Робеспьеры
и тысячи безвестных болгар.

Я беден!
И потому превратился я в птицу.
Есть у меня деревянные старые крылья,
которыми по вечерам обнимал я с любовью
молодые сердца.
Есть у меня два окошка — два ока,
светом их я пронзал летние ночи
и втыкал острия в Большую Медведицу.

Я — старый клуб РСМ — беден!
И все же посеребрил я волосы ваши
и позолотил жадные ваши зеницы.
Ничего, кроме этого, я подарить вам не мог!
Ничего!
Я обречен на вечный полет —
неинтересный для сытых,
странный для сытых,
страшный для сытых,
но вечно веселый, с улыбкой из маков.

Я беден!
Все есть у меня — ничего мне не надо.
И ты, век наш мятежный,
век машин и асфальта,

взлетов постыдных и гордых падений,
век горячих сердец, жаждущих неба,
знай: я по-прежнему верен тебе!
И поныне
вся боль человеческая,
запутанная в параллелях и меридианах,— моя!

За мною, друзья!
Я теплая, я живая легенда,
славная детская сказка, летящая над землей.

ДИМИТР МЕТОДИЕВ

Русские глаза

Звенит весна на голубых просторах,
синеют над Россией небеса.
Но кажется, отражены в озерах
не небеса, а русские глаза.

Какая ширь — светла и благодатна!
И небо лучезарное над ней.
И хочется мне дать России клятву
в любви своей и верности своей.

Живут в душе моей слова простые —
их повторять готов я вновь и вновь:
земля моя родная и Россия,
к обеим вам в душе одна любовь.

Но я молчу. Без слов — любовь полнее.
Молчит земля, и реки, и леса.
Как небо бесконечное, синеют
родные сердцу русские глаза.

■ ■ ■

И вновь, не в силах насмотреться
на нашу землю с высоты,
я по тому, как сжалось сердце,
пойму, что подо мною ты —

на солнце реками сияешь...
И кажется, я вновь рожден!
Ведь ты, наверно, и не знаешь,
что я тобой усыновлен.

Ты для меня одна на свете,
твоя судьба трудна, свята.
Россия, с юности мне светит
твоя любовь и доброта.

Я твой должник, должник навеки
за кровь, что мной не пролита...

Элегия

Все дождь и дождь — осенний, непреложный.
Ни солнца, ни тепла уже не ждешь.
Далекий свет мелькнет вдали тревожно —
и снова мрак. И снова дождь и дождь.

Лежат в грязи и тихо гибнут листья.
Молчат страницы. Темный дом молчит.
Печально капли на стекле повисли,
и дождь бездомный по окну стучит.

Ах, если б я поверить мог, что где-то,
пускай в далекой самой стороне,
в такой вот день, холодный, беспросветный,
душа родная плачет обо мне!

И дождь идет... С рассвета до рассвета.
И я усталый, словно день в окне...

Гостиница

Едва ль мне снова быть придется тут...
В последний раз я огляжусь, глаза прищуря,
и лампу погашу.
И не цветут
уже ромашки на бумажном абажуре...

Я уезжаю — и немного грустно мне,
хоть это, в общем, даже не потеря...
По лестнице иду я как во сне
и как во сне распахиваю двери.
Лицом к лицу
столкнусь я с кем-нибудь в дверях —
и вот нас двое
с чемоданами в руках...

Но он теперь пойдет по коридорам,
по темному ковру с простым узором.
И, брови озабоченно нахмуря,
ключ повернув,
войдет в недавний мой приют —
и для него,
как в сказке,
расцветут
ромашки на бумажном абажуре.

Гостиница...
Людской водоворот.
Один пришел. Другой сейчас уйдет.
В одном окне зажжется свет.
В другом погаснет.
Всем прибывающим — да улыбнется счастье!

Перевод ЛОРИНЫ ДЫМОВОЙ

ЛУЧЕЗАР ЕЛЕНКОВ

Ленин

В Москве, в листве деревьев,
в селитре Чили,
в душе человека,
на каждой параллели и в маленьком доме,
в сердце дня,
в лучистой детской улыбке,
в штыке свободного жита
и высоко в орбитах крыльев,
в стали и в хлебе,
за распахнутыми и закрытыми дверьми,
в прибое крови,
в кристалле соли,
в партийном билете,
в эхе шагов по тротуарам,
в последнем выстреле,
в цвете знамени,
в розе, впитавшей в себя этот цвет,
в голосе бессонных антенн,
в земных пластах растревоженных,
в муках и в радостях,
в источнике прекрасных слов,
в бурлаках
на пристани в Симбирске,

в подснежнике фонаря Диогена,
в нерукотворных творениях,
в ночи, рассеченной призывом планеты,
в будущем земли
как сигнал
всюду вспыхивает
заглавие
этого
стихотворения.

Перевод ОЛЕГА ШЕСТИНСКОГО

ЛИЛЯНА СТЕФАНОВА

Счастье

Когда от радости чужой
душа моя
вдруг наполняется таинственным волненьем,
я понимаю,
как богата я,
и знаю цену
этому мгновенью.

Счастливого узна́ю без труда
среди других.
Узнаю без ошибки.
В его глазах сияет,
как звезда,
застенчивая скрытая улыбка.

Люблю внезапное сиянье глаз —
оно как проблеск солнечный в ненастье.
Шагает человек,
глядит на нас
и, улыбаясь,
излучает счастье.

Но кто же он?
Рабочий молодой?
Студент, одолевающий науки?
Летят за мной, летят над мостовой
его шагов стремительные звуки.

Я верю:
человек рожден на свет
для радости,
для солнечного взрыва,
для дерзких взлетов,
праздничных побед
и для того еще,
чтоб быть счастливым.

И человек,
похожий на звезду,
шагает...
Есть ли зрелище прекрасней?
И незаметно я за ним иду,
его улыбка для меня, как праздник.

И смотрит город человеку вслед,
не отрывая дружеского взгляда.
Кто он?
Рабочий?
Молодой студент?
Он счастлив —
и мне большего не надо.

Перевод ЛОРИНЫ ДЫМОВОЙ

■

АНАСТАСИЯ ПАНАЙОТОВА. Болгария. Рисунок

Рассказы монгольских писателей

СЭНГИЙН ЭРДЭНЭ

Камень в сердце

У Доной гуая [1] был дар вырезать из корней дерева разные забавные фигурки. Каждый раз на охоте, обдирая о камни одежду, взбирался он на горные кручи и там выискивал замысловатые корни. Первое время, на радость жене, он вырезал из корней ложки, чашки, разные предметы домашней утвари. Но потом зачарованный причудливой формой окаменевших кусков дерева, березовых наростов, корней можжевельника, он стал вырезать фигурки людей и животных. И жена уже принялась бранить его за бесполезное занятие. Однако соседи, знакомые восхищались искусством Доной гуая.

Из березовых наростов у него получались даже морские волны и языки пламени. Корень можжевельника превращался в дерущихся львов или тигров. Или в разъяренного мужа, таскающего за волосы свою жену. На крошечной деревянной площадке он умещал целые сказочные эпизоды. Всякий, кто видел их, застывал от изумления и восхищения.

Сам Доной гуай ревностно оберегал свои поделки и радовался, если они нравились людям, а в солнечные погожие дни, глядя вдаль на горные вершины, счастливо улыбался, как человек, завершивший трудное дело.

Карабкаясь однажды по скалам, Доной нашел занятный корень. Он напоминал человека, стоящего на коленях с раскинутыми руками, а в груди у него виднелся темно-синий камешек в форме сердца. Ста-

[1] Гуай — вежливое обращение к старым, пожилым людям. *(Здесь и далее прим. перевод.)*

рик принес корень домой, подточил его, и это был уже не корень, а коленопреклоненный скорбящий человек с камнем в сердце.

Эта фигурка чем-то пугала Доноя, но корень был такой необычный, что он внес его в юрту и поставил на самое видное место Омытая многочисленными паводковыми потоками страшная фигурка коленопреклоненного человека с распростертыми руками и каменным сердцем теперь все чаще попадалась на глаза старика и с каждым днем становилась ненавистнее. И вот однажды Доной подумал: «А что, если такой камень застрял и у меня в сердце?»

Эта мысль не давала ему покоя, она стала горькой, неотвязной думой: «С тех пор как я потерял единственного сына, и впрямь сердце мое окаменело». И вдруг понял, что это от горя бродил он по лесу, оглядывая, просматривая каждый клочок земли, и то удивительное, что он замечал в природе, помогало ему заглушить боль.

Однажды, одолеваемый страшной тоской, он схватил человечка и выбил у него из груди каменное сердце. Вместо сердца теперь зияла пустота.

Перед ним был сломленный человек с вырванным сердцем. Доной взял фигурку и тихонько вышел из юрты. Около поленницы нашел топор, в ярости изрубил человечка и щепки забросил за семь гор.

Одиночество

С приходом весны началась перекочевка. Тот день старый Даш запомнил на всю жизнь. Он сидел на сложенных неподалеку от юрты дровах и смотрел, как мимо в весеннем мареве проходили груженые телеги, скот, ехали верхом люди, он смотрел и бормотал про себя: «Бедная земля, бедная земля!» Влажные глаза его без конца мигали, он то и дело сплевывал сквозь зубы, сухие, жилистые руки теребили унты.

Из-под крытого корой, сделанного из лиственничных стволов навеса вышла старуха, держа в руках потрескавшееся блюдо.

— Банхар! Банхар! — позвала она.

Из-за юрты выбежал косматый щенок и принялся юлить под ногами. Старик безразлично посмотрел на ластившегося Банхара, на старуху в халате с обвисшими полами и произнес:

— Старая, ты только посмотри на них! Удирают — будто война началась.

Старуха приложила козырьком руку к глазам, взглянула на дорогу и со вздохом проговорила:

— Все едут, все двинулись, а мы тут сиднем сидим.

— Так собирай вещи да ступай следом,— недовольно проворчал старик. Старуха, все еще что-то бормоча, вошла в юрту.

«Бедная земля! О чем думают эти люди, бросая насиженное место, где прожили столько лет? Оседлость, оседлость, оседлость... Или всем пастбища не хватит да кормов? На новом месте скот не наберет жира, коровы молока не дадут. Говорят, обязательно надо жить всем в одном месте, кучей. Обрадовались, что поселятся в рубленых теплых домах со светом. И эта глупая старуха туда же».

Банхар дочиста вылизал блюдо, виляя хвостом, подбежал к хозяину и снова стал ластиться, трогать лапой кожаные унты Старик отпихнул щенка ногой, тот завизжал и отскочил прочь. В бригаде сельскохозяйственного объединения уже год шли разговоры о том, что пора переезжать из этих благодатных, но глухих земель на перевале поближе к центральной усадьбе. Старый Даш не желал и слы-

шать об этом. Приросший душой к родному кочевью, сначала он пытался убедить стариков, выступал на собраниях против перекочевки. Но шли дни, а разговоры о переезде не прекращались. Особенно молодежь оживленно обсуждала планы: как на новом месте выстроят поселок, как будут жить в домах со стеклянными окнами; они даже мечтали об электродойках — и все это было похоже на сказку.

Порой Даш впадал в уныние, в душе его поселялось сомнение.

Но когда он ехал мелкой трусцой по знакомой дороге родного края, где прошла почти вся его жизнь, где он нашел свое счастье, его охватывали воспоминания.

Давным-давно, еще в молодости, он много бродил по свету и чего только не повидал, не испытал, все прошел — огонь, воду и медные трубы. Приехал сюда, и надо было все начинать сначала — ни кола, ни двора, ни паршивой собаки, гол как сокол. Постепенно обзавелся хозяйством — и юрта забелела, и конь появился на привязи, и жена у порога встречает. Дом теперь у него — полная чаша. И вот, вспоминая и переживая заново свою жизнь, Даш поклялся, что не расстанется с родными местами, пока не придет время уйти из войлочной юрты в каменную могилу.

Но лишь у него одного болела душа за родное кочевье — даже среди сверстников Даша не нашлось никого, кто бы понимал, что значит вода и земля родного края.

Как только земляки не уговаривали старика, он твердил одно: «Я останусь стеречь кочевье! У меня свое небольшое стадо. Обо мне не беспокойтесь».

Время шло, наступила весна, люди начали готовиться к переезду. Старуха то и дело причитала: «Как мы здесь одни останемся?» А он рассердился: «Глупая! Не понимаешь, что ты всем обязана этой земле, что здесь ты стала человеком. Езжай, если хочешь. Я и один проживу, какая мне разница — с тобой или без тебя». Он раздражался, вспыхивал, но быстро отходил. За сорок лет, что прошли с того дня, как они положили рядом свои подушки, старуха хорошо усвоила: в молодости опора должна быть на силу, в старости — на ум. Она так привыкла во всем угождать мужу, так свято оберегала покой семьи, что прежде ни в чем и никогда не перечила ему, разве что ворчала иногда про себя.

В этот день уезжала последняя семья. Старый Даш сидел на дровах и провожал их возгласами: «Бедная земля! Бедная земля!» Старуха, глядя на опустевшее стойбище, сердилась, но вслух возмущаться не решалась. Как и было заведено, по вечерам она загоняла скот и с надеждой ждала, когда упрямство старика иссякнет. Вокруг юрты, насколько хватало глаз,— пустота, безлюдье; пройдет только иногда по дороге машина да мелькнет на горизонте табун лошадей.

Наступило лето. Полили дожди. В середине июля Даш собрался в поселок купить муки, крупы, чаю, табаку. Но старуха вдруг взбунтовалась, чего раньше никогда с ней не было, и не захотела оставаться одна в доме. Старик в гневе чуть не схватился за кнут, но пробурчал только:

— Коли так, карга старая, поезжай сама!

Старуха взгромоздила на седло переметную суму, оставшуюся еще от приданого, и пустила лошадь вскачь.

В поселке она сразу же встретила земляков, которые стали показывать ей, где теперь живет бригада; она увидела новые деревянные дома, чистые, ухоженные фермы, телятники, навесы для скота. Все это ее так поразило — ну и земляки, конечно, тоже не молчали,— что

старуха отправилась в обратный путь с твердым намерением поговорить с мужем серьезно, пусть даже и рассорится с ним в пух и прах.

Банхар очень тосковал и, завидев хозяйку, бросился к ней и стал лизать пахнущие молоком полы халата. Старик же встретил ее хмуро. Пока в доме не было хозяйки, волк утащил теленка. Услышав это, старуха принялась ругать мужа, не переставала твердить, что все умные-то люди давно устроились на новом месте и живут там припеваючи. Лежа на кровати, старик с самым невозмутимым видом отвечал ей:

— Что ты мелешь? Думаешь, стоит человеку переехать в деревянный дом и скотина сразу же начнет набирать в весе? Вот увидишь, что они запоют осенью, эти глупцы.

Старуха развязала узел, вытащила оттуда пачку табаку и швырнула ее на стол.

— А что хорошего, когда человек отделяется от других? Будешь и дальше упрямиться, я одна поеду в поселок.

Старик закряхтел.

— Езжай! Если, прожив под одной крышей столько лет, ты решаешься меня бросить, то что будет, когда я помру, куда ж ты тогда прыгнешь? — съязвил он.

Старуха сидела отвернувшись, продолжая выкладывать то, что привезла. Она что-то ворчала про себя, но вслух ничего не произнесла.

Через несколько дней старик взял веревку и пошел в горы за кольями для загона. Возвращался он поздно вечером. Но когда подъезжал к дому, не увидел вьющегося из трубы дыма и хотел было уже рассердиться, что чай не готов. А потом вошел в юрту и увидел, что старухи там нет. Сундук возле кровати был наполовину пуст. Исчезли и седло и уздечка, лежавшие у стены. Тут силы оставили его — словно мешок свалился он на постель. «Да что же это такое? Стыд-то какой»,— в растерянности бормотал он. И еще не поняв, печалиться ему надо или радоваться, горько зарыдал.

Перевод Л. СКОРОДУМОВОЙ

В зимнем лесу

Норжма разгорячилась, карабкаясь вверх по горе, и, когда сдернула с головы белую заячью шапку, над ее по-мальчишески коротко остриженными волосами устремились вверх тоненькие струйки пара. Очир шел впереди, крепко держа ее за маленькую горячую руку.

— Красиво, правда? — Он обернулся, улыбаясь, уверенный в ответе.

— Красиво,— ответила она.— Но не мешало бы немного передохнуть.

Они очистили от снега толстый пень, присели рядышком. Тихо в Зайсанской пади горы Богд-уул. Только сытый дятел изредка постучит: тук-тук, тук-тук — и умолкнет, прислушиваясь к тишине заснеженного леса.

Норжма закрыла глаза и прислонилась к плечу Очира, она часто-часто дышала, и щеки ее пылали счастливым румянцем. Едва заметно подрагивала маленькая родинка на крыле носа. Пухлые губы застыли в улыбке. Некоторое время они сидели молча, прижавшись друг к другу. Потом Очир надел ей на голову белую заячью шапку и показал рукой куда-то к подножию горы.

— Видишь?

— Что?

— Красный флажок над юртой моего отца. Вон там, под веткой толстого кедра.

— Да-да. Сейчас вижу.

— Тридцать лет охраняет эту падь мой отец. И работы желаннее для него нету. Я мальчишкой только этим и бредил: вырасту и тоже буду лесником. Отец радовался. Я и вправду этого хотел.

— А почему не стал им?

— Стану еще. Вот через год приеду сюда с дипломом инженера. Чем не лесник? Принимай, лес мой, Хангай мой!

Норжма прижала его руку к своей щеке.

— Я не ревную тебя к твоему лесу.

Тук-тук, тук-тук — застучал дятел. Раздался гудок тепловоза с улан-баторского вокзала. И вновь воцарилась тишина. Очир тихонько дотронулся до руки Норжмы и показал глазами на темно-зеленый кедр шагах в двадцати от них.

— Не шевелись, тетерев опускается!

— Кто? — шепотом переспросила она.

— Тетерев. В это время они очень чуткие.

Крупная черная птица с коротким широким хвостом уселась на одну из верхних веток кедра, сбросив вниз большую шапку снега.

— Что это за птица?

Сердце Норжмы: тук-тук-тук. Дятел: тук-тук-тук.

— Когда я был маленьким, мы с отцом не раз наблюдали весенние танцы тетеревов. Выходили мы рано утром, по заре. Ведь тетерев танцует на восходе солнца. Это как бы их свадьба. И дерево для этого случая у них облюбовано: какое-нибудь одинокое дерево на поляне, которое первым встречает лучи солнца Найти это дерево нелегко. Вроде бы с прошлого года и тропка к нему протоптана, а тетерева, оказывается, уже отвергли это дерево. У нас с отцом, бывало, по нескольку дней на поиски уходило, но зато, когда увидишь их танец... Они такие красивые, когда танцуют. Вначале выходит только самец. Хвост свой распустит, что тебе павлин, шею выгнет, начинает звать: гур-гур-гурр. А затем пришелкивать: тяг-тяг-тяг. Не сразу, по одной опускаются тетерки. Соберется пять, шесть или десять, и начинается праздник. Утреннее солнце разукрасит их оперение, прямо не хвосты, а веера. И вот они ходят вокруг дерева. А песни их послушаешь — так призадумаешься: уж не дух ли лесов славит приход весны, играя на товшууре [1]. Когда они танцуют, то совсем забывают об осторожности. И кто захочет, подстрелит их сколько угодно. Нет, ты посмотри, Норжма, до чего красивая птица! Я позову ее.

Очир, оттопырив губы, затоковал, совсем как тетерев. Тетерев повернул голову, словно хотел понять, откуда эти звуки, и вспорхнул с ветки Вниз опять полетела шапка снега.

Норжма весело рассмеялась. Заблестели ее белоснежные ровные зубы.

— Да, Очир, в самом деле удивительная птица! А я забыла даже, как выглядит зимний лес. Когда училась в школе, мы катались на санках с горы в Хурэл-гогооте западной пади Богино. Но потом стала студенткой и за эти четыре года ни разу не выбралась за город. А если бы мне предложил кто-нибудь поехать на гору Богд-уул, наверное, посмеялась бы: я уже не школьница. А сейчас радуюсь как ребенок. Вот не встретились бы с тобой, так и гуляла бы все по городу.

---

[1] Товшуур — щипковый национальный инструмент.

— Я тоже, когда шел на новогодний вечер в университете, не думал, что встречусь с такой девушкой.

— Как скоро мы поняли, что не можем друг без друга.

— Да, порой даже удивляюсь этому.

— Когда я к вам пришла в первый раз, я сначала растерялась, увидев над юртой красный флажок. Твой отец очень хороший, совсем как мой.

— Он действительно любит природу. Этот лес и горы он знает как свои пять пальцев. И каждый день делает обход, хотя это и не требуется от лесничего в заповеднике. Есть люди не злые по натуре, но они просто не понимают этой красоты, а есть и настоящие ворюги, враги леса. Больше всего у отца забот весной Бывает, дети разожгут костер, и начнется пожар. Да и со взрослыми это случается. Отец сутками с седла не слезает и с биноклем не расстается Выдворит одних — другие пожалуют. А есть еще такие, что спорят. Мол, не указывай нам, где гулять и что делать, мы на своей родной земле. Очень огорчался из-за них отец. Приехал я на каникулы этим летом и вижу: ведет отец из леса компанию, обвешанную пустыми консервными банками, бутылками и прочим хламом. Он сделал им замечание из-за того, что они насорили, так они накинулись: проваливай, мол, отсюда, пугало с ружьем,— и другие обидные слова выкрикивали. Ну он и не стерпел, разозлился. «Я, говорит, в свое время с оружием в руках сражался за ваше счастье, и если не уберете за собой, я вас всех покалечу». Они испугались, подумали, и впрямь выстрелит, с него станет. А вообще-то сдает отец, стареет.

— Хотя на вид еще бодрый.

— Он говорит, что лес прибавляет ему сил.

— Должно быть, правда... Очир, может, немного еще поднимемся?

— Давай.

Взявшись за руки, они поднялись до середины горы Богд-уул. Солнце плыло к закату. Снег у подножия испестрили синие тени деревьев. Чем выше поднимались они, тем больше попадалось на пути столетних кедров, под покровительством которых шумела зеленая поросль. Кое-где показались березовые и осиновые семейки. Лес здесь был уже густой и темный, и Норжме стало страшно, но рядом шел Очир, она чувствовала его плечо, плечо доброго повелителя леса, и страхи таяли.

— Очир, а вдруг нам встретится медведь?

— Здесь их не бывает.

— А волк?

— Волк сам, поджав хвост, удерет от нас с тобой.

Крохотная черная белка бегала по теням деревьев, затем, тоненько пискнув, вспрыгнула на дерево с голыми ветками.

— Белку слышно.

— А ведь это она другим белкам сигнал подает, хотя себя обнаруживает.

— Бедняжка!

Норжма подошла к дереву, на котором спряталась белка, закинула голову и, подпрыгивая на месте, начала громко звать ее:

— Белочка, миленькая, иди сюда! Иди сюда!

Обернулась — Очира нигде не было. Он будто надел шапку-невидимку.

— В прятки играешь! — засмеялась она.— Я тебя живо найду.

Приминая снег, Норжма обежала соседние деревья. Очира не было. Она остановилась, прислушалась. Тишина. Слышно лишь громкое биение собственного сердца. Ей снова стало страшно.

— Очир! Где ты?! — Голос Норжмы задрожал. Никакого ответа. Казавшийся безмолвным лес вдруг заухал, заскрипел. И какой-то зверь зарычал совсем рядом.— Очир!! Очи-и-р!!

— Ау! Я здесь! — Очир, улыбаясь, вышел из-за деревьев.

— Какие у тебя жестокие шутки,— всхлипнула Норжма. Очир подбежал к ней, обнял и поцеловал в горячую щеку.

— Ты словно зайчик кружила вокруг кедров,— сказал Очир, и Норжма часто-часто заморгала от навернувшихся на глаза слез.

Очир раскидал под кедром снег, собрал сухой хворост и развел костер. Вытащив из рюкзака снедь, они устроились у огня.

— Отец с детства приучал меня ко всем трудностям походной жизни. Осенью он всегда брал меня на охоту. Доходили мы с ним до самой Заан-Тэрэлж, это в восточной стороне. Ночевали на такой же вот снежной прогалине в дремучем лесу, у костра... И сколько он мне рассказывал о лесе, об его обитателях... И мы с тобой когда-нибудь обзаведемся добрыми конями и двинем до Керулена или, может, до лесов в верховье Толы. И зимней ночью, сидя у костра на медвежьей шкуре...

— Очир, ты словно читаешь книгу,— счастливо рассмеялась Норжма.— Рассказывай, рассказывай дальше.

— Человек воспринимает красоту природы и стремится постичь ее, и это в порядке вещей. Цветок или дерево — не просто цветок и не просто дерево. Жизнь леса не менее интересна, чем людская. Рождение и смерть, борьба за существование — все это тоже присуще лесу. У него есть свой голос и свой язык. Меня сочтут за ненормального, если я скажу, что понимаю язык деревьев. А я утверждаю, что понять, о чем говорит то, или это, или вон то дерево, можно. Приглядеться и подумать надо. Видишь старый кедр? Я примерно могу определить его возраст. Но это не главное. Вот догадайся, чем он отличается от других кедров?

Норжма, прищурив глаза, внимательно оглядела дерево.

— Не знаю. Ствол довольно толстый, ну и обломанных веток побольше, чем у соседних деревьев.

— А ты видишь вон тот его корень? Эти узлы, что вылезли из земли?

— Да, вижу. Отчего это?

— Черный камень лежит чуть ближе их.

— Черный камень?

— Да, и уже много лет идет борьба. Так вот, взглянешь на это дерево и подумаешь: все, конец бедолаге кедру. Но ведь мы не видим того, что под землей. Вполне вероятно, что корни этого кедра, расщепив камень, проросли сквозь него.

— Дерево? Сквозь камень?

— Да. А старый кедр, истомленный в многолетнем сражении, сейчас, может, стонет и роняет слезу.

Норжма зажмурила глаза, замерла.

— Странно. Когда ты спрятался, я услышала какие-то звуки, мне показалось, дерево от сильной боли стиснуло зубы и стонет.

— Ну, если и дальше так пойдет, скоро научишься разговаривать с деревьями. В рассказе русского писателя Куприна «Олеся» есть одна такая девушка... В будущем году я окончу институт. Ты — свой университет. И поедем мы с тобой работать на Тосонцэнгэльский или Дулаан-ханский лесозавод...

— И поедем.

— И построим на лесной поляне дом из пахнущих смолой бревен. В свободное время будем бродить по тайге. Летний лес пахнет

медом, звезды мерцают на ясном ночном небе, а мы словно два ангира [1], о которых в песне поется.

— Ой, Очир!

— Норжма, милая, к сожалению, нам возвращаться пора. Давай пойдем другой дорогой. Тут недалеко есть один овраг, который называется Пионовый. В нем можно увидеть маралов. А летом, когда пионы цветут, это такое яркое пятно на зелени леса!

— Пошли! Вот интересно будет встретиться с оленем!

Они погасили костер, присыпав его снегом, сложили вещи в рюкзак и двинулись в путь. Лес был теперь для Норжмы не просто множеством деревьев, а целым миром, живущим своей особенной жизнью. Научиться разговаривать с лесом — это похоже на чудо, как же не мечтать о нем! Высокий смуглый юноша с рюкзаком за спиной и с кинжалом на широком кожаном ремне ведет ее за руку. Девушке кажется, что он поможет ей постичь тайны природы. Он красив и отважен. Сердце Норжмы переполняла нежность и гордость.

— Очир, хорошо бы увидеть в Пионовом овраге маралов. Правда?

— Да. Они должны быть там.

— Никогда не думала, что в зимнем лесу так красиво.

— В лесу просто замечательно, особенно когда идешь рядом с симпатичной девушкой, у которой белая заячья шапка, родинка на носу и глаза блестят, как у лосенка... Мой любимый лес! Мой Хангай!

— Разве у лосенка такие глаза?! — рассмеялась Норжма.

— Именно такие. Мне было лет десять — весной в лесу вспыхнул пожар, и отец принес домой осиротевшего лосенка. Огонь ему уже все пути отрезал, и отец спас его. А я вырастил его. Поил водой по нескольку раз на день, кормил листьями ивы и осины. Он был смирным и послушным, а глаза у него были большие и блестящие, совсем как у тебя. Сейчас, наверное, стал громадным лосем, бродит где-нибудь по хангайским лесам. Осенью он все же убежал в горы.

— А ты узнаешь его, если попадется он нам в Пионовом овраге?

— Может, и узнаю. Вот за этой скалой и находится Пионовый овраг.

Очир и Норжма обогнули скалу, прошли небольшую рощу и вдруг услышали характерный звук топора. Они заглянули в глубь оврага, упирающегося в скалу, и увидели шагах в тридцати от себя какого-то человека. Над мерзлой тушей самки марала мелькал топор. Норжма вздрогнула, но, к счастью, не закричала. Браконьер уже покончил с головой, отбросил ее в сторону и пытался теперь отделить переднюю ногу туши. Рядом стояли санки, на них лежал мешок из дерюги. Очир сбросил рюкзак на землю, вгляделся. Видимо, убил самку браконьер несколько дней назад, ружья рядом не было видно.

— Какой страшный человек! Уйдем побыстрей отсюда! — Норжма не могла унять дрожи.

«Что делать? Пока дозовешься людей, этот негодяй исчезнет бесследно. Его нельзя упускать. С одним ножом против топора браконьера? — Но он тотчас отбросил сомнения.— Лесной дьявол! Проклятый вор! Ты разрушил прекрасные мечты моей Норжмы!» Очира охватили ненависть и отвращение.

— Отойди! — шепнул он Норжме и сделал несколько шагов вперед.

— Эй, ты! Положи топор и подойди сюда!

Человек вздрогнул, пригнулся, затем медленно повернул голову. Он не был таким уж страшным, но угрюмое, небритое лицо отталкивало, недобрый огонек блеснул в узких глазах.

[1] Ангир — водоплавающая птица.

— Что тебе нужно?

— Не разговаривай. Бросай топор и иди, куда я скажу!

Браконьер, не выпуская топора из рук, шагнул навстречу к Очиру, остановился, опасливо глядя на него. На браконьере был новенький полушубок из овчины, голенища валенок вывернуты наружу. Видно было, что он дрожит всем телом, то ли от злости, то ли от страха.

— Самбу! Не спускай с мушки этого человека! — Очир попробовал припугнуть его.

— К черту твоего Самбу! Вас только двое, ты и твоя сука...— Он сделал еще один шаг вперед. И Очир понял: отступать некуда. Он выхватил из-за пояса кинжал, замахнулся и шагнул вперед...

— Еще один шаг — и я воткну в твое горло кинжал. Не промахнусь. Брось, говорю, топор!

Браконьер поколебался и бросил топор в снег.

— Ну погоди. Говорят, враги встречаются на перевале.— И он зашагал вдоль оврага.

Очир, показав Норжме глазами на рюкзак, двинулся за ним. Норжма была не в силах вымолвить ни слова, она заплакала и пошла следом.

Перевод Б. НАМЖИЛОВА

Последний полет

«Як-12» — маленький, четырехместный самолет, он легко, словно кузнечик, взлетает на высоту три тысячи метров, да и звук его напоминает стрекотание кузнечика. Внизу — заснеженные вершины Алтая. Алтай Рудоносный. Летчик Будбазар, хорошо известный на границе и в западных районах, задумчиво смотрел на прекрасные горы, словно в лицо самого близкого человека. Вылетев из Кобдо, он довольно быстро набрал высоту, но тут навстречу ударила сильная струя ветра, и пришлось вести машину осторожнее. Весенний ветер на Алтае без труда может сбросить в ущелье такой маленький легкий самолет, как «Як-12». Руки и ноги Будбазара чувствовали каждое вибрирование машины, каждый вздох мотора не хуже, чем сейсмограф — колебания почвы. Это и естественно для человека, который летает уже тридцать два года. В молодости Будбазар был стойким и сильным, ни в бою с врагом, ни в противоборстве с ветрами никогда не отступал. А сейчас трудно довериться себе. Может быть, это оттого, что он не летал уже два месяца, с тех пор как вышел на пенсию? Но ведь у него не было другого выхода. На Алтае, в горах Таван Богдо, попали в беду альпинисты, два человека находятся в тяжелом состоянии. Приняв это сообщение, радиосвязь западных аймаков и Улан-Батора подняла тревогу. Тогда в штабе управления гражданским воздушным транспортом и вспомнили о Будбазаре. В Кобдо «Як-12» был единственным самолетом, который мог приземлиться на самой маленькой площадке.

Начальник штаба гражданского воздушного транспорта, полковник, с которым Будбазар когда-то вместе служил, вызвал его на переговорный пункт в Кобдо, сообщил о случившемся и сказал:

— Ну, что я тебе буду приказывать? Ты ведь сам все понимаешь.

В ответ ничего не оставалось сказать, как:

— Во всяком случае, попробую.

Может быть, он сказал так потому, что стал недолюбливать землю с тех пор, как вышел на пенсию. Ведь есть же такая болезнь — «тоска по небу». Глядя в бездонную синюю даль, на сияющее над Ал-

таем солнце, сверкающие вершины Цамбагарава, он ловил себя на мысли: безумно хочется взлететь. Пенсия — это хорошо и плохо. «Если подумать, что я отработал уже свое, заслужил покой для души и тела, могу теперь нянчить внуков, ухаживать за женой — это неплохо. Нам с Гульжан не на что пожаловаться. У детей выросли крылья, и они улетели из родного гнезда. С другой стороны, как бы я ни любил Гульжан, как бы ни был предан ей, стеречь дом и сидеть подле жены не годится мужчине. Можно ведь ходить по гостям, проводить время за пустой болтовней. Или устроиться работать вахтером или сторожем, как большинство пенсионеров?» Пока он метался в раздумьях и нерешительности, аймачный партийный комитет нашел Будбазару самое подходящее дело, назначив его членом аймачного совета ветеранов. Теперь бывшему летчику приходилось выполнять самые многочисленные обязанности: не было такого дела, где бы он так или иначе не принимал участия, ему приходилось решать даже такие вопросы, как починка перил у моста. Это все и составляло его счастье теперь.

Зеленый кузнечик «Як-12» со стрекотаньем взбирался на белоснежное чело Цамбагарава. Сначала показалось, что можно опуститься на ледник, до которого было метров двести, или прямо на каменистое плато. Но самолет вдруг задрожал, словно кто-то подсказал, что на такой высоте и пересечении стремительных потоков ветра только безумец будет сажать самолет на снежник Цамбагарава.

Будбазар не однажды сталкивался с коварными вихрями на Алтае. Говорят: «Человека давят горы, а горы — снег». Но никак нельзя сравнивать горы и человека. Сколько миллионов лет стоят горы под снегом и не меняются.

Человек может прожить и сто лет, но умолять судьбу бесполезно — годы не вернешь, они уходят, и вместе с ними человек уходит в небытие. Тем не менее человек может летать над самыми высокими горами. «Сколько раз я пролетал над Алтаем и даже долетал до Хоо Толгой Буда. Горы, высота, небо, как безбрежно это море, какой простор для крыльев! О, Цамбагарав мой! Неужели я последний раз вижу тебя? Ну, ну, ты начинаешь говорить глупости. Если тебе так хочется летать через эти горы, можно сколько угодно летать на почтовом самолете. Говоришь, никто меня не заставлял браться за штурвал? Но там люди, и они в беде. Хоть человек и не умеет летать, а все стремится к горным вершинам. Ему уже мало земли — он летит в космос. Как бы там ни было, надо найти группу и постараться забрать раненых. И тогда пусть это будет последний мой полет!»

«Як-12» перелетел Цамбагарав и направился к Таван Богдо.

Холодную вершину Таван Богдо окутал белый туман. Шесть молодых альпинистов совершили восхождение к вершине на высоте 4300 метров с самой трудной стороны и уже на спуске неожиданно сорвались. Сейчас шестерка ждала помощи в двух желтых палатках, установленных на гребне подтаявшего на весеннем солнце и оледеневшего снежника. Четверо уцелевших делали все, что могли, чтобы спасти двух товарищей, которые не приходили в сознание. К несчастью, пострадал и руководитель группы, самый опытный из них альпинист. «Тот, кто в воде, умирает от воды». Решив, что самое трудное позади, они убрали связку и на снежном мосту провалились, двоих поглотила скрывавшаяся под снегом и неожиданно разверзшая свою пасть трещина. Если бы на дне ее не было снега, сейчас оттуда пришлось бы доставать трупы тех двоих. Пришлось хлопотать о пище, палатке, ухаживать за пострадавшими, но все же они успели по коротковолновой рации связаться с Ульгием. Это было в полдень. С тех пор прошло четыре часа. В Ульгие посоветовались с центром и приняли решение выслать спасательную команду. Вскоре из Кобдо выле-

тел самолет для выяснения обстановки. Теперь все зависело от того, как долго смогут продержаться раненые. Группе сообщили о том, что самолет вылетел, и предложили определить координаты места, где случилось несчастье.

Площадки, в сущности, не было. Справа была отвесная стена не ниже двухсот метров, слева — застывшее русло реки с торчащими из-под снега каменными глыбами, дальше — высокий обрыв. Единственно ровное здесь место — небольшое плато длиной в пятьдесят и шириной в сто метров, где расположились альпинисты. Хорошо, что там был ледяной щит. Альпинисты надеялись, что здесь их скорее заметят. Они думали, что теперь им придется ждать самолета, который курсирует из города, знали, что на помощь вылетел «Як-12», и, сообразив, что времени терять нельзя, изучали местность. Самолет, возможно, и не принесет им спасения, но они знали, что их не оставят в беде, и ждали, прислушиваясь и неотрывно глядя в небо.

«Рудоносный Алтай мой!» Вот виднеются величественные вершины, синеет в дымке силуэт Таван Богдо, вот острия снежников Хархираа Тургэна, похожие на белые языки пламени, вот шелковистая гряда главного хребта, сливающегося с небом. Позади осталось озеро Толбо и давно знакомое ущелье. Небольшие перелески в горных впадинах, стремительные реки, которые во время наводнений играют каменными глыбами, словно мячами. Когда-то, в молодости, Будбазар считал себя орлом Алтая. «Кто знает, думает ли о себе так же второй пилот, молодой лейтенант. Говорят, он способный парень. Вон как нахмурил брови и сжал губы — видно, есть характер. Ничего, мужчина должен все испытать. Орел ты мой, если тебе выпадет моя судьба и придется летать тридцать лет, ты многое повидаешь. Как знать, может, придет день битвы, поведешь реактивный истребитель, полетишь в космос. Эх, молодость, молодость! Алтай был строгим учителем для меня. Если вспомнить, когда я познакомился с Гульжан, как давно это было. А у этого парня сколько еще всего впереди! Кто может предвидеть заранее путь мужчины?

Да и сегодня никто не думал, что придется лететь. Бедная Гульжан волнуется, наверно, сейчас. Говорят: «Длинные дороги у мужчины». Но дорогу в небе я должен знать наверняка. На земле чего бояться — можно жить припеваючи, пока не состаришься. В сорок четвертом кончил летное училище младшим лейтенантом, точь-в-точь как этот парень. Потом хотел стать монгольским Чкаловым, делать мертвые петли, иммельман на истребителе. В сорок пятом война кончилась, я так и не успел себя проявить. Приехал на Алтай. По приказу Зайсанова получил «И-15». Я летал в отряде пограничников и все время мечтал совершить подвиг, хотел, чтобы что-нибудь случилось. Во время воздушного патрулирования, бывало, заскучаешь, нырнешь в ущелье или взлетишь над самыми верхушками деревьев, взмоешь к горным высотам и выделываешь там сумасшедшие трюки. Сорок восьмой год...»

Весна сорок восьмого года была снежной и холодной на Алтае. Суровое было время. Маленький, но резвый «И-15», прозванный «ишаком», близ Кобдо перелетел через Алтай и вдоль границы направился к югу. Самолет вел юноша, весь вид которого являл мужество и отвагу: обветренное, загорелое до черноты лицо, густые брови, узкие цепкие глаза, выделяющиеся на лице большие крылья носа. Старший лейтенант на этот раз получил задание разведать местонахождение банды, скрывающейся в горах. Необходимо было обследовать южный участок границы до Байтаг Богда и осмотреть все ущелья и отроги Алтая. Это была опасная, но интересная работа. Будбазар то уходил вверх и вглядывался вдаль, то опускался вниз и кружил над

горами, а если попадались глубокие ущелья и широкие долины, он так низко пролетал над деревьями, что едва не срезал верхушки. Прошел целый час. Осмотреть каждую из тысяч складок и трещин Алтая — задача невыполнимая. Разве что случайно по дыму стоянки или тропе можно было заметить банду. И вдруг... «Вот она, стоянка этих гнусных бандитов! Ура! Сейчас я обрушу гром на ваши головы!» — закричал Будбазар и ринулся вниз. Тревожно заметались кони на привязи, животные, люди разбежались. Будбазар пронесся над головами бандитов, взмыл стрелой в небо, опять пошел вниз, выпустил по ним пулеметную очередь и умчался в небо, чтобы «направить стопы к дому».

Будбазар не сразу понял, что в него угодила шальная пуля. Он был слишком взволнован. Набрав высоту, чтобы преодолеть перевал, он столкнулся со встречным потоком ветра, напряг все тело и вдруг почувствовал, что его левая нога ослабла. Оказывается, пуля пробила кожу на унтах и глубоко вошла в ногу, так, что в сапоге все намокло от крови. «Ничего, до заставы несколько минут»,— успокаивал себя Будбазар, но в сердце закралась тревога. Самым страшным в этот момент был встречный горный ветер. И вдруг в снежниках Алтая поднялся белый смерч, горы, небо — все смешалось. Поток ветра, словно крошечную муху, всасывал в себя «И-15». Обезумевший белый дракон, смерч, метался от вершины к вершине. Во что бы то ни стало нужно выбраться из его пасти. Внезапно Будбазар понял, что есть только один путь. Любое отклонение от трассы грозит смертью. Теперь предстоит силам мотора померяться с силами ветра. Будбазар в последний раз нажал на обороты и, стиснув зубы, устремился наперерез ветру. Самолет задрожал, будто и он напрягался до предела. В такие минуты машина действительно становится как живой человек — живет одной тревогой, дышит одним дыханием с пилотом.

Будбазар буквально слился с самолетом. Как будто он боролся с ветром не мощью мотора, а всей своей душой и телом. Однако самолет совсем не двигался — он словно повис в воздухе. Да и горючего осталось всего на полчаса. Рана все больше давала о себе знать. Борясь с ветром, он на какое-то мгновение забыл о ноге. «А если я потеряю много крови и у меня не останется сил, что тогда? Значит, конец? Погибну на Алтае»,— подумал он, и вдруг самолет подбросило вверх, да так неожиданно, что он чуть не перевернулся. И в тот же миг все мысли улетучились из головы, кроме одной — надо выдержать. Будбазар, сжимая штурвал, приказывал себе: «Держись! Держись! Надо продержаться еще хотя бы десять, хотя бы пять минут!» Самолет еле-еле набирал высоту. Горючее, кажется, вытекло — приборы не показывали ничего.

Ветер немного утих. Прошло еще двадцать минут. «Ну, все позади — похоже, что машина уже вырвалась из пасти бешеного дракона». В ушах Будбазара шумело, перед глазами пестрели круги. Внизу чернела земля подножий Алтая. Левая нога уже ничего не чувствовала. Хотелось представить, что самолет — это конь или верблюд, и отдаться на его волю. Словно подвешенный к маятнику, он качался — вверх, вниз. Будбазар понял, что теряет сознание. Земля! Земля! Надо собрать все силы и посадить самолет. Последние силы. Кажется, от земли идут зеленые и желтые круги...

Словно маятник в небе — вверх, вниз...

Открыв глаза, он увидел склонившееся над ним лицо. Гульжан, казашка-пастушка в шапке с белым пером, смотрела на Будбазара огромными черными глазами.

— Таван Богдо! Вы — святые горы. Лишь бы альпинисты были живы. Спасать людей и быть спасенным — одинаково прекрасно. Ведь

мы с Гульжан и не встретились бы, если бы один не спасал другого. И может, не были бы так близки, не любили бы друг друга. Бедная моя Гульжан, как она волнуется сейчас!

Ледяное чело холодной вершины было неприветливо — одна сторона его освещена ярким полуденным солнцем, другая темнела во мраке. Вид горы являл собой покой и полное безразличие ко всему, что происходит в мире. «Как хорошо, что хоть на одной стороне еще есть солнце. Позже уже труднее было бы ориентироваться»,— подумал Будбазар.

— Эй, парень, возьми немного выше и правь вон на ту вершину, к юго-западу. Видишь?

— Вижу,— ответил юноша, уселся поудобнее и стал всматриваться в горы. Через несколько минут он воскликнул: — Будбазар гуай! На верхушке гребня с правой стороны две желтые точки.

— Да, да, это они! Говорили, у них две желтые палатки,— ответил Будбазар, но сколько ни всматривался, ничего не смог разглядеть. «У меня всегда были глаза грифа. Теперь все кончено»,— подумал с грустью старый летчик, а вслух сказал: — Я плохо вижу. Веди ты!

Будбазар с большим опозданием обнаружил две желтые точки, сбавил обороты и резко пошел на снижение. Люди сигналили им красными ракетами, махали руками. «Як-12» сделал круг над ними.

— Будет ли сто метров от края отрогов до тех валунов, да и место покатое. Трудно садиться,— сказал Будбазар.

— Здесь наклон градусов пятнадцать — двадцать, и сесть надо,— заметил лейтенант.

— Делать нечего. Попробуем? — спросил Будбазар, в душе одобряя молодого летчика.

Юноша помедлил, словно раздумывал над ответом, и затем спокойно произнес:

— Наверно, можно.

— На втором вираже будем садиться. Смотри, колесо остановится на самом краю ущелья,— сказал Будбазар и, по привычке слившись с самолетом, напряг все свое внимание и все свои силы.

«Як-12» сделал последний круг. Сердце замирало от страха — ведь самолет мог врезаться в скалу. Но вот машина подпрыгнула, взрыхлив снег, припала брюхом к ледовой площадке и, проехав немного вверх по склону, остановилась в нескольких шагах от огромных валунов.

Будбазар отпустил штурвал, закрыл глаза и какое-то мгновение сидел неподвижно, пытаясь унять бьющееся сердце. Альпинисты со всех ног мчались к самолету. Двое пострадавших были на грани жизни и смерти. «Раз смогли сесть, значит, сможем и взлететь». Все наперебой просили Будбазара поскорей лететь с ранеными. Старому летчику очень хотелось отчитать молодежь за то, что, стремясь к вершинам, они забыли об осторожности и сломали себе крылья. Но он промолчал. Только попросил связаться с Ульгием и передать, чтобы в Кобдо его подождал самолет, который полетит в Улан-Батор. Нужно было обязательно добраться до Кобдо, пока не стемнело. Он сказал, чтобы поторопились, и начал готовиться к полету. Легко сказать: «Раз смогли сесть, значит, сможем и взлететь». На самом деле оторваться от горы очень трудно. Во-первых, самолет перегружен, во-вторых, ветер сейчас мешает, а не помогает, как при посадке. Единственный выход в создавшейся ситуации — на ста метрах сделать разбег и соскользнуть с края ущелья. Будбазар подошел к обрыву. Под ногами чернело ущелье глубиной метров двести. В красноватых лучах вечернего солнца снежные вершины Алтая казались зловещими — они

словно насмешливо перешептывались с небом. А ведь несколько часов назад они были совсем другими.

И вдруг именно в это мгновение Будбазара впервые обожгла мысль, что он всю жизнь летал на Алтае. «Неужели это мой такой долгий путь на земле и на небе? Но у пути тоже есть свой конец. Только все равно не здесь, не на склоне Таван Богдо! Что ж, в последний раз попробую оторваться от вершины Алтая. А там посмотрим. Говорят, приходит время, когда и старый орел складывает крылья. Алтай мой священный, благослови меня!»

Решительными шагами Будбазар направился к самолету. Лейтенанту он сказал:

— Сынок! Нужно уменьшить груз. Ты останься здесь с ними! Когда я буду взлетать, стой на краю ущелья!

Будбазар сел за штурвал. Все сомнения были отброшены. Издавая стрекочущий звук, разносящийся в горах, «Як-12» сорвался с края ущелья, и было страшно смотреть, как он падает вниз, но через какое-то мгновение самолет взмыл в синее небо Алтая.

Стоявший на краю обрыва молодой лейтенант махал вслед рукой. Голос его прерывался от волнения: «Старший мой брат! Отважный орел, счастливого пути!»

Перевод Л. СКОРОДУМОВОЙ

ДАРМААГИЙН БАТБАЯР

МИНИАТЮРЫ

Четыре времени года

Весна

Ручьи и реки текут неудержимо, словно людское желание. Цветы и травы вырастают безмолвно, словно думы. Во все стороны струятся чистые лучи света и пряные ароматы. Звуки замирают вдали, там, где, переливаясь, соединяются лазурь и зелень. Ласковый ветер уносит с собой печаль и грусть. Борозды вспаханной земли убегают к горизонту, словно газетные строчки, и на ней чернеют зернами подсолнуха грачи. Под копыта скакуна катятся волны травы. Запах ее дурманит, радость вселяется в сердце наездника, и он запевает весеннюю песню.

И вдруг — ни с того ни с сего — налетает свирепый ветер, настойчиво бьет в ставни и двери, словно разбуянившийся пьянчуга. Черная земля наша будто поднялась в синее небо — все смешалось, завертелось во мгле, и, кажется, даже звезды наталкиваются друг на друга и падают вниз. Но к вечеру опять становится тихо, и ночь, прекраснее, чем прежде, опускается на землю. В такую ночь, непроницаемо тем-

ную, хочется услышать робкий смех девушки, похожий на признание в любви. Но лишь крики диких гусей доносятся откуда-то сверху. Сколько ни вглядываешься в черноту неба, различаешь только мигающий свет далеких холодных звезд.

Все замерло вокруг, будто благоговея перед растущими травами, распускающимися цветами. Но вот опять слышится крик гусей. Или это девичий голос раздается в самой вышине небес, среди мерцающих звезд?

Весной я бываю счастлив. Безмятежно весеннее небо, будто взор ребенка. Пусть оно будет таким вечно!

Лето

Соскоблив жемчужинки пота с боков рыжего коня, отец обязательно утирал рукавом его лоб. У нас не было другого такого любимца. Как гордо мчался наш скакун, оставляя вереницу соперников далеко позади в облаке коричневой пыли! А когда наступал надом[1], отец снимал нож и огниво с пояса и привешивал к нему бамбуковый скребок вместе с хадаком[2]. Это было, наверное, его единственное украшение к празднику. Жаль мне сейчас, когда прошло столько лет, что я не перенял его умения обращаться с лошадьми, и каждый раз, когда доверчиво подходит ко мне конь, к горлу подкатывает комок, навертываются на глаза слезы.

Частые дожди во время надома умывают цветы, которые еще недавно были похожи на пухлые щечки младенцев, а сейчас напоминают прекрасные лица юных красавиц. Густой запах нектара витает над ними.

Вот стану большим, мечтал я в детстве, надену борцовский пояс, оседлаю быстрого иноходца и поскачу на праздник в сомонный центр, напевая: «На славном рыжем скакуне догоню свои желания». А там в решающем поединке останусь один на один с самим Гончигдоржем, сомонным дзаном[3]. Взмахивая руками, как сказочная птица Хан-гаруди, подойду к месту схватки, застыну в стойке, могучий, словно хангайская гора. А затем, улучив момент, завладею его правой ногой. Подниму этого здоровущего, словно бык, борца над собой и кину наземь, да так, что дрогнут у шатра чаши с кумысом...

Днем очень жарко в родных кочевьях, но когда солнце гаснет и заря цвета апельсиновой мякоти заполняет степь, становится прохладнее. Вечерние сумерки заметно холодят, и все же хочется, чтобы скорее наступила зима. А она нашла себе летник на вершинах Хангая и спит там, издали похожая на большую белую птицу. Я всегда знал, что с наступлением лета зима забирается на вершины Хангая.

В летнее время года деревья, камни, животные и люди думают лишь о счастье и вбирают в себя солнце.

Осень

И кумыс, и душа человеческая, и поле — все золотисто-желтое, словно впитало в себя лучи солнца. И даже ветер, напоенный запахами созревших трав,— солнечный ветер. Верблюды на этом ветру

---

[1] Надом — национальный праздник в Монголии.

[2] Хадак — длинная полоска голубого шелка, знак уважения к гостю, атрибут народных праздников.

[3] Дзан — борцовское званне третьей степени.

всегда упирались, никак не хотели идти, жадно втягивая через ноздри воздух. А я плакал от обиды, тщетно пытаясь сдвинуть их с места.

Ближе к вечеру солнце не греет, становится белесым, как уже постоявший кумыс. Скоро начнут таврить жеребят, отпустят доившихся кобылиц на волю, ветер будет в тот осенний день играть языками костра. А утро следующего дня всегда было для меня самым печальным.

Место, где привязывали кобылиц, темнеет в траве, похожее на покинутое стойбище. То входишь в юрту, то выходишь из нее, бродишь бесцельно, как верблюжонок на привязи. Скорее бы сняться с кочевья! Улетели птицы с озера, ни шума, ни крика над задумчивой гладью. Печалит душу эта картина, и невольно приходит в голову мысль, как быстротечно все в этом мире.

К началу учебного года уезжают из окрестных айлов дети скотоводов. Сбившись в стайки, ходят они по улицам городов и поселков, высматривают в витринах конфеты и печенье, готовя припрятанные за пазухой деньги, те, что дали им перед дорогой отцы, матери, старшие братья.

Хангайские травы от ласкового ветра колышутся, словно лисий мех, склоняются, словно девушка в танце. Летнее мое желание навестить родные кочевья пропало, улетело, как та перелетная птица.

Млечный Путь — дорожка просыпанного зерна. Звонкая тишина в родных степях. Разъехались дети по школам, не доят кобылиц. Безмолвие щемит сердце, заставляет думать о смысле жизни. Осенью я сознаю свои ошибки.

Зима

Мать всегда первой видит снег. Когда она выходит из юрты, слышно, как он скрипит под ее ногами. Вот она идет по правой стороне, берется за веревку от дымника... В ворвавшемся в юрту снопе света плавно кружат мохнатые снежинки.

— Вставай, сын мой, вставай! Снег выпал на дворе.

Я выпрыгиваю из постели и босоногий выбегаю из юрты. Снег белый-пребелый, как улыбка, искрится тысячами бликов. Солнце перелило свое сиянье в этот белый песок, что покрывает всю степь вокруг юрты. В утро первого снега чудится мне, что и овец у нас в загоне стало больше, чем было вчера.

...Я поехал учиться и скоро привык встречать в городе первый снег и провожать последнюю снежинку. Здесь первый снег тает на удивление быстро, да и зима совсем другая, городская зима. Небо похоже на схваченное инеем окно, а солнце, словно лампа, прикрытая газетой, тускло просвечивает из-за толстых облаков. Не видно на улицах и площадях велосипедистов и красивых девушек. Не исчезают ли они осенью вместе со стаями перелетных птиц? Детвора, целыми днями пропадавшая на дворе, теперь сидит по теплым кухням, слушая сказки стариков. Кроме голубей и жаворонков, редко какую птицу можно увидеть в окно. Тихим погожим днем голуби взмывают стаями в небесную высь, радуясь случаю стряхнуть оцепенение и усталость. От долгого пребывания в натопленной и душной комнате кажется, что все тело пропиталось запахом здания. Вспоминается та свежесть и прохлада, которые исходят от деревенского человека.

Едешь, бывало, по зимней степи верхом на верблюдице. Солнце закатилось. Ты один-одинешенек во мглистых сумерках. Вокруг не видно ничего живого, невольный страх леденит сердце. Ветер обвеет

снежной пылью и, печально завывая, умчится прочь. Увидишь след отары, и он напомнит тебе о тепле. Потом эти следы будут попадаться все чаще и чаще, скоро появится тропинка, ведущая к зимовью, залает собака, пахнёт дымом очага.

На душе становится легче, представляешь, что где-то есть теплый очаг, у которого можно согреться. А каково сейчас скотоводу, шоферу или же сторожу в эту зимнюю стужу!

Руки

Руки человека способны осветить мир. Я познал это еще в детстве, когда мне хотелось сделать какое-нибудь открытие. И как вы думаете это случилось?

Однажды я потер друг о друга два маленьких белых кусочка кварца, которые я назвал овечками, и от них брызнул сноп сверкающих искр. Я так обрадовался своему открытию, что даже вечером, юркнув под одеяло, тер камешки и изумлялся и радовался, когда, словно от огнива, появлялись искорки и камни в моих руках постепенно теплели. Ведь прежде я думал, что только живые существа несут в себе тепло. А теперь я понял, что мои обветренные, все в цыпках руки могут оживить и холодный камень, лежавший в степи, могут высечь из него искры.

А если я возьму камни большие и белые, как облака, и потру их друг о друга, наверно, загремит гром, засверкает молния — думал я, засыпая, крепко зажав в руках камешки.

Но мама не знала о моем открытии. Она думала, что я грызу под одеялом большой кусок сахара, и, наверно, опять примется меня журить.

Тень

«Сынок, не роняй своей тени на гнездо с птенцами, покинет их птица»,— часто говорила мне в детстве мать.

Я знаю, мать может бросить своих птенцов. И если это случится, как же у них, у беспомощных, вырастут крылья, чтобы взлететь в небо, подобно ветру. Так мне говорила мама. А то, чему учит мать, не забывается никогда. Детеныш такой нежный и чистый, что даже тень вредит ему. Душа же матери такая ранимая и чуткая, что может омрачиться от этого.

Вот почему, чтобы не бросать тень на гнездо с неоперившимися птенцами, я, проходя мимо, всегда пригибаю голову. Вот почему, чтобы не почернела от горя душа моей матери, я всегда высоко поднимаю голову, когда на меня падает чья-либо тень.

Перевод Б. НАМЖИЛОВА

Движущиеся пески

Тот, кто родом из Онона, говорит, что он вырос, купаясь в реке Онон. Тот, кто родом с Алтая, говорит, что вырос он, взбираясь на Алтайские горы. Я из Гоби. Вырос я, купаясь в лучах палящего гобийского солнца. У нас нет ни молочного моря, ни высокой горы Сумбэр, о которых говорится в легендах, но цену воды и высоту гор мы знаем.

Гобийские дети не играют в воде. Наверно, оттого, что с детства привыкли относиться к воде как к драгоценному дару природы и цена воды им известна. И могут по вкусу определить, откуда она. Чем жарче печет солнце, тем холоднее кажется колодезная вода. А чем она холоднее, тем вкуснее. Это хорошо знает человек, который под палящим солнцем поил когда-нибудь верблюдов. Гобийцы никогда не жалеют питье и воду для путников. Они радуются, если напоят человека. И коней, верблюдов своих всегда стараются напоить. Поскольку воду здесь высоко ценят, ею не разбавляют молоко. Когда люди в Гоби говорят о чем-то нескончаемом, они сравнивают это с водой.

Гору, на которую можно забраться, не придерживая коня, они называют высокой. Если высоту горы определять тем, насколько далеко видно с ее вершины, то нет гор выше гобийских. Оттуда, в какую бы сторону ты ни взглянул, можно обозреть весь путь, который ты проехал за сутки. Верблюды, идущие вдоль поросшего колючками оврага, увеличенные маревом, издали кажутся горной грядой, а желтые песчаные бугры напоминают стада джейранов.

Человеку с Хангая трудно понять, что гобийцы не считают себя обделенными, они не скучают по деревьям с пышными кронами, по проточным водам и высоким горам. Гоби — край просторный. Течение здешней жизни кажется таким же медленным, как движение песков. Пески эти передвигаются слоями — сначала один слой, потом другой — и нежно позванивают. Но услышать этот перезвон можно только ночью, когда лежишь на теплом, как живое существо, песке.

Жизнь в Гоби неисчерпаема, как вода в колодце, и люди здесь тверды и выносливы, как саксаулы.

Запах войны

— Ты кого больше любишь: маму или папу?

— Я мать больше люблю.

— Я обоих одинаково люблю.

— Я тоже обоих люблю, но мать люблю больше.

— Я обоих люблю. Но не знаю, кого больше. Когда мамы нет, мне кажется, что маму больше люблю, а когда нет папы, то кажется, что папу.

Вот так мы с Болдом, бывало, разговаривали. Где теперь Болд? Любит ли по-прежнему мать больше, чем отца?

В ту пору в нашем дворе жили три семьи. Когда я утром просыпался, на выпавшем за ночь снегу уже темнели следы, и среди них я безошибочно находил следы отца, потому что они отпечатывались четче других. Мигая от яркого сияния свежего снега, я останавливался у порога, затем по следу отца доходил до калитки, дернув за веревочку, открывал ее и шел дальше до конца забора. Там след моего отца терялся — на дороге были заметны отпечатки колес телеги, с которой капала вода, машин, множества ног. Поэтому мне трудно было представить дальнейший путь отца, и я не знал, как он шел до работы. Постояв немного на углу, я возвращался по своим следам, которые были проложены по следам отца.

Когда мы с матерью подметали снег во дворе, я оставлял следы отца нетронутыми. Они были плотно утрамбованы и ясно видны на подметенной черной земле. Потом я получал замечание, что ничего не довожу до конца, сметал следы отца и шел играть с Болдом. Болд ча-

сто задумывался, играл неохотно, больше любил задавать разные вопросы:

— Твой отец большой начальник, да?

— Да, большой.

— Командир всех солдат?

— Не знаю. Когда отец придет вечером, спрошу у него.

И вечером я спрашивал у отца:

— Папа, вы командуете всеми солдатами?

— Твой папа не такой уж большой начальник. У многих командиров, таких, как твой папа, есть еще свой командир. И у того командира есть командир.

— Понятно. А бывает командир, которым никто не командует?

— Не бывает, сынок мой.

Этот разговор я передал Болду. И мы решили, что, когда вырастем, станем командирами.

Как-то взрослые шепотом говорили между собой о том, что началась война. Вскоре собрался на войну и наш отец. Я не хотел отпускать его, но потом подумал, что отец вернется, победив врага. Иначе я не отпустил бы его. Когда вечером отец посадил меня на колени и сказал: «Сын мой будет настоящим мужчиной», я не заплакал, потому что настоящие мужчины не плачут. Утром, когда я проснулся, отца уже не было.

Вскоре мы с мамой стали получать от отца письма. Мама говорила, что наши сражаются с врагом. Но это была не такая уж большая война. Она говорила, что отец пишет, чтобы нынче осенью я пошел в школу.

Уже минул год с тех пор, как отец уехал в чужой, далекий край. Отец нам много писем написал. Поскольку я уже учился в школе, он писал мне отдельно такими же крупными, как его следы, буквами. Я читал его письма по слогам: «Мы побеждаем врага. Хорошенько учись, сынок». Я наизусть знал письма отца и всем, кто приходил к нам, громко и без запинки читал их.

Летом началась настоящая война. Говорили, что воюем с Японией. Мама сказала, что отец, наверное, не скоро приедет. А еще говорили, что вечером нельзя зажигать огни. Иногда вечерами мы с мамой выходили дежурить на улицу и, увидев где-нибудь огонек, кричали из темноты: «Эй, гасите свет!»

Но заботы наши на этом не кончались. Мы стали рыть во дворе яму, которую называли «окопой». Я подумал, что война, наверное, придет и к нам, и поэтому стал носить за пазухой маленький перочинный ножичек.

Придя с уроков, я иногда заглядывал в яму, которую мы называли «окопой», но там по-прежнему было пусто и темно. Однажды к нам пришел незнакомый человек и принес письмо от отца, а мне еще свистелки, сделанные из гильз. Когда я дул в те свистелки, раздавались разные, то высокие, то низкие, звуки. И получалась какая-то мелодия. Я очень обрадовался им и стал спрашивать у того мужчины про отца и про то, как делают такие музыкальные дудочки. Мужчина оказался корреспондентом газеты, он часто встречался с отцом. Я подумал, что отец сделал для меня эти свистелки из гильз тех пуль, которыми уничтожил врага. Я долго играл с гильзами, потом как-то нечаянно понюхал их. Из них шел какой-то странный запах. Чем-то он мне понравился, и я спросил про этот запах у мамы. Мама сказала, что это запах пороха, что этим запахом дышит отец. Я подумал, что отцу это, наверное, нравится, и долго вдыхал странный далекий запах.

Возвращаясь из школы, я искал у калитки следы отца. Как подумаю, что отец может не вернуться, у меня слезы на глаза навертыва-

ются, но я успокаивал себя: «Нет, он вернется, победив врага». Иногда я доходил до конца забора, пытаясь идти по воображаемым следам отца.

Шли дни. Я уже не свистел в свои гильзы-свистелки, только нюхал их иногда. От гильз пахло порохом. Отец все время дышал запахом пороха.

Однажды, когда я вернулся из школы, мама обняла меня и заплакала.

На следующее утро выпал снег, и на нем еще не было ничьих следов. Я шел к калитке и думал: неужели у меня теперь нет отца, я представил себе его следы, пошел по ним до угла и там вдруг столкнулся с каким-то человеком. Я смотрел на него снизу вверх, как будто чего-то ждал от него. Под мышкой у этого человека была книга.

— Почему ты плачешь, малыш? — спросил он.

Я не ответил.

— Куда ты идешь? Может, ты заблудился?

— Нет, не заблудился, я шел по следу отца,— ответил я.

И пошел дальше, в школу, продолжая отцовский след, который прервался на углу, ясно отпечатывая на покрытой свежим снегом улице свои следы.

Когда я сейчас вспоминаю об этом, запах пороха, который остался в пустых гильзах, представляется мне запахом той страшной войны. Хотя война была далеко от меня, как облака, проплывающие над вершинами гор, запах ее вместе с горем остался в моем сердце.

...Встретиться бы сейчас с Болдом. Я бы ему сказал теперь, что отца я люблю больше.

Перевод Н. ОЧИРОВА

■

О. ЯМСУРЕН (Монголия). Водопой

ТЕННЕССИ УИЛЬЯМС

Рассказы

■

Перевод с английского С. МИТИНОЙ

Поле голубых детей

В ту весну, когда Майра оканчивала университет штата, непонятное ей самой беспокойство овладело ею. Нет, то не было обычное беспокойство бьющей через край юности. К нему примешивалось какое-то нервное возбуждение. Что бы она ни делала, за что б ни бралась, от всего оставалось чувство неудовлетворенности. Даже возвращаясь с танцев из клуба студенческой корпорации, где она весь вечер была нарасхват, Майра не испытывала настоящей усталости, от какой валишься с ног. Ей словно не хватало чего-то, чтобы ночь обрела полную завершенность. Иной раз на нее нападал страх, острый, даже панический — ей казалось, что она то ли потеряла, то ли забыла что-то ужасно важное. На миг она замирала на месте, сосредоточенно морща лоб: пыталась вспомнить, что же это такое выскользнуло у нее из рук — осталось не то за громыхающим сиденьем старенького «родстера», который Керк Эббот одалживал у соседа по общежитию, не то на диване в тускло освещенном фойе клуба, где они сидели в перерыве между танцами.

— Ты что? — спросит, бывало, Керк или еще кто-нибудь, а она в ответ рассмеется резким, отрывистым смехом.

— Ничего. Мне все кажется, я что-то забыла.

Ощущение это не проходило и тогда, когда все как будто оказывалось на месте. Чего-то ей все-таки не хватало Возвращаясь в женское общежитие своей корпорации, она ходила из комнаты в комнату, рассказывала о разных забавных происшествиях минувшего вечера и хохотала до упаду, хоть они были и не такие уж смешные. А когда наконец все укладывались спать, она одна бодрствовала у себя в комнате и порою, сама не ведая почему, вдруг начинала горько плакать, зажимая подушкой рот, чтобы не услыхали соседки; или же усаживалась в пижаме на широкий низкий подоконник и смотрела на университетский городок: на его корпуса, деревья и лужайки, окутанные прекрасным синим сумраком весенней ночи, на белеющий снежной вершиной купол главного здания, на звезды, поразительно крупные и близкие,— и ей казалось, она вот-вот задохнется от нахлынувшего на нее чувства, природу и смысл которого ей не дано было понять.

Когда ватага полупьяных кавалеров, которым тоже не спалось после затянувшихся допоздна танцев, останавливалась у ее дома, чтобы пропеть серенаду, она включала лампочку у кровати и, свесившись из окна, беззвучно била в ладоши, изображая бурные аплодисменты. Потом они уходили, она выключала свет и возвращалась к окну, и ей

было грустно, невыносимо грустно от того, что хриплые их голоса удаляются и замирают где-то на залитых луною аллеях, или же их заглушает шум отъезжающей машины — взревет мотор, простучит взметнувшийся из-под колес гравий, и вот уже слышно лишь тихое, музыкальное жужжание, а затем вновь воцаряется глубочайшее синее безмолвие ночи.

А она все сидела у окна, с комом в горле, и ждала: вот-вот придут слезы, она выплачется, и ей станет легче. Если же слезы не шли, бдение ее иной раз длилось до утра, покуда это болезненное беспокойство не проходило само собою.

В ту весну она взяла у Керка значок его студенческой корпорации[1], но после этого в жизни ее мало что изменилось. Все так же ходила она на свидания с другими. Шла почти с каждым, кто и куда бы ни пригласил, а если Керк сердился, даже не пыталась ему объяснить, какое жгучее беспокойство толкает ее на это,—просто целовала его, покуда он не умолкал, готовый простить ей все что угодно, чуть не любую ее выходку.

С юности — нет, пожалуй, с отрочества — Майра писала стихи, но только изредка. А в ту весну это стало для нее постоянной потребностью. Она сделала открытие: если волна необъяснимого беспокойства взмывает так, что нет сил его вынести, стоит взяться за перо, и на душе становится легче. Отдельные строчки, рифмованные двустишия, а порою и целые строфы вдруг вспыхивали у нее в мозгу, отчетливые и законченные, словно картинки, отбрасываемые на экран волшебным фонарем. Красота их ошеломляла ее — порой это было сродни религиозному экстазу. Она застывала на месте, из груди вырывался вздох. И всякий раз казалось: еще немного, и ей откроется новая, дотоле неведомая область человеческой мысли. Чувство такое, будто стоишь на самой грани огромного, объятого мраком пространства и оно вот-вот расцветет чудесным кристаллом света — совсем как бальная зала: за мгновение перед этим темная, она вдруг озаряется солнечно-ярким сверканием хрустальных люстр и бра, отражаемым зеркалами и до блеска натертым полом. В такие минуты Майра выключала свет в комнате и бросалась к окну. Когда она смотрела на темно-багряный город, на белоснежный купол главного корпуса, высящийся над остальными зданиями, или же как зачарованная слушала взлетающие над тихими улочками голоса — то грустные напевы, то хохот мчащихся на велосипедах парочек,— приоткрывшаяся перед ней красота уже не причиняла жгучей боли, непонятное умиротворение нисходило на нее, словно вдруг разрешился какой-то мучительный вопрос и жизнь сразу стала гораздо проще и приятней.

«Слова — это сеть, которою ловят красоту!»

Фразу эту она записала на одном из последних листков тетради во время лекции о финансовых полномочиях конгресса. Был конец апреля; в тот день она поняла, чего хочет, и с тех пор необъяснимое смятение уже не так терзало ее...

В кружке любителей поэзии, куда входила Майра, был один юноша, звали его Гомер Столлкап. Он был влюблен в нее — уже год или больше. Майра догадывалась об этом по тому, как он поглядывал на нее во время занятий кружка — только там они и виделись. Гомер никогда не смотрел ей прямо в глаза: скользнет по ней взглядом, и все; но по его лицу и даже по напряженной позе — он сидел сжавшись, обхватив руками колени,— она понимала: он ощущает ее при-

[1] В данном случае — символ обручения.

сутствие. Гомер никогда не садился с нею рядом или напротив нее (стулья обычно были расставлены кружком), и она сперва даже решила, что он ее недолюбливает, но постепенно поняла, что робеет он совсем по другой причине.

Гомер не входил ни в одну из студенческих корпораций. Чтобы платить за комнату и еду, работал официантом в студенческой столовой, уборщиком, истопником. В том кругу, к которому принадлежала Майра, с ним никто не водил знакомства, его попросту не замечали. Был он невысокий, коренастый, смуглый. Майра находила, что он привлекателен — правда, на свой, особый лад: горящие черные глаза, прямой нос с широкими ноздрями, уголки подвижного, красиво очерченного рта нервно подергиваются. Движения чересчур размашистые и резкие. Вставая со стула, он едва не опрокидывал его. Когда закуривал сигарету, лицо его искажалось в свирепой гримасе. Обгорелую спичку он швырял так, будто это зажженная шутиха.

Гомера часто видели с девушкой одного с ним типа — из интеллектуалов. Эту самую Герту — как ее там дальше, никто толком не знал — в университетском городке приметили: очень она была странная. На семинарах ее заносило — высказываясь на какую-нибудь волнующую тему, литературную или политическую, она говорила быстро, взахлеб; никто не мог разобрать, о чем, собственно, речь; при этом она брызгала слюной, хватала ртом воздух, взмахивала в ажиотаже руками, словно пытаясь схватить какой-то невидимый предмет; дело кончалось тем, что аудиторию сотрясал взрыв хохота, а преподаватель отворачивался к доске, чтобы скрыть улыбку. Выглядела эта пара нелепо: Герта — а она была на две головы выше Гомера — шагала впереди, таща своего спутника за рукав пиджака, словно боялась, как бы он не удрал; то и дело кто-нибудь из них (а иногда оба сразу) разражался неистовым хохотом, который был слышен за целый квартал.

Гомер писал стихи сложные. И неровные. Местами в них чувствовалось влияние Харта Крейна, местами же наивной ясностью они напоминали Сару Тиздейл. И вдруг какая-нибудь строка, образ — прямо-таки пронзительные по своей свежести, остроте видения. Всякий раз, как Гомер читал свои стихи на занятиях кружка, Герта подпрыгивала на стуле, словно через нее пропускали электрический ток; она пристально вглядывалась в надменно улыбающиеся лица, и ее близоруко сощуренные глаза сперва требовали, а потом уже только молили остальных присоединиться к бессвязным и неумеренным похвалам, которые так и сыпались из ее влажного рта. Но когда Герта умолкала, одна только Майра давала себе труд хоть что-то сказать о прочитанных стихах. Остальные отмалчивались — кто от растерянности, кто от полнейшего безразличия, а кто и из враждебности. Лицо у Гомера наливалось темной краской, и он до конца занятия не отрывал взгляда от собственных колен. Пальцы его загибали уголки аккуратных страничек, словно стихи с них вдруг смыло или же они вообще не были написаны и перед ним просто-напросто чистые листки, которые он только затем и взял с собою, чтобы было что повертеть в руках.

Майре всегда хотелось высказаться о его стихах поподробней, но набор ее критических суждений был скуден.

— По-моему, прелесть,— только и говорила она. Или: — Мне очень понравилось.

А Гомер так и сидел не поднимая глаз, лицо его еще больше темнело, и Майра прикусывала язык, словно наказывая себя за этот сухой отзыв. Ей хотелось положить руку на его пальцы, чтоб они перестали теребить аккуратные листочки, чтоб обрели покой.

Только в июне, когда кончилось последнее в том учебном году занятие кружка, Майра решилась заговорить с Гомером. Увидела, что он стоит в конце коридора у питьевого фонтанчика, неожиданно для себя бросилась к нему и выпалила единым духом, что его стихи самые лучшие из ненапечатанных, какие ей доводилось слышать, и что надо ему отправить их в хороший литературный журнал, и что ребята у них в кружке просто кретины, раз не сумели его оценить.

Гомер стоял молча, руки в карманах стиснуты в кулаки.

Пока Майра говорила, он не смотрел на нее. Но когда она кончила, больше не смог сдерживать радостное возбуждение. Выхватил из портфеля пачку исписанных листков и сунул ей.

— Вот, прочтите, пожалуйста,— попросил он.— И скажите, как они вам.

По лестнице они спускались вместе. На последней ступеньке Гомер споткнулся, и Майре пришлось схватить его за руку, чтобы он не упал. Ее трогала и забавляла и эта его неловкость, и то, что он не может скрыть, до чего счастлив, идя с нею рядом. Они вышли из белого каменного корпуса, и в лицо им благодатным потоком хлынул лимонно-желтый свет предвечернего солнца. Воздух полнился звонками — было ровно пять тридцать — и воркованием голубей. Белое перышко, выпавшее из голубиного крыла, плавно опустилось Майре на голову. Гомер снял его, засунул за ленту своей шляпы, и, уже распрощавшись с ним, Майра всю дорогу до общежития чувствовала быстрое, легкое прикосновение его пальцев. И все думала: а оставит ли он это перышко у себя, будет ли долго-долго хранить его, как сокровище, лишь потому, что оно коснулось ее волос?

В ту же ночь, когда общежитие погрузилось во тьму, она достала листки со стихами Гомера и прочла их залпом. Чем дальше Майра читала, тем сильней поднималась в ней радость. Многое было ей непонятно, но волнение все росло, все больше овладевало ею. Когда она кончила, ее била дрожь — дрожь, вот как бывает, когда выйдешь из теплой воды и тебя обдаст холодом.

Она оделась, сбежала вниз по лестнице, сама не зная, что будет делать дальше. Двигалась машинально, бездумно. И вместе с тем никогда еще она не действовала так уверенно. Отперла входную дверь, вышла и, быстро пройдя по вымощенной кирпичом дорожке, свернула влево; все так же торопливо шагала она по залитым луной улочкам, пока не очутилась у здания, где жил Гомер. И сама удивилась тому, что ноги принесли её сюда.

В ветвях больших дубов трещали цикады — до этой минуты она не слышала их. А подняв голову, увидела над западным крылом большого каркасного дома семь сбившихся в кучку звезд — Плеяды, Семеро сестер. Они жались друг к дружке, словно юные девушки, бредущие через темный лес. Майра прислушалась: ни единого голоса, ни единого звука ниоткуда, лишь стрекочут цикады да едва слышно шуршит при каждом движении ее белая юбка.

Торопливо обогнув дом, она подошла к двери, из которой по утрам появлялся Гомер. Постучала — два отрывистых, четких удара — и всем телом припала к кирпичной стене, дыша прерывисто и часто. Немного спустя постучала еще раз. Сквозь дверное стекло ей были видны ступеньки — спуск вниз. Там, внизу — приоткрытая дверь и за ней освещенная комната. Сперва показалась тень юноши, а потом и он сам: торопливо накинув купальный халат, он стал подниматься по лестнице, хмуро глядя вверх, на входную дверь.

Но вот Гомер открыл, и Майра шепотом выдохнула его имя.

Чуть не минуту он простоял молча. Потом схватил ее за руку, втянул в дом.

— Майра, вы?..

— Да, я,— рассмеялась Майра.— Сама не знаю, что на меня нашло. Читала ваши стихи, и вдруг так захотелось тут же, немедленно вас увидеть, сказать, до чего...

У нее перехватило дыхание, и она привалилась к закрытой двери. Теперь уже не он старательно прятал глаза, а она. Взгляд ее скользнул вниз, на полы его безобразного халата, из-под которого виднелись босые ноги — такие большие, костлявые, белые, они напугали ее. Ей вспомнилось, как жадно и быстро он окидывал взглядом ее всю, с головы до пят, как его затрясло сегодня вечером, когда она подошла к нему в коридоре, как эти огромные ноги зацепились за ступеньку и ей пришлось подхватить его, чтобы он не упал.

— Одно меня особенно поразило,— сказала она, с трудом выговаривая слова.— Ну, там еще про поле голубых цветов...

— Ах, то! Поле голубых детей, вы хотели сказать.

— Да-да, то самое.

Она осмелела, вскинула глаза.

— Спустимся ко мне, Майра.

— Ой, ну что вы!

— А что тут такого?

— Ну как же так. Если меня здесь застукают...

— Не застукают!

— ...меня же выгонят!

Наступило короткое молчание.

— Минутку!

Он стал торопливо спускаться с лестницы, но на третьей ступеньке обернулся:

— Подождите меня, Майра. Минуту, не больше.

Она кивнула неожиданно для себя самой и услыхала, как он, стремительно сбежав вниз, ринулся к себе в комнату. Сквозь дверное стекло ей видно было, как мечется по стенам и полу его тень. Он торопливо одевался. В приоткрытую дверь комнаты она на мгновение увидела его обнаженным по пояс, и могучий торс, в тенях от лампы казавшийся чеканным, поразил и неожиданно взволновал ее. В этот миг Гомер вдруг обрел для нее телесную сущность, которой она не ощущала прежде. А теперь ощутила, и гораздо острее, чем, скажем, с Керком Эбботом, да и всеми другими молодыми людьми, с кем ей доводилось встречаться в университете.

Минуту спустя он вышел из комнаты, закрыл дверь и, бесшумно поднявшись по лестнице, встал перед Майрой.

— Извините, что я так долго.

— Вовсе и не долго.

Он взял ее за руку, они спустились с крыльца и, обойдя дом, очутились у фасада. Дуб на газоне перед домом казался великаном, и вообще все вокруг словно бы увеличилось в размерах, а звуки стали отчетливей, громче, даже похрустывание гравия под их белыми туфлями. Майра так и ждала: вот сейчас из всех окон верхних этажей высунутся шарообразные головы, пронзительные голоса поднимут тревогу, со всех крыш станут выкликать ее имя, и толпы людей устремятся за нею в погоню...

— Куда мы?— спросила она, идя вслед за ним по дорожке.

— Мне хочется показать вам поле — то, про которое стихи.

До поля было недалеко. Вскоре дорожка кончилась, и они почувствовали сквозь подошвы туфель бархатистую прохладу земли. Жидкое лунное сияние текло сквозь гущу узорчатых дубовых ли-

стьев, игра света и тени превращала пыльную дорогу в мерно струящийся поток. На пути у них стала невысокая ограда. Юноша перемахнул через нее. Протянул ей руки. Она взобралась на верхнюю планку, и он перенес ее на землю. Но не отпустил, а прижал к себе еще крепче.

— Вот оно, поле,— сказал он.— Поле голубых детей.

Она заглянула за его темное плечо. И правда, по всему полю танцевали голубые цветы. Они клонились под набегающим ветерком — голубые волны бежали по полю с тихим шепотом, и казалось, это приглушенные, едва слышные вскрики играющей детворы.

Майре вспомнилось, как ночами она сидела у окна и горько плакала, сама не ведая почему; как белел снежным пиком купол главного здания, как ходили волнами в лунном свете ветви деревьев; вспомнились безмолвные ночи и поющие голоса — поначалу такие далекие, что наводили грусть, они постепенно приближались — и эти глупые, нежные серенады, и аромат таволги, и ясные, как светильники, звезды в разрывах облаков; вспомнилось, как душило ее непонятное волнение; а еще — страх, что через месяц-другой все это кончится, внезапно и навсегда. И она крепче обхватила плечи юноши. Он был ей почти чужой. Ведь до этой ночи она даже не рассмотрела его толком; и все-таки сейчас он был ей невыразимо близок, никогда не было у нее человека ближе его.

Он повел ее через поле, цветы голубыми волнами устремились к ней, и она ощутила обнаженными икрами их мягкие лепестки; стала на колени, раскинула меж цветов руки, приникла губами к их головкам, погрузилась в них целиком; цветы приняли ее в себя, раскрыли ей объятия, и она словно опьянела. Юноша стал на колени рядом с нею, коснулся пальцами ее щеки, потом губ и волос. Теперь они оба стояли на коленях среди цветов и смотрели друг на друга. Он улыбался. Ветерок подхватил прядь ее распущенных волос, бросил ему в лицо. Обеими руками он бережно уложил эту прядку на место, потом ладони его соскользнули ей на затылок, сомкнулись в замок, он притянул ее голову к себе и прижал ее губы к своим, прижимал все сильнее, сильнее, и вот зубы ее вдавились в верхнюю губу, и она ощутила соленый привкус крови. У нее перехватило дыхание, губы раскрылись, и она опустилась навзничь меж шепчущихся голубых цветов.

А потом у нее достало здравого смысла понять, что все это совершенно безнадежно. Она отослала Гомеру его стихи, приложив к ним коротенькую записку. Записка вышла неожиданно официальной и напыщенной — может быть, потому, что она смертельно боялась самое себя, когда ее писала. Майра сообщала Гомеру, что у нее есть жених, Керк Эббот, и они собираются летом обвенчаться; объясняла, что незачем, невозможно длить то прекрасное, но обреченное гибели, что свершилось минувшею ночью в поле.

Она увидела его еще один только раз. Он шел по студенческому городку с этой своей приятельницей Гертой — долговязой, нескладной девицей в очках с толстыми стеклами. Повиснув на руке у Гомера, Герта вся сотрясалась от нелепо пронзительного хохота, и хоть его было слышно за несколько кварталов, смех этот был непохож на настоящий.

В августе Майра и Керк поженились. Керк получил работу в телефонной компании в Поплар-Фоллз, они жили в малогабаритной

квартирке и были умеренно счастливы. Теперь ею редко овладевало беспокойство. И стихов она больше не писала. Жизнь казалась ей полной и без них. Иной раз она думала: а пишет ли еще Гомер? Но в литературных журналах имя его не встречалось, и она решила, что, в общем, не так уж они, наверно, значительны, его стихи.

Но однажды вечером поздней весной, через несколько лет после свадьбы, Керк Эббот, вернувшись со службы усталый и голодный, нашел под сахарницей на откидном столике кое-как нацарапанную записку:

«Уехала часа на два в Карсвилл.

Майра».

Уже совсем стемнело; тихая лунная ночь.

Проехав городок, Майра свернула на юг, и вот она в открытом поле. Она остановила машину, вышла, перелезла через невысокую ограду. Поле было совсем такое, каким запомнилось ей. Торопливо шла она по цветам и вдруг разрыдалась, упала средь них на колени. Плакала долго, чуть ли не час, потом поднялась, тщательно отряхнула чулки и юбку. Она снова была совершенно спокойна, вполне владела собою. Майра пошла обратно к машине. Теперь она знала: больше эта нелепая выходка не повторится. Последние часы ее тревожной юности остались позади.

Поздравляю с десятым августа!

День начался нескладно уже за завтраком, а если говорить точно — все пошло вкривь и вкось еще раньше, когда Хорн, просунув голову в узкий «кабинет», служивший Элфинстоун спальней два жарких месяца, август и сентябрь, крикнула ей: «Поздравляю с десятым августа!» — потом убрала голову и с треском захлопнула дверь, разогнав сон приятельницы, мучительно-чуткий, такой чуткий, что его и сном не всегда можно было назвать.

А суть была вот в чем: по давнему соглашению между двумя дамами собственно спальню с кондиционером август и сентябрь занимала Хорн, а остальные месяцы — Элфинстоун. С первого взгляда могло показаться, что в отношении Элфинстоун сделка более чем справедлива. Женщины договорились обо всем вполне дружески десять лет тому назад, когда въезжали в квартиру, но за столь долгий срок соглашение, достигнутое вполне дружески, может стать обременительным для одной из сторон, и теперь, возвращаясь мыслью к этой их договоренности, Элфинстоун не могла избавиться от подозрения, что Хорн, коренной жительнице Нью-Йорка, заранее было ясно: у нее-то спальня с кондиционером будет в самые-самые жаркие месяцы. Элфинстоун припомнилось даже — если только память не изменяет ей,— что Хорн тогда откровенно призналась: на Манхэттене август обычно самый жаркий месяц, да и сентябрь редко когда выдается прохладный, но при этом добавила, что ведь Элфинстоун в любое время может поехать к своей матери, в загородный дом «Тенистая поляна», и вообще у Элфинстоун нет необходимости изо дня в день летом ли, зимой ли рано вставать — ведь она, так сказать, лицо свободной профессии (Элфинстоун была консультантом по вопросам генеалогии, причем узкой ее специальностью были семейства первых поселенцев Виргинии), а вот ей, Хорн, надо являться на работу к определенному времени, минута в минуту.

Вновь и вновь пережевывая эти мысли, Элфинстоун встала, умы-

лась в ванной и теперь могла выйти с мрачным, но, как ей казалось, исполненным достоинства видом в гостиную их тесной квартирки на пятом этаже доходного дома по Шестьдесят первой Восточной улице. Элфинстоун успела бросить на себя взгляд в зеркало и потому знала, что выглядит неважно. В это лето к ней пришла старость, и не то чтобы крадучись, неслышной поступью, нет, старость набросилась на нее решительно и беспощадно — вот как сейчас Хорн с этим своим выкриком: «Поздравляю с десятым августа!»

— А чем оно, собственно, знаменательно, это десятое августа? — деланно небрежным тоном спросила Элфинстоун, входя в гостиную.

Хорн хмыкнула:

— Просто десятое августа, только и всего.

— Но зачем тогда было будить меня в такую рань?

— А затем, что вчера вечером вы сами просили разбудить вас, как только я встану: док Шрайбер переменил вам время, сегодня он хочет принять вас в девять, посмотреть, какое у вас душевное состояние по утрам.

— Да, много сегодня по мне увидишь, после трех бессонных ночей кряду.

— А вам не кажется, что ему надо посмотреть вас именно утром, когда вы в таком жутко угнетенном состоянии?

— Но это угнетенное состояние по утрам у меня только из-за длительной бессонницы, оно не связано с теми трудностями, которые помогает мне одолеть Шрайбер, и вообще, очень мне нужно платить ему доллар в минуту лишь за то, чтобы лежать на этой его кушетке,— ведь я так измочалена, у меня язык не ворочается, я и говорить с ним не в силах.

— А может, вам удастся вздремнуть на этой самой кушетке? — весело спросила Хорн.— И знаете, Элфинстоун, я все больше и больше убеждаюсь: ваша постоянная раздражительность — а этим летом она очень усилилась — не что иное, как бессознательная реакция на методы Фрейда, чем-то они вас задевают. Вы родились под знаком Овна, а таким людям, особенно когда наступает пора Козерога, может помочь только Юнг. Нет, это точно: для родившихся под знаком Овна единственная надежда — Юнг.

Элфинстоун почувствовала, что вся закипает и вот-вот взорвется, но была до того обессилена, что почла за лучшее подавить ярость и перевести разговор на панамского попугая по кличке Лорита — ей как раз бросилось в глаза, что птичья клетка почему-то пуста.

— Куда вы девали Лориту? — спросила она так свирепо, словно заподозрила, что приятельница свернула попугаю шею и выбросила его в мусорный контейнер.

— Лорита прогуливается,— бодро ответствовала Хорн.

— Вовсе незачем ей прогуливаться, пока вы не ушли на работу,— буркнула Элфинстоун.— Утром вы так носитесь по дому, что можете ее попросту затоптать.

— Бегаю я быстро, моя дорогая, но под ноги все-таки смотрю; а вообще-то Лорита в своем летнем дворце.

«Летним дворцом» именовалась очень просторная, причудливо изукрашенная клетка, выставленная на балкончик за двойною стеклянной дверью, и Лорита действительно была там.

— В один прекрасный день,— мрачно изрекла Элфинстоун,— этот попугай вдруг обнаружит, что умеет летать, и тогда — прости-прощай Лорита!

— Что-то сегодня из вас так и сыплются мрачные пророчества. Держу пари: док Шрайбер наслушается их вдоволь.

Они пили кофе, сидя на уютном «диванчике для влюбленных»,

обтянутом кремовым атласом. Этот диванчик на двоих стоял перед телевизором, за которым виднелся балкон, а за балконом — задние фасады доходных домов из бурого песчаника. Вид был приятный — на Манхэттене редко где увидишь столько зелени, разве что в парке. Телевизор был включен. Официальный представитель системы здравоохранения сообщил, что этим летом в Нью-Йорке участились случаи заболевания полиомиелитом.

— Когда вы наконец сделаете себе прививку? — спросила Хорн.

Но Элфинстоун ответила, что нынешним летом делать прививку не собирается.

— Это что, помрачение ума? — спросила Хорн.

— Нет, возраст: мне уже за сорок.

— При чем тут возраст?

— А при том, что я уже вне опасности,— горделиво ответила Элфинстоун.

— Но теория эта лопнула. Вот же человек только что сказал — сейчас для полиомиелита возрастных ограничений, в сущности, нет.

— Хорн, вы готовы делать любые прививки, глотать любые таблетки — и все по довольно страниой причине: не потому, что действительно боитесь заболеть и умереть, а потому что бессознательно жаждете смерти; вот почему вас постоянно гложет чувство вины и вы стремитесь себя уверить, будто делаете решительно все, чтобы укрепить свое здоровье и продлить себе жизнь.

Разговаривали они внешне спокойно, но друг на друга не смотрели. А это уже само по себе не сулило ничего доброго на десятое августа и не предвещало пышного цветения их дружбы на дальнейшее.

— Да, причина и впрямь «очень странная», ничего не скажешь, очень странная. С чего бы это мне жаждать смерти?

Теперь обе говорили глуховатыми, срывающимися голосами:

— Вчера вечером, Хорн, вы посмотрели на город с балкона и сказали: «Бог ты мой, что за скопище исполинских надгробий, какой-то некрополь, весь в ярких огнях. Величайшие надгробья в величайшем некрополе мира». Я передала эти ваши слова доктору Шрайберу и призналась, что они ужасно меня расстроили, а он говорит: «Вы живете под одной крышей с очень больным человеком. Если замечательная архитектура прекрасного города наводит на мысль о надгробьях и некрополе — это симптомы глубоких психических сдвигов, куда более глубоких, чем у вас, и хотя я знаю, как вы цените это соседство, мой долг вас предупредить: именно сейчас, когда сами вы всеми силами стараетесь выйти из депрессии, постоянное воздействие такого нигилизма, такого влечения к смерти для вас прямо-таки пагубно. Жить вместе и впредь вы можете, на мой взгляд, лишь в одном случае: если та больная, ваша приятельница, тоже станет лечиться психотерапией. Но вряд ли такая мысль придется ей по душе — ведь она не желает выкарабкиваться из этого состояния, напротив: ее тянет погружаться в него все глубже и глубже. Это вполне явствует из того,— сказал он,— что вы рассказываете о людях, с которыми она сейчас общается».

Они помолчали, потом Хорн спросила:

— Вы и в самом деле считаете меня помехой для вашего лечения у психоаналитика? Если так, то могу вас заверить: помеха готова самоустраниться, притом с радостью.

— Ваши новые друзья вызывают у Шрайбера опасения, главным образом вот почему: он считает, что у них агрессивные инстинкты.

— Ах вон оно что,— сказала Хорн.— Но ведь он ни разу в жизни их не видел, а мне кажется, судить о компании людей столь разно-

родных, да к тому же ни разу не пообщавшись ни с кем из них лично — значит брать на себя чертовски много. Правда, я понятия не имею, какими россказнями о моих друзьях вы потчевали дока Шрайбера.

— Да нет же, нет, я ему почти ничего...

— Тогда откуда он вообще о них узнал? Он что, ясновидящий?

— Когда подвергаешься глубинному анализу,— важно проговорила Элфинстоун,— нельзя ничего утаивать от врача.

— Но ведь то, что вы, по вашим словам, не считаете возможным от него утаивать, вовсе не обязательно, правда, так? У, дерьмо, значит, все это просто болтовня — эти ваши разговоры, будто вы понимаете, как для меня важно иметь свою небольшую компанию, раз уж ваша со мною знаться не желает.

— Нет у меня никакой компании,— печально отозвалась Элфинстоун.— Просто несколько однокурсниц из колледжа Сары Лоуренс, с которыми я вынуждена раз в месяц обедать вместе и изредка принимать их здесь — бридж и ужин а-ля фуршет; кстати, в таких случаях я всегда приглашаю вас, да что там, чуть ли не силой тащу, но вы упорно отказываетесь, всего один раз и пришли.

— Вот как,— подхватила Хорн.— А на днях вы говорили, что каждой из нас надо иметь свою небольшую компанию, и ничего тут, мол, нет дурного,— наоборот, это благотворно повлияет на нас обеих в смысле психологическом. Вы говорили — если дадите себе труд припомнить собственные слова,— что каждой из нас надо иметь свой круг знакомых, и тогда мы сможем лучше ладить друг с другом; ну, а коль скоро моя компания настроена к вам враждебно, мне остается только сказать вам...

— Да, *что же именно?*

— Что это *вы* не пожелали общаться с моими друзьями, и в тот единственный раз, когда вы почтили их своим присутствием, в тот единственный вечер, когда вы снизошли до встречи с ними, а не удрали на какое-то скучнейшее сборище выпускниц колледжа Сары Лоуренс, вы то и дело ощетинивались, как еж.

Опять наступило молчание. Обе негромко откашливались, потягивали кофе и не смотрели друг на друга; горячий воздух между ними так и вибрировал. Даже попугай, по-видимому, ощутил, что атмосфера в доме сгустилась: сидя в «летнем дворце», он тихонечко клекотал и мелодично посвистывал, словно стремясь успокоить расстроенных женщин.

— Так вы утверждаете, что у меня влечение к смерти,— прервала молчание Хорн.— Право же, дорогая, обвинение не по адресу. Я-то как раз стремлюсь к жизни, стараюсь расширять и обогащать связи с внешним миром, а вот вы полностью фиксированы на медленном угасании вашей матери, вы словно завидуете ей. Мои друзья, «хиппи из Гринич-Вилледжа», как вы их окрестили, внушают вам ненависть, а все потому, что они богаты духовно, по-настоящему живы, жаждут жизни, жизненные силы в них так и бурлят — и *тут*, и вот *тут*, и вот *тут*.— При этих последних словах она коснулась рукой сперва лба, потом сердца, потом живота.

— И что же, все эти многообразные жизненные силы будут снова бурлить нынче вечером у нас в квартире, а, Хорн?

— Да уж здесь, думаю, будет повеселей, чем в доме у вашей мамули, и то сказать — нуднее, чем там, в «Тенистой поляне», бывает только на сборищах этих ваших сокурсниц по колледжу Сары Лоуренс. Элфинстоун, а что, если вам в этот раз не ездить на субботу и воскресенье к матери? Посидели бы с нами, в нашей маленькой компании, но только приходите не в таком настроении, как прош-

лый раз; нет, будьте милой, естественной, приветливой, не надо этой враждебности, подозрительности, и тогда — я уверена — они поймут вас немного лучше, да и *вы* поймете, почему мне доставляет такую радость общение с людьми, у которых есть своя особая духовная жизнь и...

— Вы хотите сказать, что выпускницы нашего колледжа сплошь слабоумные?

— Да я вовсе не о выпускницах вашего колледжа. Что они мне и что я им? Но на мой взгляд,— тут голос ее зазвенел,— на мой взгляд, просто смехотворно, когда люди делают культ из того, что учились в дерьмовом сверхреспектабельном заведении для снобов, разводят вокруг этого какую-то вонючую мистику.

— Так вот, Хорн, если вы хотите знать, кое-кого из дам коробит от вашей лаллокропии.

— Моей *чего?*

— Лаллокропии, это такой термин в психиатрии — тяга к сквернословию даже в самых неподходящих обстоятельствах.

— У, дерьмо, если этих дамочек коробит...

Фраза осталась неоконченной: Хорн вскочила так стремительно, что немного кофе из ее чашки пролилось на кремовый атлас диванчика. Увидев это, Хорн дико вскрикнула, давая выход раздражению и досаде, копившимся в ней по самым разнообразным причинам все это тягостное утро, и криком ее словно выбросило из комнаты. Пулей ворвалась она на кухню, схватила посудное полотенце, намочила под краном; потом кинулась назад в гостиную и стала оттирать кофейное пятно с элегантного диванчика.

— Ах вон оно что,— проговорила Элфинстоун, и в голосе ее была даже не злоба, а огорчение.— Теперь я понимаю, почему диванчик испорчен. Значит, вы трете мокрым полотенцем атласную обивку — а она сделана из подвенечного платья моей бабушки,— трете всякий раз, как чем-нибудь обольете диванчик, а обливать его вы умудряетесь на удивление часто, и все из враждебности к...

— Ну да, сперва мокрым полотенцем,— ответила Хорн, расслышав лишь первые слова этого скорбного обличения.— А потом я, конечно, оттираю его пятновыводителем «Чудо».

— Что это еще за «Чудо»?

— «Чудо» — это... Ну... пятновыводитель,— прерывисто ответила Хорн: она никак не могла выровнять дыхание, до того ее взволновала эта перепалка, закончившаяся взрывом.— Действует замечательно. Джонни Карсон рекламирует его в передаче «Сегодня вечером».

— Нет, вы совсем спятили,— сказала Элфинстоун.— Ладно, отошлю диванчик обойщику, пусть покроет его мешковиной кофейного цвета. Ну, фарфор и стекло мне, конечно, не уберечь в том бедламе, который здесь предвидится ce soir [1]. Пусть разбивают мой «веджвуд» и «хэвиленд» — ведь это такая мизерная плата за культурное возрождение, которое вы переживаете вот уже несколько месяцев! Я, конечно, не прорицательница, но будь я не я, если в квартире не перевернут все вверх дном...

— Сдали бы свой растреклятый «веджвуд» и «хэвиленд» на хранение, что ли. Кому они нужны, какой от них прок, от этих ваших растреклятых...

— Хорн! — Голос у Элфинстоун угрожающе завибрировал.

Хорн ответила весьма неаппетитным словцом, которым в последнее время обильно уснащала свою речь, и Элфинстоун снова воззвала к ней, с еще большим нажимом повторив ее фамилию:

---

[1] Сегодня вечером *(франц.)*.

— Черт подери, Элфинстоун, я ведь совершенно серьезно. Снимаем крошечную квартирку вместе, а она чуть не вся забита вашими семейными реликвиями — вашим фарфором, и хрусталем, и серебром с монограммой вашей мамули; да и вообще кругом — все вещи вашей мамули, либо мамули вашей мамули, либо мамули ее мамули, и я чувствую себя так, словно вторглась в ваш фамильный склеп. Ну, а книги у нас на полках — бог ты мой, что за книги! Вы только себе представьте, каково мне, когда доктор филологии или философии подходит к полкам, видит одну только генеалогическую муру и думает, будто это я так подбираю себе книги для чтения: «Выдающиеся семейства Юга», том первый, «Выдающиеся семейства Юга», том второй, «Выдающееся дерьмо собачье», и так сверху донизу, от потолка до вашего обюссоновского ковра, все полки, и полки, и...

— Хорн, вам, кажется, известно, что я консультант по вопросам генеалогии, это моя профессия, а работать я вынуждена тут, в этой комнате, и справочники должны быть у меня под рукой!

— Мура собачья, по-моему, вы все это дерьмо давным-давно вызубрили наизусть: и кто трахнул губернатора Динуидди в кустиках клюквы на берегу Потомака, и какое индейское племя — чероки или чоктоу — оскальпировало миссис Элфинстоун при...

— Знаете, Хорн, если у человека предки были из первых поселенцев, ничего зазорного в этом нет.

— Так вот, Элфинстоун, из-за этих ваших предков — первых поселенцев, из-за ваших семейных реликвий квартира мне просто обрыдла! Переберусь-ка я на субботу и воскресенье в отель «Челси», а потом дам вам знать, где и когда вы сможете в очередной раз получить от меня половину денег, которые мы вместе платим за право содержать в этой квартире музей семейства Элфинстоун!

Хорн выбежала из гостиной в спальню, с треском захлопнула дверь и, судя по всему, развила там бешеную деятельность. Элфинстоун обратилась в слух: минут десять, до самого ухода Хорн на службу, в спальне что-то звякало, брякало, а когда она ушла, Элфинстоун встала с загубленного диванчика и отправилась в спальню на рекогносцировку. Полученные данные несколько ее успокоили: оказалось, что, заталкивая второпях свои пожитки в пластиковый мешок, Хорн сломала молнию, а умывальных принадлежностей, включая зубную щетку, вообще не взяла, и поэтому Элфинстоун с полным основанием предположила, что возня с мешком, который так и остался наполовину пустым,— всего-навсего очередная ребяческая выходка Хорн.

В полдень все того же десятого августа Элфинстоун позвонила в научный отдел «Национального журнала общественных проблем», где работала Хорн, и попросила ее к телефону.

У обеих голоса были грустные, приглушенные — до того приглушенные, что во время долгого разговора, прерывавшегося нерешительным молчанием, им не раз приходилось переспрашивать друг у друга то одно, то другое. Разговор велся в мягких, чуть ли не элегических тонах. Из всех тем, вызвавших между ними разногласия, была затронута только одна — прививка против полиомиелита.

— Дорогая,— сказала Элфинстоун,— если вам от этого станет легче, я схожу и сделаю прививку.

Последовало короткое молчание.

— Дорогая,— выговорила наконец Хорн с дрожью в голосе,— вы же знаете, я панически боюсь полиомиелита с тех пор, как им заболел мой двоюродный брат Олфи. Он и по сей день лежит в аппарате искусственного дыхания, только голова торчит наружу, и до того иссох — череп какой-то, на смерть похож, и знаете, дорогая, глаза у него

такие потерянные, и, боже мой, как он смотрит этими голубыми глазами и силится мне улыбнуться, боже ты мой!

Тут они обе расплакались и едва смогли сколько-нибудь внятно сказать друг другу «до свидания».

Но в четыре часа все того же жаркого августовского дня настроение у Элфинстоун вдруг переменилось. Она пошла на прием к психоаналитику и, лежа на кушетке и прижимая к носу бумажную салфеточку, с неимоверной обстоятельностью воспроизвела весь свой утренний разговор с Хорн.

— Когда вы усвоите: если мы с вами уже обсудили какую-нибудь проблему, то возвращаться к ней больше не следует,— укоризненно проговорил доктор Шрайбер и поднялся со своего стула за изголовьем кушетки, давая тем самым понять, что сеанс окончен, а ведь Элфинстоун пробыла у него всего двадцать пять минут — половину оплаченного ею времени, и значит, он просто смошенничал.

С мрачным видом он распахнул перед нею дверь, и, громко всхлипывая, она вышла на раскаленную улицу. Небо было хмурое, но все вокруг дышало зноем.

«*Ничего*, ну просто *ничего*!» — подумала она. Это означало: ничего не поделаешь, надо смириться. Но, вернувшись домой, Элфинстоун неожиданно ощутила прилив воинственности: она зашла в спальню с кондиционером и докончила начатое Хорн дело — упаковала все ее пожитки очень быстро, очень тщательно и аккуратно. Потом свалила весь багаж — четыре места — у самой двери. Затем пошла к себе в комнату, уложила в дорожную сумку те вещи, какие обычно брала с собой, уезжая на субботу и воскресенье, и отправилась на Центральный вокзал, а оттуда поездом до «Тенистой поляны», решив отсиживаться там до тех пор, пока Хорн не поймет весьма прозрачного намека и не покинет навсегда квартиру на Шестьдесят первой Восточной улице.

Когда Элфинстоун добралась до места, оказалось, что у мамочки снова острый приступ астмы — в ее спальне хлопотала присланная врачом сиделка. Зрелище это не вызвало у Элфинстоун никаких чувств, лишь обычную вереницу постыдных мыслей о мамочкином завещании: кому достанется бóльшая часть имущества — замужней сестре с тремя детьми, или же мамочка все-таки поняла, что по справедливости материальную поддержку на будущее надо оказать именно ей, Элфинстоун; а может быть, господи боже мой, все отойдет к Церкви поборников знания — деятельность ее миссионеров в Новой Зеландии была в последние годы предметом особенно пылкого интереса мамочки. Этих низменных мыслей, таившихся где-то на самом дне души, Элфинстоун стыдилась до боли, и когда у мамочки прошел приступ астмы и она, встав с постели, вновь пустилась в рассуждения о вере, исповедуемой «поборниками знания», у Элфинстоун словно гора свалилась с плеч, и она вдруг объявила мамочке, что ей, Элфинстоун, пожалуй, лучше вернуться в Нью-Йорк: ведь она не предупредила Хорн о своем отъезде, а Хорн — женщина нервная, с ней так нельзя.

— От тебя только и слышишь: «Хорн то, Хорн это»,— жалобно проговорила мамочка.— Да кто она, черт побери, такая, эта твоя Хорн? Вот уже десять лет ты только о ней и говоришь. Почему ты зовешь ее по фамилии, что, у нее имени нет? Боже мой, тут что-то не так, меня это всегда тревожило. Как все это понимать? Не знаю, что и думать!

— Ой, мамочка, да тут вовсе не над чем думать,— сказала Элфинстоун.— Мы с нею обе — незамужние женщины интеллигентных профессий, а незамужние женщины интеллигентных профессий все-

гда называют друг друга по фамилии. Так принято на Манхэттене, вот тебе, мамочка, и весь секрет.

— Хм... хм...— проговорила мамочка,— не знаю. Может быть...— Она метнула на дочь острый взгляд, но о Хорн говорить перестала, а вместо этого попросила сиделку помочь ей сесть на горшок.

Ну что ж, мамочка еще раз выкарабкалась из очень тяжелого приступа астмы и теперь собиралась потешить себя: пусть за ней поухаживают немножко, а потом она прямо в постели полакомится вкусным суфле из сыра — Элфинстоун приготовила его им обеим на ужин.

Еще больше утешило и ободрило мамочку то, что врач разрешил сиделке уйти.

— Значит, доктор считает, что мне лучше,— объявила она дочери.

— Да, мамочка,— ответила Элфинстоун.— Когда я приехала, лицо у тебя было какое-то синее, а теперь почти нормального цвета.

— *Синее?* — переспросила мамочка.

— Да, мамочка, даже багровое. Это называется цианоз.

— Боже мой, боже мой,— заахала мамочка.— Цина... Как, ты сказала, это называется?

Увидев, что употребление мудреных медицинских терминов снова вывело мамочку из равновесия, Элфинстоун заговорила с нею попроще: до чего же мамочке идет розовая ночная кофта — теперь, когда цвет лица у мамочки опять нормальный, это особенно заметно, и ведь это она, Элфинстоун, подарила мамочке кофту ко дню ее восьмидесятипятилетия, а еще — вязаные башмачки и вышитый чехол для мамочкиной грелки.

Она помолчала немного, а потом не удержалась, напомнила мамочке, что вот другая, замужняя, дочь, Вайолет, не сочла нужным хотя бы поздравить мамочку с днем рождения, так же, к слову говоря, как и мамочкины внуки — Чарли, Клем и Юнис.

Но мамочка уже не слушала. На нее начало действовать снотворное; огромная расползшаяся старческая грудь медленно и плавно поднималась и опускалась, Элфинстоун подумалось, что так вздымаются и опадают воды океана, успокаиваясь после неистовств тайфуна.

«Поразительное дело, как упорно она всякий раз отгоняет Черную даму»,— мелькнуло у Элфинстоун в голове. («Черной дамой» она мысленно именовала костлявую.)

— Лейси,— обратилась Элфинстоун к мамочкиной экономке,— скажите, в последнее время к мамочке не заходил ее адвокат?

Старуха экономка подала Элфинстоун приготовленный из маслянистого рома пунш и расписание утренних поездов на Манхэттен.

Потягивая пунш, Элфинстоун постепенно утверждалась в мысли, что опасаться старухи экономки нечего. Порою она подозревала Лейси в коварном намерении пережить мамочку и заполучить кое-что из ее имущества, но сейчас, в полночь, ей стало вдруг совершенно ясно, что дряхлой экономке, безусловно, не дотянуть до мамочкиной кончины. У нее тоже астма, а в придачу — ревматоидный полиартрит и отложение солей в позвоночнике, согнувшее ее в дугу; Элфинстоун подумалось даже, что здоровье у Лейси куда хуже, чем у мамочки, и все-таки, она, Лейси, крутится целый день по дому; все дело тут в том, что Лейси держится за жизнь с чисто звериной цепкостью, и Элфинстоун сама не могла бы сказать, нравится ли ей это свойство, будь то в мамочке или в дряхлой мамочкиной экономке.

— Ну, она тоже не вечна,— пробормотала Элфинстоун, не замечая, что думает вслух.

— Вы чего это, барышня? — переспросила экономка.

— Я говорю, мамочка по-прежнему помешана на Церкви поборников знания, хоть вероучение это так и не распространилось дальше Новой Зеландии; да и возникло оно там всего за год до мамочкиного обращения, а случилось это в тысяча девятьсот двенадцатом году, когда они с папой ездили в Окленд; он был тогда уже плох: так и не оправился после удаления предстательной железы.

— Чего?

— Ничего,— тихо ответила Элфинстоун. Потом повысила голос: — Пожалуйста, вызовите мне такси, прямо сейчас.

— Чего?

— *Такси! Вызовите! Прямо сейчас!*

— А...

— Да, я решила не дожидаться утреннего поезда на Манхэттен, поеду на такси. Дорого, конечно, зато...

Фраза так и осталась незаконченной, но смысл ее, если бы Элфинстоун договорила до конца, был бы такой: то-то Хорн поразится, если она, Элфинстоун, нагрянет сейчас домой, в самый разгар вавилонского столпотворения, которое устроили там Хорн и вся эта шатия из Нью-Йоркского университета; она даже придумала, что скажет тому рыжебородому профессору философии. «Вы ведь ратуете за женскую эмансипацию в чисто личных интересах?» — спросит она его.

И пока она спускалась по лестнице в холл мамочкиного летнего рая, на лице у нее медленно возникала улыбка.

«Так-так», — сказала она себе.

При мысли о блестящем стратегическом маневре, который она сейчас осуществит, настроение у нее так поднялось, что у дверей она сунула долларовую бумажку в скрюченную, холодную руку Лейси.

Такси уже дожидалось ее.

Узнав, что проезд до Манхэттена обойдется долларов в восемьдесят, Элфинстоун сердито отпустила водителя, но прежде чем он успел выехать с подъездной дорожки на шоссе, громовым голосом велела ему возвратиться. Ее вдруг осенило: восемьдесят долладов — это меньше того, что она выкладывает за два сеанса доктору Шрайберу, но зато не далее как ранним утром одиннадцатого августа ей почти наверняка удастся навсегда изгнать из своей квартирки и демонологию, и все прочие напасти, которые она вынуждена терпеть не только от этой шатии из Нью-Йоркского университета, но и от...

«Да, Хорн будет липнуть ко мне как смола, просить, чтобы я ее оставила, но уж с этим мы как-нибудь управимся!»

Когда Элфинстоун, открыв дверь своим ключом, вошла в квартирку на Шестьдесят первой улице, глазам ее представилась вовсе не та картина, какую она рисовала себе во время столь продолжительной — и дорогостоящей — обратной поездки.

Не то что столпотворения — ни малейшего беспорядка не было в чинной квартирке Хорн-Элфинстоун.

Хорн? Где же она? А, вот.

Сидя на том самом диванчике для влюбленных, обивка которого была безнадежно загублена пролитым кофе, Хорн спала перед ящиком для идиотов. Он был включен, хотя обозрение «Сегодня вечером» и даже «Кино для полуночников» уже давно кончились. Экран, нелепо-яркое белое пятно с мельтешащими по нему черными точечками, был словно негатив короткометражки — метель в далеком необитае-

мом краю, а звуковым сопровождением служил неумолкающий приглушенный гул. Господи, да ведь звук этот как бы выражает душевное состояние самой Элфинстоун, то, что происходит в ее сознании и подсознании; только во время поездки в такси (вот дурацкое мотовство!) его словно бы выключили, а сейчас включили, боже мой!

Элфинстоун внимательно оглядела спавшую на диванчике Хорн — такую маленькую, поникшую; она то негромко похрапывала, то что-то бормотала во сне. Перед нею, на столике для смешивания коктейлей, стояла полупустая бутылка виски и один-единственный стакан.

Видимо, прежде чем уснуть перед ящиком для идиотов, Хорн напилась — в полном, совершеннейшем одиночестве...

Нет, тут какая-то загадка.

Элфинстоун обратилась в бюро обслуживания — узнать, кто звонил за это время ей и Хорн по телефону и что просил передать.

Единственное сообщение для нее лично было от сокурсницы по колледжу Сары Лоуренс: их предстоящая встреча (они собирались вместе позавтракать) отменяется — у сокурсницы грипп. А вот единственное сообщение для Хорн оказалось куда интересней. Краткость его Элфинстоун сочла оскорбительной: «Извините, все отменяется. Сэнди Кастоу» (Кастоу был тот самый рыжебородый профессор философии из Лиги ядовитого плюща [1]).

Сочувствие к маленькому, всеми покинутому существу, притулившемуся на диванчике для влюбленных, разлилось у Элфинстоун в сердце как умиротворяюще-блаженное хмельное тепло. Она выключила телевизор. Негатив короткой ленты — ночная метель в далеком пустынном краю — медленно угас, в комнате стало темно и тихо, лишь всхрапывала и что-то бормотала во сне Хорн да изредка клекотал сонный попугай, его так и позабыли на балконе в «летнем дворце», и там он, видимо, был бы обречен просидеть всю ночь.

— Ах ты, боже мой,— проговорила Элфинстоун,— десятое августа мы пережили, оно позади; уж это, во всяком случае, можно сказать совершенно точно...

И тут она поступила как-то странно, до того странно, что в дальнейшем не сможет вспоминать об этом без смущения и на другой же день расскажет доктору Шрайберу, уверенная, что тот обнаружит в ее действиях некий глубинный смысл, а он, несомненно, должен быть.

Опустившись перед диванчиком на пол, она осторожно припала щекой к костлявым коленкам Хорн, обняла одною рукой ее тощие икры. И в такой позе — не слишком удобной, но чем-то ее успокаивающей — стала вглядываться в силуэт города, а город вползал в серое утро с неохотой, такою понятной, потому что, боже ты мой, ведь Хорн была права, когда говорила о монолитах, громоздящихся в деловых кварталах города: они и впрямь похожи на ряды освещенных надгробий в огромном некрополе.

Казалось, и утреннему свету не нравится этот город, он заползает в его нутро и обволакивает снаружи с омерзением, тоже вполне понятным. Утренний свет и город заключали друг друга в объятия, словно двое лицедеев, специально нанятых для того, чтобы совершить любовный акт, отвратительный в равной мере им обоим.

— С одиннадцатым вас августа,— сочувственно прошептала Элфинстоун костлявым коленкам Хорн, а про себя решила: послезавтра, нет, завтра же она начнет курс прививок против полиомиелита, превозможет ребячий страх перед иглою шприца.

■

[1] «Лигой плюща» в США называют старейшие университеты Новой Англии, а также интеллектуальную элиту.

Чилийская поэзия борется

Гравюра финского художника Тапио Таниоваара «Чили 1973».

Перевод с испанского
СЕРГЕЯ ГОНЧАРЕНКО

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

Романс о деревне Амарго

Посередине Чили,
точнее — в горах Мальеко,
спят у подножья утеса
двадцать два человека.
Двадцать два землепашца,
заколотые штыками.
Как вечный огонь над ними —
снегов голубое пламя.
И каждый, глаз не смыкая,
лежит с обагренной грудью
и ждет от живых сигнала,
чтобы спуститься к людям.
Ласкает им лица ветер,
срываясь с гранитной кручи,
и девичьи пряди ливня
на них проливают тучи.
Когда, наконец, над Чили
заря запылает ярко,
товарищи, не забудьте
расстрелянных из Амарго!
Пускай палачи услышат
тяжелую поступь ночью,
и двадцать две тени вперят
им в лица мертвые очи.

Когда, наконец, над Чили
заря запылает ярко,
товарищи, не забудьте
расстрелянных из Амарго!

ФЕРНАНДО АЛЕГРИЯ

Бой в Сантьяго

Голодные стаи танков
вломились в рассветный город.
Броней тишину тараня,
натужно ревут моторы.
К оружию, компаньеро!
Трубач, протруби тревогу!
Товарищ, в ружье! Измене
Собой преградй дорогу!
«Три раны смертельные в сердце...
От них никуда не деться...»

В пристрелянные пулеметы
уже заправлены ленты.
Не эти ли пули ищут
товарища президента?
Повсюду — головорезы
из «Патриа и либертад»[1].
На улице Томаса Мора[2]
слышны голоса солдат.
«Три раны смертельные в сердце...
От них никуда не деться...»

Сан Борха в огне и дыме...
По радио — подлые речи:
они тебе предлагают,
наш президент, отречься!
Но ты и твоя охрана
заняли оборону.
Товарищи, к Ла Монеде,
к последнему бастиону!
«Три раны смертельные в сердце...
От них никуда не деться...»

С линкоров прямой наводкой
по Чили, огнем объятой...
Какие они матросы?
Доподлинные пираты!
Они не морские волки —
они морские акулы.
Сантьяго лежит в руинах.
Сантьяго дрожит от гула.
«Три раны смертельные в сердце...
От них никуда не деться...»

---

[1] Военизированная фашистская организация.
[2] Улица, где была расположена резиденция Сальвадора Альенде.

Пикируют самолеты
с грузом огня и смерти,
нашему президенту
в самое сердце метя.
Сладка ли на вкус, иуды,
над родиною победа?
Ликуйте! В руинах — Чили
и в пламени — Ла Монеда.
«Три раны смертельные в сердце...
От них никуда не деться...»

Рабочие баррикады
прикрыли Альенде грудью,
но что их винтовки против
бьющих в упор орудий?
Редеют ряды рабочих.
И каждый падает, зная,
что бой проигран,— и все же
сжимает ружье и знамя.
«Три раны смертельные в сердце...
От них никуда не деться...»

Там, во дворце президентском,
пронзенном свинцовым шквалом,
последний прием готовит
Альенде своим генералам.
На приступ дворца солдаты
ратью идут несметной.
Но разве страшны героям
свинцовые речи смерти?
«Три раны смертельные в сердце...
От них никуда не деться...»

И рухнул Альенде наземь,
пулями изрешеченный.
И стихло все в Ла Монеде,
от грозного дыма черной.
Залитые кровью плиты
медленным шагом меря,
смерть из дворца выходит
и затворяет двери.

Виктор Хара

Под плач оборванной струны
ты в небесах, певец безрукий,
бредешь, внимая сердцем муке
своей истерзанной страны,
лишенной света и весны
отчизне, стонущей в могиле,

где реки сохнут, обессилев,
и гаснут розы; где в ночи
пируют только палачи,
которые тебя убили.

Но в жарком кумаче знамен
звенит разбитая гитара,
и голос твой, сродни пожару,
воспламеняет небосклон,
и ветер грозных Анд — а он,
подобно огненной комете,
парит над Чили, ярый шквал,
под сердце беспощадно метя
тому, кто песню оборвал,
но даровал певцу бессмертье.

И каждый, кто с тобой казнен
за то, что признавал закон
не подлой своры, а народа —
закон по имени Свобода,—
встает, тобою пробужден.
А ты поешь, рассвет пророча
отчизне, тонущей во мгле,
во мраке стонущей земле,—
и, слушая тебя, рабочий
растит зарю на смену ночи.

Я слышу, брат, как ты поешь
на Стадионе, полном горя,
и голос твой, как голос моря,
как голос Чили, не убьешь.
Бессильным оказался нож,
и пули не достигли цели —
не потому, что плохо целил
в тебя палач, а потому,
что в смертный миг, уйдя во тьму,
певец, ты стал народом целым.

МАНУЭЛЬ РОДРИГЕС

Исчезновения в Сантьяго

Ласточки больше не делают лета в Сантьяго.
Они умирают, они задыхаются и исчезают
в местах не столь отдаленных.
Они случайно падают наземь с балконов,
и кто-то тщательно
собирает и прячет их маленькие тела.
Ласточки, вы не из этого летосчисленья.

Ласточки, самое длинное время года.
Вас не хватает нашему воздуху, нашей жизни,
но если вы появляетесь в небе —
вам помогают исчезнуть.

ОСКАР АН

У смерти золотой зуб

Вообще-то у смерти нету зубов.
Но когда умирает богатый,
у нее оказывается золотой зуб.
А когда умирает бедняк,
у нее ни единого зуба. Понял, малый?

У смерти во рту
вместо слюны — желудочный сок
да, может быть, пара гнилых коренных.

Я с ней запанибрата.
«Эй, костлявая,— говорю,— как поживаешь?»
У меня пока что молочные зубы.

Памяти Неруды

Когда солнце смерти
выпьет всю воду из рек твоей родины
и его жадные лучи
иссушат в земле твою кожу,
тогда твоя кровь
поднимется в небо и хлынет
дождем в пересохшие русла,
дождем в пересохшие русла.

ГОНСАЛО РОХАС

Из-под земли

Нас подвешивали за ноги, нам
вырывали глаза и ножами
писали на спинах. Я, например,
номер 25 033.
Нас просили
ласково,
почти шепотом,
чтобы мы крикнули:
да здравствует этот подонок!
Остальное
знают могильные камни и ветер.

ТИТО ВАЛЕНСУЭЛА

■ ■ ■

Заплутавшее где-то
на самом дне
подземного лабиринта,
в этом всепоглощающем чреве
кита под названьем сырая земля,
твое наточенное, как лезвие, имя,
отдающее запахом гари,
внезапно возникло
на устах у девушки, распространявшей листовки,
возникло вместе с другими именами,
которые, помнишь,
перечислялись в газетах
через много дней
после твоей разлуки
с нашей землей, со своею кровью.

СЕРХИО МАСИАС

Заповедь

И сказал Фидель:
Не отдавайте улицу в руки врага,
ибо улицу сотворил народ,
чтобы ходить на работу и на прогулку.
Ибо по ней человек проносит свой хлеб насущный.
Ибо ее захотят захватить
торговцы водой и светом.
Надо стеречь все дороги.
...Поэтому, любимая, нет нам с тобой покоя.

СЕСИЛИА ВИКУНЬЯ

Все дюны
говорят о дюнах
чилийского Севера

Кактусы родятся
в зеленой рубашке
со временем темнеющей от солнца
а затем воздевают
над гребнями дюн
прямые листья
словно нацеленные в зенит ракеты
и солнечный свет рассеченный

наточенной кромкой листа
обагряет распятое небо
высвечивая на песке
запекшиеся сгустки крови
убитых замученных
вчера и сегодня
здесь
в этих дюнах
слышишь поэтому
стреляй стройся в ряды
защищайся во имя
себя и меня!

Говорят очевидцы

Кто в Чили сегодня
может в солнечный день
сказать: «Добрый день!» —
зная наверняка, что день
продлится целый день?

Кто может сказать наверняка,
не шпик ли
его приятель
и стоит ли с ним
говорить откровенно?

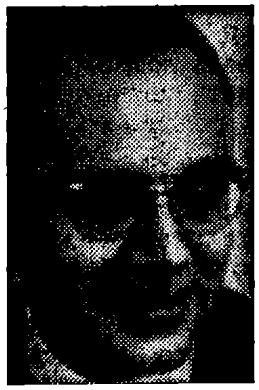
В кабинетах ДИНА
за вас решают,
заслуживаете ли вы того,
чтобы прожить этот день до конца.

Но разве может вечно
кто-то распоряжаться
нашим днем?

Скоро настанет день,
когда день
будет снова принадлежать
большинству.

■

АРНО МОР. ГДР.
Мы победим!



ГАСТОН ДЮРНЕ

Моя жизнь среди бельгийцев

КАРТИНКИ В ПРОЗЕ

Перевод с фламандского В. ОШИСА

У меня часто возникало желание написать рассказ об англичанине, который, путешествуя на яхте, немного ошибся в прокладке курса и пристал к берегам Англии, в полной уверенности, что он открыл новый остров в Южном море.

Г. К. Честертон. «Ортодоксия»

Письмо первое. ПРИЕЗД В БЕЛЬГИЮ.

Дорогой декан!

Когда я прибыл в Бельгию, я испугался. Очень испугался. Виновата здесь грампластинка с фламандскими песнями, которая таинственным образом попала в нашу дискотеку.

Готовясь к путешествию в Католическое королевство на Северном море, я часто прослушивал эту пластинку у себя дома. И всякий раз, когда я слышал песенки о «зеленых лугах, что раскинулись вдоль сребристых потоков и рек», мысленному взору моему представлялся идиллический вертоград, блаженный край, где трава, вода и деревья приносят людям счастье, маленький эдем, где природа и цивилизация живут в полном согласии. Короче, я думал о сельских просторах нашей родной Фламии, в которой после многовековой борьбы крестьяне и монахи одержали победу над пустыней и жизнь восторжествовала на хлебных полях, в огородах и фруктовых садах. Я возрадовался тому, что между нашей страной и далекой, но все-таки родственной нам Бельгией есть что-то общее. Я подумал, что объединяющая нас любовь к Земной Красоте будет хорошей основой для близкого знакомства.

Как тебе известно, дорогой брат, времени на сборы у меня было совсем немного. Советники довольно неожиданно приняли решение направить человека в Католическое королевство. А уж если Советники вобьют себе что-нибудь в голову, спасу не жди, ты это хорошо знаешь. Они ведь настоящие фламцы, упрямые и напористые. Времени терять не любят. Едва лишь узнали, что есть на свете страна Бельгия и что ее населяют люди, с которыми у нас общая родословная, а значит, найдутся и другие точки соприкосновения, как тотчас послали меня. Я не успел даже собрать серьезное досье, чтобы основательней подготовиться к этой миссии.

Пойми меня правильно: порученное мне дело я, само собой разумеется, буду выполнять с любовью и старанием. Я даже рад, что послали именно меня. Наконец-то и мне представилась возможность поехать за границу. Кроме того, моя миссия может иметь историческое значение. Я считаю оправданным на сто процентов решение Советников составить через своего наблюдателя какое-то представление о бельгийцах, прежде чем искать путей к сближению и завязывать дипломатические или иные отношения. Как мне было предложено, я под видом туриста стану изучать нравы и обычаи Католического королевства на Северном море, наблюдать повседневную жизнь бельгийцев и обо всем, что узнаю и увижу, регулярно буду посылать отчеты. Дело обещает быть интересным. Мне нравится изучать людей. Общаясь с людьми, я чувствую себя в родной стихии. Это не мешает мне сожалеть, что я не успел как следует подготовиться к поездке.

Дорогой брат, я очень испугался, когда попал в Бельгию!

Не в аэропорту, нет. Аэропорт здесь такой же, как во всех богатых странах мира. Большие здания из стекла и бетона, множество людей, снующих во все стороны, телеэкраны, на которых показывают одну и ту же программу — часы прилета и отлета, пассажиры, покупающие виски и сигары в специальном беспошлинном магазине. Единственная особенность этого аэропорта, его некосмополитический признак в том, что расположен он в общине Завентем, которая относится к фламандской части Бельгии, называется же аэропорт «Брюссель-Национальный».

— Почему? — спросил я у одной из пикантных стюардесс.— Как называется ваша столица?

— Ну как,— улыбнулась она,— Брюссель.

— Просто Брюссель? — спросил я.

— Просто Брюссель,— сказала она.

— О,— сказал я.— А Брюссель, значит, не национальный?

Стюардесса продолжала улыбаться. Чего только она не навидалась на своих международных линиях!

Первые дни по прибытии в Католическое королевство на Северном море я провел в столице. С самого начала мне все здесь показалось странным и, наверное, не мне одному. Портье в моем отеле рассказывал, что хоть он и коренной брюсселец, но каждые три месяца вынужден заново осваивать дорогу в свой отель — столько в этом городе сносят, копают, строят и перестраивают.

Брюссель на карте имеет форму сердца, но когда его увидишь воочию, можно побожиться, что это сердце беспрерывно трансплантируют.

Люди и фирмы воздвигают все новые дома и небоскребы, которые блестят в лучах финансового престижа. Министры повелевают сносить старые здания и прокладывать новые широкие улицы, по которым они будут ездить взад и вперед в сверкающих лимузинах. Над площадями и дорогами парят стройные мосты и виадуки. И повсюду грохочут и свистят машины, загоняющие в землю сваи, на которых поднимутся административные центры и вокзалы, страховые конторы и американские банки. И каждое утро спешат туда автомашины и поезда, автобусы и мотороллеры, которые выгружают у подъездов директоров и секретарш, каменщиков и машинисток, а затем уезжают прочь, быстро-быстро, потому что вечером им надо вернуться, чтобы загрузить себя работодателями и работниками, рассыльными и конторщиками — всеми, кто спешит теперь на воздух, за город, на природу, в свой деревенский дом или на свою виллу. И весь город кряхтит и стонет. И трамваи, словно потерянные, бегают во всех направлениях и трезвонят, взывая о помощи.

Брюссель стал городом контор, с жилыми комнатами в зеленой зоне и венком из пригородных общин и городов-спутников вокруг шаровидной головы.

Однажды вечером, сидя в ресторане, я оказался по соседству с группой столичных жителей. Один из них рассказывал: «Я живу на четырнадцатом этаже, там, на Сотом холме. Дома я часто смотрю в бинокль через весь город на лес. Просто удивительно, сколько людей в высотных домах обзаводятся биноклями, чтобы наблюдать друг за другом. Я помню...»

Он говорил, а перед моими глазами вставали дома-башни, будто гигантские телеустановки со множеством окон-экранов, где люди разыгрывают сценки из своей жизни, останавливаясь лишь затем, чтобы вооруженным взглядом поискать контакта с братьями-статистами на других экранах. Там и сям изредка попадаются отдельные поэтические натуры, которые блуждают среди этих бетонных телевизоров в поисках зеленого уголка.

Я вспоминал наш родной, драгоценный Бург, где исторические здания — хвала господу — еще не попали на задворки к небоскребам, а старинные цеховые дома не низведены еще банками до уровня музеев, в которых людям невозможно жить. Да, я с нежностью с первых же дней вспоминал нашу милую Фламию, наше маленькое отечество, где города еще не порывают с природой. Но я утешал себя перспективой поездки в Западную Фландрию, по «зеленым лугам, что раскинулись вдоль сребристых потоков и рек». Сидя в гостинице над письмами к нужным мне людям или спеша в такси на деловое свидание, я не раз ловил себя на том, что тихонько напеваю идиллическую песенку родного края.

Дорогой декан, свое знакомство с Бельгией я, собственно говоря, намеревался начать с Западной Фландрии. Как тебе известно, из этих краев вышли наши предки, основавшие Фламию много веков тому назад. Здесь до сих пор говорят на языке, похожем на наш фламский.

В приподнятом настроении покинул я Брюссель на прокатном автомобиле. Но, проезжая по кишащей народом улице одного из пригородов, я попал в объезд и через два часа, к своему величайшему удивлению, очутился в Антверпене, большом портовом городе на севере страны. Когда я рассказал прохожему о своем приключении и попросил помочь, он сочувственно покачал головой: «Ах, Брюссель, Брюссель...» Потом объяснил мне, с невероятным количеством деталей, дорогу к новейшей автостраде, которая через туннель под Шельдой вывела меня к обетованной земле.

Ах, дорогой декан, брат мой!..

На своем пути через Фландрию я заметил, что все дома, фабрики и памятники стоят вдоль дороги. Они встречали меня двумя рядами серых и пестрых фронтонов, печных труб и запыленных окон. Все, что было сделано из бетона, металла или камня, выстраивалось почетным караулом перед процессией автомашин, влившись в которую я был теперь обречен двигаться не сворачивая, только вперед. Временами стена разрывалась, и тогда я с радостью замечал, что природа в Бельгии еще не совсем исчезла. Я видел лоскуток зеленого поля, обрывок голубой ленты реки, лужок с сотней-другой лютиков. Но кавалькада неумолимо мчалась дальше, и стены опять сжимали меня с обеих сторон.

Покуда я пересекал страну с севера на юг, меня не покидало впечатление, что я еду по длинной-предлинной улице. Бельгия словно

хочет срастись воедино. Ее деревни простирают одна к другой каменные руки. Они вытягиваются вдоль дорог и хватают друг дружку за что придется. Города наступают на поля, хотят разлечься на лугах и полянах, перескакивают через дамбы и границы.

Бельгийцы, с которыми я по вечерам выпивал глоток чего-нибудь бодрящего в гостиничном баре, добродушно хлопали меня по спине и уверяли, что в некоторых местах королевства сохранились еще зеленые пространства, когда можно ехать минут десять — пятнадцать и не встретить ни одной деревни, ни одного дома, ни одного человека. Может быть, мне удастся это проверить. Когда я приду в себя, то, возможно, рискну съездить туда, например в Арденны, где, говорят, есть холмы и леса. Но сейчас, когда я пишу эти строки, я вижу из окна средневековую ярмарку автомобилей. Над островерхими крышами всюду торчат железные мачты, которые своими тощими пальцами ловят в воздухе картинки. Неужели природа не есть нечто большее чем натура для телевизионного фильма?

Сегодня во время завтрака я развернул утреннюю газету и прочитал заголовок, написанный аршинными буквами на языке, который так похож на наш старый фламский:

«БЕЛЬГИЯ В 2000 ГОДУ: ОЖЕРЕЛЬЕ ГОРОДОВ с 35 МЛН. ЖИТЕЛЕЙ, КОТОРОЕ ПРОТЯНЕТСЯ ОТ АМСТЕРДАМА ДО ЛИЛЛЯ».

Тут я оторвался от газеты и выглянул в окно. С улицы доносился колокольный звон, и я подумал, что наконец-то услышу одну из старых народных песенок, хотя бы в исполнении на карийоне [1].

Но это был колокол суповара, созывавшего своих клиентов [2].

Письмо второе. ИДУТ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.

— Шоссе на Рейнаарде?

Наклонившись к машине и заглядывая в окошко, молодой человек повторил мой вопрос. Он почесал правой рукой затылок, потом вытянул руку в сторону леска, который закрывал горизонт в нескольких сотнях метров впереди.

— Шоссе на Рейнаарде?— повторил он и опустил руку.— Гм, прямо не знаю, как вам объяснить.

Я тоже не знал.

Он осмотрелся, точно проверяя, не завалилось ли это шоссе куда-нибудь в кювет или не заблудилось ли между цветущих японских вишен. Его лицо просветлело, когда он увидел, что дверь одной из вилл отворилась и на улицу с лаем выбежала собака, таща за собой на поводке старенького господина. Молодой человек обратился к вновь прибывшим.

— Шоссе на Рейнаарде? — сказал старичок, а его собака тем временем заняла пост под вишней.— Дорога в... А-а, так это, верно, улица Франсуа Трифóна?

Молодой человек покачал головой.

— Улица Франсуа Трифóна? Но, менеер, ведь это бывшая улица Старых Очков!

— Нет,—засмеялся старичок,— ты ошибаешься! Улица Старых

---

[1] Набор небольших настроенных колоколов, устанавливаемый обычно на церковных колокольнях вместе с башенными часами. Искусство игры на карийоне существует в Бельгии со средних веков. Есть специальная школа колокольной игры в г. Мехелене (франц. Малин — отсюда «малиновый звон»). *(Здесь и далее—примечания переводчика.)*

[2] Суп в Бельгии не является, как у нас, обязательным первым блюдом, и хозяйки предпочитают покупать его готовым. Продавец супа развозит его на автофургончике, снабженном сигнальным колоколом.

Очков ближе к центру и называется теперь проспектом Питера-Яна Боормана.

Тут захохотал молодой человек:

— Ха-ха-ха, вот это здорово! Проспект Питера-Яна Боормана уже пять лет как переименован в бульвар Карела Фермандерена и находится на пустыре у новых фабрик, который потом назвали Луговым кварталом!

Собака покинула свой пост и потащила хозяина вперед, прямо в объятия молочника. Тот подхватил старичка и переспросил:

— Шоссе на Рейнаарде?

— Да,— сказал я.

— Это очень просто, менеер. Все зависит от того, какое место вы ищете.

— Я забыл номер,— сказал я.— Помню, что это белый дом с соломенной крышей.

— Это, наверно, дом Сочинителя,— сказал молочник и поводил в воздухе рукой, словно начертал длинное предложение.— Туда самый разный народ ходит.

— Да ведь там целых шесть домов с соломенными крышами, и все белые! — прокричал издали старичок, стремительно увлекаемый собакой вперед по тротуару.

— Послушайте,— сказал молочник,— доезжайте до кафе «В мельнице» и там сверните налево...

— Теперь это дансинг «Ракета»,— перебил его молодой человек.

— Проедете метров двести — триста по бетонке до часовни, которую сломали в прошлом году, а там спросите снова. Это совсем недалеко. Если вам нужно начало Рейнаардского шоссе, так это по улице Принца Людовика, но за церковью святого Иосифа она называется проспектом Антона Плетинкса. Там тоже стоит белый дом с красной шиферной крышей.

— Мне с соломенной,— сказал я.

— Ну да, а один стоит в конце Рейнаардского шоссе, там это шоссе называется Дорога к волшебному лесу, как до войны, когда паломники валом валили в часовенку, потому что она очень помогала людям от коклюша и рожи.

— А животным от бешенства,— прокричал издали старичок.— Стоять, Макс!

Я угостил молодого человека и молочника сигаретами.

— Так, значит, свернуть у «Мельницы»?— резюмировал я.

— У «Ракеты»,— сказал молодой человек.

— Да, жалко.— сказал молочник,— за этим Рейнаардским шоссе совсем не ухаживают. Все ждут, что другие начнут его асфальтировать. Ведь Рейнаарде относится к общине Рекстер, а тут эта, как ее, община Фелдбек или Бекфелд. Скандалят без конца. Политика, менеер, политика. Друг друга на дух не выносят.

— Макс! — воскликнул старичок.— Макс, противный пес, если ты не остановишься, мы пойдем домой!

Я поблагодарил консультантов и поехал дальше.

У дансинга «Ракета» был выставлен знак «ИДУТ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ».

Бельгийцы, дорогой декан, завели себе обычай называть улицы, площади и парки в честь своих знаменитых соотечественников. Говорят, что такой же обычай существует и в соседних странах, но я не думаю, чтобы где-нибудь еще ему следовали с таким рвением и так преданно.

В Бельгии столько великих людей, что новых дорог, как быстро их ни строят, просто не хватает, чтобы воздать по заслугам всем достойным. Поэтому несколько лет тому назад здесь начали переименовывать все исторические места в честь нынешних бургомистров, меценатов, деятелей искусства, литературных героев и футбольных команд. Когда же и этого оказалось мало, то одной и той же улице стали давать по нескольку имен. На прошлой неделе я квартировал на улочке, которую все в городке по непонятной причине называли Хейбрехтс-страат. В действительности же до дома № 32 она называется Конинг-Алберт-страат — в память о том факте, что один из самых известных монархов королевства когда-то здесь провел ночь. С № 32 до № 79 улица носит имя Виллема Де Кёкелейре, который, согласно мемориальной табличке на фасаде дома, в период с 1891-го по 1947 год способствовал расцвету лесоводства в районе Кемпена. С № 79 и до необъятного кладбища автомобилей люди живут на Школьной улице, потому что здесь находится детский интернат. Когда я выразил удивление по этому поводу, хозяин гостиницы мне ответил: «Да, менеер, и я вам скажу еще: когда основали город, здесь проходила Дорога в лес. Улица так и называлась, и каждому было ясно почему». И добавил с философской усмешкой: «Зачем упрощать, если можно усложнить?»

Это изречение мне довелось услышать в Бельгии еще не раз.

Но не такое уж это зло, чтобы ломать из-за него копья. Как называется улица, не столь важно. Главное, что она чаще всего пролегает за щитом с надписью «Идут земляные работы».

Дорогой декан, если ты загоришься желанием посетить Католическое королевство на Северном море, если ты захочешь увидеть его во всех неописуемых деталях, не затрудняй себя и секретаря и не нагружайся дорожными атласами и толстыми путеводителями. Просто поезжай вперед и следи за знаками «Идут земляные работы». Они проведут тебя по всей стране.

Объездные пути, как и большие дороги, от которых они ответвляются, никогда не бывают однообразны. Каждый временный маршрут обретает в Бельгии собственную прелесть. То видишь ярмарку на деревенской площади, которая тоже позаботилась о дополнительном местном объезде. То посреди улицы марширует духовой оркестр или движется шествие с реющими флагами. Или крестьяне вывозят с поля урожай свеклы и превращают бетонированное шоссе в скользкую трассу для бобслея. Или люди с водопроводной станции ведут подкоп под ручьи и корни деревьев. Всегда что-нибудь происходит. Время от времени Министерство общественных работ (или Объединение по туризму) готовит вам даже маленький сюрприз. Ставят на одной дороге большой щит, на другой — чуть заметный. В одной деревне таблички белые с синими буквами, в другой — синие с белыми буквами. То вас привлекают металлическими указателями на бетонном постаменте, то миниатюрными деревянными дощечками, которые прикручены колючей проволокой к кладбищенской стене. То оказываешься перед «Объездом», то перед «Обходом», иногда перед «Поворотом». Едешь в Ронсе и вдруг замечаешь, что мчишься в Рене. Тебе нужно в Руле, а попадаешь в Руселаре.

Скука — зло автомобильных путешествий — практически больше не грозит Католическому королевству на Северном море. Власти неустанно развлекают автомобилиста. Они держат его в постоянном предвкушении чего-нибудь.

Национальное общество развития спорта тоже заботится об установке запрещающих знаков и указателей объезда.

Зима еще не покинула пределов королевства, а уже всюду выползают из своих раковин на свет божий организаторы велосипедных состязаний, которые шлют разноцветных гонщиков Отсюда — Туда — Обратно. С момента, когда прогремит выстрел стартера, и до самого последнего дня, когда победителей награждают цветами и по всей форме подвергают контролю на допинг, полиция на много часов закрывает для движения лучшие проспекты самых оживленных городов. Шесты с указателями объезда выскакивают из земли, словно молодые деревца, чтобы убрать с дороги всех гонщиков, кроме велосипедистов.

В Рейнаарде мне рассказывали такой случай. В прошлом году, когда были гонки на Большой приз провинции Верне-Амбахт, один человек, директор крупной фабрики, неожиданно попал в такой объезд. Он послушно следовал от одного указателя к другому, и больше его никто не видел. Его секретарша пропала вместе с ним.

Брат мой, дороги в Бельгии просто великолепны.

Когда я отправился на поиски последних сохранившихся уголков природы, то, выбравшись из хитросплетения коммуникаций, внезапно оказался на одной дорожной ленточке, которая весело извивалась по зеленым лужкам Южного Кемпена, где желтели пятна цветущих одуванчиков и серебристые березки сияли возле старых хуторов с опущенными соломенными плечами. (В ближайшее время хутора эти будут перенесены на территорию этнографического музея в Бокрейке, что в провинции Лимбург.)

Дорога связывала две большие деревни, которые можно было заметить издалека благодаря остроконечным перстам церквушек, указующим в небеса.

Увлеченный идиллическим пейзажем, на фоне которого пастух в сопровождении собаки пенсионного возраста пас грязных овец, я не сразу обратил внимание на странное поведение моей машины. Ее левая половина то и дело подпрыгивала, как будто слева не хватало одного колеса. Я перестал сочинять романтическую оду и внимательно прислушался к резким ударам. Взгляд мой упал на дорожное полотно перед машиной. Я увидел, что ленточка дороги разрезана — вдоль, по всей длине.

Справа шла полоска бетона. Один за другим следовали большие квадраты в аккуратных черных рамках. Они были чистые и блестящие. В них даже отражалось солнце.

Слева был булыжник, много лет назад извлеченный и вывезенный из валлонских каменоломен. Одни камни глубоко и прочно сидели в песчаном грунте, другие торчали в нем как попало. Они то собирались в высокие плотные бугры и кочки, то жались друг к другу на дне широкой расщелины, тускло взирая на далекие облака.

В следующей деревне, потягивая белопенное пиво, я разговорился с местным полицейским. Его кепи было сдвинуто на затылок. Когда я выложил ему историю с дорогой, он только кивнул.

— Да,— сказал он и на одном дыхании осушил свою кружку,— да, все правильно, так оно и должно быть.

— Что вы имеете в виду? — полюбопытствовал я осторожно.

— Как раз посередине дороги проходит граница двух общин. Мы укладываем бетон с нашей стороны, а другие пусть сами заботятся о своей половине. Выпьем еще?

— С удовольствием,— сказал я.— Но разве вы не можете прийти к единому мнению?

Он с удивлением посмотрел на меня сквозь прозрачное золото следующей пинты (пинтой здесь называют полную кружку пива).

— Каждая община — хозяйка сама себе и своим дорогам,— молвил он.— У нас в Бельгии уже много веков царит автономия общин. Мы люди независимые. А кроме того, с этими парнями из Рейнаарде не договоришься. Они сразу поднимают бучу. Представь себе, прошлый год, когда мы справляли свой местный день скотовода...

Я слушал, а сам читал развешанные на стене большие объявления, неровными буквами на желтой бумаге возвещавшие о продаже с торгов десяти кубометров строительного леса и хорошего загородного домика с зеленым участком, пригодным и для коммерческих целей.

— Такая дорога — одно мучение для водителей,— добавил я.

— Их предупреждают,— сказал полицейский.

На обратном пути я заметил указатель: белый треугольник в красной рамочке, а на нем два черных горба. «Неровное покрытие»,— прочитал я на своей дорожной карте. И по-французски: «Cassis» — «Булыжник».

Дорогой декан, я собрал всю необходимую информацию и теперь знаю, что в Европе существуют различные способы обращения с плохими дорогами.

Самый распространенный тот, что принят у Технических Наций, среди которых задают тон немцы.

Как только поступил сигнал, что на дороге замечена выбоина, к месту происшествия отряжается группа специалистов из Национального бюро по изучению местности. Она исследует уровень осадков в данном районе, сопротивляемость местного населения и состояние лесного покрова. Далее берутся глубинные пробы грунта, производится инфракрасная аэрофотосъемка, после чего высылается взвод бульдозеров, отделение бетономешалок, два автокрана и две столовые на колесах — одна для рабочих, другая для полицейских, которые все это будут охранять. Кроме того, приезжает группа археологов на тот случай, если во время земляных работ будут найдены ископаемые животные или древнеримские вазы.

Аналогичным методом пользуются в Нидерландах, только они делают больший упор на изучение, а к работам привлекают флот и плавучие краны, потому что все нидерландские дороги практически лежат под водой.

Диаметрально противоположна всему этому «Южная концепция», усовершенствованный вариант которой принят у бельгийцев. В общих чертах он сводится к следующему.

Отдельная выбоина в дорожном полотне некоторое время игнорируется, чтобы дать всем политическим партиям одинаковые шансы для постановки вопроса в общинном совете, совете провинции или в парламенте (парламент — это нечто вроде нашего конклава Советников) и организации предвыборной кампании с полным доверием к оппоненту.

Засим следует более или менее длительный период наблюдения (смотря по тому, насколько серьезен данный случай), осуществляемого дорожным смотрителем, который несколько раз специально проезжает мимо вышеназванной выбоины на велосипеде.

Наконец, составляется рапорт, заключение которого гласит, что гипотеза, высказанная после первого обследования, подтвердилась и что данный случай не следует рассматривать как беспрецедентный. В результате некоторого смещения подземных слоев на дорожном полотне появились новые выбоины, располагающиеся приблизительно в равном удалении друг от друга.

Настает момент для принятия первой, фундаментальной меры.

На место происшествия выезжает грузовик с несколькими рабочими, которые по обоим концам пораженного участка выставляют дорожные знаки «Неровное покрытие» — треугольник с двумя горбами.

В ходе решения проблемы возникают порой особые трудности.

Территорию королевства покрывает сеть дорог самого разного типа. Определенная категория находится в распоряжении общинных управ, вторая группа подчинена провинциальным советам, третьей ведает государство.

Что же происходит, если крестные родители перестают следить за принадлежащей им дорогой?

Обычно какое-то время общины смотрят на это сквозь пальцы. Они пишут письма и посылают в путь своих уполномоченных, снабжая их сигарами и горячительными напитками. Если те не возвращаются, общины быстренько снимают с себя всякую ответственность и перехватывают инициативу. Инициатива состоит в том, что на громадном щите большими угрожающими буквами пишется предупреждение: «Эта государственная дорога находится в очень плохом состоянии»[1].

Потребитель дороги теперь знает, что ему нужно быть осторожным. И что местные власти в этом безобразии неповинны. После чего выборы закаиваются для них успешно.

Бельгиец, дорогой декан,— это человек, которому хорошо известно, что прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками, но если ты хочешь далеко пойти, то не забывай про объезды.

Чтобы продвинуться вперед, бельгиец использует объезды. Он никогда не сядет в лужу.

Письмо третье. СТАРИНА ПУАРО.

Ты спрашиваешь меня, брат мой, не видел ли я в этом краю изобилия людей, которые напоминали бы наших фламцев.

Я их разыскивал в Западной Фландрии. По улицам Брюгге, столицы этой провинции, как раз шествовала процессия, представлявшая один из тех передвижных исторических спектаклей, на которых держится земля фламандская. Любой повод для праздника тут всегда желанен. И если серые будни настоящего не дают для этого удобного случая, его отыскивают и обряжают в костюмы прошлого.

Я прямо-таки оторопел при появлении средневековых рыцарей и цеховых мастеров, которые ехали верхом, с победоносным видом возвышаясь в седле, или гордо вышагивали, блестя кольчугами, вооруженные грозными секирами и палицами. Так, наверно, выглядели наши далекие предки, когда они давным-давно покидали родную землю отцов, отправляясь в крестовый поход. По дороге они заблудились, Святой земли не нашли и, проплутав несколько месяцев, очутились, наконец, в долине между Черной и Красной горами, где основали Фламию и стали жить, забытые всем светом. Я узнал их платье и оружие. Так приблизительно изображают их наши художники и граверы, опираясь на старинные хроники и устные предания нашего народа.

Но стоило мне оглядеться, как я увидел, что толпившиеся вокруг соотечественники этих воскресших на день рыцарей и гильдийских мастеров ничуть не похожи на фламцев. И таких было большинство— этих бельгийцев, не голубоглазых и светловолосых, а брюнетов, шатенов и рыжих, среднего или маленького роста, толстых и тощих.

[1] В оригинале игра слов: «Staat» означает и «государство» и «состояние».

Объяснение этому, дорогой брат, можно найти в истории наших наций, пути которых разошлись в стародавние времена.

Фламия возникла на идеальном месте для народа, мечтающего жить в мире и довольстве. Долина между Черной и Красной горами, где сливаются воды Большой и Малой Блайе, расположена уединенно. Она лежит вдали от всех других племен, которые захотели бы причинить нам зло. Нашим отцам приходилось защищаться разве только от редких нападений разбойничьих банд или остатков заблудившегося в пустыне иноплеменного войска. Веками они боролись с одной лишь природой, посвятив себя целиком скотоводству и земледелию. Щедрое солнце дарило им в год по два урожая, и страна процветала. Только в старых хрониках сохранилась еще смутная память о далеком народе, от которого произошли двенадцать тысяч жителей наших семи городов, да в сказках и легендах, что звучали у домашнего очага, продолжала жить для нас древняя Фландрия. Не мне об этом говорить, ты знаешь это лучше меня. Кстати, как идут дела с антологией фламских легенд и преданий? Пришло время вернуть их народу в письменном изложении.

Тем временем древняя Фландрия проделала такую эволюцию, о какой мы на своей далекой родине просто не могли догадываться. В этом когда-то благословенном краю произошло не так уж мало событий. Война, чужеземная оккупация, сражения, затем опять война и опять чужеземная оккупация, снова война, снова оккупация новыми чужеземцами и еще раз война, еще раз оккупация старыми чужеземцами. Конца этому не было видно. И вдруг нежданно-негаданно из всей этой мешанины, в которой разобраться было трудно, возникло Католическое королевство на Северном море, где наши соплеменники, составляя большинство, удивительным образом оказались в подчинении у людей, говорящих на другом языке. Я вышлю тебе, дорогой брат, книги по истории, в которых все это обстоятельно излагается, хотя и боюсь, что ты извлечешь оттуда так же мало пользы, как и я сам. И не потому, что они написаны на нидерландском языке! Нидерландский имеет довольно много общего с нашим фламским, и после недолгой тренировки его без труда можно понимать. Дело тут в другом. История так сложна, так запутана, что не разберешься, кто прав, кто виноват. В результате бесконечных распрей бельгийцы утратили сходство с фламцами, и я еще не совсем понял, что же приобрели они взамен.

Заграница тоже участвует в этом столпотворении. Всей Европе и Америке хорошо известно, как выглядят соседи бельгийцев. При слове «голландец» в нашем представлении обычно возникает длинный худой блондин, который в тени ветряной мельницы, запрокинув голову, отправляет в рот селедку. Если речь заходит о немце, то его представляют себе как плешивого толстяка с двойным подбородком, со свиной отбивной на тарелке, поднимающего высоко кружку с пенящимся пивом и восклицающего: «Хайль, пардон: прозит!» Британец сразу же принимает облик стройного человека с рыжей щеточкой усов, одетого в черный костюм, котелок и с зонтиком под мышкой. Галл — это невысокий мужчина со вздернутым носом и синими жилками на красном от вина лице, с языком без костей, с альпийской шапочкой на круглой голове, с длинным батоном в одной руке и веселой девицей — в другой.

Да, у каждого бельгийского соседа есть собственное лицо или хотя бы карнавальная маска, по которой ты его сразу же опознаешь. Но вот у бельгийцев...

В самолете мне довелось познакомиться с самым известным бельгийцем двадцатого века, с человеком, который приковал к себе вни-

мание миллионов людей, то забавляя их, то ужасая и лишая дара речи. Но он живет не в Бельгии. И вообще не существует в природе.

Его имя — Эркюль Пуаро, и я встретил его на страницах детективного романа, который позаимствовал у попутчика-англичанина, чтобы скоротать время в полете. Писательница Агата Кристи, британская дама, разбогатевшая на рассказах о преступлениях, сделала героем своих книг бывшего полицейского комиссара Пуаро, уроженца Брюсселя. Этакий круглый маленький человечек — un petit bonhomme, с головой в форме груши, прикрытой котелком, с лихо закрученными милитаристскими усиками и острым умом. Он разгадывает невероятнейшие головоломки. Свою английскую речь он пересыпает французскими вводными словами и междометиями. Пуаро — католик, но в церковь не ходит, пьет шоколадное молоко, любит деньги, но может провернуть какое-нибудь дельце и бесплатно, очень самоуверен и временами, когда злится и выходит из себя, напоминает, по словам самой миссис Агаты, карикатуру на вспыльчивого француза.

Вот это, дорогой брат, и есть, пожалуй, самая знаменитая карикатура на бельгийца. В остальном же другие нации плохо осведомлены о жителях Католического королевства на Северном море. Среди самых информированных бытует ходячее мнение, что бельгийцы и взаправду похожи на соседей-французов, которым они приходятся двоюродными братьями и сестрами, а может, и побочными детьми.

Прожив несколько дней в Брюсселе, я сначала тоже решил, что этот портрет бельгийца близок к оригиналу и не лишен своих достоинств. Пуаро для меня материализовался в рассудке, который вмещает черепная коробка мелкого буржуа, чей идеал — разгадывание кроссвордов без помощи толкового словаря. Такие люди сплошь и рядом попадались мне в бельгийской столице. Правда, никто из них не носит котелка. Да и бельгийца, который бы осмелился пить в публичном месте шоколадное молоко, мне тоже видеть не приходилось.

В те дни я на каком-то приеме познакомился с Шарлем Дюбуа, высоким курчавым парнем, который уже через пять минут был моим лучшим другом.

— Что? — воскликнул он со смехом.— Пуаро — типичный бельгиец? За это с тебя причитается!

Он подозвал официанта и сам заказал два виски, попросив его повторить через две-три минуты.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил я.— Ведь так утверждает сама Агата Кристи! Этот образ ей навеяли бельгийские беженцы, переселившиеся в Англию в годы первой мировой войны.

— Я хочу сказать,— ответил Шарль Дюбуа,— что Пуаро, возможно, и происходит из бельгийцев, но солидную долю своей бельгийской натуры уже потерял. Пуаро — это бельгиец, заблудившийся в английском тумане. Он превратился в небританского англичанина с бельгийским налетом.

— Да? — сказал я.

— Пойми,— сказал Шарль Дюбуа,— бельгийца нельзя так просто взять и вырвать из привычной среды. Если это над ним проделать, то он тут же теряет часть своего оперения и превращается в чужеземную птицу. Он не переносит другой температуры. Бельгиец существует лишь в Бельгии и в тех краях, где почва хоть немного похожа на бельгийскую.

— Значит, бельгийцы никогда не живут за границей?

— Если они настоящие, то обязательно возвращаются домой. В непривычном антураже они просто не выживут.

— А вы настоящий бельгиец?

— Конечно. Я фламандец.

— С французским именем и фамилией?

— Дорогой мой,— сказал Дюбуа,— автор «Льва Фландрии», первого исторического романа фламандской литературы, был сыном француза и носил фамилию Консьянс. А одного из вождей франкоязычных экстремистов зовут Янсенс. В Бельгии нельзя доверять именам. На три четверти это псевдонимы.

— Значит, вы фламандец?

— Как и большинство бельгийцев. Вполне возможно, что и Пуаро был фламандцем. А то, что он был из Брюсселя и говорил по-французски, еще ничего не доказывает. Многие фламандцы стали брюссельцами и говорят по-французски даже на родной земле. Или ты думаешь, что в английском детективе лучше бы смотрелись фламандские вводные слова?

— А брюссельцы — это настоящие бельгийцы?

Шарль Дюбуа расхохотался — на этот раз так, что виски выплеснулось из стакана.

— Кельнер! Гарсон! Обер!

Он заказал еще два виски.

— Мы все говорим на трех языках,— пояснил он,— я имею в виду фламандцев.

— Очень удобно,— сказал я.

— Да, особенно для валлонов.

— Каковы же, по-вашему, отличительные признаки настоящего бельгийца?

— Дорогой мой друг, их целая уйма! И они такие разные! По некоторым ты можешь сделать вывод, что бельгиец — вовсе не бельгиец, а голландец. В другой раз тебе покажется, что он немец. Бывает, что ты принимаешь бельгийца за люксембуржца.

— Но вы же точно знаете, что бельгийцы существуют?

— Собственно говоря,— сказал Дюбуа,— бельгиец — единственное живое существо на свете, которого не существует.

— Да? — сказал я.

— Бельгиец — это либо фламандец, либо валлон. Но их тоже не существует. Фламандец — это житель Западной Фландрии, Восточной Фландрии, Лимбурга, Брабанта или Антверпена. А все они — южнонидерландцы. Теперь учти, что южнонидерландцы живут не только в Бельгии, но и на юге Голландии, но там они называются южнонидерландские брабантцы или лимбуржцы. Есть еще южнофламандцы, которые живут в Северной Франции.

— Вот как? — сказал я.

— Валлонов, конечно, тоже не существует. Валлон — житель Льежа или Намюра, Борена или Валлонского Брабанта, Арденн или Люксембурга. Все они относятся к Франкофонии, кроме франкоязычных жителей восточных кантонов, которые говорят на немецком. Понимаешь?

— Значит,— сказал я,— вы думаете, что бельгийцев нет.

— С чего ты взял?!

— Ну как же...— сказал я и сам заказал еще два виски.

— Послушай,— терпеливо произнес Шарль Дюбуа, пытаясь разгладить свои курчавые волосы.— Послушай, я тебе сейчас все растолкую. Провинция Люксембург — это часть Люксембурга...

— Правда?

— То есть когда наши предки выкраивали Бельгию, они отхватили хороший кусок от Люксембурга, а остальное оставили за границей. То же самое и с Лимбургом.

— Лимбург — это кусок Лимбурга?

— Ну конечно же. А Кемпен наш взят у большого Кемпена, ко-

торый в Голландии. А наши Арденны — часть больших Арденн. А Западная Фландрия...

— Что же такое Бельгия — государство или лоскутное одеяло? — спросил я.

— Ты начинаешь соображать,— сказал Шарль Дюбуа.— Согласен, иностранцу разобраться в этом нелегко. Быть бельгийцем — это вопрос не происхождения, не национальности, не расы, не сословия и не взглядов. Даже не удостоверения личности. У нас в стране много настоящих бельгийцев, которые об этом даже не подозревают или вовсе не желают ими быть. Есть бельгийцы, которые всю жизнь занимались лишь тем, что отрицали, что они бельгийцы, и все-таки были ими не меньше или даже больше других.

Шарль Дюбуа сделал еще глоток, и на его красном лице я прочел большое удовлетворение собственными парадоксами.

— Житель этой страны,— сказал он,— не может сидеть под стеклянным колпаком и возглашать: «Вот это живой бельгиец, так он выглядит». Если ты так говоришь, ты упускаешь самое важное. Бельгийцы привыкли жить в своей, особой среде. Эта среда — их дома, кафе, кружки́, города, улицы. Бельгийцев создают не их предки, не сословное положение и не Агата Кристи. Они возникают благодаря обстоятельствам, образу жизни, окружению, среде.

— Любопытно,— сказал я.

— Быть бельгийцем,— произнес Шарль Дюбуа,— это une condition humaine[1]. А теперь я выпью пива, а то после виски меня всегда мучит жажда.

Письмо четвертое. ВИЛЛА «НАША МЕЧТА».

Самая большая авантюра, в которую может впутаться начинающий бельгиец,— это строительство собственного дома. Позже оно становится для него и самым большим идеалом.

У нас во Фламии на город смотрят как на единое целое, которое сообразно основополагающим принципам возводят, расширяют, приводят в гармоническое согласие с окружающей средой. Здесь, в Католическом королевстве на Северном море, город — это случайное скопище домов, один возле другого, старый подле нового, великан рядом с карликом.

С пеленок усваивает бельгиец поучения народных мудрецов, что из песчинок слагаются горы, что свой очаг дороже золота и каждый должен мести перед своей дверью. Поэтому начинает он с того, что навешивает дверь.

Бельгиец-дебютант не представляет себе жизни без собственного дома, который он будет строить и благодаря которому превратится в единовластного хозяина кучки камней.

Едва успеет он вскружить голову своей невесте, как тут же хватает лист бумаги, прикалывает его кнопками к доске — и давай рисовать один за другим проекты разных дворцов. После чего соблазненная весталка берет дело в свои руки.

Между прочим, дорогой брат, в Бельгии строительство дома, как я заметил,— занятие женское. Супруга Хозяина Дома создает проект, осуществляет общее руководство, является движущей силой всего предприятия и постоянно видоизменяет план дома. Муж старается отличиться в рытье подвалов, водоотводных канав и подвозе тачек с песком, угощает пивом каменщиков и утешает архитектора. Потому

[1] Способ человеческого существования *(франц.)*.

что для строительства дома принято обязательно приглашать архитектора. Никто, правда, не знает, какова же его роль и в чем заключаются его функции. Пожалуй, ты будешь недалек от истины, если сравнишь архитектора со священником, который совершает обряд венчания. Архитектор освящает брак между строителями и стройматериалами. Он имеет законное право утвердительно кивать в ответ на предложенные ему планы Дома. В его распоряжении, кроме того, бывает чертежник, который может с большой точностью скопировать проект Супруги Хозяина Дома, чтобы представить его на утверждение официального органа, работающего под девизом «Урбанизация».

Однажды в моем присутствии одного бельгийского архитектора рекомендовали как человека, у которого можно посмотреть великолепные заграничные журналы по современному интерьеру — за гонорар.

В глазах Супруги Хозяина Дома архитектор такой же стройматериал, как и все другие, которыми она лично распоряжается. Она говорит «мой архитектор» так же, как говорит «мой парикмахер», «мой мясник», «мой доктор». О докторе или парикмахере своего мужа она говорит «наш».

В один прекрасный день я получил приглашение от знакомого Именитого Горожанина, жителя Рейнаарде.

Я уже знал, что бельгийцы его круга приглашают гостей, как правило, лишь тогда, когда собираются дать торжественный обед. (Гостеприимство и дружеская обстановка здесь часто диктуются строгим протоколом.) Поэтому я облачился в парадный черный костюм, купил цветы для Супруги Хозяина Дома и конфеты для детей. С конфетами я промахнулся, лучше было бы купить комиксы, потому что детей у них не было.

Меня ждал накрытый стол. Угощение было таким обильным, что мой черный костюм едва не лопнул на животе. Между двумя — запыленными, из подвала — бутылками вина хозяева дома устроили мне перекрестный допрос. Им непременно хотелось узнать абсолютно все о нашем автомобильном парке и шоссейных дорогах, туристических бюро и отелях, ресторанах и казино. Я что-то импровизировал насчет Бессалонии [1], поскольку еще не хотел открывать моего истинного происхождения. Супруга Хозяина Дома осведомлялась также насчет возможностей импорта кованых дверных петель, глазурованной плитки и чугунных каминных решеток.

— Я начинаю строиться,— пояснила она.— Совсем за городом.

— Proficiat [2],— откликнулся я и невольно бросил взгляд на ее мужа.

— Я тоже принимаю в этом участие,— произнес он с вымученной улыбкой.

Мы сидели в удобных салонных креслах, пили кофе с коньяком, я отчаянно боролся с послеобеденной дремотой, как вдруг Хозяйка спросила:

— Вы не хотите взглянуть на наш участок?

— Но, дорогая...— бледнея, промолвил ее муж.

— Гм... право...— сказал я.

Это была полоса земли метров сорок на сто. По обеим ее сторонам тянулись капустные поля, сзади она упиралась в рощицу Мимо вилась посыпанная песком дорожка, дополняя близкое сходство с

[1] Вымышленная страна, граничащая с Фламией.

[2] В добрый час *(лат.)*.

антуражем фламандского сельского романа. Вдали, за вереницей тополей, виднелись колокольня, водонапорная башня и фабричная труба. Участок обрамляли шеренги бетонных столбиков, возле которых лежали бетонные балки, ждавшие, чтобы их насадили на столбики. Осталось место и для зеленого лужка.

— Здесь так тихо,— сказала Хозяйка.

Она остановила «мерседес» на дороге, и мы затопали через высокий бурьян к деревянному домику, который притулился возле самой рощицы. Из времянки мы вытащили скамейку, два соломенных стула и уселись.

— Правда, очень живописный участок? — спросила меня Хозяйка.

— Да, очень,— согласился я.

— Метр стоит пятьсот франков,— сказала Хозяйка.

— Пятьсот франков? — удивился я.

— Но, дорогая...— промолвил ее муж, совсем побледнев.

Потом начало моросить, и мы расположились во времянке, куда горничная должна была принести закуску для пикника.

Лучшее время в жизни бельгийца, дорогой брат, наступает тогда, когда он покупает участок земли и готовит его к вторжению каменщиков и бетонщиков. В те месяцы, когда он ездит «навестить свой участок», в его сердце поселяется весна.

Бельгиец был всегда тесно привязан к земле. В своей Национальной Песне он поет о твердой решимости «не уступить врагу земли ни пяди». Во фламандском эпосе я читал, что горожане Грунинге в 1302 году, прежде чем развеять в прах славу французского рыцарства [1], вкусили по горсти родной земли. И как только земля проникла в их чрево, грудь их переполнилась неистовой яростью. Кажется, это была сырая глина с прибрежных полей вдоль реки Лейе.

Короче говоря, бельгийцам так часто приходилось отстаивать свои земли от покушений, столько пережили они оккупаций, аннексий и протекторатов, что в конце концов нашли единственный выход. Они завоевали самостоятельность. А в ожидании того дня, когда на всей территории государства воцарится полная безопасность и общинное правление, каждый из них позаботился о своем собственном кусочке отечества, чтобы почувствовать себя гордым и свободным его сыном.

Что же делает бельгиец, вступив во владение собственной полоской земли? Он окружает ее изгородью. Он хочет совершенно точно знать и видеть, что принадлежит ему и до каких пределов можно приближаться посторонним. Для того чтобы никто не усомнился в серьезности его намерений, он и сооружает изгородь, преимущественно из бетона. Столбики отливают предпочтительно в виде древесных стволов и окрашивают в зеленый цвет, дабы они гармонировали с ландшафтом.

По воскресеньям вся семья отправляется за город, «навестить свой участок». Дети едут на велосипедах, так как им полезно двигаться, родители — на машине. Они гуляют по соседним лугам, пренебрежительно спрашивают о том о сем местных жителей. Потом отец немного пропалывает участок, очищая его от чертополоха, а мать рулеткой

[1] В июле 1302 года у города Грунинге (Западная Фландрия) пешее войско фламандских ремесленников и крестьян разбило конную армию графа Робера Артуа, отстояв независимость фламандских земель от французской короны. В числе трофеев оказалось более пятисот золотых рыцарских шпор (отсюда название «Битва золотых шпор», под которым это сражение вошло в историю Бельгии).

измеряет периметр, чтобы проверить, не перенес ли кто-нибудь ночью пограничные столбы.

Далеко за горизонтом, может быть, гибнут миры, а здесь прилежная пчелка, жужжа, перелетает с одного цветочка клевера на другой.

Как строят в Бельгии?

Методы строительства здесь в корне отличаются от тех, которыми мы по старинке пользуемся у себя во Фламии.

Бельгийцы сначала возводят фасад, а уж потом смотрят, осталось ли место и деньги на все прочее.

Фасад воздвигают сообразно окружающей среде. Если дом будет стоять в пригороде, то принимается в расчет стремление жителей пригорода интегрировать в своем быту дух столичной жизни. Если же дом строят в черте города, то очень рекомендуется оживить атмосферу каменных джунглей сельскими атрибутами, как-то: соломенной крышей, низкими, как у фермы, стенами и тому подобными знаками близости к природе. Когда же дом встраивается в шеренгу себе подобных, то монотонности можно избежать легкой игрой фантазии. Например, кладут стены на три кирпича выше или ниже, чем у соседнего дома. Да и сами кирпичи бывают хорошим подспорьем. У одного дома они цвета вереска, у другого — красные, как маки, у третьего — желтые, словно куриная слепота. К этому прибавим всевозможные вариации с дверьми и окнами, крылечками и лестницами, цветными и белыми стеклами, палисадниками и гаражами.

Бельгиец исходит из посылки, что человеку на своем веку суждено возвести не так уж много фасадов и, во всяком случае, не более одного на каждый дом. Поэтому, прежде чем приступить к делу, он основательно изучит его теоретически. Приехав в Шварцвальд, Тироль, Испанию или Гифхорн, он тщательно возьмет на заметку все лучшее, что создано там по части фасадов. Затем он постарается синтезировать облюбованное, не упустив из виду, что Греция была колыбелью западной цивилизации и что пара дорических колонн плюс треугольный фронтон будут всегда на месте. В том числе и под одной из соломенных крыш, образцы которых можно заимствовать из каталога музея на открытом воздухе в Бокрейке [1].

Когда фасад воздвигнут, вслед за ним очень быстро сооружается все остальное. По сути дела, теперь уже следуют вариации на одну и ту же тему. Сразу же за фасадом идут холл, туалет и салон. Потом наступает очередь столовой. Молодежь называет ее по-английски — «ливинг», наверное, потому, что в ней почти или вовсе не живут. Напоследок строят кухню и чулан. О них много говорить не приходится. Самое главное — какими обоями их оклеить.

Поскольку каждому хозяину нужен уголок, где он мог бы уютно расположиться в кругу семьи, заняться выпиливанием по дереву или другим хобби, закусить и посидеть перед экраном телевизора,— бельгийцы ставят за чуланом сарай. Он не должен быть дорогим, главное — чтобы был по-настоящему уютным. Одни строят его из бетонных плит, другие кладут стенку в один кирпич. Для крыши великолепно подходит серый шифер. До сарая можно добраться по тропинке через газон, так что парадная дверь остается на замке, пыль в дом не проникает, салон и столовая будут всегда чистыми на случай, если «кто-нибудь придет». Тут стоят новые столы и стулья, широкие кресла, столовое серебро в серванте и бутылка аперитива на камине.

[1] Этнографический парк-музей старинного крестьянского быта различных провинций Фландрии.

Тот, кого не менее пяти раз принимали в салоне, уже вправе самовольно пересечь газон. В сарае ему вручат кружку пива. Теперь он не просто гость, а близкий друг дома.

Да, чуть не забыл сказать о бельгийских крышах. Важнейшим их признаком является то, что их кладут сверху. В провинции Кемпен их принципиально кроют наискось — таков уж обычай этой равнины. В других местах, подавая заявку на строительство, следует помолиться о благополучном исходе дела.

Вечером в Бельгии плотно задвигают все занавески, с грохотом опускают на витринах металлические шторы, глаза окон прячутся за ставнями.

Люди заползают в свои панцири.

Каждый домик посреди парка становится крепостью. Каждая квартира уединяется в свой темный уголок. Видно только пятнышко света. Его излучает лампочка на верху фасада, освещая табличку с названием виллы.

С названием мечты.

Недавно Именитый Горожанин из Рейнаарде пригласил меня снова зайти к нему «поболтать». Когда мы опорожнили две бутылки, он выложил мне свою проблему. Не найдется ли у меня подходящего названия для его виллы?

Супруги жили уже целых три месяца в новом доме возле Кемпийского леса, дошли почти до отчаяния, но не могли придумать, как назвать свой дом. Фасад уже выкрашен в белый цвет, над соломенной крышей гордо озирается по сторонам петух из кованого железа, у калитки возвышается старый уличный фонарь и лежат два красных колеса от телеги, дорожка вокруг дома и к гаражу в виде амбара давно выложена настоящим булыжником — словом, виллу можно было бы считать завершенной, будь у нее к тому же еще и название. Кузнец, который выковал петуха и должен был сделать витиеватые металлические буквы для фасада, начинает уже терять терпение. У печатника лежат незаконченные визитные карточки с новым адресом. А лопающихся от зависти друзей нельзя пригласить на новоселье. По выражению лица хозяйки дома я понял, что дальнейшее промедление может стать роковым.

Хозяин же сохранял присутствие духа.

— Может, мы сначала прогуляемся по усадьбе, чтобы вы все посмотрели? Будет чудесно, если вы придумаете название, которое бы как-то передавало характер нашего дома.

Мы все обошли и осмотрели. В салоне стояли столы с витыми ножками и кресла, обитые красной кожей. Для столовой была импортирована испанская мебель. Три спальни были оборудованы в бретонском, фризском и английском стилях. Мы побывали также в маленькой мансарде, отделанной под каюту океанского парохода; среди прочего здесь были штормовой фонарь, рыбачья сеть и непромокаемая куртка-зюйдвестка на вешалке. В палисаднике, на свежевыбритом газоне, кокетливо теснились вокруг столика белые стулья с тонкими ножками, напоминающими балерину, которая делает фуэте. Роль задника декорации играли темно-зеленые ели, перед которыми на переднем плане сгрудилась стайка серебристых березок. Повсюду разливалось соловьиное пенье, и, когда я пошарил глазами по деревьям, хозяйка рассмеялась, на секунду выйдя из состояния тревоги, и пояснила:

— Это моя идея. Мы спрятали на веранде стереоустановку, а по веткам развесили динамики. Все записано на пленку и на пластинки.

Если бы дело стало только за мной, я бы присвоил этому дому имя из первой категории.

Домотопонимика в Бельгии подразделяет названия на разные, строго разграниченные категории. К первой относятся названия, в которых домовладелец хочет с детской непосредственностью выразить свое удовлетворение тем фактом, что у него есть наконец свой дом, свое собственное, ему одному принадлежащее жилье, которое он может оборудовать по своему вкусу, без всякого вмешательства посторонних лиц.

Названия этой категории воплощают человеческую гордость достигнутым результатом и некоторую толику изумления по поводу того, что идеалы все-таки могут становиться реальностью. Я думаю сейчас о таких названиях, как «Моя греза», «Наша мечта», «Наше гнездышко», «Наш покой» или «Сны сбываются». У других радость прорывается в остроумной шутке, которую несет в себе название. Всем прохожим должно быть ведомо, что хозяева дома видят в нем предел своих желаний и ничего больше не хотят от этого мира. Поэтому они пишут на фасаде «Сэм Саффит» [1]. Музыкально одаренные выводят над дверью «До-ми-си-ля-до-ре». Когда тетушка Шарлотта приезжает в гости и не сразу соображает, что все это значит, они дружным хором поют «Домисиль адоре». Обожаемый кров, стало быть. И потом до колик в животе смеются над ее удивлением.

Я не стал предлагать названия первой категории. Я чувствовал, что хозяева дома уже давно перебрали всевозможные варианты и забраковали их как слишком обычные и распространенные. В самом деле, такие названия вы можете встретить на всей территории Бельгии: их дают самым разным жилищам — от лесных бунгало в Арденнах до деревянных летних домиков на побережье.

Названий второй категории я тоже не трогал. Эту группу составляют названия цветов, деревьев и других растений. Осматривая усадьбу, я увидел только симпатичные ели и березки, но и они в Кемпене почти полностью перевелись. Газон едва ли шел в расчет, а в стеклянной теплице возле леска, которая помогала хозяину дома изредка тешить свою аграрную ностальгию, мне удалось разглядеть только редиску и несколько кустиков савойской капусты. Я деликатно намекнул Безымянным, что они могли бы высадить какой-нибудь подходящий сорт цветов — рододендрон или подсолнух, например. Они улыбнулись устало. Сразу поняли, куда я клоню. Они уже выписывали с Лазурного берега орхидеи и другие экзотические растения, приглашали специалиста-садовника, который высадил их в отдельную клумбу на солнечном месте, сам менеер ухаживал за ними, но только собрались заказать кузнецу буквы для надписи «Ночная орхидея», как все цветы безжизненно поникли.

— Здешняя почва не годится для этих цветов,— вздохнула хозяйка.

С мужеством отчаяния перешел я тогда к третьей категории — женским именам. Сколько их, таких бельгийцев, которые стремятся поведать с фасада всему миру, как зовут их возлюбленную, их даму сердца! Вилла «Ивонна», вилла «Мари-Клер», вилла «Шанталь»... Я взял под локоть хозяина дома.

— Прошу прощения, но я до сих пор не знаю имени вашей жены...

Он взглянул на меня с ужасом.

— Нет,— воскликнул он,— нет, только не это!

[1] Если прочесть слово «саффит» (Suffit) по-французски, то это значит — довольно, достаточно.

Когда мы затем в салоне пили виски, размышляя о трудностях домотопонимики в Бельгии, мой взгляд упал на картинку, изображающую Тиля Уленшпигеля, веселого героя фламандского фольклора, символ бунтарства и острого ума. Шельмец стоял на каминной доске, под которой в очаге светилось электрическое пламя, и, улыбаясь, глядел в свое зеркало. Я приободрился и заговорил с хозяевами о названиях во фламандском духе. В этом случае жилище редко называют «виллой». Вилла — слово иноземное. А верующий патриот-фламандец живет не только для того, чтобы просто жить, но и для того, чтобы примером своим воспитывать Народ. Поэтому он называет свой дом «обитель». Так торжественнее. «Обитель» великолепно подходит для современной фламандской элиты, сказал я.

К этому прибавляется имя или фамилия. Их лучше всего выбирать из Культурного Наследия Своего Народа. «Обитель Тиля», «Обитель Уленшпигеля», «Обитель Неле», «Обитель Брейгеля»... Или «Обитель Рейнарта-Лиса» — для тех, кому ближе звериный эпос. Лица, увлекающиеся садоводством или сельским хозяйством, могут заменить слово «обитель» на «двор» или «подворье». Это привносит идиллический оттенок.

Менеер нашел, что во всем этом слишком много романтики.

— Нельзя ли побольше деловитости! Мы уже летаем в космосе. Завтра, того и гляди, бельгийцы тоже высадятся на Луне. Конечно, есть имена, которые никогда не утратят ценности. Но...

Хозяйка также выразила сомнение. В Болдербеке она как-то остановилась пообедать в одном придорожном ресторане. Так вот, это громадное строение, где электрический орган извергал модные шлягеры, называлось «Двор Брейгеля». При одном воспоминании об этом у нее начинается мигрень. Кроме того, по дороге из Схерперела в Слотердам она видела подозрительные заведения под названием «Рембрандт» и «Мемлинк». А ведь были такие художники.

М-да. Я не раз обращал внимание на то, с какой охотой жители Католического королевства присваивают имена великих художников и государственных деятелей кафе, пивным, дансингам и прочим общественным и увеселительным заведениям. Я встречал несколько «Дворов Рубенса», где под покровительством художника и дипломата эпохи барокко едят и пьют. Есть кинотеатр «Рубенс», периодически используемый как зал для состязаний борцов и боксеров. Я видел дансинги, где разноцветными неоновыми лампами выведены на фасадах королевские имена «Астрид», «Паола» и «Фабиола».

Любопытно, что зачастую названия соответствуют определенному разряду и характеру заведения. Брейгель заставляет вспомнить те народные харчевни и пивнушки, где текут ручьи солода и жарят мясо на вертелах. Рембрандт, мастер светотени, попадался мне чаще в интимных уголках, с гардинами и приглушенным светом. Хендрик Консьянс[1], Первый писатель, который, как здесь говорят, «научил фламандцев читать», и Петер Бенуа [2], Первый национальный бард, который, стало быть, научил фламандцев петь, покровительствуют шумным ресторанам, куда культуртрегеры и просветители народа приходят почерпнуть новых сил или утешиться.

Ничто не помогло. Моя миссия провалилась. Я оставил хозяев дома в полном отчаянии.

[1] Хендрик Консьянс (1812—1883) — бельгийский писатель эпохи романтизма, автор «Льва Фландрии» и других популярных исторических романов на фламандском языке.

[2] Петер Бенуа (1834—1901) — бельгийский композитор, основоположник фламандской оперы.

Спустя три недели я получил синий конверт, из которого извлек сверкающую глянцем фотографию их дома. На ней значилось: «Вилла «Юдолалия».

— Мило, не правда ли? — радостным тоном осведомилась у меня хозяйка дома в тот же день по телефону.— Знаете, а это моя идея! Я скрестила свое имя с именем мужа. Мы ведь вместе работали для нашего дома. Когда вы приедете к нам выпить стаканчик?

Письмо пятое. НАЦИОНАЛЬНОЕ БЛЮДО

По сравнению с другими европейскими нациями бельгийцы — народ крайне оседлый. Бельгия — страна домоседов, которые отправляются в путешествие только для того, чтобы вернуться домой. Жителей Католического королевства на Северном море никак не назовешь безудержными искателями приключений или бездельниками-бродягами вроде тех, что повсюду чувствуют себя как дома. Им хочется порой уехать, но всегда их тотчас же тянет назад. Как это объяснить? Когда я задал этот вопрос Шарлю Дюбуа, он только усмехнулся. Не говоря лишних слов, он записал меня на несколько экскурсий, которые во время отпуска должен был провести по поручению Фламандского туристического союза.

Попав за границу, бельгийцы поначалу ведут себя так, как приличествует всем туристам. Они посещают обязательный минимум достопримечательных мест, отправляют почтовые открытки с видами, ищут рекомендованные путеводителями рестораны. Они наслаждаются туземными кушаньями, пьют местные вина, снимают все подряд на цветную фото- и кинопленку, и, когда туристический автобус ненадолго останавливается на залитой солнцем базарной площади какой-нибудь деревушки в Провансе, они тут же спешат купить себе ковбойскую шляпу.

Через три, четыре, максимум пять дней наступают легкие перемены. Перед обедом и ужином бельгийские пальцы все быстрее пробегают меню и бельгийские голоса все тише произносят название заказываемых блюд. Иногда за столом предварительно совещаются, а затем подзывают самого метрдотеля Представительный мужчина в черном фраке выслушивает с понимающим видом, затем пожимает плечами, отрицательно качает головой, быстро удаляется на кухню и возвращается с грустным лицом. По всему видно, что назревает небольшая драма.

Через десять дней бельгийцы начинают проявлять беспокойство. Они бегают взад и вперед, слишком много курят, без конца облизывают губы сухим языком, порой даже грубо отвечают чужим женам. С каждым часом положение обостряется. Все идет кувырком. Ковбойские шляпы забыты в автобусе, иные дамы остаются до обеда в постели, а вечером когда мужчины, сидя под платанами, играют в карты и кто-то немного жульничает, вспыхивает первая потасовка.

Ситуация становится критической. И тут наконец происходит «это». Душным вечером, когда все общество, апатично развалясь в кожаных красных креслах, дожидается появления руководителя группы с билетами на музыкальный фестиваль в «Арене», в холл вдруг влетает Карел Декмейн, учитель из Плугстерта, годами копивший деньги на поездку. Он смеется, он ликует, он ходит на руках.

— Дети,— кричит он (ему сейчас кажется, что он вбежал к себе в класс),— ребятки, сегодня вечером у нас будет пир горой! Я нашел на окраине возле порта ресторанчик, типичный такой ресторанчик,

каких у нас не встретишь, и знаете, у них есть бельгийское пиво и бифштексы с фритами! Кто идет со мной?

Люди не верят своим ушам. Больных немедленно вытаскивают из постелей, дежурного администратора просят вызвать по телефону восемь такси, и с веселыми песнями вся компания устремляется туда, где заманчиво горят огоньки портового предместья.

В полном одиночестве руководитель группы отправляется в «Арену» слушать оперу под открытым небом.

— Ну, как там с едой?

Это первый вопрос, который слышит любой бельгиец, когда он приходит со свадьбы, приезжает в отпуск из армии, выписывается из больницы или возвращается из путешествия.

— Ну, как там?

Слово «еда» обычно опускается как само собой разумеющееся.

— В порядке. Немного, правда, но сытно. Видно, что люди стараются. Но все же я чертовски обрадовался, когда мы, наконец, добрались до своей станции. Все мы тут же завалились в кафе и заказали во-от по такому бифштексу с фритами! И во-от по такой кружке пива! Конечно, заграничные блюда... все это здорово, но...

— Вот видите! — сказал Шарль Дюбуа.— В этом весь секрет.

Бельгийцы потому такой оседлый народ, что не могут жить без своего Национального блюда.

Они не боятся ездить далеко, но дело в том, что ностальгия у бельгийца помещается в самом неудобном для этого месте, а именно: в желудке.

Людям Католического королевства до смерти хочется всего попробовать, они воздают должное и спагетти, и рагу, и шашлыку на вертеле, и вообще всем блюдам, которые только может предложить им белый свет, но неминуемо придет день, когда со взглядом, исполненным тоски, они будут блуждать где-нибудь в Исфагане среди великолепных мечетей и спрашивать у правоверных, не заезжал ли в этот край хоть один фургончик с фритами.

Туристические общества мира до сих пор не дошли до сути дела. Они наивно верят в то, что бельгийский турист приезжает к ним, чтобы подивиться зарубежным чудесам и всякой там экзотике. Чтобы увидеть что-то новое. Но это — типичное заблуждение в духе романтизма прошлого века. Подавляющая часть туристов едет в чужие страны, чтобы найти там свою собственную страну. Пределом мечтаний для бельгийского отпускника будет минута, когда он сможет выпить кружку «Стеллы» [1] в баре на вершине Эвереста.

Если мы, дорогой декан, решимся открыть для бельгийцев границы нашей Фламии, то первое, что надлежит нам сделать,— это поставить на большой площади Гильдий, рядом с консисторией, желтый фургончик с фритами. Тогда бельгиец сразу почувствует себя как дома. Тогда он восхвалит нашу культуру.

Вопрос о том, являются ли pommes-frites бельгийским открытием, до сих пор окончательно не исследован. Я задавал его нескольким здешним историкам, но в ответ они не посмели даже взглянуть мне в глаза.

Существует подозрение, что впервые фриты были приготовлены все-таки на французском огне, но фламандские бельгийцы оказались

[1] Популярный сорт пива (по имени старейшей бельгийской фирмы «Стелла Артуа»).

тут как тут, немедленно переняли это дело и стали его совершенствовать. Так появились большие блюда и котлы, в которых теперь варят в масле нарезанный брусочками картофель. Южные Нидерланды вложили в это дело так много души, что весь навар достался им, а Франция, выбравшись из чада, занялась изобретением более рафинированных вариантов того же блюда.

Как и когда pommes-frites проникли в Католическое королевство, остается загадкой. Достоверно установлено, однако, что в 1880 году, через пятьдесят лет после завоевания Бельгией независимости, во время ярмарки в портовом предместье Антверпена варили в масле, продавали и поедали ломтики картофеля. Предполагают, что все это происходило у лотка Адриаантье.

Кто такой был Адриаантье, знают все завсегдатаи ярмарок этой страны. Его последователей вы можете и поныне видеть на любой базарной площади, где они строят «Дома старых друзей», с зеркалами, парусами и деревянными стенами, расписанными в меланхолических тонах под такую старину, что дома эти кажутся самым последним криком моды. Вокруг снуют официанты в белых фартуках и черных брюках. От всего этого исходит тот дух достоинства, который присущ был старой кермессе [1] и давно уже рассеялся как дым в других странах Западной Европы.

Коль скоро Адриаантье был родом из Антверпена, то некоторые полагают, что он прослышал о фритах от шкиперов и матросов, благодаря которым котел с кипящим маслом проник впоследствии и в глубь бельгийской территории. Основанием для такого вывода служит тот факт, что впервые о фритах узнали и освоили их технологию в поселениях, расположенных вдоль каналов. Другие голоса уверяют, что Национальное блюдо просто-напросто выдумано неким кулинаром по имени Фриц (фламандский вариант — Фритс), который проживал в Шарлеруа в конце девятнадцатого века. Подобные и аналогичные источники игнорируют тот факт, что у нас во Фламии еще несколько столетий назад в речевом обиходе бытовал глагол «фритен». От наших историков мне многократно доводилось слышать о старом добром времени, в частности о том, как знаменитый палач из Юрне получал по тридцать сребреников за «фритование» приговоренных к смертной казни в кипящем масле. Я лично могу сослаться и на тот факт, что нередко и с удовольствием едал цыплят, которых «фритовали» для меня в нашем родном Вестхуке.

— Перед второй мировой войной,— рассказывает Шарль Дюбуа,— я слышал однажды такой анекдот. Одна брюссельская дама спрашивает у своей служанки: «Скажи-ка, Маритье, а с чем вы едите дома фриты?» — «О,— отвечает ей девушка,— с солью, мадам, с солью».

Анекдоты, дорогой брат, несут в себе гораздо больше смысла, чем нам кажется. Порой в них запечатлена целая эпоха.

Соль, о которой говорила Маритье, свидетельствует о том, что в Бельгии фриты приобрели такую быструю популярность по причине всеобщей бедности. Картошку на масле можно было приготовить быстро и дешево, она была вкуснее обычной пищи трудового человека тех лет, ее можно было есть без овощей или мяса. Смазанная жиром, она легко проскальзывала в желудок.

«Сборщики картофеля» Винсента[2] получили свое блюдо и смогли, наконец, счастливо улыбнуться. Люди, на которых работали руки народа, должны были вскоре почувствовать, что ради собственной слад-

---

[1] Ежегодная ярмарка-карнавал в Нидерландах.

[2] Имеется в виду Винсент Ван Гог.

кой жизни надо давать народу и что-нибудь кроме соли. Фриты поставили на повестку дня политику бифштексов.

Долгие годы фриты считались фирменным блюдом исключительно бельгийской кухни. Весь западный мир с некоторым удивлением взирал на облако синего чада, окутывавшее государство на Северном море. Странного вида дома-фургончики под названием «фритюрни», где варился в кипящем растительном масле картофель, приобрели значение национального символа.

Но вот масло перекипело, убежало через край и потекло все дальше, через границы королевства. В начале тридцатых годов долговязые люди, населяющие земли к северу от Бельгии, с высоты своего роста заметили, что масляное пятно вышло за пределы Антверпена и быстро растекается, приближаясь к Тилбургу и Эйндховену, пограничным городам их страны. Затем оно остановилось. Могучие реки помешали его дальнейшему продвижению, как в стародавние времена они помешали испанскому нашествию.

«В нашем народе,— записал много лет спустя нидерландский хронист,— испокон веку жила естественная боязнь брать пальцами горячие картофельные палочки и отправлять их в рот».

Примечательно, однако, что в трудные годы после второй мировой войны потребление фритов в Северном королевстве резко выросло и в последнее время достигло рекордной цифры — пятьдесят миллионов порций, съеденных в помещении, и девяносто миллионов — на воздухе! Тут, кстати, наглядно проявляется одно из различий между Нидерландами и Бельгией. В Католическом королевстве такой точной статистики никогда не существовало. Здесь люди умеют есть очень проворно. А служителям фиска вовсе не обязательно все знать.

Капища, где осуществляется таинство приготовления фритов, можно подразделить на несколько категорий. Первую представляют крохотные фритюрни, в которых ничего нет, кроме очажка, двух-трех кастрюль и баночек с майонезом и горчицей. Они ютятся в игрушечных будочках где-нибудь в узком переулке или занимают низенькую пристройку какой-нибудь харчевни. Их можно увидеть в тесных привокзальных районах, где одна пивнушка наступает на порог другой. Здесь вы должны быть готовы к тому, что в ожидании своей порции вам придется завязать дискуссию с нетвердо стоящим на ногах господином или дамой сомнительного вида.

Вторую категорию образуют разного вида фургончики. Прежде это были целые домики на колесах, с тяжелыми чугунными печками и жестяной дымовой трубой, накрытой сверху изящной китайской шапочкой. Там и сям они еще попадаются на глаза, но краска на деревянных боках уже пооблупилась, и стоят они теперь как-то уныло, покосившись на своих колесах с красными спицами. Им пришлось потесниться и уступить место «караванам» — нарядным автофургонам, которые и выше и просторнее, или переоборудованным под фритюрни туристическим автобусам, снабженным электрическими печами. Словно бакены стоят они вдоль широких автострад и у дорожных перекрестков, и к огням их тянутся все, кто боится сгинуть в темноте.

Третья группа дерзнула сделать еще один шаг вперед — с колес она шагнула в пиршественный зал. Она завела себе ресторанные манеры. Картофельные брусочки теперь стали варить в специальном отсеке за прозрачной стеклянной перегородкой. Благодаря раздвижному окну предусмотрена возможность удовлетворить аппетит и тех, кто на улице, но большинство посетителей теперь усаживаются за покрытые светлым пластиком столики, им дают ножи, вилки и воз-

можность заплатить даме в белом переднике пятнадцать процентов чаевых — «за обслуживание».

Теперь у каждой фритюрни есть, как правило, свое постоянное место. Минула эпоха «летучих фламандцев», которые гонялись по всему городу за клиентами, гремя тележками и рискуя расплескать свое варево. Шарль Дюбуа до сих пор со вздохом вспоминает те далекие времена.

Излюбленное местоположение фритюрен — на центральной площади, чаще всего прямо перед ратушей, на перекрестках главных улиц, у входа в парк или в церковь, около вокзала. Палатки и тележки торговцев фритами исстари служат непременной деталью городского пейзажа. Они часть здешнего культурного наследия. Особенно легко убеждаешься в этом, когда приезжаешь в Брюгге, который еще называют Северной Венецией. В самом центре города, у подножия знаменитого Бельфорта — средневековой сторожевой башни, находящейся в поле зрения всего мирового туризма,— вдруг замечаешь две дымящиеся палатки. В Лире, этом кемпийском Брюгге, под рождество я видел вифлеемский хлев со святым семейством, звездами, ангелами и тремя царями под липой рядом с окруженным толпой фургончиком-фритюрней.

Не осталось, я думаю, ни одного места паломничества, ни одного стадиона, ни одного театра и кинотеатра, ни одного общественного заведения, которому не сопутствовал бы эскорт желтых тележек. Вся публичная жизнь украшена масляными пятнами.

На прошлой неделе я прогуливался по Лёвену, древнему брабантскому городу, где один из старейших университетов мира который уже год мучается подагрой [1]. Когда я забрел на привокзальную площадь, то обнаружил там целый музей фритюрен на открытом воздухе. Палатки жались друг к дружке, как торговки на базаре, а многочисленные студиозусы, стоя рядком, поглощали свою пищу насущную из бумажных кульков. Лёвен издавна богат фритюрнями — число их возрастало прямо пропорционально уровню демократизации студенческой жизни. Режим наибольшего благоприятствования фритюрням в Бельгии обеспечивают в первую очередь студенческие стипендии.

На улицах с интенсивным движением, прилегающих к вокзальной площади, палатки и фургончики исчезли. Вместо них встали однотипные, специально выстроенные домики. Авеню фритов, Елисейские поля Лёвена.

Я блуждал в синем тумане, ползущем на площадь из окошек фритюрен, а издали неслись крики студенческой демонстрации и сирены полицейских машин.

«О,— думал я,— если когда-нибудь появится на этой земле новое государство, которое признают все страны света, пусть оно наречется тогда гордым именем — Великофритания».

Письмо шестое. ДОМА МЕНЯ ЖДЕТ ОБЕД.

Ян, сын крестьянина из Западной Фландрии, который вот уже много лет снабжает Шарля Дюбуа картофелем, рассказал ему о том, что с ним однажды приключилось. Отец послал его на грузовике в Голландию — нужно было отвезти удобрения знакомому фермеру. Стояла зима. Было сыро и холодно, и поездка не доставляла Яну ни-

[1] Католический университет Лёвена (по-французски — Лувен), отметивший недавно 550 лет со дня основания, в последние годы переживал раскол по национальному языковому признаку, закончившийся фактическим разделом на два — фламандский и валлонский — университета.

какого удовольствия. Длинная черная полоска асфальта прочертила его маршрут между зеленых и коричневых пятен географической карты вверх, на север, где причудливо сплетаются между собой бесчисленные голубые кляксы и прожилки. Иногда эта черная полоска была четкой и ровной, иногда терялась в серой пелене. Грузовик решительно таранил стену тумана. Ян обеими руками сжимал баранку руля, всматриваясь в дорогу. От долгого напряжения он устал, и ему захотелось пить. А когда он, наконец, остановил машину возле фермы, то и в животе у него заурчало от голода. Уже вечерело, сумерки окутывали своим покрывалом широкие поля и приземистые строения фермы. В дороге Ян прозяб (окошко кабины плохо закрывалось) и был рад очутиться наконец в тепле. В доме ему очень понравилось. Семья фермера как раз ужинала. На столе возвышался громадный чугун вареного картофеля, стояли тарелки с хлебом, мясом и сыром, банка с вареньем и сахарница. Хозяин фермы радушно приветствовал Яна и без обиняков предложил: «Подсаживайтесь к нам!»

Ян почувствовал, как где-то внутри него ослепительно вспыхнуло пламя голода. От аромата горячего кофе кровь ударила ему в лицо.

Он вежливо отказался.

— Спасибо,— сказал он,— не беспокойтесь...

Крестьянин удивленно поднял бровь. Ян смотрел на него умоляюще.

— Ну что ж,— сказал голландец,— тогда приступим к делу.

Ян призвал господа и всех святых, чтобы его еще раз пригласили поужинать, только более настойчиво. Но крестьянин поднялся из-за стола и пошел с Яном к машине. Он явно принадлежал к другой вере.

— Около часа мы сгружали удобрения,— рассказывал мне Ян.— После я на ночь глядя поехал обратно с пустым кузовом и животом. Грузовик ужасно трясло, меня тоже, да так, что я чуть не развалился на куски. Я честил себя последними словами и готов был лупить себя по физиономии. Я порядочно проплутал в тумане, пока, наконец, не свернул в какую-то деревушку, где смог перекусить в кафе.

По всему было видно, что этот дюжий крестьянский парень до сих пор не может забыть пережитого.

— Разве порядочный человек так поступает?— то и дело повторял он.— Разве можно так относиться к людям?

Жители Западной Фландрии, как и все прочие бельгийцы, никак не могут понять, что голландцы верят на слово, если им говорят: «Спасибо, я не голоден». Бельгийцы подозревают, что голландцы «не понимают их души». Они думают, что их северные соседи очень скупы и хватаются за вежливый отказ как за повод ничем их не угощать.

Северяне же, в свою очередь, никак не возьмут в толк, зачем говорить «нет», если думаешь «да». Они смотрят на вещи трезво, поделовому. Отказ они не считают признаком вежливости. Попробуйте объяснить им, в чем тут дело, и они поднимут вас на смех. Да и живут-то бельгийцы вроде бы рядом, а все-таки они южане, что ни говори, и манеры у них другие.

Голландец, которому хочется кофе, запросто выйдет из положения. Когда его спрашивают: «Выпьете с нами чашечку?», он отвечает: «Спасибо. С молоком и сахаром, пожалуйста». В Бельгии это было бы верхом неприличия.

Здесь, когда вам предлагают выпить кофе, вы, как благовоспитанный человек, должны ответить: «Если еще осталось...»

Не истолкуйте это превратно. Во всяком случае, не вздумайте сказать: «И вправду, кофе-то уже весь!» Вы глубоко раните этим бель-

гийскую душу и разом обнаружите, что со своей стороны вы тоже плохо ее понимаете, не лучше, чем голландский фермер понимал Яна из Западной Фландрии.

За те долгие месяцы, что я живу среди бельгийцев, я не устаю поражаться, что эти люди, такие любители поесть и выпить, ни за что не дадут прямого ответа, если их приглашают к столу.

На днях, поздно вечером, ко мне в квартиру ввалился грузный мужчина. Он был проездом из одного конца страны в другой, а поскольку дорожный указатель стоял как раз возле моего дома, то решил заглянуть ко мне на огонек. Одичавший взгляд его блуждал по комнате, и мне стало ясно, что мой знакомый нуждается в том, чтобы его срочно накормили. Так как я уже познал «бельгийскую душу», то спросил гостя, не хочется ли ему перекусить.

— Спасибо,— ответил тот,— я лично не голоден.

По-моему, это особая форма целомудрия.

Когда вас в кругу бельгийской семьи спрашивают, не останетесь ли вы перекусить, вам следует быть осторожным. За всем этим кроется целый ритуал, и, смотря по тому, справитесь вы с ним или нет, ваша репутация может в один миг вознестись в глазах хозяев или погибнуть.

Вам ни в коем случае нельзя тут же отвечать: «С удовольствием», схватить стул и засунуть ноги под стол. Вам ясно, что в конечном итоге дело идет именно к этому, и другим это тоже ясно, но никто и виду не подаст. Вы продолжаете стоять, бросаете взор окрест себя, затем опускаете его долу, смущенно улыбаетесь и ответствуете: «Очень вам признателен, но, право же, не стоит затрудняться...»

Для первого ответа этого вполне достаточно. Иногда мне приходилось слышать такое дополнение: «Я совсем недавно закусывал». Или же: «Дома меня ждет обед».

Мне трудно на расстоянии советовать, какие формулы уместны для тех или иных случаев жизни. Это нужно чувствовать. Как? Трудно сказать. Опыт приходит лишь через несколько лет бельгийской практики. Я сам еще нередко делаю ошибки.

После вашего ответа хозяин дома предлагает с ласковой настойчивостью в голосе: «Ну, ну (или: полноте), один бутербродик (или одна картофелина) вам не повредит». На это вы: «Да, конечно, но...» Вы смотрите на часы и добавляете: «Я обещал дома, что не задержусь».

Здесь налицо тонкая дипломатическая игра. Вы начинаете, стало быть, с того, что признаете правоту хозяина дома. Вы даете понять, что несмотря на предыдущую трапезу не отказались бы от одной картофелины, но вам не хочется из-за этого манкировать своими семейными обязанностями. Нотабене: вам совершенно не нужно называть часа, к которому вас ждут дома. Вы просто говорите, что обещали «не задерживаться». В какой момент начинается это «задерживаться», вы оставляете невыясненным. Понятие «задерживаться» зависит от целого ряда факторов. Каждый волен толковать его в меру своих способностей.

После этого путь открыт. Вы дважды заставили себя просить, что считается проявлением благовоспитанности. И вы дважды отвечали отказом, что не менее благовоспитанно. В эту минуту хозяин дома делает ловкий ход. Он кладет руку вам на плечо и доверительно произносит: «Ну пожалуйста. У меня как раз есть вкусная крестьянская колбаса, вы ее еще не пробовали».

Он выдерживает паузу, любуясь эффектом, произведенным этой интимностью. Вы должны сообразить, что сейчас к вам обращаются

уже действительно как к доброму гостю. На сцену выходит кулинарная тайна.

— Я всегда достаю ее в Боллебеке,— говорит хозяин, беглым жестом показывая куда-то назад за спину, словно эта неизвестная деревня находится у него под диваном.— Тамошний мясник — родственник моей жены. Он варит колбасу еще по дедовским рецептам, которые держит в секрете. Вот и жена вам скажет.

Таким образом, он превращает колбасу в семейное дело и призывает в свидетели жену. Она немедля начинает говорить, что это настоящая, натуральная старинная колбаса, которую сейчас уже разучились делать. «Попробуйте, и вы поймете, что я права».

Теперь будьте внимательны и не оплошайте. Само собой разумеется, что, соглашаясь с хозяином дома, вы тем более должны признать правоту хозяйки. В конце концов, на то вы и воспитанный человек. На этот раз надо действительно соглашаться. Вкусить хваленой колбасы — значит вкусить от фамильной тайны.

Из кухни, где жарится шедевр, плывет дразнящий аромат. Ваши железы начинают бурно выделять слюну. Теперь нужно найти фразу, чтобы замаскировать свое отступление. Произносите ее не слишком поспешно и без нажима. Не обнаруживайте своего аппетита. Иначе будет похоже, что вы остаетесь откушать не потому, что хотите оказать уважение хозяевам дома, а просто-напросто из чревоугодия.

Вы реагируете в такой последовательности:

— Да, мне всегда очень нравилась крестьянская колбаса, но знаете, уже много лет я ищу и не могу найти мясника, который умел бы ее приготовить, как в старые времена...

Таким манером вы подтверждаете уникальность предлагаемого вам блюда и вплетаете свою лепту в лавровый венок семейства.

— Дружище! — смеется хозяин и хлопает вас по спине.— Чего же вы стоите? Подсаживайтесь!

Вы в последний раз смотрите на часы, но не слишком демонстративно, и произносите: «Пожалуй...»

Слово «пожалуй», сопровождаемое многоточием, означает многое.

— Пожалуй... если вы настаиваете... маленький кусочек... только попробовать...

Естественно, что вы не ограничиваетесь буквально кусочком. Это можно было бы истолковать как выражение недоверия к кушанью, которое вам от всей души предлагают. Вы берете целую колбасу. «И две картошечки — благодарю». Это значит — две большие тарелки.

Поскольку сразу же после еды вы не имеете права ретироваться, то остаетесь немного потолковать за рюмочкой.

А «на одной ноге не устоишь» и «бог троицу любит».

И когда часы бьют полночь...

В Бельгии вся изюминка в том, чтобы отказ не только не обидел хозяина, а, напротив, уверил его, что вы охотно посидите с ним за столом, однако не для того, чтобы воспользоваться случаем, а потому, что вы человек с тонким кулинарным чутьем.

Принимать приглашение немедленно — грубо. Вас сочтут за человека невоспитанного, который готов злоупотребить чужим гостеприимством. Тот, кто не мешкая садится к столу, когда его приглашают, легко может навлечь на себя подозрение в прихлебательстве и обжорстве.

Тот же, кто отказывается слишком решительно, вызывает досадное впечатление, что ему действительно не хочется есть. Хозяин в

этом случае начинает строить разные предположения. Наименее обидное из них — что у вас, наверно, больной желудок, чем и объясняется ваш дурной характер. Самое же плохое и, значит, первым приходящее на ум — что вы мните себя слишком важной персоной, чтобы сидеть за одним столом с хозяевами дома.

— Менеера дома, наверно, кормят лучше, ха-ха-ха!

Произносят это сразу же, как только за вами закрывается дверь.

Письмо седьмое. ВСЕ СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ.

Сегодня, дорогой декан, мне подумалось, что в нашей милой Фламии, верно, уже начинается сезон конного спорта.

Здесь, в Католическом королевстве на Северном море, лето в полном разгаре, а солнце светит вяло, как у нас в начале весны. Но бельгийцы все ужасно довольны и счастливы. Они снимают пиджаки и куртки, ходят в одних рубашках, пыхтят от жары, пьют большими кружками холодное пиво, отчего разогреваются еще больше. Мне бы очень хотелось угостить их молочными орехами, что растут у нас на деревьях вдоль дорог,— ведь их сок так чудесно утоляет жажду. Но, видимо, придется подождать, пока наши страны не заключат соглашения о взаимных поставках фруктов, овощей и напитков. И это еще не все. Ибо бельгийцы, должен заметить, пьют не только тогда, когда их мучит жажда.

Вспомнив про молочные орехи, я почувствовал прилив сентиментальности. Перед моим мысленным взором предстали жители наших городов Юрне и Бурга, юноши Босбека и Лё, которые толпятся сейчас у спортивных полей в тени деревьев, готовясь к первым серьезным поединкам в метании дротика. Я представил себе, как мчится наша молодежь по равнине на низкорослых фламских лошадках — этой изящной разновидности арабских скакунов, с гениальной предусмотрительностью выращенных нашими предками на конных заводах у Золотой реки. Признаться, слезы выступили у меня на глазах, когда я подумал о Юто, моем бравом вороном, который, ей-богу, всегда казался мне не просто животным, но, к счастью, и на человека не всегда бывает похож. Сколько раз участвовали мы с ним в состязаниях в Бурге, куда съезжается вся страна, чтобы музыкой, флагами, вином отметить праздник нашего Национального спорта!

Ты, должно быть, еще помнишь те славные времена, когда ты сам был одним из лучших метателей дротика и мы с тобой вдвоем каждое утро седлали коней, чтобы поупражняться и показать наше искусство. Как мы мчались галопом, как летели по полям, издавая радостное «Хей-хо!» — боевой клич наших спортсменов. Не сосчитать, сколько Золотых колец завоевали мы вместе с тобой. Порою я спрашиваю себя, не обязаны ли мы отчасти этим спортивным успехам тем, что нас через пять лет выбрали на такие ответственные посты: тебя деканом, меня вице-деканом. Ведь досточтимые Советники всегда питали живой интерес к Национальному спорту. На состязания в Бурге они являются все как один, а некоторые даже принимают в них участие. Они позволяют себе то и дело отлучаться с заседаний Конклава, даже пропускать обсуждение Национального бюджета, но на трибунах ипподрома у них всегда полный кворум.

Однако довольно описывать спортивную жизнь Фламии. Ведь я послан в Бельгию, дабы воссоздать картину нравов и обычаев этой страны, столь далеких и все же столь близких нашим. Советникам наверняка будет интересно услышать, как же здесь обстоят дела с Национальным спортом.

Ну так вот, уже первые поездки по стране убедили меня в том, что и здешнее население обожает спортивные игры.

Рекламные плакаты то и дело призывали меня пить «аперитив спортсмена», курить «сигареты спортсмена», носить «белье спортсмена» и читать «газету спортсмена». Листая телефонные и адресные книги, я натыкался там на пространные литании, посвященные ресторанам и кафе — таким, как «Спортсмен-любитель», «Спортивная радость», «Сила в спорте», «Спурт через спорт», и тому подобное.

В окнах многих кафе, включая заведения, которым не повезло с названием и они носят, как крест, свою неудачную вывеску, часто бывает выставлен плакат, оповещающий, что здесь вы можете услышать ВСЕ СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ. История таких объявлений уходит в далекое прошлое, когда радио было еще в диковинку и люди шли в кафе, чтобы узнать самые последние новости, которые хозяин писал мелом на специальной черной доске. Сегодня весь Запад гуляет, приложив к уху транзистор, и черная доска, выражаясь фигурально, перестала быть tabula rasa. Ее время прошло, но традиция осталась. Собственно, для бельгийца не так важны сами спортивные достижения, как новости. А слушать их в одиночестве нельзя. Спортивные новости слушают всегда на людях. Бельгийцу никакая новость не в новость, если он лишен возможности тут же выдать свой комментарий соседу-болельщику. Важно также, чтобы под рукой было что выпить — отпраздновать победу или утешиться в случае поражения любимой команды.

Так я проник в сердцевину спортивной жизни Бельгии. Главная заслуга здешнего спорта в том, что он создает человеческий контакт между гражданами, которые сами спортом не занимаются.

Не далее как вчера я был в одном таком кафе: «Спортивный кружок памяти велогонщика Де Претера, победителя Парижской велогонки 1931 года». Опершись о стойку бара, я слушал новости и смотрел на телеэкран, где спортивный обозреватель рассказывал о завоеваниях «наших ударных спортотрядов» за день. Рядом стоял мужчина в кепке, сползшей ему на затылок. Одной рукой он держался за стойку, другой за кружку с пивом. Я без труда узнал его. Это был родной брат тех парней, чьи фотографии, на которых они качают забрызганного грязью победителя велогонок, регулярно печатают бельгийские спортивные газеты. А когда он заговорил, я вспомнил, что мельком видел его лицо в толпе ликующих, вопящих, пляшущих зрителей, которых так любят показывать операторы во время футбольных матчей.

— Вы тоже спортсмен? — спросил меня мужчина.

Я собирался ответить, но он не дал мне и рта раскрыть.

— Я лично,— заявил он,— хожу на все соревнования нашей команды. Особенно если она переходит в другой класс. Тут-то и видишь, кто настоящий спортсмен. Он всегда с командой. Всюду вместе. Настоящий спортсмен не подкачает и свою команду в беде не бросит.

— Совершенно справедливо,— заметил я.

— Я раньше был боковым судьей,— поведал он мне.

Я не понял, что это значит, но он сделал такой широкий жест, будто размахивал флагом, и при этом опрокинул свою кружку. Он заказал еще по одной — себе и мне. Между тем на экране телевизора спортивное обозрение уступило место репортажу из бассейна, сопровождаемому шумным плеском воды и гулкими криками ободрения с трибун.

— А плавание вы любите? — спросил я.

— Еще как! — воскликнул он с жаром.— Это прекрасный вид спорта.

— И очень полезный для здоровья,— добавил я.

— Похоже, что так, но вот изображение никуда не годится.

Он сощурился, точно хотел показать, как бывает трудно смотреть плавание по телевизору.

— Мотокросс куда лучше,— сказал он.— Там все как на ладони. Так и кажется, будто сам несешься по пыли и по холмам. Бильярд — тоже красивый спорт. А горные лыжи! Я открыл для себя лыжный спорт благодаря телевизору. Ох, лыжи! Дух захватывает. До чего же красивый вид на снежные горы. По мне, так пусть хоть целый день показывают лыжи.

Он допил пиво и опять заказал по кружке себе и мне.

— Ваше здоровье! — сказал он.

Я не хочу сказать, дорогой брат, что каждый житель Католического королевства ходит в свой спортивный кружок, но таких я встречал очень много. Бельгийцы относятся к спорту так же, как английский писатель Джером К. Джером относился к работе. Они обожают спорт. Они им просто очарованы. Они могут созерцать его хоть целый день.

По большим спортивным дням два миллиона болельщиков стоя или сидя наблюдают затаив дыхание за одним из отрядов двухсоттысячной армии спортсменов этой страны. Учти, что я говорю только о самых активных зрителях. О тех, кто отправляется на «свои» футбольные поля, стадионы и маршруты. Никто не в состоянии сосчитать зрителей, проводящих время у телевизора.

В число самых рьяных болельщиков входят и те, кого можно видеть погожим воскресным утром на пороге своего дома, в палисаднике, на обочине дороги. Они обсуждают сводку погоды, обмениваются информацией о пенсиях и всматриваются в небеса, откуда к ним возвращаются птицы, доставленные накануне в один из близлежащих французских городков. Скажу без лишних слов и загадок, что речь идет о голубеводстве, которое известно и у нас во Фламии, особенно в окрестностях Лё, где живут флегматичные люди, равнодушные к конному спорту.

В зимнее время армия любителей спортивных зрелищ становится еще многочисленнее. Она сосредоточивается вокруг больших травянистых площадок, на которых пестрые группы молодых парней, рискуя переломать друг другу ноги, гоняют взад и вперед кожаный мяч под восторженный рев толпы. Игра эта напоминает футбол, которым увлекаются наши соседи в Бессалонии. Здесь он пользуется большим успехом, но если бы ты спросил меня, можно ли его считать Национальным спортом Бельгии, то я бы все же отдал пальму первенства не футболу, а велосипедным гонкам.

Несметные полчища бельгийцев собираются летними днями вдоль дорог, по которым мимо них проносятся велосипедисты, украшенные плакатами с рекламой стиральных машин, мясных консервов и порошков от головной боли. Еще больше бельгийцев приникают к телевизорам, передающим подробнейшие репортажи: о «Классиках», «Из города в город», о «Кольцевой гонке», «Стрелах», «Критерии», «Восьмерке» и прочих состязаниях под самыми разными названиями. И по утрам миллионы людей, покупая газеты, лихорадочно ищут в них спортивную рубрику, чтобы насладиться критикой по адресу соперников их фаворита и почерпнуть веру в успех своих чемпионов.

Велогонщик и его велосипед — это ненадежное средство передвижения на двух узких колесах, обутых в резиновые шины,— играют в Бельгии особую роль. Совершенно иную, нежели в Нидерландах, у ее голландских соседей.

В Нидерландах много велосипедов и мало гонщиков. Рассудительные северяне пользуются велосипедом, чтобы в качестве пешеходов

на колесах покрывать кратчайшим путем расстояние между двумя точками. Они вовсе не считают, что их достоинство и авторитет страдают от того, что они оседлали данный предмет домашнего обихода, который нередко специально окрашивают в солидный черный цвет. Сама королева не считает для себя зазорным появляться на публике верхом на «железном коне».

В Бельгии велосипедистов меньше, зато гораздо больше гонщиков. Голландская Колесница никогда не вывезет вас на общественное поприще и не вознесет на пирамиду социального признания. О недостаточном уважении к этому утилитарному механизму ясно говорят узенькие полоски асфальта, которые отводятся для велосипедного движения вдоль шоссейных дорог. Велосипед — машина пролетариата, и совершенно немыслимо вообразить себе, чтобы верховный правитель Бельгии с развевающимися полами плаща крутил педали где-нибудь на проселочной дороге в Кемпене.

Лишь во время состязаний обретает бельгийский велосипед достойный социальный статус. Едва только объявляют «курс», как бургомистр, члены муниципалитета, весь аппарат полиции бросаются «в ружье» и не то что узкие велосипедные дорожки, но и всю проезжую часть моментально закрывают для движения и на несколько часов превращают в вотчину Владык Дороги. Человек, садящийся на гоночный велосипед,— это не какой-нибудь неудачник, не фанатик моциона и не путешественник, которому не хватило денег, чтобы купить билет на туристический автобус. Этот человек — народный герой, праздничный друг толпы, принц из волшебной сказки.

— Мне бы все-таки хотелось побывать разок на таких состязаниях,— признался я Шарлю Дюбуа.

Я обратил внимание, что заветная мечта многих любителей спорта в Бельгии — хоть один-единственный раз проехать весь маршрут следом за гонщиками, чтобы собственными глазами увидеть, как «сходят» чемпионы. (Бельгийские гонщики не испытывают боли, усталости или упадка сил — они «сходят».)

— За чем же дело стало? — отвечал Дюбуа.— У меня есть знакомый, который с удовольствием все устроит, если я попрошу.

У каждого бельгийца есть знакомый, который с удовольствием все устроит, если вы его попросите. «Договориться», «замолвить словечко», «нажать» — это в Бельгии почти такой же популярный вид спорта, как велогонки.

Через две недели все было в порядке. Я получил право сопровождать велогонку «Кольцо Восток — Запад» в машине «Свободных новостей» — газеты, организовавшей эти состязания. (Ибо спортивные состязания здесь часто организуются или поддерживаются на плаву редакциями газет, потому что им приходится ломать голову над тем, как заинтересовать и привлечь побольше подписчиков.)

— Редактор газеты — старый приятель моего брата,— пояснил Дюбуа.— Они вместе учились в духовной семинарии.

Я улыбнулся:

— От теологии — к спортивной журналистике?

— И в том и в другом деле главное — уметь все истолковать в нужном свете,— ответил Дюбуа.

«Кольцо Восток — Запад», как меня уверили, будет важнейшим событием этого спортивного года.

— Головоломный маршрут,— сказал теолог.— Врагу своему не пожелаю.

И он с большим знанием дела и со сладострастьем в голосе нарисовал мне сочную, яркую картину неимоверных трудностей маршрута, размазав краски на все его двести пятьдесят километров. Сначала километров сто будет ровная дорога, на которой можно сделать хороший стартовый рывок. Но едва гонщики почувствуют первую усталость, как перед ними вырастет печально знаменитая Хиндербергенская стена — подъем с уклоном чуть ли не в сто процентов[1], а дальше сразу же пойдет участок дороги, покрытый острой щебенкой.

— Вот тут-то и начинается сущий ад,— пояснил теолог.

Десятью километрами дальше гонщикам, по его недоброй воле, предстояло снова карабкаться в эту чертову гору, причем дорогу здесь, идя навстречу его пожеланию, министерство общественных работ давно не ремонтировало. Потом он погнал своих каторжан по извилистым, задыхающимся от угольной пыли улочкам шахтерских поселков Боринажа.

— А в Монсе,— ухмыльнулся теолог,— стоит статуя Человека с молотом. Кого там не хватит удар, тот кандидат на лавровый венок.

К финалу гонки в истязателе, видимо, заговорила жалость, потому что он снова подарил гонщикам полоску бетона, длинную и ровную, но с горкой на последних пятистах метрах. Сразу за горкой пролегала линия финиша, так, чтобы никто из спортсменов не мог видеть, что он к ней приближается, а болельщики на трибунах доходили бы до исступления.

Я был потрясен его гениальностью.

О грядущем состязании газета стала писать за много дней до начала. Она помещала интервью с самыми известными участниками, спрашивала об их прогнозах, стратегии, намерениях, детях. Она печатала наводящие ужас фотоснимки Хиндербергенской стены, «где, вне всякого сомнения, учинится новая бойня». Она обсуждала шансы фаворитов и накаляла атмосферу сообщениями вроде того, что-де Император может отказаться от участия ввиду травмы колена, которую он получил, когда рубил дерево в своей роще, а затем вновь разряжала напряжение заметкой, что колено Императора заживает и «гроза гонщиков выступит». Всеобщее волнение достигло кульминации, когда газета «шапкой» над восемью колонками текста напечатала вопрос: «Если Император выступит — примет ли старт Велонавт?» Велонавт — черноволосый и молчаливый молодой человек — был якобы полон решимости отнять трон у своего соперника и «загнать его в угол».

В воскресенье рано утром я дожидался редакционной машины на площади перед зданием «Свободных новостей». Обширное пространство площади оживляла одинокая липа, чудом уцелевшая между прямоугольниками автомобильной стоянки, да бронзовая фигура короля в шлеме, восседавшего на простой крестьянской лошади[2].

Перед открывшимися кафе расставляли стулья и раскрывали большие зонты над столиками. Из дома напротив слышались звуки гармоники. Несколько рабочих тащили канат для оцепления проезжей части. Мужчина в синем плаще делал через микрофон техническую пробу громкоговорителей, развешанных по обе стороны улицы на стенах домов, между красно-желто-черными флагами бельгийского государства.

---

[1] Крутизна в один процент означает, что на каждые сто метров дорога повышается (или понижается) на один метр.

[2] Конная статуя короля Альберта I, установленная во многих бельгийских городах.

Постепенно площадь стала заполняться народом. Мужчины и женщины, сопровождаемые детворой и вооруженные списками участников, взяли в окружение короля на лошади. Громко сигналя, медленно прочесывали толпу приземистые скоростные автомобили. На крышах автомобилей были укреплены вверх колесами велосипеды. От свежего утреннего ветра колеса легонько вращались, и спицы блестели, точно серебряные. Следом за машинами появились первые разноцветные фуфайки гонщиков.

И вдруг вся Королевская площадь пришла в неистовство. Из машин сопровождения выскочили молодые, в большинстве своем выше средней упитанности, парни и принялись разыскивать выезд на автостраду. Гонщики сгрудились пестрой толпой у палатки, где им выдавали пакеты с едой и лимонад. Радиокомментатор весело трещал в микрофон, интервьюируя героев предыдущих воскресных гонок.

Королевская площадь была вся запружена публикой. Бесцеремонные юнцы, да и мужчины постарше, успевшие заключить пари за кружкой пива, протискивались с фотоаппаратами к самому секретариату, где гонщики расписывались в списках участников. По радио объявляли фамилии и номера. Человек в болотных сапогах, протопавший сюда, видимо, прямо с ночной рыбалки, размахивал своим довоенным «кодаком» и что-то громко кричал, пока гигантского роста полицейский не взял рыболова за шиворот и не потащил безжалостно в боковую улочку, нанося непоправимый урон его престижу в глазах собутыльников.

Окруженный техниками и репортерами, стоял сдержанно улыбающийся Велонавт, кто-то протягивал ему бутылку «Красного аперитива», а фотограф увековечивал этот торжественный акт, целя объектив аппарата на этикетку. Появился Император, слегка потирая колено, так что каждому стало ясно, что ушиб он не выдумал. Какой-то малец, случившийся рядом, вдруг высоко подпрыгнул, сорвал с его головы жокейскую кепочку и тут же исчез в толпе.

Я от души наслаждался пестрыми красками и даже невнятным хрипом громкоговорителей, из которых неслось что-то вроде бессвязной молитвы. Плывя по волнам этой ярмарочной толчеи, я достиг Велонавта и уже собирался попросить у него автограф, но был довольно невежливо оттеснен его тренером. Вдруг кто-то схватил меня за рукав и потащил за собою. Это был шофер редакционной машины.

— Скорее! — кричал он.— Я вас уже давно ищу. Если мы сейчас же не поедем, то не выберемся отсюда.

Мы бросились к машине. Там уже сидел, нетерпеливо ерзая, репортер из нашей газеты. Тигриным прыжком машина рванулась вперед и вклинилась в длинную вереницу автомобилей, ехавших в двухстах метрах впереди гонщиков. Подъезды стоявших вдоль улицы домов были черны от народа, люди тянули шеи, пытаясь высмотреть внутри машин известного киноартиста или телезвезду. На поворотах дороги можно было увидеть далеко впереди целый караван рекламных машин, оставлявших за собой пестрый след из красочных проспектов, листовок и картонных коробок.

Репортер поставил себе на колени миниатюрную плоскую пишущую машинку и принялся стучать по клавишам, как пианист-виртуоз.

— Репортаж с места событий по горячим следам,— объяснил он.— К концу соревнований все должно быть готово. Вы мне не поможете? Нужно записывать имена, которые будет передавать радиомашина.

Я вооружился блокнотом и карандашом. В тот день я записал множество имен, но тех, кому они принадлежали, мне так и не довелось увидеть.

Наша процессия упорно продолжала двигаться впереди гонки, все время выдерживая дистанцию в несколько сот метров. Сквозь треск и писк автомобильного радио я пытался разобрать репортаж теолога о развитии событий. На шестидесятом километре Питу Янсенсу пришлось сойти с велосипеда. На семидесятом километре у Императора снова начались неприятности с коленом. На восьмидесятом километре Пит Янсенс догнал лидеров и снова включился в гонку. На восемьдесят втором километре Велонавт «высунул было голову, но потом опять спрятался в раковину». Лидеры «пришпорили коней».

Я записывал, а сам поглядывал на одетых по-воскресному зрителей, наблюдавших за нами с обочин. На Хиндербергенскую стену мы взобрались между плотными шеренгами почетного караула болельщиков, которые пили кока-колу, ели мороженое и громко кричали нам: «Кто сейчас впереди?»

На стопятидесятом километре наша машина взяла в сторону и выскочила вперед. Там нашего репортера ждал мотоцикл. Репортер занял место на заднем сиденье, мотоциклист пропустил мимо все машины и оказался в самой голове гонки. Минут через пятнадцать он доставил репортера обратно. Едва усевшись в машину, молодой человек тут же снова принялся как безумный молотить по клавишам.

— Ну, как там дела? — спросил я его.

— Затишье перед бурей,— пробурчал он.— Они следят друг за другом как смертельные враги.

— О,— сказал я.

— Обещаю вам резню на финише,— проговорил репортер.— Если Император не сунет всем нож в спину.

— Нож в спину?

— Это для него пара пустяков. Так он выиграл в гонке Париж — Кортрейк. А как по-вашему, почему Велонавт побил его затем на целое колесо?

Репортер вновь обрушился на свое пианино, а я стал ломать себе голову над его диковинными речами.

На двухсотом километре теолог возвестил из радиомашины: «Пит Янсенс вырвался вперед. Он оторвался на сто метров. На двести. Император пускается в погоню...»

— Гони! — закричал репортер шоферу.— Мы должны это увидеть по телевизору!

У первой же развилки мы свернули и со скоростью сто сорок километров в час полетели в редакцию, куда поспели как раз к заключительному эпизоду телерепортажа.

Пионеры велоспорта в этой стране, дорогой декан, были выходцами из родственной нам Западной Фландрии. Они вошли в легенду. Лет шестьдесят — семьдесят тому назад велосипед проник на территорию королевства и тотчас же нашел приверженцев среди народа, единственным занятием которого был труд до седьмого пота. В то время люди не особенно хорошо разбирались в значении слова «спорт». Футбол им был известен только понаслышке, а другие английские игры были привилегией богачей и чужеземцев. Но велосипед раздразнил воображение этих простых людей, живших в эпоху, когда не любили спешить. Постепенно все поняли, что он по плечу только двужильным, и тогда появились велосипедисты. Они-то знали толк в черной работе!

Шарль Дюбуа рассказывал мне про них часами. С иронией и в то же время с восхищением.

— Обрати внимание,— говорил он,— из каких наций вышли лучшие велосипедисты. Итальянцы, бретонцы, фламандцы — люди эти издавна привыкли батрачить ради куска хлеба да помалкивать.

И мой друг пустился в пространные рассуждения о социальной ситуации в Европе, объясняя, почему велосипедный спорт культивируется главным образом в тех краях, куда еще не дошли другие виды спорта, со стадионами и прочими элементами материальной и духовной «инфраструктуры».

— Зачинатели нашего велоспорта,— рассказывал Шарль Дюбуа,— сперва отправлялись на заработки за границу, чаще всего во Францию. Домой они привозили чемпионские титулы, и это, пожалуй, было единственным, чему наш народ мог тогда радоваться. А радовался он беспредельно. Эти первые велосипедисты перестали быть простыми крестьянскими парнями, делавшими необычную, ни на что не похожую работу на чудно́й машине. Их называли Посланниками отечества, Вестниками восстания. Так величала их тогдашняя спортивная пресса. Возникла целая спортивная литература — героический эпос велоспорта, понятный народу и вдохновляемый им. Слагался он высоким стилем наших древних предков. Гонщика именовали «гонцом». Он теперь не просто падал, а «припадал к земле, взыскуя сил». Если он валился на дорогу от боли или отчаяния, то «меч изнурения подрубал ему корни». Когда он, пыхтя, колесил на своем тяжелом велосипеде по Пиренеям — он «высекал монументы велосипедного подвижничества». Все круги Дантова ада заново возникали каждое воскресенье на равнинах Фландрии.

В жизни бельгийского общества чемпионы велогонок мало-помалу начали соперничать в авторитете с королевским домом. К тому же они были единственными, кому народ поклонялся по доброй воле. Если что-нибудь и роднило их с королями, так это прозвище.

Король, которого не называли Великим, Смелым, Красивым или Добрым, обречен затеряться в анналах истории. Так происходит и с королевскими рыцарями велосипеда, чьи имена не увековечены прозвищем. На заре Героической эпохи велосипеда поэты воспевали их как Титанов Дороги. Однако если в ходе войны богов и титанов одному из них приходилось пахать носом землю, его тут же низводили до Каторжанина. Вскоре почетные титулы стали присуждаться персонально, заимствовались они у легендарных зверей и птиц. Темноволосый гонщик, который «широкими взмахами крыльев победил высоту гор», стал Черным Орлом. Отчаянный малый, который «летел, пришпоривая Железного Коня», и ликующе прогорланил: «Victoire!» — по-французски «Победа!» — стал Валлонским Петухом. Крепыша из-под Брюгге, который «поверг соперников ударами педалей», назвали Львом Фландрии. Потом настала очередь художников. Покоритель гор вырастал до Рубенса, «рисующего могучие фрески на альпийских вершинах». Специалист по спринту, «этому бельканто велосипеда», удостаивался звания «Карузо велоспорта».

О, велодрёмы[1] независимой нации! Они живы и по сей день, потому что коренятся в глубине бельгийской души. Уж на что телевидение мастер развенчивать старые легенды и создавать новые мифы, но и ему пока мало что удалось изменить в этом отношении.

Бельгийская нация стала теперь богаче или движется к этому, но она упорно цепляется за старую романтику. Прежде спорт был героической сагой газет, смысл которой не всегда доходил до простых смертных. Вместо стадиона они собирались и спорили в деревенских кафе, где формировались и первые спортивные клубы. Там рождались идеи новых состязаний, на всеобщее обозрение выставлялись боевые трофеи местных спортивных кумиров. Во время гонок кафе превра-

[1] В оригинале игра слов: velodroom — велодром, droom — мечта, греза, сон.

щались в раздевалки, а после — в храмы, где чествовали чемпионов и устраивали банкеты с пивом и рагу из кролика.

Прошли годы, и миннезингеры велосипеда отступили перед всемогуществом телевидения. Отныне болельщик может заказать себе любой чемпионат с доставкой на дом. Спортивная борьба развертывается в его собственной квартире, гонщики сыплются с велосипедов на его ковер. Шаг за шагом человек превратился в абсолютного свидетеля. И все же старый эпос пьянит ему голову. Каждый вечер любители спорта включают телевизор, и каждое утро они проверяют по газетам, что именно они вчера вечером смотрели и как это следует понимать. Спортивные газеты — вот нынче подлинная Национальная литература. А велосипед — не более чем вышедший из моды экипаж, которого уже не встретишь на современных автострадах.

Письмо восьмое. ОБЗОР НАЦИОНАЛЬНОЙ СОКРОВИЩНИЦЫ.

В гостиной виллы «Юдолалия» стоит примечательный предмет, нечто вроде шкафа или серванта. Нижняя его часть из дерева и закрывается двумя дверцами, на которых изображены ярмарочные сюжеты в духе Брейгеля. Тут хозяин хранит разные сувениры и подарки. Кофейный сервиз, полученный на свадьбу от тетушки, на которую он теперь обижен, но еще не настолько, чтобы выбросить этот хлам. Белая супница с трещиной на груди и половиной крышки — выбросить эту вещь ему жалко потому, что он получил ее на память от бабушки. Жестяная коробка с документами, оставшимися от его службы в ополчении, и другая — со школьными тетрадками и грамматикой, свидетелями тех времен, когда он был первым в классе и еще подавал надежды. Похоже, что его жена провела тщательную ревизию коробки с тетрадями. Когда супруг заводит речь о своих школьных успехах, она не скрывает улыбки.

Верхнее отделение шкафа уже и намного выше. Сквозь раздвижные стеклянные стенки видны стеклянные полочки и все, что на них стоит. «Это наша витрина»,— говорят хозяева.

На первой полочке вы видите большие серебряные и бронзовые медали в поставленных стоймя обитых черным бархатом коробочках. На них изображены: голый мужчина, который слегка развернул корпус и собирается метнуть диск; женщина без одежды, которая протягивает кому-то, смотрящему в вашу сторону, пальму мира; еще один голый мужчина, на этот раз в профиль, изготовившийся к бегу, и еще одна женщина без одежды, которая дует в трубу и смотрит вдаль, потому что там совершается восход солнца.

— Изящная работа,— говорит владелец «Юдолалии» своим гостям.— Это мне подарили за активную деятельность на благо нашего спортклуба. «Мэнс сана ин корпорэ сано» [1]. Двадцать пять лет был секретарем и пять лет президентом. Преодолел немало трудностей, но и добился многого. Люди остались мне за это признательны. Вот награда за добродетель. Сейчас я очень занят по работе, да и старею с каждым днем. Так что могу быть только почетным президентом. Place aux jeunes, mes amis!

(Последняя фраза произносится по-французски. Она означает, что нужно уступить место молодежи. Бельгийская знать сплошь и рядом употребляет ее как междометие, так что буквально ее понимать не следует.)

[1] В здоровом теле — здоровый дух *(лат.)*.

На второй стеклянной полочке лежат серебряные и бронзовые медали, на которых выгравированы факелы, ружья и шлемы. Одни имеют круглую форму, другие — форму звезды или солнца в венчике из остроконечных лучей. К ним прикреплен кусочек материи благородно-алого или небесно-голубого цвета, но чаще всего трех цветов — красного с желтым и черным[1]. Середину медали обычно украшает барельеф, в котором вы узнаете профиль одного из бельгийских королей.

— Да,— поясняет владелец «Юдолалии»,— пришлось повоевать. В составе четвертого полка. Пять лет был в плену, а потом двадцать лет секретарем Братства ветеранов. Не смейтесь! У меня до сих пор осталась отметина после того случая, когда один старый ветеран чуть не избил меня в моем собственном доме за то, что ему никак не удавалось выхлопотать себе пенсию.

На третьей полочке находится блестящий золотой кружок. На нем крест и тиара. Кружок покоится на кусочке желто-белого шелка, остальные медали лежат в почтительном отдалении, а у задней стенки стоит фотография папы с его собственноручной подписью.

— Это подарок викария из епископата. Он прослышал, что меня собираются чествовать как основателя и президента общества «Очаг и алтарь». Пастор нашего прихода хотел утаить эту новость от епископата, потому что я категорически отказывался петь во время его служб под аккомпанемент биг-бита. Я был и останусь патриотом органа! Очевидно, викарий прочел о моем юбилее в газете. В коллеже мы были с ним друзьями. Он тут же запросил Рим. В разгар торжества распахивается дверь и появляется викарий с этой медалью. Я оторопел: «Монсеньер!» Он смеется: «Зови меня просто Мон». А потом произносит речь на полчаса. Попозже мы ее услышим: я записал ее на пленку. До чего же остроумный человек!

На нижней полочке множество витых канатиков и широких ленточек ярчайших цветов, не в пример веселее, чем на верхних полочках. К этим ленточкам подвешены позолоченные кружочки с изображениями всевозможных масок и шутовских колпаков, окруженных именами заморских принцев.

— Это карнавальные сувениры,— говорит хозяин и улыбается.— Много лет подряд я устраивал карнавальные шествия и открывал маскарадные балы. Прекрасные то были времена! В пятьдесят седьмом я был даже принцем карнавала. Они думали, что у меня не хватит смелости! Это, конечно, недешево стоит, но веселья и смеха — на всю жизнь! Смотрите-ка, вот это медали «Ордена Любителей Белого Вина» и «Рыцарей Вкусного Блюда». Нужно уметь отдыхать. Наслаждаться всем прекрасным, что есть в этом мире. Что такое жизнь? Короткий праздник посреди бесконечного Великого поста.

— Совершенно справедливо,— соглашаются гости.

Владелец виллы, дожидавшийся этой минуты, делает знак жене. Она щелкает выключателями, свет в комнате гаснет, зато витрина вдруг начинает блистать и переливаться под направленным на нее светом, источник которого искусно спрятан где-то за дубовой балкой под потолком.

— О-о-о,— вырывается у гостей.

Каждая безделушка сверкает, словно драгоценность, а стеклянный шкаф преображается в сокровищницу бельгийских королей.

Апофеозы и юбилеи — самая процветающая сфера общественной деятельности в Католическом королевстве.

[1] Национальные цвета Бельгии.

Жизнь здесь кишит и бурлит весь год напролет, а в особенности по уик-эндам, то есть в субботу и воскресенье. По всей стране выходные дни приносят радость заслуженным людям и заставляют попотеть отцов города и бургомистров, членов комитетов и служащих общины, секретарей и рестораторов.

Когда проходишь мимо Дома общины в Рейнаарде, всякий раз бросаются в глаза гордо реющие флаги, а слух улавливает стрельбу — салют пробками из бутылок с шампанским во славу очередного именинника. Всегда найдется кто-нибудь, победивший в чем-нибудь — в состязании голубеводов, в марафонской игре на гармонике, в бильярдном турнире, в телевикторине. Летним воскресным днем невозможно проехать через бельгийскую деревню, чтобы вам не загородили путь — нынче местный духовой оркестр, своим ревом способный заглушить Международный музыкальный фестиваль в Лимбурге, завтра — футбольная команда, которая «вплела в свой герб золотую ветвь», а в следующий раз — пестро украшенная колесница, с которой принц стрелковой гильдии принимает дань восхищения от своих подданных.

А сколько суеты и восторга, когда после участия в Тур де Франс под громкие звуки музыки возвращается к родным пенатам и предстает перед земляками на парадном крыльце Дома общины местный герой! Ему, к сожалению, удалось занять всего лишь пятнадцатое место, но ведь он без страха и упрека выполнял в Пиренеях миссию Гонца. Бургомистр прижимает его к своему сердцу и молвит: «Франс, дружище, для всех нас ты — моральный победитель и достойный сын нашего спортклуба».

Могучими опорными колоннами служат культу апофеозов и юбилеев юбилеи художников и политиков. Смысл этого явления прозрачен: юбилей рассматривается как единственный объективный критерий при оценке личности. Все другие деяния могут быть поставлены под вопрос оппозицией. Значение художников и общественных деятелей измеряется такими сложными мерками, как личный вкус, связи, интеллигентность. Юбилеи выше этого. Они входят в разряд устойчивых, не подлежащих сомнению ценностей. Они как бы взывают: «Бельгийцы, этот человек, сумевший прожить среди вас так долго, заслуживает горячих аплодисментов!» И он их получает.

Достигнув определенного возраста, вы вправе рассчитывать даже на милость бывших врагов. Нельзя быть злопамятным, думают они и спешат поднести вам цветы. Ведь удушить можно и в дружеских объятиях.

Какой же год бывает стартовым для юбилеев? В прежние времена, когда бельгийцы приобщались к Вечности более поспешно, юбилеи начинались с сорокалетнего возраста. Заметка в газете, букет цветов и первая медаль — для первого раза вполне достаточно. Пятидесятилетие — полвека — давало повод для настоящего чествования На первое — научная сессия или заседание. венчаемое приемом у министра или его заместителя, на второе — обед с семью приветственными спичами и наконец, если речь шла о действительно большом и общепризнанном авторитете, то на десерт — шествие в сопровождении двух капелл, церковной и муниципальной, с заключительной серенадой под балконом юбиляра.

В наше время юбилейный рубеж отодвигается все дальше. Население с каждым годом стареет, естественный отбор изживает себя. Золотая свадьба перестала быть редкостью. Редакции «Нашего Рейнаарде» и других общинных газет просто захлебываются в потоке фотографий Четырех Поколений и Бодрых Долгожителей, которые до сих пор еще читают без очков. Теперь юбилеи обычно справляют в

дни шестидесятилетия. Поначалу без особой помпы, ибо есть серьезные основания считать, что немного времени спустя придется повторять все заново. В действие включается механизм, который каждые пять лет автоматически усаживает Заслуженного Человека в кресло юбиляра. Я слышал о популярных писателях, которые последние двадцать пять лет жизни занимались исключительно произнесением благодарственных речей на посвященных им торжествах, организуемых в юбилейный сезон дважды в месяц сотнями культурных обществ и филиалов.

Придя, наконец, к верстовому столбу своего жизненного пути, увенчанному цифрой «семьдесят», юбиляр получает право на Собрание сочинений или же посвященный ему сборник статей. Среди статей попадаются даже такие, где тот или иной коллега признает его заслуги. На его имя поступает телеграмма от правительства, а иногда от самого короля, из чего явствует, что теоретические заблуждения в области политики, которыми уважаемый юбиляр грешил в далекой юности, можно считать забытыми. Путь к Рыцарскому ордену теперь открыт. И в самом деле, на юбилейном обеде, между фруктами и кофе, его подает к столу секретарь кабинета, молодой человек, почерпнувший данные для своего пышного поздравления из биографического справочника «Кто есть кто».

Верят ли бельгийцы этим апофеозам и юбилеям?

Я задаю себе этот вопрос всякий раз, когда прохожу мимо одного магазинчика. Он стоит на оживленной торговой улице и бросается в глаза своей простотой. Среди стеклянных дворцов и крикливой пестрой рекламы не сразу замечаешь его высокие узкие окна с зеленым или коричневым переплетом. На фасаде нет вывески, только надпись на витрине: «Мундиры и знаки отличия». Другой рекламы ему и не требуется. У него есть своя постоянная клиентура — военные, государственные служащие, высокопоставленные лица, музыканты, почетные ветераны труда, а также фирмы и общества, отмечающие юбилейные даты.

Витрина магазинчика представляет собой выставку образцов человеческой гордости и тщеславия. Но я приглядываюсь не к витрине, а к бельгийцам, которые возле нее замирают. Они указывают друг другу на ордена и медали — и на те, что у них уже есть, и на те, что кажутся им смешными. Последние они называют «жестянками» и «побрякушками». А если возле витрины остановилась целая группа, то всегда находится остряк, который, выпятив грудь и послюнив большой палец, начинает цеплять на себя воображаемые награды и с павлиньей важностью прохаживаться перед витриной. Толпа отвечает ему дружным хохотом.

Вообще-то бельгийцы любят смеяться над тем, что им дорого. И нет ничего страшного в том, что они зубоскалят над наградами и сами же за ними гоняются. Медали весело бренчат на их груди, покуда им хоть одну не вручат публично. Тогда украшения становятся почетной наградой. Их вешают в гостиной или студии, чтобы человечество знало, с кем оно имеет честь. Если же награждают служащих фирмы, то ее владелец заказывает в рекламном бюро богато иллюстрированный фоторепортаж «Торжественное вручение сорока пяти юбилейных медалей на фирме «Брюкотекст» (что значит — «Брюссельская компания текстиля»).

В Рейнаарде, прямо напротив церкви, стоит древняя харчевня. Низкое вытянутое строение из белого камня под красной черепичной крышей и со множеством окошек. На вывеске над зеленой дверью два

бражника пытаются катить бочку пива друг другу навстречу и сталкиваются лбами. «Харчевня в Неладах» — гласит надпись над их головой. Но на окне, что возле двери, можно прочитать другую: «Все — для «Дóма у Имярек»[1].

Старейший постоялый двор округи пережил второе рождение. «Он приютил самый модный магазин всей страны»,— говорит его новый владелец. И довольно улыбается, потому что дела идут отлично. Жители Рейнаарде зовут его «Антикваром» — в столовой у него хранится масса предметов художественных ремесел и старины. Сам он в проспектах и рекламных объявлениях расшифровывает свое занятие как «новейшую и необходимейшую профессию эпохи — композицию бытового фона». Он заявляет напрямик: «Я нужен всем, кто хочет что-то значить. Каждому, кто хочет попасть в элиту, без моих услуг не обойтись».

«Композитор бытового фона» — крепкий мужчина между тридцатью и сорока, с черной шкиперской бородой. Он радушно приветствует меня в окружении картин фламандских экспрессионистов, гравюр Мазереля и офортов Дирка Бакстеена. На подоконнике я вижу брабантскую керамику, а на бывшей пивной стойке — вереницу фарфоровых блюдец и чашек да коллекцию стеклянных горшочков, «выдутых еще вручную». Рядом стоят скиния эпохи Ренессанса и медная помпа для пива, а у стены возвышается старый книжный шкаф, сверкающий золотыми корешками. Надпись над стрелкой, указывающей на следующую дверь, приглашает: «Осмотрите нашу коллекцию мебели разных стилей».

«Композитор быта» объявляет, что я в своих записях спокойно могу называть его помощником создателей памятника современности.

— Я состою на службе у искусства,— говорит он.— Виски?

Виски — напиток людей с «фоном».

— Прежде,— рассказывает мужчина со шкиперской бородой,— прежде человечество воздвигало памятники знаменитостям. Генералы и короли из гранита сидели на конях посреди зеленых скверов. Мраморные художники держали свои палитры на рыночных площадях и в городских парках. Бронзовые поэты застывали в мечтах перед зданием ратуши или читали книжки у парадного входа в библиотеку. Но впоследствии, благодаря обязательному обучению, литераторов развелось огромное количество, да и войны стали случаться чаще и велись с большим размахом. Теперь уже было дороговато поднимать на пьедестал каждого, кто отличился на поле битвы или за письменным столом. В некоторых городах негде повернуться из-за позеленевших изваяний мудрецов и триумфаторов. Еще виски?

«Композитор быта» отвинчивает голову готической статуэтки святого и извлекает оттуда новую бутылку.

— Сегодня люди хотят, чтобы каждая вещь имела практический смысл. Положить еще льда?

Наш народ,— продолжает «Композитор быта»,— прибег тогда к более демократической форме публичного увековечения, и эта форма процветает и в наше время. Имена великих людей начали писать на металлических дощечках и развешивать на перекрестках и площадях. Ныне же возникает новая, высшая форма. Подлинная слава пожинается не на улице и не на публике. Она рождается в вашем доме. Она расцветает в гостиных, где миллионы людей каждый вечер включают телевизор. Монументы воздвигаются теперь на маленькой плоскости телезкрана, и эти монументы превосходят по высоте все прежние

---

[1] «Дóма у Имярек» — популярная серия телепередач-интервью с известными художниками, артистами, спортсменами и т. д.

памятники. Они превосходят их еще и потому, что избраннику судьбы не надо больше ждать своей смерти. Он может, нет, он должен присутствовать на открытии собственного памятника. Без него памятника не будет. Хотите сигару?

«Композитор быта» открывает скинию эпохи Ренессанса и достает оттуда ящичек с сигарами.

— Не проходит и дня,— говорит он, пуская синие струйки дыма, которые завиваются нимбом вокруг головы готического святого,— не проходит ни одной передачи, чтобы нам не представили нового Сына или Дочь Народа. Мы круглый год ходим в гости к Людям с Большой Буквы, игравшим некогда важную роль в обществе, а теперь состарившимся настолько, чтобы еще суметь достаточно живо поведать нам о своем прошлом. Мы слышим и видим, как прощупывается, прослушивается и просвечивается вся жизнь Лидеров Нации. Мы подсаживаемся к их столу, мы возлежим на ковре возле их очага, мы садимся на колени самой Культуре. На наших глазах растет и ширится галерея героев, аллея живых памятников эпохи.

— Позвольте задать вам один вопрос. Какую же роль выполняет ваша фирма в деле всенародного распространения культуры?

— Я,— разъясняет он,— даю на прокат картины, скульптуры и другие предметы искусства выдающимся личностям, которых телевидение выбирает для передач из цикла «Дома у Имярек».

Письмо девятое. УСТРАИВАЙСЯ!

— Кофе, пожалуйста,— попросил я кельнера. Я сидел в старом кафе со множеством зеркал в блестящей медной оправе.

Он изображает нечто вроде поклона, затем исчезает и возвращается только через десять минут. Пробурчав какие-то загадочные слова, он ставит поднос на столик. На подносе находятся: металлический кувшинчик с молоком, два кусочка сахара в обертке, пирожное размером с детскую ручонку, кусочек шоколада площадью в почтовую марку, ложечка и странная башенка из стекла и посеребренного металла, сильно напоминающая шахтерскую лампу.

— О! — вырывается у меня возглас удивления.

Ибо эта башенка есть не что иное, как одна из разновидностей старых бельгийских фильтров для кофе, ныне все чаще вытесняемых пластмассовыми приборами разового употребления.

Фильтр — это украшение истинно бельгийского кафе. Это устройство для кофепития обладает самой яркой индивидуальностью в мире.

Я созерцаю его с одобрением и любопытством. Стеклянная чашка в низком металлическом подстаканнике. Над прозрачной шейкой чашки возвышается металлическая голова — купол со свежемолотым кофе и кипятком, который должен найти себе дорогу вниз через тонкое ситечко. А на самом верху — солидная металлическая крышка с шишечкой.

Настоящее произведение искусства.

Желая выразить шедевру свое восхищение, я беру его за блестящее ушко. И тут же вскрикиваю, потому что обжигаю себе пальцы. Тогда я осторожно начинаю поворачивать поднос, чтобы осмотреть конструкцию со всех сторон. Отполированная до блеска синтетической пастой, она излучает благородство. На подставке выгравировано ее имя —«La Noble Rose»[1]. На крышке — изящный цветочек.

Через пять минут восхищения мне приходится констатировать, что в нижнюю часть из верхней просочилось пока что всего четыре

[1] «Благородная роза» *(франц.)*.

капли кофе. Я стараюсь не выказывать своего нетерпения. Я-то знаю, какие процессы происходят в настоящем бельгийском фильтре. И вовсе не собираюсь их подгонять, как это делают неопытные люди, которые поднимают крышку и начинают помешивать содержимое. Это нарушает равновесие в работе фильтра. Аромат и вкус кофе прямо зависят от того, как распределился и утрамбовался под ситечком кофейный порошок. Тонкое искусство, для овладения которым нужен большой опыт и врожденное чутье. Я встречал весьма понятливых людей, которые прожили много лет в Бельгии, но так и не усвоили, с каким усилием ситечко должно давить на кофе. Немножко недожать — и вода процеживается еле-еле, а каждая ленивая капля обрушивается на ваши нервы как при пытке водой. Немножко пережать — и вода каскадом низвергается через ситечко, а результат настолько бледен, что хоть пускай золотых рыбок.

Через десять минут я чуточку забеспокоился.

С единственной целью убедиться, осталась ли еще вода в металлическом куполе, я легонько приподнимаю крышку. Да, вода на месте. Но шишечка крышки еще так же горяча, как и ушко, и я вторично обжигаю себе пальцы. От неожиданности я роняю крышку на молочник, молоко разливается по подносу белой лужицей, в которой плавает и тает шоколад.

Две барышни, похрустывающие вафлями за соседним столиком, бросают взгляд в мою сторону и сочувственно улыбаются. Они сразу признают во мне иностранца — ведь этого не скроешь. Я поднимаю крышку с помощью салфетки и вновь водружаю ее обратно на шахтерскую лампу.

Через пятнадцать минут донышко чашки, что в подстаканнике, уже не просматривается. Я наблюдаю, как тяжелые капли постепенно собираются под металлическим куполом и медленно падают. Украдкой бросаю взгляд в сторону барышень — не следят ли они за мною, но они как раз заказывают официанту вторую порцию вафель. Тогда я быстро поднимаю с помощью той же салфетки крышку прибора, хватаю ложечку и начинаю помешивать. Никакого результата. Я соображаю, что нужно приподнять ситечко, чтобы оно не так сильно давило сверху на кофе. Я засовываю ложечку под край ситечка в нижней части купола.

Интересно, какой температуры должна быть вода, чтобы фильтр мог нормально работать? Одни специалисты считают так, другие эдак. Собственно говоря, и здесь все решает интуиция — важнейшее качество, отличающее бельгийца от других представителей рода человеческого.

Температура воды в моей серебристой шахтерской лампе, несомненно, была в несколько раз выше точки кипения. Когда я собираюсь вытащить ложечку, купол опрокидывается и обжигающий фонтан брызжет на мою правую руку. Я роняю ложечку, и она в обществе молочника летит на пол. От ужаса я вздрагиваю, моя левая рука делает рефлекторное движение и задевает «Благородную розу». Горячий кофе, столь кропотливо процеженный, выплескивается мне на колени, отчего я непроизвольно издаю довольно грубое восклицание.

Барышни перестают жевать третью порцию вафель, а кельнер подходит ко мне и спрашивает:

— Что-нибудь не в порядке, менеер?

Если бы мне поручили подыскать для Бельгии подходящий символ, я бы точно знал, откуда начать.

Чужестранцы, подобно мне воевавшие с настоящим старым бельгийским фильтром, никак не уразумеют, какой смысл видят обитатели королевства в своих кофейных башнях. Нидерландский мудрец Годфрид Боманс [1] даже спрашивает, почему официант не подает клиенту такой кофе, который можно пить сразу. Боманс не собирается ходить в кафе, где нужно ждать по полчаса, а потом еще производить опаснейшую работу с фильтром.

Эти чужестранцы не сознают, что в фильтре фокусируется глубочайшая особенность бельгийского характера.

Только тому, кто умеет настойчиво и терпеливо ждать своего часа, искать своего шанса, «устраиваться», фильтр придется по вкусу таким, каков он есть. Для остальных фильтр был и останется своенравной, непредсказуемой «вещью в себе», а кофе — горячим, пока его не трогаешь, и чуть теплым, стоит поднести его к губам.

— Жди своего часа. Débrouille-toi! Устраивайся!

Этот лозунг я впервые услышал, когда был в гостях у Шарля Дюбуа. За завтраком его младший сынишка раскапризничался, не сумев очистить яйцо. Отец прокомментировал: «Учись устраиваться сам, иначе ничего не добьешься в жизни».

С тех пор мне бессчетное количество раз приходилось сталкиваться с этим выражением повсюду и при самых различных обстоятельствах. Бельгиец всасывает его с молоком матери как сумму национальной морали. Старшие вдалбливают ему в голову, что нужно держать нос по ветру, ковать железо, пока горячо, и выходить сухим из воды. «Устраиваться» — значит самому себе прокладывать дорогу в жизни, перехитрить того, кто сильнее, найти выход из безвыходного положения, даже окольными путями идти вперед — словом, как выразился Дюбуа, «уметь жить».

Все это заключено в одном коротком слове «устраивайся»! Но не только это.

Бельгийский школяр, не блещущий успехами, вынужден отбивать жестокие атаки разгневанного и разочарованного родителя, но вечером, украдкой пробравшись в гостиную, он услышит, как его «предок» утешает жену такими словами:

— Что ни говори, диплом вещь нужная, но самое главное, чтобы он потом сумел устроиться.

Девица, преждевременно оставившая филологию из-за молодого человека, который затем неожиданно уехал за границу, по протекции бургомистра устраивается на работу в министерство. «Ее знание языков и вообще образование оставляют желать лучшего, но она умеет устраиваться»,— говорит, подмигивая, ее начальник.

Если Шарлю Дюбуа позарез необходимо заново побелить стену своего сада или подстричь кустарник, а свободного времени нет, потому что на отпуск он запланировал семейное путешествие на машине в Италию («пусть дети там чему-нибудь поучатся»), он принимается кашлять и звонит своему домашнему врачу.

— Нужно устраиваться,— улыбается он. И демонстрирует мне статистику последней забастовки медиков, во время которой число заболевших на его фабрике резко сократилось — среди мужчин до двадцати пяти, а среди женщин до сорока процентов от нормы.

— Причина? У многих бельгийцев одна болезнь — хронический бюллетень.

Когда старший сын Шарля, Карлос Дюбуа, готовился к отправке в подготовительный центр карабинеров, ему часами приходилось вы-

[1] Годфрид Боманс (1913—1972) — известный нидерландский писатель и журналист, автор многочисленных романов, очерков, памфлетов и т. д. Здесь имеются в виду его путевые заметки «Голландец открывает Фландрию».

слушивать героические были о том, как Взрослое Поколение спасалось от чистки картофеля на кухне, мытья полов в казарме, прополки сорняка в штабном палисаднике и шальной пули на стрельбище.

— В армии,— поучал его отец,— нужно одно: уметь устраиваться.

И он сел писать письмо сенатору Де Кристеларе, с которым в школе играл в одной футбольной команде. Не поможет ли господин сенатор Юному Поколению устроиться, например, писарем, и хорошо бы неподалеку, чтобы оно каждый вечер могло приезжать домой, а утром поспевать как раз к подъему флага.

— Устраивайся, как все гениальные люди.

Разве не гениально само по себе искусство наводить спасительные мосты, прокладывать кратчайшие дороги, разрешать самые неожиданные трудности, когда нет четкого плана и все спасение в хитроумной и моментальной импровизации?

Армия явила стране один из самых блистательных в отечественной истории образцов Искусства Устраиваться. Это произошло в 1914 году, когда бельгийцам пришлось отступать перед нашествием восточного соседа. Шаг за шагом двигаясь вспять, дошли они до западного угла страны, где за речушкой зеленеют польдеры [1]. Там стояли они и «не могли иначе» [2]. Впереди противник, позади море. «Что делать?» — думают военачальники. Тут приходит к ним простой смотритель шлюзов и говорит: «Если, между прочим, открыть вот эти воротца, после вот эту дверцу, а потом вон ту заслонку, да при этом закупорить все трубы под железнодорожной дамбой между таким-то и таким-то городом, тогда вся округа уйдет под воду и никому больше хода не будет». «Чудеса»,— сказали генералы и велели сделать, как советовал смотритель. Так остановило врага тайное оружие бельгийцев.

— Искусство Устраиваться — древнее искусство,— говорит Шарль Дюбуа. Его лицо сияет удовлетворением. Ему вовсе не кажется, что слово «искусство» здесь неуместно; скорее напротив, для него это словосочетание обозначает, пожалуй, единственное национальное качество, которым он мог бы гордиться безоговорочно.— На мой взгляд,— продолжает он,— разгадка в том, что эти земли на протяжении веков служили добычей иноплеменных завоевателей и чужеземных тронов. Население все время попадало в чрезвычайное положение, когда приходилось хвататься за соломинку, а после зализывать раны. Чтобы остаться в живых, люди шли на любые уловки. Кто не взял силой, тому нужно брать хитростью. И народ запечатлел себя в средневековом зверином эпосе о рыжей шельме Рейнарте-Лисе, который так ловко сумел надуть короля и всю мстительную свору охотников. Это умение прятаться и ускользать перешло по наследству, так что потомки Рейнарта стали ловкачами по профессии, точнее, по призванию. В годы войны, например, они ухитрились организовать самый черный рынок на свете. Люди усвоили, что нужно глядеть в оба, если хочешь видеть будущее. То, что хочешь удержать, не упускай из рук. Когда надо спасать голову, рассчитывай только на собственные ноги.

— И это,— замечает Шарль Дюбуа,— осталось у бельгийцев в крови.

Когда бельгиец едет по шоссе, покажи ему сплошную разделительную полосу, и он обязательно пересечет ее, ликуя, что хоть на

---

[1] Польдеры — возделанные участки суши, находящиеся ниже уровня моря и защищенные от затопления дамбами. Благодаря системе пропускных шлюзов уровень внешних вод (в каналах) можно регулировать.

[2] Перефразированные слова Лютера: «На том стою и не могу иначе».

мгновение может натянуть нос высоким властям, которые заставляют его ездить строго по правилам.

От красной линии на архитектурном проекте его пробирает дрожь, и он тотчас же изобретает предлог, чтобы поставить дом на несколько метров впереди или позади этого рубежа.

Он выбирает парламент, который должен принимать законы, а потом использует своих депутатов для того, чтобы они помогли ему эти законы обойти.

Уплату налогов он считает национальным долгом тех, кто не в состоянии от этого уклониться.

— Идем,— предложил Дюбуа,— выпьем беленького в «Бельгийском павильоне».

— По стаканчику женевера [1]?

— Да. Или тебе не нравится женевер?

Я поспешил его успокоить. «Нет» может быть легко понято как отказ от приглашения, а я уже рассказывал тебе, что в Бельгии это небезопасно.

— По-моему, это великолепный напиток. Но я слышал, что в ваших кафе не разрешено подавать крепкие напитки?

— Совершенно верно,— сказал Шарль Дюбуа.— В пивных алкоголь продавать нельзя. Запрещено законом. Это одна из строжайших социальных мер, принятых после первой мировой войны.

— Так как же?!

— Что — как же? Общественность страны вела долгую и трудную борьбу против пьянства как страшного бича, издавна терзавшего народ. Я от всего сердца приветствую этот закон.

— Но...

— Но было бы негуманно применять его на каждом шагу. Спору нет, править необходимо сильной рукой, но на что-то нужно смотреть сквозь пальцы.

— Да, обычаи и нравы за последние годы очень изменились...

— Конечно. Еще один довод в пользу гибкой политики.

— Почему же вы не добьетесь смягчения этого закона?

— Об этом не может быть и речи! Дай людям палец, и они руку откусят. Ну, так как, будем пить женевер или нет?

— С удовольствием.

Хозяин «Бельгийского павильона» достает откуда-то снизу большую бутылку и наливает нам, три раза подряд, по рюмочке.

— А если вдруг придут жандармы?

Хозяин смеется:

— Как-нибудь устроимся.

Мы приятно провели полчаса за столиком «Бельгийского павильона», как вдруг к нам подошел хозяин. Он поставил на столик три рюмки женевера — одну для себя, две для нас (за свой счет) — и положил перед Дюбуа папку с какими-то бумагами.

— Ты можешь покончить с этим на следующей неделе? — спросил он.

— Думаю, что да,— ответил Дюбуа.

— Без осложнений?

— Завтра я увижу секретаря кабинета и попрошу положить твое дело сверху.

— Родственник?

— Я был тренером футбольной команды, где он играл центральным нападающим.

[1] Женевер — можжевеловая водка.

— Ты везде найдешь дорожку.

— Черный ход есть в любом подъезде.

Они похлопали друг друга по плечу, и мы выпили еще по одной.

— Мировой парень,— сказал Шарль Дюбуа, когда мы с раскрасневшимися лицами побрели домой.

— Ты работаешь на него? А я считал, что ты в этой фирме, как бишь ее...

— Ну да. Я просто немножко помогаю ему с бухгалтерией. После службы, понимаешь?

После службы! Если приглядеться к бельгийцам, то возникает впечатление, что рабочее время в этом государстве начинается как раз «после службы».

Шарль Дюбуа немножко помогает с бухгалтерией. Его сын Карлос каждую субботу «занимается страхованием». Их сосед «в свободные минуты» ездит от сада к саду с лопатой и деревянными граблями. Их соседка вечерами... впрочем, это не относится к делу, но кругленькую сумму она уже успела сколотить.

Уравновешенные бельгийцы, днем исписывающие толстые гроссбухи в конторах и вежливо отвечающие на звонки в присутственных местах, «после службы» летят сломя голову в дансинг, чтобы здесь ударить из джазовых батарей. Толпы учителей математики спешат после уроков к друзьям и знакомым помогать им в «исчислении налогов». Архивариус Рейнаарде, защитивший диссертацию о кладах древнеримских монет в окрестностях родного города, вдруг оказывается исполнителем модных песенок, стяжавшим в этом качестве немалый успех и доход.

Если кому-то из знакомых нужно освежить малярной кистью забор или починить радиоприемник, владелец «Юдолалии» говорит ему доверительным тоном:

— Надеюсь, вы не собираетесь расходовать на это слишком много. У меня есть человек, который занимается этим после службы. Если *Я* его попрошу, он сделает все что нужно, и по божеской цене.

Помню, я собирался купить машину. Отправился к дилеру[1] и только было пустился в подробнейшие расспросы, как в контору неожиданно ввалился мой знакомый Франс Де Кристеларе, племянник сенатора Де Кристеларе, старого друга Шарля Дюбуа.

— Тебе нужна машина?

— Понимаешь, такси и прокат мне больше не по карману.

— Новая?

— Гм... Не знаю...

— Послушай, у меня есть знакомый парень, который после службы продает директорские машины. Если *Я* его попрошу...

Директорские машины, дорогой декан, это такие машины, которыми пользуются директора крупных фирм и которые практически не успевают износиться. Стоит им немного поработать, как из престижных соображений их заменяют новыми, с иголочки, сверкающими лимузинами. Блеск машины отражается на ее пассажирах.

Я бы с удовольствием купил себе новую, но дружба обязывает. И я позволил Де Кристеларе оказать мне дружескую услугу. Когда я в первый раз приехал в новой машине на виллу «Юдолалия», хозяйка дома, оглядев через окно мою собственность, изрекла:

— Смотрите ка, у вас новая машина? Если бы вы меня предупредили... Я знаю кое-кого, кто мог бы достать директорскую машину...

---

[1] Дилер *(англ.)* — представитель фирмы, ведающий сбытом продукции на местах.

В Бельгии, должно быть, колоссальное число директоров, потому что мне постоянно встречаются люди, у которых есть знакомые, перепродающие директорские машины. По божеской цене. А если ОНИ их попросят...

Не пугайся поэтому, дорогой друг, если я попрошу тебя срочно выслать мне денег. Из-за чрезвычайно выгодных покупок в кредит у меня не осталось почти ни цента. Потому что машиной дело не кончилось. Мои друзья помогли мне обставить всю квартиру. В гараже поблескивает моя директорская машина, в кухне гудит машина для мойки посуды — демонстрационный экземпляр, в гостиной разговаривает сам с собою телевизор с выставки. Оказывается, у Дюбуа есть знакомый, который работает на ежегодных промышленных выставках. После службы.

Кроме того, я купил три фотоаппарата, магнитофон, пишущую машинку, партию зажигалок (когда вернусь, буду дарить их как сувениры), велостанок, вафельницу и тостер. Племянник моей привратницы знает одного человека, который работает в Западной Германии и регулярно подвозит эти вещи в Бельгию, за полцены или около того. По просьбе племянника «он уступит вам их со скидкой».

— Такого шанса упускать нельзя ни в коем случае,— говорит мне каждый, кто приходит в гости.— Послушай, ты ведь совсем недавно в Бельгии, а уже здорово научился устраиваться!

Письмо десятое. ЭТО ПРОСТО НАДО ЗНАТЬ.

Когда я первый раз позвонил Франсу Де Кристеларе, он сказал:

— Ждем вас сегодня в семь вечера.

В четверть седьмого я обнаружил, что мои часы остановились. У меня оставалось максимум сорок пять минут, а я еще не брился! Я выскочил на улицу, отбил у какого-то кутилы такси, по дороге соскоблил свою щетину электробритвой (на батарейках) и был ужасно горд, что ровно в семь стоял у дверей виллы Де Кристеларе.

Я нажал кнопку звонка. Внутри раздался визг, что-то замелькало за гардинами в окнах второго этажа. Послышался топот — кто-то взбегал по лестнице, затем крик: «Анна! Ан-н-н-а-а-а!»

Я отступил на шаг, чтобы лучше рассмотреть, не происходит ли наверху что-нибудь чрезвычайное. Крыльцо было нешироким, но мокрым от дождя. Я поскользнулся и сел прямо на клумбу с розами. Именно в это мгновение дверь отворилась.

— О, вы уже здесь?

Это был старший сын Франса. Он хихикнул и помог мне подняться. Проходя за ним в салон, я одновременно счищал со своих брюк комья земли. За этим занятием и застал меня внезапно появившийся Франс Де Кристеларе.

Про него тоже нельзя было сказать, что он комильфо. Он одергивал манжеты сорочки, чтобы запонки оказались там, где положено, бабочка на шее свисала одним крылом вниз, точно подстреленная. Лицо его пылало, он выглядел сконфуженным.

— Вы явились как раз вовремя,— проговорил он, немного запыхавшись, украдкой скосил глаза на стеклянную стенку серванта, привел в равновесие бабочку и пригладил волосы рукой.— Не хотите ли рюмочку? Моя жена сейчас придет.

Он подошел к бару. Наверху послышался неясный шум, затем звук упавшего предмета, сопровождаемый приглушенным возгласом. Франс начал громко и оживленно расписывать прелесть теплого лет-

него вечера на юге, в то время как здесь, в этом сыром краю, погода — особенно за последние дни...

С Франсом Де Кристеларе мне приходилось встречаться не так уж часто, но он успел произвести на меня впечатление человека спокойного и очень уравновешенного. Теперь же он был явно не в своей тарелке, я не понимал отчего и сам стал слегка нервничать. Так же внезапно, как и начал, он отбросил тему летнего вечера на юге и перескочил на историю с аперитивом, который ему довелось как-то попробовать во Франции, а потом вокруг этого аперитива разразился скандал: оказывается, рецепт вина подделали. Он путал обвиняемого и обвинителя, вместо «Бордо» назвал «Рубе» и спасся только благодаря появлению жены.

— Вы очень пунктуальны,— сказала она и улыбнулась так широко, что мне было нетрудно заметить, как дрожат уголки ее рта.

Она уселась рядом с нами в кресло, взяла рюмку и тут же включилась в историю с аперитивом, который она явно спутала с одним из сортов красного бургундского. Взгляд ее тем временем блуждал по салону, словно производя инспекцию, и пытался через двойную стеклянную дверь проникнуть в столовую, чтобы удостовериться, что газеты не разбросаны по столу, а на спинках стульев не висит одежда. Она была красива, мефрау Де Кристеларе, если не считать того, что в уголке ее левого глаза было положено слишком много туши, а нос чересчур блестел от крема.

Мы провели удивительно приятный вечер. Дополнением к великолепному ужину была запыленная бутылка старого вина. Когда я наконец поднялся, собираясь откланяться, мефрау Де Кристеларе удивленно спросила:

— Вы хотите оставить нас так рано?

Теперь-то я знаю, что ни одна бельгийская хозяйка не отпустит гостя без этого традиционного вопроса, но тогда я решил, что меня просят побыть еще немного.

— Я думал поспеть на одиннадцатичасовой автобус,— возразил я робко.

— Будут еще автобусы! — рассмеялся Де Кристеларе.— Вы всегда так педантичны?

Мне снова налили рюмочку «Гран-Марнье»[1], а потом я еще целых полчаса должен был смотреть диапозитивы, снятые хозяином во время отпуска на Канарских островах.

Я горячо поблагодарил хозяев за щедрое гостеприимство. И все-таки меня весь вечер не покидала странная неловкость, а внутри было такое ощущение, будто время от времени диафрагму стягивает судорога и кровь холодеет. Позже, у себя в комнате, когда я восстановил в памяти весь вечер, ощущение неудобства усилилось и переросло в уверенность, что я каким-то неведомым мне образом повел себя безобразно в отношении моих новых друзей. Я терялся в догадках, как же это могло произойти, но чувствовал, что согрешил и что милые люди со всем возможным тактом старались не показать виду, хотя сами ужасно страдали.

У меня из головы не выходили запонки Франса Де Кристеларе, возглас наверху и топот ног по лестнице, французский аперитив и дрожь в уголках красивого рта мефрау Де Кристеларе, чей блестящий носик взывал о пудре.

Наконец я собрался с духом и обо всем рассказал Шарлю Дюбуа. Мой добрый наставник выслушал подробное описание происшествия, затем понимающе кивнул.

---

[1] Сорт французского апельсинового ликера.

— Ты основательно свалял дурака,— улыбнулся он.

— Мне тоже так кажется,— признался я.— Но я никак не могу догадаться, в чем дело.

— Любому бельгийцу это ясно как божий день,— заявил он.

— Но ведь я иностранец,— взмолился я.

— Поэтому тебе простится,— молвил он кротко.— Ты совершил ошибку, типичную для иностранца, которого пригласили в гости. Ты пришел вовремя.

— Разумеется! Мне пришлось нокаутировать человека, чтобы завладеть такси.— Ободренный его улыбкой, я позволил себе немного преувеличить.

— Вот видишь,— сказал он.— Ты не ведал, что творишь.

— Но объясни же, наконец, в чем дело! — воскликнул я.

— Ну хорошо,— сказал Шарль Дюбуа.— Слушай и запоминай. Если ты в Бельгии хочешь прослыть пунктуальным, то должен опаздывать. Кто приходит вовремя, тот приходит слишком рано.

Дорогой декан, Шарль Дюбуа был прав, снова бесконечно прав. Живя в этой стране, я еще не раз убеждался, что здешние обычаи часто подкарауливают тебя на тайных тропах и в темных закоулках. Прийти вовремя тут вовсе не значит прийти в нужное время, а значит прийти в другое время.

Если тебя пригласили к восьми вечера, ни в коем случае не появляйся ровно в восемь. Приезжай около половины девятого. Если тебе говорят «ровно в восемь», тогда, разумеется, нужно быть точным. Поэтому можно прийти к четверти девятого. Возможно, тебя это удивляет. Кажется странным, что люди говорят «в восемь», отнюдь не имея в виду восемь часов. Мне поначалу тоже так казалось. Теперь я вижу, что это не более странно, чем все прочее, что действительно кажется странным.

Если принять как условие, что люди, говоря «в восемь часов», отнюдь не имеют в виду восемь часов, то останется только запомнить, что они имеют в виду половину или четверть девятого. Если же этого не сделать, людям доставляется масса хлопот, затрудняются общественные отношения, ломается общепринятая схема времяисчисления.

Кто приходит вовремя, от того можно всего ожидать.

Недавно я совершил поездку по стране вместе со своим знакомым Яном Де Ровером. Я сопровождал его в небольшом лекционном турне. Дело в том, что Де Ровер путешествовал в прошлом году по Югославии пешком, в обществе собаки и попугая, а теперь задумал хотя бы частично возместить свои расходы и с этой целью решил поведать о своих приключениях членам бесчисленных культурных обществ, которые, словно шампиньоны на жирной почве, сотнями вырастают в этой стране. Войди наугад в любой Дом общины или в средних размеров кафе и там, в одной из боковых комнат, наверняка застанешь общество, которому кто-нибудь, только что вернувшийся из отпуска, делает сообщение на тему «Испания (Португалия, Мексика) — страна контрастов».

Ян Де Ровер просил меня присматривать за собакой и попугаем, потому что эти интеллигентные создания были непременными участниками его выступлений и вызывали соответственно лаем и свистом (вперемежку с югославскими ругательствами) не меньше аплодисментов, чем их владелец.

Так вот, одно из самых сильных впечатлений, вынесенных из этой поездки, связано у меня со странным способом назначать время лекций. Скоро я усвоил, что нам предстоит услышать сразу же по прибытии в очередной клуб, центр или кружок. Это примерно следующее:

— Если вы не возражаете, мы еще немножко подождем, потому что здесь приходится всегда учитывать академические пятнадцать минут. Боотсмербеек, надо вам сказать,— это совершенно особый случай!

Я это уже понял. Любой городок и любая деревня, в которых мы побывали,— именно такой «особый случай». Академические же пятнадцать минут называются так потому, что продолжаются не меньше получаса.

— Понимаете, людям хочется еще на ходу посмотреть тележурнал.

— Так отчего вам не назначить лекцию попозже?

— Попозже? Но тогда они придут еще позже. Нет-нет, в нашем обществе это старая традиция, мы всегда начинали в восемь, и каждому понятно, что это значит.

— Точность,— говорит мне Ян Де Ровер,— это вежливость королей. А мы, бельгийцы, всегда были демократами.

Мне сейчас опять вспомнилась вилла «Юдолалия». Ее хозяйка владеет одной из самых старомодных кухонь, какую можно встретить у состоятельных людей, познавших все прелести комфорта. Годами разыскивали они повсюду и скупали у всех подряд: у антикваров, крестьян, почтенных рантье — медные котлы и сковородки, глиняные горшки, оловянные миски, точильный камень и тому подобные сокровища, чтобы украсить свой кухонный эдем, сердце своего роскошного обиталища. На красивой деревянной полке, расписанной цветочками и сердечками, стоит шеренга белых фарфоровых горшочков, изготовленных искусными руками наших предков для хранения разных пряностей и специй. Я восхищался самими горшочками и той виртуозностью, с какою хозяйка жонглировала их содержимым, пока в один прекрасный день не познакомился с ним поближе. По случаю какого-то веселья задумали печь блины, и мне было разрешено помогать. Меня попросили подать сахар. Я достал с полки горшочек с соответствующей надписью.

— Подсыпьте-ка сами в тесто,— попросил меня хозяин. Подвязавшись белым фартуком, он как раз готовился выпачкать его углем (поскольку мы собирались печь настоящие блины, то для этой цели понадобилась и настоящая чугунная печка, которая топилась углем и ужасно дымила, вызывая у всех кашель).

Я подсыпал, и когда мы через четверть часа съели по первому блину, то выражение лица у всех было очень странным.

В этот вечер мне преподали еще один урок. Я узнал, что в горшочке с надписью «Сахар» всегда хранится соль, в горшочке под названием «Соль» держат гвоздику, «Мука» означает сахар, «Цикорий» — молотый кофе, а «Кофе» — крахмал.

— У нас дома всегда так было,— успокаивала меня хозяйка.— Я этому научилась от матери. Положи я сахар в «Сахар», все бы вверх дном перевернулось.

— Надо же,— сказал я.

— Не расстраивайтесь,— сказала хозяйка,— тут нет ничего особенного. Это просто надо знать.

Письмо одиннадцатое. ДОМ ПАРОМЩИКА.

Один из самых излюбленных способов убивать свободное время в Католическом королевстве на Северном море — это «заполнение бреши». Когда слушаешь приветственные речи, с которыми обращаются к наиболее отличившимся брешезаполнителям, дабы воздать им почести и сделать небольшую передышку, то трудно отделаться от впечатления, что в Бельгии столько же брешей, сколько в голландском сыре дырок, и что вся страна есть не что иное, как сплошное решето из брешей в дамбе цивилизации. К счастью, как явствует из тех же речей, любой бельгиец готов без промедления ринуться в зияющий провал, «дабы заполнить пустоту своим личным вкладом». И это он делает, как метко выразился преданный секретарь Комитета, имея в виду «Всеобщее Благо» и «в надежде способствовать тем самым Вожделенному Сближению Людей». Это происходит без какого бы то ни было своекорыстного интереса, «ценою немалых жертв со стороны его лично и его семьи, в особенности отважной женушки, которая всегда поддерживает его в трудную минуту» и которой затем, по случаю первого же юбилея, сам председатель вручает букет алых роз. Вручение букета сопровождается тремя дружескими поцелуями в обе щеки, причем первой щеке достается два. Публика реагирует веселыми репликами, а корреспондент «Нашего Рейнаарде» делает несколько снимков с фотовспышкой.

Моего друга, владельца «Юдолалии», о котором я уже подробно писал тебе в одном из первых писем, можно не раздумывая включить в обойму самых бесстрашных брешезаполнителей. Закрывать собою брешь так, как он, не умеет никто. Стоит общественности только постучать в его дверь, как он уже берет разгон для очередного прыжка — не задавая лишних вопросов, из чистого желания помочь, а заодно и немножко отдохнуть от дома. Недавно мне довелось наблюдать его в деле.

Я попросил его взять меня с собой на одну из тех типичных торжественных церемоний, которые заставляют учащенно биться сердце каждого бельгийца, любящего искусство. Мы поехали на открытие надгробного памятника.

Этому событию он посвятил массу энергии и несколько месяцев времени. Душа Мемориального комитета поэта Камиля Вербарна, он объездил и обшарил всю страну, собирая взносы и пожертвования. Тремя перьями сразу писал он статьи для газет и журналов, освещая Различные Аспекты Наследия безвременно скончавшегося Художника. На банкетах, клубных вечерах и заседаниях культурных обществ он рассказывал «О значении Камиля Вербарна для нашей эпохи». Он давал интервью прессе, выступал перед микрофонами провинциального и национального радио. И каждый раз он с удивительной гибкостью умел приспособиться к характеру и уровню аудитории. Перед одними он делал акцент на европейском кругозоре и масштабе этого фламандского крестьянина, чтобы оправдать тот факт, что Вербарн отказался от своего родного языка и стал запевалой франкоязычной литературы. Перед другими мой знакомый упирал на то неопровержимое обстоятельство, что отринувший свой родной язык поэт все же остался в душе истинным фламандцем — «flamand de coeur». В третьем месте он давал понять, что настало время вернуть нашей культуре великого фламандца, которого исторические судьбы отдалили от нее — правда, чисто внешне. Поздно вечером, когда мой знакомый возвращался к себе домой, его ждала гора новых приглашений на Торжественный обед и карточек почетных членов Комитета рекомендаций. Ночи напролет он заполнял эти бланки, надписывал

адреса и наклеивал марки. Порядком осунувшийся, но счастливый стоял он, освещаемый солнцем, в тот воскресный день у закутанного покрывалом памятника.

Камиль Вербарн, автор произведений, исполненных символики и мрачного пламени, таких, как «Послеполуденный отдых фламандца» и «Жизнь есть поток», некогда появился на свет где-то в этих срединных краях королевства, в Малом Брабанте, у излучины реки, что протекает через Синт-Бертран. Шельда (а именно так называется река) делает здесь плавный поворот, лениво изгибаясь между низких, поросших травой и деревьями берегов. Насколько хватает глаз, видна уходящая вдаль широкая лента спокойной, темной воды, оживляемая лишь серебристой рябью и солнечными бликами, а над нею — бездонное небо, по которому величественно плывут голубые, белые, серые горы облаков. Поневоле вспоминается наша Большая Блайе, причудливо петляющая через долину Юрне в окрестностях Бурга. Так же широко разливается она по равнине, так же мощно катит свои волны. Когда в ней есть вода, разумеется. Но увы, сколько месяцев в году наша Блайе скорее похожа на большую извивающуюся змею песчаного цвета. Наш Национальный Бард воспел ее в одной из своих ораторий, и ее романтический жар опаляет меня вновь, пока я стою здесь, в Малом Брабанте, и смотрю на большую реку. В этом отношении я ничем не отличаюсь от настоящего бельгийца: вода, если ее очень много, производит на меня глубокое впечатление.

В одном из стихотворений Вербарн выразил желание быть похороненным здесь, на берегу Шельды, «чтоб, смерти вопреки, все ж чувствовать тебя». Таковы уж эти поэты. Теперь Вербарн, благодаря 5601 жертвователю, лежит здесь, на берегу Шельды, в могиле из мрамора и бетона, темным пятном выделяющейся на зеленом ландшафте. Никто в точности не знает, что же он чувствует, но не исключено, что он чувствует удовлетворение. Шельда просто великолепна. Пейзаж настолько красив, что мне иногда кажется, будто все это я вижу на цветной открытке; хочется даже заглянуть с другой стороны и проверить, нет ли там почтовой марки.

Все это я рассказываю тебе, собственно говоря, для того, чтобы рассказать нечто совсем иное.

Неподалеку от памятника находится небольшая гавань. У сложенной из камней набережной милого сердцу Синт-Бертрана, к которой прежде приставали рыбаки, теперь дожидается своих пассажиров паром. Паром немыслим без паромщика, паромщику нужен дом, он тут и стоит. И, как положено, дом паромщика занят под кафе.

Внизу, в просторном зале (спускаться по ступенькам нужно за стенкой, что ограждает подвал от затопления, потому что во время сильных морских приливов Шельда поднимается выше уровня набережной и достигает домов,— наши реки никогда не бывают так бурливы), так вот, внизу можно попробовать все сорта пива, которые варят здесь, в Малом Брабанте. Светлое и темное, красное и золотое. А кроме того, и белое вино, которое делают патеры местного аббатства, хотя сами они больше не выращивают винограда и не давят сок, но «вином аббатства» торгуют.

«Дом паромщика» в Синт-Бертране превращен ныне в музей.

С остатком денег Мемориального комитета мой друг, владелец «Юдолалии», объехал потомков Камиля Вербарна и убедил их продать ему все, имеющее отношение к памяти покойного поэта. Теперь на посетителя «Дома паромщика» отовсюду смотрит с картин и фотографий Камиль Вербарн. На полках стоят его книги, на столе лежат его перо и трубка. Тут же выставлены на обозрение его куртка, часы, письма. Висит акварель с изображением Макса, его любимой двор-

няжки. Кто-то подарил музею плетеную колыбель, которая, правда, не принадлежала самому Вербарну, однако, говорят, похожа на подлинную. В дни праздника здесь собираются специально приглашенные гости и пьют шампанское, провозглашая соответствующие случаю литературные тосты.

Но при чем же здесь кафе «Дом паромщика»? Вербарн не родился и никогда не жил в этом доме. Его старинный и таинственный замок с изящным вестибюлем в стиле ренессанса сохранился и находится в той же деревне.

Секрет раскрывается просто: поэт регулярно захаживал сюда, чтобы выпить свою пинту. Он приходил сюда посидеть у воды и поразмышлять. Деревенские старожилы еще помнят, как он между двумя кружками часто записывал что-то на оборотной стороне картонной подставки. У одного из стариков сохранилась такая подставка с автографом поэта, и Мемориальный комитет вступил с ним в переговоры, чтобы приобрести ее по сходной цене и пополнить этим экспонатом коллекцию музея.

Во время своих путешествий по Католическому королевству на Северном море я редко встречал музей, который нашел бы себе столь удачный приют. Для бельгийца место рождения вовсе не самое важное — его он не выбирает. Самое важное для него — небольшой «Дом паромщика», куда он может решительно направить свои стопы, чтобы здесь, за грубым деревянным столом или монолитной стойкой, выпить свою пинту и поразмышлять о тысяче вещей в молчаливом одиночестве или в шумном кругу думающей вслух компании.

— Дом паромщика,— говорит мой друг, владелец «Юдолалии»,— это причал для ладьи Харона, перевозящей нас на ту сторону Реки Жизни...

Подозреваю, что он пересказал мысль Вербарна, но она мне понравилась.

Задолго до того, как современный европеец стал спасаться бегством из бетонного города в загородный домик где-нибудь в лесу или на лугу, задолго до этого у бельгийца уже был второй дом. Назывался он — кафе.

В своих отчетах, мой дорогой декан, мне уже неоднократно приходилось указывать на ту социально-культурную роль, которую в этой стране испокон века выполняли питейные заведения. Не помню, писал ли я тебе, как выглядит настоящее бельгийское кафе.

Не напрягай понапрасну воображения, потому что оно наверняка ошибется. В ходе истории здесь, в Католическом королевстве, сложился свой, совершенно особый тип кафе, не похожий ни на какие другие. Я уж не говорю о нашем, фламском кафе, описывать которое, полагаю, тебе не требуется.

Начну с мебели. В настоящем бельгийском «Доме паромщика» она лишена всякой индивидуальности. Цвет у нее чаще всего желтый или темно-коричневый. Невысокие узкие столики и широкие стулья отличаются завидной прочностью. Удары кулака, которые обрушивают на них разъяренные картежники, для столиков никакой опасности не представляют, а если в жаркий воскресный вечер с грохотом упадет на пол несколько стульев, хозяин даже не пошевелится.

В настоящем бельгийском кафе обязательно есть деревянные скамейки, но в случае потасовки их в дело не пустишь, потому что они намертво прикреплены к полу. На стенах, над их высокими спинками, обычно висят длинные полосы зеркал. Эти зеркала играют двойную роль. Во-первых, они создают впечатление, что кафе просторнее, чем

на самом деле, и что ты не один сидишь за столиком или у стойки. Один всегда одинок, а это не по душе бельгийцу, даже когда он в кафе. Кроме того, на стекле удобно писать мелом — счет футбольного матча, например, или цену нового сорта пива. Из уголков зеркала смотрят улыбающиеся цветные фотографии певцов, осчастлививших своим участием ежегодный бал здешней общины.

Над зеркалами висят картины в черных рамках, изображающие сцены охоты в Африке, Америке или где-нибудь поближе: бравые мужчины в штанах до колен, в шляпах с перьями стреляют из ружей в лисиц, оленей или диких кабанов. Несмотря на то, что на картинах изображено лето, трава и деревья от времени успели выцвесть, и зелеиыми их уже не назовешь.

Пол в кафе выложен белыми и черными плитками, так что детвора, используя пробки от пивных бутылок, с удовольствием играет на нем в шашки. Кое-где плитки уже стерлись и потеряли свой цвет, что усложняет ход шашечных партий и вызывает конфликты между играюшими.

Стойка в виде буквы «Г» упирается загнутым концом в стену, и добраться до орудующей за ней хозяйки можно только с противоположной стороны. На стойке возвышается блестящая металлическая пивная помпа, рядом деревянный меч, которым снимают с кружек пенные головы, и металлическое плоское блюдо для пены. Тут же, под рукой, бачок для мытья, охраняемый караулом из чистых кружек. Возле помпы — напоминающее небольшой памятник приспособление со спичками для тех клиентов, кто не любит зажигалок.

На стене, за спиной хозяйки, висят стеклянные шкафчики с плитками шоколада для женщин, сигаретами, игральными картами, билетами беспроигрышной вещевой лотереи местного клуба. Между шкафчиками красуется цветная фотография футболиста, который откинул для удара правую ногу, защищая спортивную честь общины. Там и сям на стенах расклеены вырезанные из журналов снимки гонщиков, принимавших участие в Тур де Франс, а также гигантские афиши с программой фестиваля общины, включающей осеннюю ярмарку, состязания голубеводов и День поминовения усопших.

Больше, пожалуй, в типичном бельгийском кафе ничего примечательного не увидишь. Кроме одного обязательного атрибута — экземпляра Закона о борьбе с пьянством, который должен быть вывешен в каждом питейном заведении. Висит он, как правило, где-нибудь высоко в дальнем углу, и затуманенный взор может различить лишь крупные буквы заголовка. Неудивительно, что почти ни один житель королевства толком не знает, что же написано в этом законе, и полицейские, зайдя обогреться, со спокойной душой позволяют угостить себя рюмочкой.

Таким представилось мне, дорогой декан, настоящее бельгийское кафе, хотя, разумеется, возможны всякие нюансы и вариации. Таким я его запомнил, странствуя по королевству в поисках «бельгийской души». Редко встретишь его в городе, чаще — в деревне, на отшибе, в стороне от автострад, в общинном центре, где церковь еще стоит в центре поселка, а питейное заведение — по соседству с ней. Кафе в таких деревнях во все времена было попутчиком религии. В проходивших там диспутах рождалось евангелие простого народа. У каждой пивной стойки были свои апостолы и пророки, которым открылась истина, и они немедля громогласно возвещали миру, как ему дальше жить.

Я не исключаю, что нарисованный мною портрет «Дома паромщика» может показаться слишком абстрактным, холодным, скучным и

не будет столь уж сильно отличаться от тех образов, что навеяла тебе многокрасочная географическая карта королевства. И ты будешь прав. Но не следует смотреть на Бельгию глазами Фламии. У себя на родине ты привык к залитым солнечным светом кафе на открытом воздухе, на террасах, под раскидистыми фламандами, с которых можно, протянув лишь руку, срывать сладковатые терпкие орешки, запивая это лакомство традиционным фламским вином.

На бельгийское кафе, дорогой друг, нужно смотреть глазами бельгийца. Весь шарм и весь уют настоящего бельгийского кафе заключены не в его интерьере, а в его клиентуре. Сами посетители должны позаботиться о том, чтобы кафе, куда они постоянно ходят, зажило полнокровной жизнью. И они это делают. В остраненной атмосфере кафе они освобождаются от внешних оков, отпускают внутренние тормоза. Здесь они могут, наконец, запросто побеседовать и поднять стаканчик в обнимку со своим подлинным «Я». Не знаю, понятно ли тебе все, что я хочу сказать, но настоящее бельгийское кафе — это надреальный элемент повседневной жизни, это кратковременный прорыв реальности, Второй дом, благодаря которому ты сызнова открываешь для себя Первый и принимаешь его таким, как он есть.

Но настоящее бельгийское кафе становится редкостью — по той простой причине, что численность кафе в этой стране вообще уменьшается. Телевидение, которое уже посягнуло не на одну святыню, навязывает тоскующим по общению бельгийцам новую форму семейной жизни, при которой все молчат и смотрят в одну точку. И хотя пьют при этом не меньше прежнего, но как-то машинально, из заранее приготовленных бутылок, чтобы перевести дух в промежутке между захватывающими эпизодами кинодетектива.

Настоящее бельгийское кафе... Теперь горожане могут его найти разве что в старых предместьях. Иногда они держатся благодаря энтузиазму молодых художников и артистов, которые любят все необычное. Желтые и коричневые стулья и скамейки, пивная помпа, зеркала, шахматный пол — в этом они видят что-то вневременное, отголосок прошлого, как на старинных гравюрах. Словно на улице, запруженной автомобилями и огороженной небоскребами, им повстречался волшебник из древней сказки.

Кое-где бельгийское кафе подвергают модернизации: меняют мебель на современную, легкую, фанируют стены, вместо пивной помпы устанавливают кофейную машину. Потом приглашают архитектора, и он сооружает бар (рустика во фламандском или арденнском стиле) и вносит в интерьер элементы наиновейшей моды, контрабандой завезенной сюда иностранными туристами.

Не хочу говорить о придорожных кафе, этих супермаркетах пива, которые, точно ангары, громоздятся вдоль автострад, здесь туристов обслуживают прямо в автобусах. Случайно забредал я и в уютные заведеньица, как две капли воды похожие на голландские кафе: мягкие креслица у камина, на столиках чистые скатерки, торшер, нанизанные на желтую палку газеты,— короче говоря, там пьют чай. Чтобы понять, что это значит, доложу тебе, что только в Западной Фландрии еще можно найти деревни, где пьют чай, и то по предписанию врача.

Что поделать! Все границы в Западной Европе постепенно стираются. В Брюсселе я бывал в магазинах, где с покупателем говорят не на французском языке, как в этом городе почему-то принято, а только по-английски. Недалек тот час, когда в этом переменчивом краю вовсе не останется непреходящих ценностей. Кроме одного, всеми забытого памятника трезвости — Закона о борьбе с пьянством.

Настоящее бельгийское кафе не только место, куда люди приходят утолить жажду. Настоящее бельгийское кафе всегда было клубом. В нем обязательно зарождается какой-нибудь кружок, союз, объединение, общество или компания. Хотя бельгийцы на первый взгляд кажутся людьми крайне разобщенными, они могут похвастать рекордным числом самых различных организаций, причем почти у каждой есть свое название.

В Католическом королевстве на Северном море по-прежнему жива, например, активная потребность совместно упражняться в искусстве традиционных игр. Несмотря на опустошения, производимые вездесущим телевидением в области общественных отношений, все же находится немало людей, которые любят на досуге собраться вместе и покатать деревянные шары в чуть заметную мишень, или с раскрасневшимися лицами до хрипоты поспорить о наиболее рациональном способе расположения пятидесяти двух непохожих картинок, или потолкать взад и вперед на столе, обитом зеленым сукном, один красный и множество белых костяных шаров. Весьма излюбленное занятие также — сообща дуть и ударять в музыкальные инструменты либо, не жалея легких, вести словесные баталии во славу спортсменов.

Посвященному известно, что все эти союзы и объединения не так сильно отличаются друг от друга, как это может показаться вначале. Он прекрасно видит, что все клубы и кружки связаны одной золотой нитью и ведет эта золотая нить на кухню.

Перелистай местные газеты королевства, эти никогда не иссякающие хроники повседневной жизни, которые не способны выбить из привычной колеи ни леденящая рассудочность такой газеты, как «Монд», ни жуткие новости со всего света, которые собирает «Нью-Йорк таймс». Почитай «Рупор Западной Фландрии» или «Наш Рейнаарде». Со всех страниц на тебя, улыбаясь, будут смотреть веселые лица чемпионов кегельбана и стрельбы по тарелочкам, патриотов голубеводства и собаководства, музыкантов любительского духового оркестра, лауреатов карточного клуба «Фортуна», звезд театрального кружка «Искусство молодит», болельщиков спортобъединения «Быстрые колеса». Они смеются, обнимают друг друга за плечи, показывают зрителю выигранные кубки, плюмажи, деревянные блюда с выжженными надписями. Лица их пышут здоровьем и довольством, они только что поднялись из-за праздничного стола.

Мне самому, благодаря инициативе моего друга, владельца «Юдолалии», довелось побывать в членах общества «Уют и оплот», для пользы которого он как раз и заполнял собою брешь. Это общество возникло, по сути дела, стихийно, когда в чьей-то семье справляли золотую свадьбу. На торжество были приглашены свои и чужие — вся улица. Веселились так дружно, что самые динамичные из приглашенных, сблизив разгоряченные лица, в один голос изрекли: «Обязательно надо еще раз собраться. Нет ничего лучше, как единение соседей».

Не откладывая дела в долгий ящик, тут же порешили, что торжественные трапезы будут происходить дважды в год: ранней весной — «малый праздничный ужин», а осенью — «большой праздничный ужин». Одним лишь гурманам удалось уловить различие между ними.

Вот короткая цитата из последнего годичного отчета-сообщения об одном из этих лукулловых пиров: «Для участия в малом праздничном ужине прибыло семьдесят три гостя. Было съедено сорок пять килограммов курятины, шестнадцать килограммов говядины, пять килограммов ветчины...» Ну, и всякой мелочи по килограмму. Итого восемьдесят килограммов одного мяса. Было выставлено по бутылке вина на четырех человек. Пива нацедили сто шестьдесят литров.

Раз в три месяца члены правления собирают взносы. Ну и достается же им! За вечер они успевают навестить не больше одной семьи. Ведь в каждом доме нужно посидеть, поговорить, да и от стаканчика неудобно отказаться. Заполнив собою однажды брешь, эти слуги общества практически сидят в ней безвылазно круглый год. Едва успев получить с последнего соседа взнос за истекший триместр, они уже должны начинать взыскание контрибуции за следующие три месяца.

Так и проходит вся их жизнь в хлопотах о большом и малом ужинах.

Письмо двенадцатое. ВЕНЧАТЬСЯ ПОЕДЕМ В АВТОМОБИЛЕ.

Сельскую площадь в Рейнаарде украшает великолепный магазин похоронных принадлежностей. Вы увидите его издалека: фасад у него облицован красивым черным гранитом, в блестящем зеркале которого отражается вся площадь. Ни одна девушка, проходя мимо, не удержится от соблазна полюбоваться в каменном зеркале своими новыми чулками-сапогами или модной шляпой-картузом. Витрина притягивает взор изящными гробами со сверкающей отделкой из меди, красочными венками и веночками из пластмассовых цветов и черной табличкой с серебряными буквами: «Все, чего нет снаружи, вы получите внутри. Качество — вот наша реклама». Над входной дверью — вывеска дорогой работы, на которой затейливыми буквами выведено: «Вдова Ван дер Графт и Сыновья. Похороны, свадьбы и другие торжества. Роскошные лимузины. Комфорт с гарантией».

Очень симпатичное заведение. Его широкий фасад занимает солидную часть Сельской площади. Когда сияет солнце, особенно в летние дни, он придает всей площади праздничный характер. Черный камень блестит, словно драгоценный агат, а медные украшения гробов испускают во все стороны яркие лучи.

Когда для моего друга Франса Де Кристеларе приспела, наконец, пора отправить старшую дочь к алтарю, дабы она связала себя узами брака, мне целыми днями приходилось слышать от него одно и то же. Нет, он говорил не о церкви и не о магистрате, не о приданом и не о подвенечном платье — он говорил об ослепительной Вдове Ван дер Графт и Сыновьях. Он уверял меня, что все они — настоящие гвозди для его гроба. И это не было проявлением неразвитого чувства юмора или неудачной шуткой. У Франса Де Кристеларе было слишком много забот, чтобы еще пытаться шутить.

Его старшей дочери, учительнице местной школы, было двадцать девять, и она все еще возглавляла местную группу Движения молодежи, как вдруг, неожиданно для всех, была объявлена ее помолвка с молодым двадцатидвухлетним бородачом, сыном бургомистра Де Леерснейдера. «Благородная чета»,— сообщил трехдюймовыми буквами «Наш Рейнаарде» радостную новость. Жители города дополняли ее друг другу разными деталями, которые не были опубликованы, но Франс Де Кристеларе отнесся к этому философски. «Надо ведь людям почесать языки»,— только и сказал он жене однажды вечером, чтобы осушить ее слезы. А вот что его действительно выводило из себя, так это лимузины Вдовы Ван дер Графт и Сыновей.

Когда уже все организационные проблемы свадебного торжества были решены и список приглашенных до конца профильтрован, так что в нем не осталось даже микроба неотвратимых и неизлечимых родственных конфликтов, кому-то взбрело в голову спросить:

— Венчаться поедем в автомобиле?

— Разумеется! — ответила, не задумываясь, госпожа Де Леерснейдер.

— Как — разумеется? — удивился Франс Де Кристеларе.

— Ну как же иначе?— сказала бургомистерша.— Всегда все ездили венчаться в автомобиле.

Мамаша Де Леерснейдер чувствовала себя уверенно. На последнем объединенном семейном совете ей удалось добиться включения в список приглашенных, сверх обычного контингента гостей, сестры своей бабушки, ее правнука и племянницы с тремя детьми. Будучи на высоте положения, она чувствовала себя вправе диктовать свои условия.

— Я дала понять Вдове Ван дер Графт, что она может на нас рассчитывать.

— Что? — воскликнул, покраснев до ботинок, Франс Де Кристеларе.— Рассчитывать? На нас?

— Я думаю, нам хватит шести машин.

— Шести машин?

— Если не семи.

Мамаша Де Леерснейдер взглянула на своего мужа, ища поддержки. Он стоял к ней спиной и очень внимательно рассматривал картину на стене.

— Ну, знаете,— сказал Франс Де Кристеларе.— Я всегда думал, что такие вопросы должен решать отец невесты. Я думал, что...

— Франс, успокойся,— мягко остановила его жена.— Тебе вредно так волноваться. У тебя давление...

По правде говоря, на этих переговорах я не присутствовал, но Франс Де Кристеларе живо описал мне всю сцену, и при этом лицо его снова залила краска возмущения, так что я на какой-то миг испугался за его жизнь.

— Ты не хочешь уступать своих прерогатив? — спросил я его.

— Прерогативы? — вскричал он.— Да пропади они пропадом, эти мои прерогативы! Но почему эта женщина должна во что бы то ни стало заказывать машины у Ван дер Графтов?

— А разве у них плохие машины?

Я не представлял себе, как лучше успокоить своего друга, и, конечно, задавал самые глупые вопросы.

— Комфорт с гарантией! — вопил он.— На что он нам? Моя дочь венчается в нашей общинной церкви, а мы живем напротив, на другой стороне улицы!

Вот теперь я понял, в чем драма Франса Де Кристеларе. Урожденный бельгиец, он всю жизнь прожил в Католическом королевстве на Северном море — и ни на йоту не понял смысла Бельгийского Ритуала. До него не дошло, что приличная бельгийская свадьба просто не может обойтись без машин. В самом деле, не идти же пешком! До него еще не дошло, откуда у Вдовы Ван дер Графт импозантный дорогой фасад.

Олицетворение дружелюбия — таким я привык видеть Франса Де Кристеларе — сейчас возбужденно размахивало кулаками, извергая бессвязные слова по адресу вдов, которые с одинаковым усердием обслуживают и похороны и свадьбы. Но особенно доставалось госпоже бургомистерше Эвфрасии Де Леерснейдер.

— Ведь ее, в довершение всего, зовут Эвфрасией! Но если она думает, что я уступлю!.. Мы еще посмотрим!.. Заказывать роскошные ли-

музины, не спросясь меня!.. И у нее хватает нахальства называться Эвфрасией[1]!

Все с трудом сдерживаемое раздражение, которое накопилось за много недель нудных переговоров о том, кого приглашать на свадьбу и как всем одеваться, об очередности родственников в свадебной процессии и о праздничном меню, вся затаенная досада на дочь и ее желторотого жениха — все это разом выплеснулось наружу. Движимый желанием отомстить своей антагонистке за то, что она пригласила сестру своей бабки, ее правнука и замужнюю племянницу, он предложил мне, а точнее, приказал тоже принять участие в семейном торжестве.

— Мы еще увидим!..— то и дело повторял он.

И мы увидели.

В десять тридцать утра, за полчаса до начала церемонии венчания, перед домом Франса Де Кристеларе выстроился караван блестящих черных лимузинов, украшенных цветами и тюлевыми лентами. Рядом стояли шоферы в серой форме. При появлении брачащихся со свитой они сняли кепи и отвесили им глубокий поклон. Невеста и жених со счастливыми улыбками проследовали к первой машине. За ними, спотыкаясь, пунцовый, словно мак, шел Франс Де Кристеларе, поддерживаемый под руку статной Эвфрасией Де Леерснейдер, с царственным видом взиравшей на мир.

Прошло не меньше пяти минут, прежде чем все белые шлейфы и черные ласточкины хвосты были запакованы в лимузины. Затем свадебный кортеж пришел в движение и, величественно покинув Церковную улицу, свернул налево, на Сельскую площадь, объехал центральный газон, минуя Вдову Ван дер Графт и Сыновей, сделал правый поворот на Новую улицу, промчался по авеню Императора, совершил круг почета вокруг Обелиска жертв войны на площади Героев и вновь показался на Церковной улице. Медленно подъехав к церкви, кортеж остановился — прямо напротив дома Франса Де Кристеларе.

Возле церкви уже собралась порядочная толпа зевак, готовая подвергнуть критическому рассмотрению гардероб «благородной четы» и ее эскорта.

Где заключаются браки в Бельгии?

Некоторые твердо уверены, что это происходит в церкви. Другие думают, что главную роль в этом акте должны играть магистрат и бургомистр. Третьи же сравнивают процедуру брака с партией в шашки, которую разыгрывают между собой служитель церкви и представитель гражданской власти.

Пронаблюдав и досконально изучив это явление, я пришел к выводу, что бельгийское бракосочетание есть процесс, который делится на три фазы.

Церковный и гражданский обряды составляют лишь среднюю фазу, как бы миттельшпиль. Нельзя сказать, что их недооценивают. Напротив, они совершаются со всем приличествующим случаю блеском. Но дело ими не ограничивается. Церемонии венчания и регистрации брака обрамляются старинным церемониалом, серией семейных служб, которые как бы являются признанием де-факто нового альянса породнившимися семьями. Этот ритуал совершается в домах тетушек, дядюшек, двоюродных братьев и сестер.

Когда двое молодых бельгийцев приходят к единому мнению, что их матери могут вступать в переговоры относительно свадебных наря-

[1] Благорасположение духа *(греч.)*.

дов, автомобилей, времени венчания, органа и капеллы, красной дорожки, праздничного приема, обеда и списка гостей, начинается первая фаза ритуала. Она состоит в посещении родственников.

Больше одного визита в день не получится, и на каждый визит приходится по одной тетушке и одному дядюшке. В четыре часа пополудни они уже чинно сидят у себя в гостиной. Гости видят на столе воскресный фарфор, пестрый вышитый колпак, скрывающий под собою чайник, и большой торт, по поводу которого тетушка мимоходом и не обращая внимания на плохо скрываемое неудовольствие дядюшки замечает, что он куплен в такой-то хорошей кондитерской. На камине ждет своей очереди бутылка «легкого напитка». Хозяева и гости перекидываются несколькими словами, чтобы «рассупонить языки», как пытается шутить дядюшка, в прошлом крестьянин из Западной Фландрии. Наконец приходит решительная минута, когда тетушка спрашивает:

— Ну, и какую же важную новость приехали вы нам сообщить?

(Горе тому нечестивцу, который в ответ подбоченится и бодро выпалит:

— Полно притворяться, отец ведь на неделе все расписал вам по телефону!

Десять лет и пять крестин спустя не забудут ему этой оплошности, и тетушка, когда зайдет о нем речь, не преминет заметить:

— Он неплохой парень, хорошо делает свое дело и даже может нравиться, но души своего ближнего он не понимает.)

Важная новость после этого может быть объявлена, дата названа и согласована, причем делать это нужно без лишнего нажима, дабы не раздуть тлеющей подозрительности. Все пьют за успех предприятия и съедают еще по куску торта.

— Ну, а в следующее воскресенье вы, наверно, поедете к тетушке Каролине?

Молодая пара должна быть начеку и не спешить с ответом. Самые толковые обсуждают эту проблему заранее, перед визитом, и выбирают единственно правильное решение, ибо речь идет о чести и традициях семьи. Поскольку тетка Каролина самая молодая, она никак не может быть второй по порядку. Она, правда, пытается как-то нарушить эту традицию, обойти очередь и вырваться вперед, «потому что она, само собой, ученее других», но старшие сестры «знают ее не первый день».

— А дядюшка Ян? Вы же знаете, дядюшка Ян...

Молодые обязаны его знать, этого старого шалопая, который всегда и везде болтает все, что взбредет в голову. Четыре года назад, на свадьбе у Этих-Как-Там-Их «он такого наплел», что тетушка с ним рядом в жизни больше не сядет. Но и с ним надо посоветоваться, иначе...

Иначе...

Так проходят два-три месяца перед свадьбой, похожие на медленный танец, сопровождаемый плавными и грациозными движениями и приглашающими жестами одной стороны, на которые партнеры отвечают несколько угловатыми движениями, а центральные фигуры, выбиваясь из сил, бегают на цыпочках и крутят пируэты. Когда же, в конце концов, настает вторая фаза и молодая пара вступает под своды храма, сидящие там на деревянных скамьях люди смотрят на молодых и спрашивают друг у друга: «Отчего они такие бледные и усталые?»

Не менее сложна и хореография третьей фазы балета, следующая за свадебным путешествием. Первое па состоит в том, что всех род-

ственников — в последовательности, определяемой их возрастом и положением в семейной иерархии,— приглашают «посмотреть наши апартаменты». Визитные карточки с адресом и телефоном рассылаются тем же самым тетушкам и дядюшкам, двоюродным сестрам и братьям, которые принимали молодых в течение первой фазы и теперь должны нанести ответный визит. «Апартаменты», которых никто из родни еще не видел, собственно говоря, молодые даже не вправе считать обжитыми и вообще жилыми. Первый упрек, который могут бросить молодым, звучит примерно так: «Эти двое? Но мы еще даже не знаем, что у них за жилье».

Возвращая долг гостеприимства, молодожены просто с ног сбиваются. Каждую субботу и каждое воскресенье после обеда они терпеливо ждут вторжения гостей. (Первые полгода после свадьбы они обедают по выходным у родителей, экономя деньги на собственный дом, потому что уже «присмотрели прекрасный участок».)

Первой в дверях возникает тетушка, осматривается, принюхивается, чему-то утвердительно кивает и, ведомая безошибочным инстинктом, устремляется из прихожей прямо в столовую. Дядюшка, который поотстал, выискивая снаружи у дома местечко, куда бы можно было приспособить голубятню, ошибается дверью, врывается в спальню и отпускает по этому поводу такую шуточку, что спутница жизни вынуждена его сурово одернуть: «Анри, как можно!..»

Все садятся пить кофе, за которым тетушка как бы невзначай роняет, что она лично предпочитает класть больше кофе и меньше цикория. Молодой супруг приносит альбом со свадебными фотографиями. Альбом небрежно перелистывают, отдельные снимки удостаиваются комментария («какая у него глупая мина», «платье сшито неудачно», «дядюшка Ян и здесь ухмыляется — в жизни не видела его серьезным»).

После кофе начинается осмотр квартиры. Тетушка благосклонно слушает рассказ о том, что «эти прелестные моющиеся обои» молодожены купили со скидкой в лавке ее зятя благодаря ее рекомендации. Дядюшка уставляется в окно, соображая, нельзя ли поставить голубятню во внутреннем дворике. У дверей спальни тетушка берет под локоть молодую супругу и спрашивает интимным тоном:

— Не сочти за нескромность — сколько заплатил твой отец за эту мебель?

В Бельгии можно задавать самые нескромные вопросы, если сначала оговориться: «Не сочтите за нескромность». Новобрачная слегка заикается от смущения. Она знает, что ее отец терпеть не может любопытства тетушки, но из железных клещей не вырваться. Услышав то, что хотела, тетушка хмурит лоб и произносит загадочно: «Гм, смотри-ка».

После обхода снова выпивают по чашке кофе. Затем молодой супруг показывает гостям альбом репродукций, который подарили ему сослуживцы. Шелест страниц оживляется глубокомысленными репликами касательно современного искусства, которое «уже не то, что было прежде». Дядюшка сочувственно улыбается, глядя на «Голубя мира» Пикассо:

— Общипанный какой-то. Его бы в нашу голубятню!

— Анри, как можно! — возмущается тетушка.

Между тем незаметно для тех, кто не посвящен в тайну Ритуала, сначала в подтексте основного действия, а затем все более явно разыгрывается еще одна сцена, без которой спектакль визита был бы неполным. Еще во время обхода — на кухне, в прихожей, столовой, спальне, кабинете — всюду зоркий взгляд тетушки ищет и обследует предметы, которые могли бы оказаться свадебными подарками. Она

их моментально узнает и пытается затем установить личность дарителя.

— Смотри-ка, это же каминный гарнитур тетки Каролины! Ага, а для фильтров дядюшки Яна у вас нашлось местечко в витрине...

Она вся расцветает, когда молодой хозяин предлагает выпить по рюмочке ликера и патетическим жестом ставит на столик серебряное блюдо с четырьмя серебряными стаканчиками.

— Вам понравилась наша безделица? — спрашивает она.— Я покупала ее у Квинтейна.

Это, надо понимать, самый дорогой ювелирный магазин в их городке.

— Красивая вещица, но ликер в ней совсем не держится,— острит дядюшка, опрокинувший свой стаканчик без долгих церемоний.

— Анри, как можно!..— говорит тетушка.

Минута, когда гостям показывают свадебные подарки, пожалуй, самая ответственная во всей третьей фазе. Визитеры приезжают не только для того, чтобы полюбопытствовать, «как выглядит ваше гнездышко». Они хотят в первую очередь увидеться со своими подарками.

Когда я, вскоре после свадьбы, получил приглашение от сына бургомистра Де Леерснейдера и дочери Франса Де Кристеларе «заехать посмотреть, где мы теперь обитаем», то первое, что мне бросилось в глаза, была бледность и нервозность молодой хозяйки.

— Может быть, я некстати? — спросил я напрямик.

— Нет, что вы,— улыбнулась она и провела меня в кабинет, прямо к креслу, которое я им подарил. Затем вынула носовой платок и осушила себе лоб.

— Все дело в том, что сегодня у нас в гостях были двоюродные сестры. Моя и мужа.

— Вот как,— сказал я, так как был уже наслышан о третьей фазе.

— Да,— сказал молодой хозяин.— Мы не совсем точно договорились, и вышло так, что они приехали в одно время. Представляете, белая супница моей сестры Ирмы стоит на столе...

— ...а желтая супница моей сестры Анны — в буфете,— подхватила хозяйка.

— Боже! — произнес я.

— Вот такие дела,— вздохнул хозяин.

Месяца через три я снова побывал у молодых: меня пригласили «перекусить». Молодая хозяйка, сияя от счастья, что она наконец смогла приготовить что-то по своему вкусу, разливала суп, и тут я обратил внимание, что на столе не видно ни белой, ни желтой супницы. «Она права,— промелькнуло в мозгу.— От этих двух уродцев отказался бы последний гончар». И я содрогнулся от ужаса при одном воспоминании о подарках двоюродных сестер.

Плавным жестом хозяйка зачерпнула белейшей сметаны из красивой фаянсовой миски в скандинавском стиле. Она заметила мой взгляд и разгадала ход мыслей.

— Такая жалость,— пояснила она.— Я мыла посуду и нечаянно разбила обе супницы. Сначала белую, потом желтую. Обе подряд, за два дня.

Она лукаво улыбнулась. Молодые хозяйки в Бельгии бывают очень смышлеными.

Письмо тринадцатое. ПОЕДИНОК С МАТЕРИАЛОМ.

На позапрошлой неделе в дверь моей квартиры позвонили. Это был незнакомый молодой человек. Он выглядел сконфуженным и, произнеся первые слова, покраснел от смущения. Когда же он закончил

свой монолог, то просто пылал алым пламенем. Не могу ли я оказать ему громадную любезность — если, конечно, найду для этого время, потому что я наверняка очень занят и перегружен приглашениями, но он все-таки решается меня побеспокоить, ведь попытка не пытка, а я произвел на него глубоко симпатичное впечатление,— так вот, не могу ли я оказать ему любезность и открыть его следующую выставку.

— Выставку? — переспросил я.

— Выставку живописи,— уточнил он.— Я художник.

— Вот как? — сказал я.

— Да,— подтвердил он.

Я пригласил его в комнату, и он опять начал рассыпаться в извинениях, что отнимает у меня время и причиняет мне хлопоты своим визитом, но он нашел меня таким симпатичным в этой новой программе, как там она называлась — у него плохая память на имена и названия.

— В программе? — удивился я.

— В телевизионной программе,— уточнил он.

— Вы меня видели по телевидению?

— Целых три раза,— радостно закивал он.— Но в жизни вы лучше выглядите. Не такой толстый.

— Вот как,— сказал я.

— У вас все выходит так тонко,— сказал он.— Так симпатично. И я подумал: попрошу Яна открыть мою выставку.

— Меня зовут Гастон,— сказал я.

— Да? — спросил он.

— Да,— подтвердил я.

— Но по телевизору вас все называют Яном,— улыбнулся он.— Это так симпатично. Могу я на приеме тоже называть вас Яном? Для зрителей, понимаете?

— На приеме? — спросил я.

— Ну да, на открытии выставки. Выставки живописи.

Короче говоря, произошла ошибка. Я, наверно, действительно похож на того разбитного парня, который каждые полмесяца развлекает публику, выступая в очередной телевикторине.

— Я подумал, менеер, ради бога, не сердитесь на меня, что вы как раз тот человек, который мог бы открыть мою выставку. Понимаете, мне бы хотелось собрать побольше народу.

Я его прекрасно понял, и он сказал, что это очень симпатично с моей стороны.

С этим, дорогой декан, ничего не поделаешь: каждого, кого хоть раз показали по телевидению, рано или поздно обязательно пригласят открыть какую-нибудь выставку, организуемую художественным обществом «Новое течение» совместно с Объединением свободных художников по случаю ежегодной ярмарки и с целью «внести новую лепту в культурную жизнь нашего народа». Телевизионный экран обладает магической способностью превращать за один присест телезрителей никому не известного человека в Фигуру, Личность, Персону, достойную открывать выставку, но которую тем не менее можно называть на «ты». Воистину, от былой веры людей в призраки и видения осталось лишь одно — вера в теле-видение.

Заметив, что молодой человек совершенно обескуражен, я, в припадке христианского сострадания, изъявил готовность помочь ему с выставкой. Тогда он растерялся еще больше, потому что меня ведь еще ни разу не показывали по телевидению.

— Ну что ж,— сказал он,— я подумаю.

Когда бельгиец говорит, что он подумает, то это значит, что он уже подумал и ничего путного не придумал. Я его понял.

— В университете Бессалонии мне однажды пришлось открывать выставку графики,— сказал я.

— Где? — переспросил он удивленно.

— В университете Бессалонии.

— Можно мне упомянуть об этом на афише под вашим именем?

Открывателю выставки совершенно необходим почетный титул или что-нибудь в этом роде, иначе его слова прозвучат как в пустыне. Я дал согласие. Через полчаса и после двух рюмок застенчивый художник снова порозовел, и мы расстались закадычными друзьями.

На следующей неделе я встретил еще двоих, видевших меня по телевидению и жаждавших знать, не могу ли я открыть их выставки в «Золотом петухе» и «У косоглазой кошки». Обоим я дал положительный ответ, меня увлекла эта новая авантюра, сулившая необычные впечатления. Ко мне обратился также мужчина, отрекомендовавшийся как Public Relations Officer[1] фабрики готового платья, с просьбой «курировать» демонстрацию мод в новом салоне фабрики. Я уже представил себе, как дефилирую перед публикой в невообразимых костюмах, но тут выяснилось, что от меня требуется лишь объявлять модели да подавать смешные реплики. На этот раз я отказался. Не все можно себе позволить, даже будучи двойником телезвезды.

Желая приготовиться как следует к непривычной миссии, я целый месяц ходил на открытия выставок. Я хочу сказать, что целый месяц ходил на вернисажи. Отечественное слово «выставка» употребляют одни лишь непосвященные профаны. В этом королевстве каждый раз, как хочешь применить какое-нибудь слово из родного языка, нужно стараться найти взамен него иностранное.

Так вот, дорогой декан, ты себе представить не можешь, как часто и как много в Бельгии вернисажируют! Дня не проходит, чтобы в мой почтовый ящик не бросили визитную карточку, пригласительное письмо или свернутую трубкой афишу. Не окажете ли вы честь посетить вернисаж новой галереи живописи в реставрированном Доме мясника? Не сможете ли вы присутствовать на торжественном открытии Дней искусства провинции Кемпен? Не хотите ли вы посетить ретроспективу наших великих анималистов в Зеркальном зале зоопарка? Художники будут чрезвычайно польщены вашим вниманием, со вступительным словом выступит популярный артист телевидения Виктор Де Дондер[2], а прием будет организован при содействии славного дома «Детройер. Вина и Ликеры», старого мецената, всегда готового «обмыть» вернисажи своей провинции. Министр культуры пришлет на торжество своего секретаря, а известный эстрадный певец Антон Де Врекер[3] исполнит folk songs[4].

И так — каждый божий день.

Мало-помалу до меня начинает доходить, почему этому небольшому государству нужны два министерства культуры: здесь никогда и ни на что не жалеют красок[5].

По всей стране жены и дочери художников только тем и занимаются, что сидят и без конца пишут приглашения на выставки. (Некоторым художникам, чтобы управиться, мало одной жены.) Повсюду

---

[1] Специалист по связи с общественностью *(англ.)*. Этот человек отвечает за рекламу и сбыт продукции.

[2] Гром, шум *(фламанд.)*.

[3] Мститель *(фламанд.)*.

[4] Народные песни *(англ.)*.

[5] В Бельгии некоторые министерства (культуры, образоваиия) и ведомства дублируются, обслуживая отдельно фламандскую и валлонскую части страны.

в королевстве то и дело возникают новые культурные общества и открываются новые художественные галереи. Каждое утро по радио зачитывают длиннущий список вернисажей. Вначале, когда я только что приехал, я думал, что это религиозная литания, утренняя молитва, которую по предписанию церкви ежедневно должны произносить по радио для всех верующих слушателей. Как позже выяснилось, я был недалек от истины. В стране бельгийцев процветает глубоко религиозный культ Масляной краски, насаждаемый церковью Святого холста.

Что до радио, то оно исполняет лишь короткий отрывок всей литании. Ни в одном уважающем себя городке ежегодная ярмарка не обходится без Культурной манифестации, гвоздем которой становится демонстрация цветов и пейзажей, изображенных местным учителем, нотариусом и другими видными прихожанами. Любая книжная ярмарка «обрамляется» экспозицией красочных пятен, наложенных на холсты современными художниками. Любой фестиваль Такой-то общины увенчивается выставкой картин из частных коллекций, представленных состоятельными владельцами в опьяняющем порыве культурного сближения с общиной. При этом каждый из семи местных врачей пытается ампутировать или хотя бы анестезировать триумф коллеги.

Должен тебе сказать, дорогой декан, что именно врачи являются здесь самыми большими любителями и покровителями искусства. В один прекрасный день я со своим другом Шарлем Дюбуа побывал в гостях у его знакомого, доктора из главного города провинции, знаменитого хирурга. После рюмки коньяка он пригласил нас на обход своего колоссального дома, а напоследок раскрыл перед нами двери своей картинной галереи.

— Как вы это находите? — спросил он меня, указывая на огромный кочан цветной капусты, втиснутый в золотую раму.

— Пожалуй...— замялся я.

— Это же Серклас! — возопил он.— Очень интересный случай в моей практике, этот Серклас. Два аппендикса в одном кишечнике. Уникальный казус в истории медицины! Я написал о нем в трех американских журналах. А что вы думаете вот об этом?

Он вытянул руку в сторону заходящего солнца, бросающего последние лучи на саванну, с негритянкой на передней плане.

— Мне кажется...— неуверенно начал я.

— Это Эйтфанк,— перебил он.— Тоже редкая удача. У этого парня в сердце было три камеры, одна большая и две крошечные. Я его оперировал вместе с покойным профессором Карелсом. А теперь взгляните на Янзегерса, вот здесь, в углу. Что скажете?

— Думается, что...— промямлил я.

— Этот Янзегерс брал в руки палитру только зимой. Летом он всегда страдал жуткой аллергией к краскам — не ко всем, к желтой и красной. Мы сделали ему трансплантацию носа, это была первая операция такого рода. Он, правда, не стал от нее красивее, но исцелился полностью. А у Питерселя...

И хирург повел нас дальше по музею физических дефектов и патологий. Мне стало ясно, что всю громадную коллекцию полотен он собрал, умело орудуя острым ланцетом и скальпелем.

— Если уж ты приобрел репутацию любителя живописи,— улыбнулся он,— то картины сами поплывут к тебе в руки.

Тут он вдруг испытующе взглянул на меня и спросил, не беспокоит ли меня правое ухо. Я поспешил его заверить, что никогда не занимался живописью.

Да, слуги Эскулапа в королевстве — самые активные двигатели искусства. Но не только врачи. Промышленники, преуспевающие адвокаты, крупные финансисты, рантье вроде владельца виллы «Юдолалия» — каждый из них с готовностью взваливает на свои плечи долю ответственности перед Художником из народа. «Если уж доктора что-то покупают,— думают они,— значит, капитал помещен наверняка и вернется с процентами».

Термин «покупать», собственно говоря, не совсем точен, коль скоро речь идет о произведениях искусства. Настоящие знатоки не покупают, они «вкладывают», «помещают» деньги. Покупать — значит отдавать деньги раз и навсегда. Другое дело — «помещать». В этом случае истраченные деньги возвращаются хозяину сторицей, в двойном размере и более. Тот, кто раскусил эту премудрость, будет властелином жизни. Расходы он превратит в источник доходов. Надо сказать, что среди бельгийцев немало знатоков этого искусства. Получается, что из всех причастных к живописи одни художники зарабатывают деньги собственным трудом.

Настоящий бельгиец, дорогой декан, почти всегда — художник выходного дня. Всю трудовую неделю он мечется и мчится вперед, только вперед, подчиняясь законам черно-белой реальности. Но приходит суббота, и он пересаживается за мольберт, чтобы воспарить над этой реальностью на крыльях цветной иллюзии. Целых два выходных забывает он серые будни за воскресными грезами юных лет. Всю землю отцов он умещает в подрамник, изгоняя из нее автострады и небоскребы. И снова зеленеет майский лужок, порхают мотыльки, пахнет скипидаром от свежей масляной краски. Свой воскресный мирок бельгиец обрамляет в позолоченный багет.

— Я могу тебе объяснить, в чем тут дело,— сказал Шарль Дюбуа, который временами тоже не прочь посидеть с кисточками и акварельными красками где-нибудь в монастырском дворике.— Видишь ли, язык красок — это единственный язык, на котором бельгиец может изъясняться безупречно. Если бельгиец хочет излить душу на нидерландском, его поднимают на смех северяне. Заикнись он по-французски, начинают иронизировать южане. Поневоле он ищет для себя иной способ самовыражения и находит его в международном языке, которым издревле мастерски владели предки.

Мой друг привел одно из расхожих толкований феномена «художник выходного дня», которое к тому же довольно тонко объясняет пресловутые «языковые трудности», по-своему повлиявшие на рождение мировых шедевров.

Но тебя, наверное, удивляет, дорогой декан, почему я еще ни словом не обмолвился о современной живописи Католического королевства на Северном море. Ты, вероятно, надеешься, что после месячного хождения по вернисажам я мог бы дать ему самую полную характеристику.

Если так, то ты ошибаешься. Когда я впервые поехал на открытие выставки, мной двигало естественное желание увидеть экспозицию, картины, но увидел я нечто иное. Оказывается, вернисажи организуют для того, чтобы картины нельзя было увидеть. Только на пятом вернисаже мне удалось разглядеть уголок какого-то полотна. Предыдущие четыре раза картины, безусловно, тоже выставлялись (я специально об этом справлялся), но таким образом, что они совершенно исчезали из поля зрения за спинами многочисленной публики, которая толкалась в зале и спорила о них.

Произведение искусства, дорогой декан, создается в первую очередь вовсе не для того, чтобы на него смотрели. Оно создается для того, чтобы о нем говорили.

Трудно найти более удобный повод блеснуть красноречием, чем произведение искусства. Самое непритязательное полотно всегда открывает простор для лавины интерпретаций. Это нравится. Чем обильней вызванный им поток слов, тем больше ценится произведение искусства. Я даже как-то раз высказал предположение, что картину можно считать завершенной только тогда, когда ее увенчает отзыв зрителя или комментарий критика. Есть известные картины, которые существуют не столько на холсте, сколько в дискуссии, критическом эссе, приветственном слове бенефицианту.

Я, может быть, несколько упрощаю факты, однако именно здесь нужно искать ключ к разгадке успеха многих произведений современного искусства.

Если ты теперь думаешь, что я изрядно попотел, когда пришел мой черед открывать выставку конфузливого молодого художника, то ты снова ошибаешься. Я это проделал с большим успехом. Усилий же от меня потребовалось не больше, чем для того, чтобы сочинить элементарное любовное письмо. И виновата здесь не «необычайная способность вчувствоваться в личность художника», как польстил мне выступавший следом за мной с благодарственным словом председатель Культурного общества. Ни при чем тут и «бесспорный дар красноречия», который приписал мне за бокалом шампанского секретарь общества. Ты бы сумел все это проделать не хуже меня. Достаточно внимательно прослушать несколько вступительных докладов на открытии любых выставок, сделать несколько заметок в блокноте, и ты вооружен для выступления на любом вернисаже, причем твой доклад будет приятен любому художнику, не скомпрометирует тебя в собственных глазах и произведет на публику такое сильное впечатление, что о тебе станут говорить: «Ну, этот парень знает об искусстве все».

Вступительное слово на открытии выставки можно начинать следующим образом:

— Художник, чье творчество высвечивает эта экспозиция, не принадлежит к новейшим «измам». Он всегда шел своей собственной дорогой, чуждый как модных увлечений, так и келейности, которые, увы, все еще не изжиты в среде творческой интеллигенции.

Сказанное не значит, что он по природе скромный и нелюдимый труженик,— нет, просто у него были нелады или даже стычки с малюющей братией.

Дальше можно заметить, что «в целом ряде полотен раннего периода чувствуется определенное влияние экспрессионизма». Ни в коем случае не уточнять, в каких именно полотнах и как далеко зашло влияние. Выступающему об этом ничего не ведомо. А «целый ряд» и «определенное» как нельзя лучше подходят, когда нужно оставаться в рамках общих слов. Затем скороговоркой добавляют, что «художник претворил это влияние в свойственной ему характерной манере». Чем характерна манера, остается нерасшифрованным. Она ему свойственна, и этого довольно.

В средней части выступления, когда автор касается специальной стороны, он должен обязательно не забыть упомянуть о «поединке с материалом». Говоря о художнике, следует избегать слова «краска». Слушатели могут подумать, что речь идет о маляре. Художник работает с материалом, «преодолевает материал». Что именно понимает он под материалом, это его личное дело.

В докладе непременно должна присутствовать «проблема формообразования». Но художник в конце концов справляется и с ней, находя «своеобразное пластическое решение». Тут уместно рассыпать комплименты «богатой палитре», особенно «мощи коричневых», «пронзительности красных», «нежности зеленых». Нотабене: нужно учесть, что у художника все краски во множественном числе. Избегайте говорить о «черных» и «белых». Это нечто совсем другое.

Заключительный пассаж доклада раскрывает присутствующим глаза на то, что «художник, одаренный тонким чувством стиля», уверенно «опирается на непревзойденные достижения великой фламандской живописи», но за традицией не забывает, разумеется, и о «современном акценте».

Не бойтесь лишний раз вернуться к традиции фламандских мастеров. Когда говорят о живописи, это вполне допустимо, даже во франкоязычных кругах. Более того, это необходимо. В королевстве очень любят разглагольствовать о красочном цветовом видении и мистической жилке фламандца. Могучий Брейгель Мужицкий не выходит из клинча с бесплотным Рейсбруком [1].

Наконец, последний аккорд: особенно привлекательным делает вышеназванного художника то обстоятельство, что «в нашу эпоху всеобщей дегуманизации» он неустанно «ищет человека», а отыскав, ставит его «в центр внимания».

Письмо четырнадцатое. ИДЕМ НА САНОЧКАХ КАТАТЬСЯ.

Когда я выезжал с боковой улицы на шоссе, дети, сидевшие за моей спиной, грянули во всю мощь своих легких:

Идем на саночках кататься,
В снежки играть и кувыркаться,
С собою Тролу мы берем,
С собою Тролу мы берем...

Я слушал их с умилением, ибо ничто не может сильнее тронуть мне душу, чем пение веселых детишек. Нетрудно было понять, что они просто не в состоянии сдержать чувство радости, переполнявшее их сердца. Я возблагодарил свою интуицию, которая подсказала мне этот экспромт — автомобильную прогулку по окрестностям с малолетними членами банды Яна Де Ровера.

Всю дорогу они распевали эту песенку не жалея сил. Заметив детей, играющих возле дома, они опускали стекло и, дружно размахивая руками, принимались петь еще громче.

При всем своем умилении я в конце концов поинтересовался, не знают ли они другой песенки. «Зна-а-ем!» — завопили они в один голос. И следующие полчаса за моей спиной звучала такая пластинка:

Ты куда спешишь, мишутка?
Задержись хоть на минутку.
«В лавку Жака я лечу,
Шоколад купить хочу».
Мишка весел, мишка рад:
«Ням-ням-шоко-, шоколад!»

— Хорошая песенка,— сказал я.— Очень мило.

И я подумал о богатой россыпи фламандских народных песен, множество которых уже записал себе в толстую тетрадь, чтобы после

[1] Ян Рейсбрук (1293—1381) — автор известных дидактических сочинений — первых произведений нидерландской литературной прозы.

возвращения на родину сравнить их с нашим фольклором. Ведь народ живет и увековечивает себя в песне, не правда ли, дорогой друг декан? Когда мы остановились на зеленой лесной лужайке для небольшого пикника, я по памяти записал на салфетке текст и мелодию только что услышанных песенок.

Вечером, пока мефрау Де Ровер в ванной комнате с помощью мыла и губки возвращала членам экспедиции цивилизованный облик, я в гостиной отдыхал после своего экспромта в глубоком кресле. Чтобы отвлечься от легкой головной боли, я завязал беседу с Яном.

— Они у тебя очень музыкальные.

Я думал, что он воспримет мои слова как комплимент, но он переспросил немного удивленно:

— Кто они?

— Твои дети,— сказал я.

— Вот как? — сказал он.

— А ты разве этого не знал?

— Ну, разумеется.

— В машине они всю дорогу распевали очень симпатичные народные песенки про саночки и про медвежонка.

— Я так и знал.

— Мне очень нравится, когда дети любят петь. Детские песни — это базис народной культуры. Через детей поколения передают друг другу эстафету традиций...

Где-то на втором этаже хлопнула дверь, и звонкий мальчишеский голос прокричал: «Звезда! Звезда-а-а!»

Лицо Де Ровера-старшего исказила гримаса боли.

— Родители, которые прививают детям любовь к народной песне,— продолжал я,— оказывают...

Закончить фразу мне было не суждено, потому что в эту минуту раздался такой топот, будто по лестнице со второго этажа проскакал гусар верхом на лошади. Дверь гостиной широко распахнулась, ворвался белокурый мальчишка и завопил:

— Сейчас будут показывать Звезду!

Следом за ним в гостиную вломился целый гусарский полк, и я заметил, что Ян Де Ровер, который никогда не робеет, сейчас инстинктивно втянул голову в плечи и закрыл глаза.

Сбивая друг друга с ног, ребята свалились на ковер прямо перед телевизором. Я ожидал настоящей потасовки, поскольку уже немножко изучил норов своих названых племянников и племянницы. Но ничего подобного не произошло. Дети спокойно лежали на ковре, а один из них, привстав, нажал кнопку телевизора.

— Выпей-ка еще рюмочку,— сказал мне Ян Де Ровер, будто предлагал подкрепиться.

Пока он наливал, на голубом экране появилось изображение остроконечной звезды, которое тут же рассыпалось под натиском веселой оравы ребятишек, мчавшихся на санках со снежной горы и оглушительно сообщавших, что Трола катается с ними за компанию.

— Кто такая, собственно говоря, эта Трола? — спросил я. Но Ян не успел ответить, потому что на экране возникла новая картинка. Черный медвежонок, обутый в семимильные сапоги, со всех лап несся в лавку с вывеской «Жак» покупать вкусный шоколад «Ням-ням-шоко».

Дети с блаженными улыбками следили за экраном, и, когда оттуда полилась знакомая мелодия, они хором ее подхватили. В конце каждого сюжета они громко объявляли следующий, как правило попадая в точку. Появляясь и тут же рассыпаясь, Звезда представляла зачарованным зрителям то рекламу стирального порошка в сопро-

вождении вокального дифирамба, то озвученную мелодекламацией выставку-продажу консервов для собак и кошек, то инсценированный диалог о достоинствах шоколада — «вкусного и питательного», то, наконец, лирический ноктюрн о бюстгальтере, «в котором вы произведете впечатление».

Весь рекламный ролик дети знали наизусть.

— А теперь всем спать! — приказала мефрау Де Ровер, когда нежная музыка возвестила об окончании волшебного зрелища.

— И вот так, мой дорогой, каждый вечер. С того самого дня, когда мы купили телевизор. Они не уснут, если не увидят свою Звезду. Это их ежедневный сериал. Ты не поверишь: ни одна детская телепередача не пользуется у них таким успехом, как рекламные мультфильмы!

Я смял в кармане салфетку с записями, которые должны были пополнить мою коллекцию фламандского фольклора. Но, поразмыслив, решил все-таки перенести их в свою толстую тетрадь.

В сноске я пояснил, что «Трола» — это сорт ментоловых пастилок, «укрепляющих сердце».

Читая это письмо, дорогой декан, ты, наверное, удивленно поднимаешь брови. В официальных отчетах о работе Бельгийского радио и телевидения, которые я тебе посылал, сообщается, что в Католическом королевстве на Северном море нет рекламного телевидения. И это — истинная правда. Собственно говоря... (Когда бельгиец должен высказаться четко и определенно, то он и в этом случае оставляет себе запасной выход, прибавляя к категорическому утверждению всего два слова: «собственно говоря». Каждому становится ясно, что даже абсолютно бесспорные вещи зависят от того, как на них посмотреть.)

Действительно, в Бельгии нет рекламного телевидения, и, насколько я успел убедиться, редко где проявляют бельгийцы свою принципиальность так, как в этом деле. Ни один из народов, живущих по соседству, не сопротивлялся столь яростно вторжению коммерческой информации в приключения частного детектива или в мирную беседу за круглым столом о проблемах окружающей среды. Сами бельгийцы поражены случившимся и до сих пор не могут понять, каким образом реклама все-таки проникла на телевидение. Но оружия они не сложили и продолжают борьбу. Собственно говоря...

Ты уже, наверное, заметил, дорогой друг, что бельгийцы в моих письмах выглядят полной противоположностью тому типу людей, о которых в Бессалонии говорят, что они выезжают на принципах, как на лошадях. Я могу лишь снова подтвердить это. В самом деле, бельгиец — не тот человек, чтобы то и дело вскакивать в седло своего Принципа и мчаться во всю прыть по бескрайним пампасам теорий.

В повседневном обиходе житель Католического королевства производит впечатление очень покладистого малого. Если по твоему адресу тут скажут: «По крайней мере, он человек рассудительный», считай, что ты удостоился самого почетного титула. С человеком нерассудительным «можно спорить сколько угодно, с ним не договоришься», он вообще не человек.

По самой своей сути бельгиец — это индивид, который «может рассудить, что к чему». Он взирает на жизнь, покачивая головой и приговаривая на своем втором языке «bien sûr» — «ну, разумеется», извлекает из нее «свой интерес» и пытается с ней «как-то договориться». Бельгиец — это человек, который знает кучу правил и, «comme tout le monde» — «как все люди», почти всегда применяет их в жизни. Бельгиец постоянно следует своим курсом и умеет устраиваться.

А что мы видим в мире телевидения?

В соседних странах оно уже давно поет хвалу всевозможным товарам и продуктам питания, без которых вся дальнейшая жизнь станет невозможна или, в лучшем случае, потеряет свой вкус и смысл. Но бельгийцы испокон веку знают сами, что им покупать, и принципиально не хотят включать коммерческую аллилуйю в свои телепрограммы.

На политических конгрессах и форумах,— а они собираются здесь регулярно, в положенный уставами срок и чаще всего тогда, когда все проблемы уже разложены по полочкам, так что на долю этих собраний остается чисто развлекательная функция,— так вот, на этих форумах время от времени раздаются мрачные голоса, предупреждающие, что рекламное телевидение угрожает свободной прессе и прочим высоким ценностям, о которых встревоженные телезрители раньше как-то не задумывались.

— Но к счастью,— возглашают затем ораторы (и слова их тонут в громких криках одобрения, как это принято на здешних конгрессах),— к счастью, мы ПОКА ЧТО в силах эту опасность предотвратить!

Слова «пока что» употребляются на конгрессах чаще всего. Они неизменно вызывают большое волнение среди участников, которые затем с большим подъемом принимают резолюцию, пригвождающую названную угрозу к позорному столбу.

А тем временем, дорогой декан, вдоль всей границы королевства: на севере, на востоке, на юге — повсюду проворно выстроились иностранные телебашни, которые заливают «голубые экраны» бельгийцев лучами своих передач и от всего электронного сердца дарят детишкам Яна Де Ровера новые песенки, формируя их фольклорный репертуар.

А тем временем по воскресеньям, в еженедельном телеобозрении, а иногда и в будни, когда телекамеры гуляют по футбольным полям, спортивные шоу разыгрываются перед вашими глазами в декорациях из рекламных щитов. Находчивые деловые люди разрисовали на свой лад все ограждения стадиона, и не увидеть эти художества просто невозможно.

Вчера вечером я следил вместе с Яном Де Ровером по телевизору, как две европейские нации, каждая в лице одиннадцати представителей, сокрушали друг друга с помощью атак и контратак, длинных пасов и дриблинга, пенальти и угловых, а иной раз, если верить комментаторам, даже пушечных ударов. Я и без того не слишком хорошо разбираюсь в этой неведомой нам игре, но тут окончательно запутался. Перед моими глазами суетливо бегали взад и вперед взмыленные черно-белые парни, взятые в неумолимое кольцо бронебойной рекламы.

Позднее, когда Ян Де Ровер спросил, какое впечатление осталось у меня от этого «матча века», я не смог ничего ответить, кроме того, что хозяевам поля удалось пройти только до «Кофе «Бомберг», в то время как гости атаковали вплоть до «Красной газеты», а однажды продвинулись до «Сантини» — аперитива спортсмена». Единственный гол этой встречи был забит, когда стороживший ворота игрок выбежал со своего рубежа — «Сигареты «Смайл» — слишком далеко вперед, до «Табака «Квин».

Поэтому я не удивился, прочитав наутро большой заголовок в газете: «Кубок чемпиона мира — лучшая реклама для футбола». Ян Де Ровер выразился по этому поводу коротко и ясно:

— Ну и что? У одних есть принципы, у других нет, вот и все. Собственно говоря...

■

О рекламе лучше всего поговорить с моим другом, владельцем виллы «Юдолалия».

— Вообрази! — закричал он, ввалившись ко мне в один прекрасный весенний день.— Представь себе! Ты видел что-нибудь подобное? Боже мой, до чего они дошли! И как их только земля носит! Мой рассудок отказывается что-нибудь понимать! Подумать только!

Я налил ему коньяка, он выпил и попросил еще. После трех рюмок он немного оправился и стал рассуждать более трезво. И тут до меня дошел смысл его излияний.

Во время последнего шторма ветер сломал ветку старой трехсотлетней липы на Главной площади и швырнул ее в витрину недавно открывшейся новой лавки под вывеской «Кремасия» — это означает, как нетрудно расшифровать, что здесь продается крестьянское масло, сыр и яйца. (Рациональные бельгийцы, как ты уже мог заметить, обожают сокращения.) Хозяин «Кремасии» страшно разозлился на магистрат. Ну конечно, против бури они бессильны, понятное дело! Но и слепому ясно, что эта древняя липа давно уже сгнила и ее пора спилить. Чего ради терпеть эту фольклорную рухлядь? Она уже стала общественно опасной! Сегодня разбитое стекло, а завтра покалеченный ребенок. Покамест власти раскачаются, у нас будут человеческие жертвы!

Коллегия магистрата с тоской взирала на происходящее. Капитал хозяина «Кремасии» растет с каждым днем, и недалеко время, когда лавочник, в прошлом рыночный торговец, выставит для баллотировки свою кандидатуру и своих сторонников. Надо было что-то предпринимать. Нельзя допустить, чтобы эта липа подстрекала население.

Именно в этот момент шурин бургомистра сыграл свадьбу с дочерью владельца «Золотого плуга», магазина скобяных товаров на Церковной улице. Молодой компаньон во всеуслышание объявил, что готов сделать десятипроцентную скидку для желающего приобрести электропилу.

Спустя неделю трехвековая липа, раскинув изуродованные рукиветви, разметав поредевшую листву, рухнула на брусчатку Главной площади.

От неожиданности «Кремасия» лишилась речи. Это придало бургомистру новых сил, и он мобилизовал целую бригаду рабочих магистрата. По его распоряжению они спилили все ивы на Зеленой улице, у которых от возраста был какой-то ненадежный, изношенный вид. Работа спорилась. Ты не можешь себе представить, с каким сладострастьем вонзала свои зубья в дерево новая электропила! У рабочих просто слюнки текли.

Через пару недель все зеленые патриархи общинного центра были низвергнуты со своих пьедесталов. Владельцы магазинов одобрительно хлопали в ладоши, потому что теперь прямо перед их витринами можно было парковать автомобили, а это обещало новых клиентов. Даже «Кремасия» с натянутой улыбкой вынуждена была признать, что «город стал выглядеть гораздо чище».

Жители Мельничной горы, мятежной окраины к югу от общинного центра, наблюдали за всем этим с сухими от боли глазами.

— Опять центр что-то выгадывает! Когда же вы со своей электропилой до нас доберетесь?

Бургомистр в ответ съехидничал, что они уже сами наломали достаточно дров. Но через неделю его пильщики приехали на Мельничную гору и обездревили улицу Часовни и Малую Лесную. С электропилой работалось так увлеченно и так споро, что они повалили

четыре дерева на заповедной Кемпийской аллее, прежде чем им пришло в голову: «Ребятки, что же мы натворили!»

Приехал бургомистр, посмотрел на их работу, поскреб в затылке. М-да, тут уж ничего не исправить. Спиленное дерево обратно не прирастает, это и ребенку ясно. Такого инструмента не купишь даже в «Золотом плуге».

Лесорубы смотрели на него с такой мольбой, что он, не выдержав их взгляда, кивнул, и скоро вся Кемпийская аллея полегла под лезвием современной техники.

У острого на язык лидера общинной оппозиции, который уже готов был сделать запрос в магистрате, как раз за деревьями Кемпийской аллеи, по всей ее длине, тянулся большой земельный участок. Залежная земля, не приносившая никакого дохода. Она досталась ему в наследство еще от деда, и он потерял надежду от нее избавиться. Но вот деревья исчезли, и удача сразу улыбнулась ему. Он решил повременить с запросом, в одно мгновение разбил свою бесплодную землю на делянки и выставил большой щит с надписью:

«Продажа земельных участков под строительство вилл и бунгало. Обращаться по адресу: Новая улица, 71, Нэш Постреел».

Ты понимаешь — «под строительство вилл и бунгало»! Кто же будет продавать землю под обычные дома?

По другую сторону аллеи, где раскинулись владения правящего большинства, издавна протекала широкая, почерневшая от грязи река Чистая. Строить на ней, к сожалению, было нельзя. Но племянника бургомистра, проезжавшего весенним солнечным днем мимо нее в город, внезапно осенило, что тут можно сделать. Он служит в фирме «Редвитор» (то есть «Реклама — двигатель торговли»).

Через месяц по всему берегу Чистой выстроилась шеренга больших деревянных щитов, оклеенных рекламными афишами, восхваляющими американские сигареты, французское вино, голландский сыр и английское пиво.

— Вообрази! — кричал мне взволнованный друг.— Представь себе! Они испортили мне всю дорогу к «Юдолалии»! Жена ревет с утра до вечера. Какая была аллея! Чудо природы!

Он проглотил четвертую рюмку коньяка и плюхнулся в самое глубокое кресло.

— В довершение всего,— прибавил он,— этот сорт английского пива ввозят мои конкуренты.

С рекламными щитами вдоль дороги дело обстоит приблизительно так же, как с бензоколонками. И те и другие не выносят одиночества, им необходимо общество себе подобных. Стоит появиться одному щиту или бензоколонке, как рядышком тотчас же, словно из-под земли, возникает конкурент. Только успеешь к нему привыкнуть — бац! откуда ни возьмись выскочил третий, за ним четвертый, и пошло-поехало. На крупных перекрестках, у развилки больших дорог нередко вырастают целые колонии.

После того как аллея, ведущая к вилле «Юдолалия» вдоль берега Чистой, была вся расцвечена красочными опознавательными знаками Государства Благоденствия, «Редвитор» весенней ласточкой пронесся над селами и городами провинции. Опускаясь под окнами фабрикантов и торговцев, он подвигал их на это новшество. Местная экономика, мол, заметно оживилась, дорожное сообщение стало не в пример лучше прежнего, приближается летний сезон, будет много туристов, деловые люди не должны стоять в стороне.

Прошло несколько месяцев, и в целой округе не осталось уголка,

свободного от рекламы. Все брандмауэры и кирпичные ограды были оклеены зазывными, соблазнительными лозунгами. Все глухие боковые стены магазинов, кафе и отдельно стоящих жилых домов превратились в публичных совратителей.

Племянник бургомистра, который на фирме «Редвитор» молниеносно сделал себе карьеру, обратился к пастору с просьбой сдать в аренду его фирме пустую боковую стену приходской школы. Дамские чулки «Ола» и пиво «Чин-зйл» помогли бы ему покрыть расходы на переоборудование классов. Возмущенный пастор отверг его предложение: «Как могло такое прийти тебе в голову!» Через неделю Комитет по пропаганде религии вывесил на боковой стене приходской школы свой лозунг: «Возложи все заботы мирские на Господа!»

В Рейнаарде совершался нормальный для Бельгии процесс.

Страна эта, как я уже писал, издавна славилась обилием художественных музеев и выставок. Но ни одна выставка здесь не отличается таким размахом, не привлекает к себе с таким упорством всеобщее внимание, не пользуется таким авторитетом, как экспозиция рекламных афиш и объявлений. Словно все художники Запада собрались сюда на постоянную Биеннале Искусства Потребления. Порой мне кажется, что церковь, банкетный зал, присутственное место или кинотеатр — любой публичный интерьер будет незаконченным, пока не появятся на стенах метровые сюрреалистические или экспрессионистские композиции во славу консервированного супа. Иногда я начинаю подозревать, что не случайно бельгийцы, строя себе загородные дома в зеленой зоне, посреди поля, у опушки леса или на берегу озера, кладут хоть одну глухую, без окон, стену. Они предусмотрительны, здешние архитекторы. Они заранее видят афиши, которые помогут домовладельцу ежемесячно выплачивать банковскую ссуду.

Мой друг с виллы «Юдолалия» стал терять последние остатки юмора. Он звонил мне через день, чаще всего рано утром или поздно вечером, когда я еще или уже был в постели.

— Ты слышал новость? Установили шесть новых щитов — на Дворцовой улице и на Охотничьей дороге! Помнишь готическую часовенку четырнадцатого века — ее всю оклеили, как афишную тумбу! А кемпийский амбар восемнадцатого века оккупировали полуголые красотки!

Раза два мне довелось услышать, как он смеется. Первый раз это было, когда он разбудил меня своим звонком в половине третьего ночи, чтобы рассказать, что на стену нового морга повесили рекламу страхования жизни. В другой раз он вытащил меня из ванны экстренным сообщением о том, что автомобильное кладбище возле «Нового поместья» огородили щитами с рекламой итальянских спортивных машин. Он рычал от восторга.

А потом он как в воду канул. Я уже начал подумывать, не заболел ли мой друг от нервного перенапряжения. Но он внезапно появился собственной персоной, сияя как летнее солнце в Испании.

— Знаешь, что произошло? — загудел он прямо с порога.— Мы основали общество «Собственная Красота»! В нем уже пятьдесят членов, а я председатель.

— Proficiat!— сказал я.

— Спасибо. Все Поклонники Природной Красоты смогут наконец объединить свои усилия. Мы покончим с современными извращениями здорового вкуса. Сейчас мы готовим петицию за сохранение наших аллей, а потом организуем марш протеста. Если тебе не жалко пятисот франков, ты можешь стать почетным членом общества. Вот членская карточка.

И мой приятель пустился в дальнейшие разъяснения. Через несколько минут он вскочил и, размахивая руками, забегал из угла в угол.

— Наше терпение иссякло! Да, мы не хотим больше с этим мириться! Мы должны вырвать нашу страну из лап вандалов и хищников!

Я торжественно заявил, что полностью разделяю его убеждение. Обрадованный, он подарил мне вторую членскую карточку — «для друга или кого-нибудь еще».

— Может статься, что я выдвину свою кандидатуру на следующих парламентских выборах. Я тут времени даром не терял и провел несколько сенсационных акций. Увидишь и удивишься.

Я увидел и удивился на той же неделе, когда отправился к нему в гости по его настойчивому приглашению. По пути мне бросились в глаза результаты его первой акции. Мой друг с виллы «Юдолалия» ухитрился отыскать свободные от рекламных щитов клочки земли. Теперь на них тоже торчали щиты — с его афишами. На каждой слева красовалось зеленое дерево. А справа — текст красными буквами: «Закроем дорогу рекламе на дорогах! Это требование общества «Собственная Красота».

Письмо пятнадцатое. ВОТ ТАК НОМЕР!

Сразу после Нового года, когда я скучал над газетами, угрожавшими стране новым правительственным кризисом, в дверях квартиры возник юноша в униформе и синем кепи на пышной шевелюре. Он вручил мне большой белый конверт, края которого были увиты цветочной гирляндой.

— Вам телеграмма,— сказал он.

— Спасибо,— сказал я.

— Вы ведь менеер Д'Юрне? — спросил он.

— Совершенно верно,— ответил я.

— Тогда все в порядке. Пожалуйста.

Я внимательно посмотрел на него. Он улыбнулся.

— Надеюсь, что новости хорошие,— прибавил он.

— Я тоже надеюсь,— сказал я.

— Может быть, новогодние пожелания.

— Вполне возможно,— согласился я.

Он снова улыбнулся. И тут до меня дошло. Я перерыл карманы, нашел и дал ему небольшую банкноту. Он приложил два пальца к козырьку.

— Желаю вам доброго здоровья,— сказал он.— Это самое главное.

— И вам того же,— отвечал я.— И хорошую невесту в этом году.

Мурлыча какую-то песенку, он побежал к лифту, а я только сейчас осознал, какой опасности мне удалось избежать. Жителю королевства, который в дни Нового года обидит «бельгийскую душу», целый год придется открывать свою дверь мрачным посыльным, почтальонам и мусорщикам.

На белом конверте было выведено красивыми буквами: «Поздравительная телеграмма». Я вскрыл конверт и вытащил большой лист белой бумаги, на котором юная розовощекая барышня в длинном, ниспадающем красивыми складками платье усыпала розовыми лепестками напечатанный ниже на машинке мой почтовый адрес. Текст под адресом гласил: «Сердечно поздравляю назначением. Сенатор Схоонбарт».

Я распахнул дверь квартиры, надеясь еще застать посыльного, но юноша уже спустился в лифте на другой этаж, за новыми чаевыми. Я трижды прочитал адрес и констатировал, что он действительно мой. Но ведь телеграмма предназначалась явно не мне! Я не был кандидатом ни на какой пост, а имя сенатора Схоонбарта видел впервые.

— Произошла ошибка,— логически рассудил я, чтобы успокоиться.

Я положил листок с румяной барышней на стол, убрал кофейный прибор и только включил электробритву, как в дверь снова позвонили. Я отворил юноше в униформе и синем кепи на пышной шевелюре. Но это был другой юноша.

— Вы менеер Д'Юрне? — спросил он.

— Как и прежде,— отвечал я.

— Вам телеграмма,— сказал он.— Пожалуйста.

На этот раз вместо конверта с гирляндой из цветов и розовыми лепестками мне вручили простой листок синей бумаги с обычным печатным текстом.

— Счастливого Нового года,— сказал юноша в синем кепи.— И доброго вам здоровья. Это...

Я дал ему бумажку в двадцать франков.

— ...самое главное,— закончил он.

Его срочное послание было несколько длиннее предыдущего, но не менее туманно: «Самые сердечные поздравления. Наша встреча оказалась успешной. Назначение утверждено. Депутат палаты Дю Мулен».

За все время, проведенное в королевстве, мне ни разу не приходилось встречаться с членом парламента, который бы откликался на имя Дю Мулен. И я вовсе не просил у него аудиенции.

— Наверно, у людей просто новогоднее настроение,— решил я.— Каждый день праздники, не мудрено и напутать...

Я положил синий листочек возле пунцовой барышни. В одиннадцать принесли корреспонденцию. Я пересортировал полкило бумаги, выбросил в корзину многочисленные рекламные проспекты, отправил на стол к двум предшественникам все новогодние пожелания и принялся за письма. Одно из них было со штампом Прогрессивной христианской партии и начиналось в следующих выражениях:

«Дорогой друг,

Мне выпала великая честь и радость сообщить Вам, что мы поддержали Вашу кандидатуру и она уже позитивно рассмотрена компетентными инстанциями. В скором будущем состоится решение о Вашем назначении. Мы были рады оказать Вам эту услугу и надеемся, что Вы...»

Я бросился к телефону, чтобы немедленно переговорить с председателем Прогрессивной христианской партии, но в это мгновение аппарат зазвонил. Я схватил трубку и услышал нежный женский голос.

— Это менеер Д'Юрне? — спросил голос.

— Himself[1],— произнес я, совсем ошаращенный, по-английски.

— У меня для вас поручение от председателя Либерального союза,— сообщил женский голос.

— Надеюсь, я не назначен? — вырвалось у меня.

— Что вы? — спросил голос.

— Понимаете...— заикаясь, начал я.

— Председатель Либерального союза просил меня передать вам, что все в порядке.

---

[1] Он самый *(англ.)*.

— В порядке?

— Вы можете не беспокоиться относительно предложенного вам дела.

— Какого дела?

— Председатель сказал, что вам известно, о чем идет речь. Он просил извиниться за то, что не мог связаться с вами лично, но, вы сами понимаете, не исключен правительственный кризис... Он полагает, что вы поймете его беспокойство.

— О боже,— простонал я.

— Алло! — послышалось в трубке.— Алло! Это менеер Д'Юрне? С кем я говорю? Алло!

Я выскочил на улицу и кинулся бежать к гаражу. Я решил немедленно посоветоваться с кем-нибудь из друзей. Не пробежав и двух шагов, я столкнулся с толстым мужчиной в черном плаще. Он принял меня в свои объятия и произнес:

— Я рад вас видеть. От души поздравляю!

Это был бургомистр.

Он схватил меня за галстук, и я так и не понял, была ли это особая форма приветствия или же он просто хотел не дать мне упасть.

— Я очень рассчитываю в ближайшее же время познакомиться с вами поближе,— добавил он.— Поскольку вы теперь инспектор...

— Инспектор? — вскричал я.

— Разве вас не известили? — удивился он.

— Собственно говоря...— замялся я.

— Нашей общине давно нужен такой человек, как вы,— сказал бургомистр.— Не могли бы вы заехать ко мне домой на следующей неделе? Кстати, я и не знал, что вы у нас натурализовались... Еще раз — примите мои поздравления!

Он улыбнулся так широко, что меня осенило: он, без сомнения, поддерживал кандидатуру моего противника и уступил только превосходящим силам моих покровителей.

Я отправился к Шарлю Дюбуа и в ожидании хозяина дома нервно ерзал у телевизора. Когда, наконец, он вернулся и я залпом все ему выложил, он посмотрел на меня оторопело и вдруг дико захохотал:

— Вот так дела!

Он тут же потащил меня к старому школьному приятелю, секретарю министерства садов и парков, с которым в детстве играл в футбол.

Секретарь министерства выслушал меня очень внимательно.

— Стало быть, вы получили назначение,— резюмировал он мой рассказ.

— Похоже, что так,— сказал я.

— И вы не хотите этого назначения?

— Нет. Я о нем даже не просил.

— Но другие просили за вас и добились!

— Очень жаль.

— Самые разные силы приняли участие в игре!

— В игре?

— Это политический жаргон. Было сделано все, чтобы ваше досье легло сверху.

Я узнал, что порядковый номер досье зависит от того, взяли ли его из стопы и положили на виду или же этого не сделали. Дело в том, что у досье с большим порядковым номером шансов мало.

— Но у меня нет досье,— возразил я.

— Тогда бы вы не получили назначения,— рассмеялся секретарь.

— Я хотел сказать...

— Полно вам, ради вас целая армия вышла на поле битвы.

— Поле битвы?

— Назначение — не шуточки.

— Я не шучу.

— За вас боролись сенатор, депутат парламента, председатель партии.

— Два председателя.

— И вы не хотите быть инспектором?

— Нет, не хочу.

— Ça alors[1],— сказал секретарь министерства.

Он потер себе подбородок, потом сделал попытку выдернуть рыжий волосок, торчавший возле кадыка. За всю долгую карьеру, проходившую бок о бок с министрами, членами парламента и другими государственными деятелями, такой случай был у него впервые.

— Скажите, вы урожденный бельгиец? — спросил он.

— Нет,— сказал я.

Бельгийца, который бы отказывался от назначения, не существует в природе.

Тут он пустился в пространные рассуждения о свойствах характера соотечественников, откуда, в первую голову, следовало, что они полчищами осаждают его каждый божий день, чтобы навалить ему на стол сотни досье, и что вечером они дюжинами укладываются спать на пороге его дома, чтобы утром, когда он выйдет, насесть на него с просьбами о «месте».

(В Бельгии добиваются «места», точнее, «места при государстве»— то есть в правительственном аппарате,— как другие ищут «места под солнцем». Судя по количеству мест, которыми она располагает, Бельгия принадлежит к числу крупнейших государств мира.)

— Место в министерстве — вот идеал бельгийца,— промолвил с горечью секретарь министерства.— И не первое попавшееся место. Никто не нанимается на работу посыльным или мойщиком окон. Каждому хочется быть инспектором, как вам, например, менеер.

— Мне не хочется,— сказал я.

— Ну, это никуда не годится! — воскликнул секретарь.

Он выдернул еще один рыжий волосок, осмотрел его, погладил подбородок и позвонил горничной, чтобы она принесла кофе.

— Я не очень ясно себе представляю,— продолжал он,— как можно отменить назначение, о котором хлопотали сенатор, депутат парламента, председатель партии...

— Два председателя,— поправил Шарль Дюбуа.

— Но ведь произошла ошибка! — не выдержал я.

— Почти все назначения можно считать ошибкой,— с чувством произнес секретарь министерства. (Очевидно, он вспомнил в эту минуту о своих коллегах.) — Кроме того, мы стоим на пороге правительственного кризиса. По традиции, именно в этот период места раздают, а не отнимают. Что же подумает о нас оппозиция, если мы будем отказывать нашим собственным людям?

— Но я не принадлежу к вашим собственным людям,— вставил я.

— Как сказать,— покачал он головой.— Вы получили назначение с нашей помощью, при поддержке двух партий правительственного большинства. Во всяком случае, отныне вы — наш человек.

Секретарь вновь углубился в отвлеченные материи, так что можно было разобрать лишь отдельные слова: «дозирование», «равновесие», «отношения»...

---

[1] Ну, знаете ли *(франц.)*.

Мы решили откланяться. Секретарь пожал мне руку, а левой рукой потрепал по плечу.

— Du courage, — сказал он. — Il faut trouver le truc pour truquer le truquage [1].

Прошла неделя. Газеты состязались в слухах и гадании на кофейной гуще по поводу возможного правительственного кризиса. Я уже начал лелеять какую-то надежду, как вдруг перед моей дверью опять возник юноша в синем кепи на пышной шевелюре.

— Вы менеер Д'Юрне,— сказал он с утвердительной интонацией,— а у меня для вас поздравительная телеграмма.

Он радостно улыбнулся, демонстрируя готовность хоть каждый день приносить мне румяных барышень, сеющих на мой почтовый адрес лепестки розы.

«Назначение получено,— кричала крупными буквами телеграмма.— Сердечно поздравляю. Сенатор Де Виспеларе».

Я бросился к телефону, чтобы потревожить покой Шарля Дюбуа, но тут снова позвонили в дверь. Через щель почтового ящика я прокричал, что мне больше не нужно телеграмм, и услышал в ответ грубый мужской голос:

— Чего?

Это был молочник.

Шарль Дюбуа тотчас же перезвонил секретарю министерства садов и парков. Тот не мешкая известил министра. Министр срочно связался с вице-премьером.

Не прошло и двух часов, как мы очутились в приемной этого государственного мужа.

— Рад с вами познакомиться,— промолвил вице-премьер, выходя мне навстречу с протянутой рукой.— Я полностью разделяю вашу точку зрения.

— Благодарю вас,— выдохнул я с облегчением.

— Я обсудил вашу проблему со своими коллегами из Садов и Парков и из Вопросов Экономики. Я полагаю très sincèrement[2], что достигнутый нами компромисс весьма любопытен. Все компетентные инстанции будут удовлетворены. Voyez-vous, un vrai homme d'Etat...[3]

Минут пять он распространялся об обязанностях и заботах настоящего государственного деятеля, которому необходимо постоянно учитывать множество самых противоречивых обстоятельств и моментов, который должен стремиться к тому, чтобы примирить различные, порой взаимоисключающие, интересы населения страны, привести их к гармонии, в которой любой гражданин смог бы найти место своему образу жизни и мировоззрению...

— Вы, кажется, говорили о компромиссе? — уточнил я.

— Совершенно верно,— сказал он.— Либеральный кандидат возьмет на себя сектор продуктов питания, так что вы можете специализироваться на секторе литературы.

— Но я и не думал об этом! — воскликнул я.

— Секция кино была уже занята,— произнес вице-премьер с некоторым испугом.

— Мне не нужно никакого кино.

— Я, разумеется, полностью отдаю себе отчет в том, что вас необходимо сразу назначить на пост генерального инспектора,— торопи-

[1] Мужайтесь. Надо найти винтик, чтобы развинтить весь механизм *(франц.)*.
[2] Совершенно искренне *(франц.)*.
[3] Видите ли, настоящий государственный деятель... *(франц.)*

ливо продолжал вице-премьер.— Но мы уже исправили ошибку. Виноватых тут нет, это обычная процедура. Разница в жалованье вам будет выплачена в порядке обратной силы чуть позже. Что же касается персональной машины, этот вопрос мы утрясем. Так что можете, как говорится, спать на обоих ушах.

(Спать на обоих ушах, дорогой декан,— это сладкая мечта всякого бельгийца, хотя я плохо представляю себе, как можно осуществить эту операцию на практике.)

Слыша все это, Шарль Дюбуа поспешил мне на выручку и начал все заново и долго объяснять. Теперь пришла очередь вице-премьера побледнеть от неожиданности.

— Но ведь вам тоже нельзя забывать о шатком положении кабинета,— вымолвил он.— Я заверяю вас как человек чести: пост генерального инспектора — это действительно самое большее, что мы сейчас можем вам дать.

— Прошу прощения,— сказал Шарль Дюбуа,— но я не это имел в виду. Мой друг не испытывает никакого интереса к государственной службе.

— М-да,— сказал вице-премьер.— Впрочем, либеральный кандидат тоже. Но факты остаются фактами. В политике нужно уметь подчиняться реальному положению вещей. Политика — это искусство возможностей.

— Я понимаю,— сказал Дюбуа.

— А если мы месяца через три перебросим менеера Д'Юрне в дипломатию? — предложил вице-премьер.— Как вам известно, фламандоязычных дипломатов нам все еще не хватает. Мы постоянно должны помнить о парашютировании способных кадров.

(«Парашютированием», дорогой декан, здесь называют операцию, которая заключается в том, что перед истечением срока полномочий или правительственным кризисом сотрудники кабинета или друзья министра переводятся в иную служебную сферу, где получают соответствующие высокие посты. Парашютирование используют и для того, чтобы установить или восстановить определенное равновесие политических настроений. Отличительная особенность хорошей администрации состоит в том, что политические партии в ней представлены пропорционально их влиянию, а самые крупные партии даже с избытком.)

Вице-премьер попросил секретаршу принести чаю и лично предложил нам сахару, но я не сдавался и упорно твердил свое: произошла ошибка.

— Государственная служба не для меня.

— Так чего же вы хотите? — спросил вице-премьер, начиная нервничать.

— Ничего.

— Но послушайте, мой друг, с вашим негативизмом в политике ничего не добьешься. Посудите сами. Нам только что почти удалось избежать правительственного кризиса. Мы полдня вели переговоры между членами кабинета по вопросу назначений и перемещений. Достигли соглашения. Хотя в нем немало изъянов. Но мы должны его соблюдать. В игру вмешался сам сенатор Де Виспеларе. Он решительно возражал против вашей кандидатуры.

— Де Виспеларе? Но ведь я получил от него поздравительную телеграмму!

— Великолепно! В этом весь Де Виспеларе, с головы до пят! Искусный, хитрый политик, что ни говорите! Он вначале и слышать не желал о вашем назначении, но затем внезапно повернул и связал вас с местными кредитами. Поскольку он вас атаковал, мы вынуждены

были вас защитить и предвидели последствия, так что он получил свои кредиты. Мы называем это глобализацией. Очень ловкий ход. Чертовски ловкий.

— Но на что мне сдались местные кредиты?

— Вам они не нужны. Они нужны сенатору Де Виспеларе.

— Я хотел сказать...

— Нет уж, позвольте! Вы не можете бросить кабинет после того, как вас — и заметьте, даже безо всяких усилий с вашей стороны! — вас поддержало правительственное большинство. Нельзя быть неблагодарным, менеер. Мы сделали вас. Вы меня понимаете? Мы вас вытащили наверх. Au fond[1], кто вы такой, собственно говоря?

Я посмотрел на Шарля Дюбуа. Он тщетно пытался пригладить свои буйные волосы.

Он улыбнулся, мой добрый друг.

— On a perdu le machin pour sauver le truc [2], — только и сказал он.

Телеграмма:

Достопочтенному господину А. М. Бейтебиру, декану.

Бург

Фламия (близ Бессалонии)

ТОЛЬКО ЧТО НАЗНАЧЕН ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКРЕТАРЕМ ПО ЧИНАМ И ПОСТАМ. СЛУЧАЕ ОТКАЗА ГРОЗИТ ПОРТФЕЛЬ МИНИСТРА. НЕМЕДЛЕННО ВЫЕЗЖАЮ РОДИНУ. ВСТРЕЧАЙ ПОСЛЕЗАВТРА СВОЕЙ РЕЗИДЕНЦИИ. СОЖАЛЕЮ СЛУЧИВШЕМСЯ. БЕЛЬГИЯ БЫЛА ВСЕГДА ОЧЕНЬ ДРУЖЕЛЮБНА КО МНЕ. ГАСТОН Д'ЮРНЕ

Приложение: МАЛЫЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ БЕЛЬГИЙСКИХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

АВТОМОБИЛИСТ — дойная корова правительства.

АННАЛЫ — несуществующая книга, в которую много бельгийских имен вписывается золотыми буквами. Для пользы потомства.

АНТИКВАРИАТ — объект удивительной ностальгии, которая в нашу эпоху космических ракет, бойлеров, стиральных машин и компьютеров делает фетиш из медных кофемолок прошлого века. Обычно встречается в покосившихся от времени трактирах вдоль провинциальных шоссе, в виде треснувших чугунных котлов и укрепленных над дверью оловянных канделябров. Иногда на зеленом лужке подле узкого водоотводного канала умоляюще вздымают руки-оглобли старые повозки. Престиж бельгийца может высоко поднять и пушка времен первой мировой войны, установленная в палисаднике перед окнами виллы.

АРИСТОКРАТИЯ — самый первоклассный вид *антиквариата,* за которым гоняются бельгийцы. Их король обладает важным и абсолютным правом — производить обычных граждан в аристократы. Бельгийский король — один из немногих монархов, которые еще используют это право. Вот почему загородные дома многих бельгийцев так напоминают укрепленные крепости — с башенками, зубцами, амбразурами. Каждый хозяин такой крепости — кандидат в аристократы и заранее строит «резиденцию», которая бы соответствовала его будущему положению. (Ибо у аристократа не бывает «дома» или «жены» и он не «живет». Он «пребывает» в «резиденции», а его жена всегда «супруга».)

БАНКЕТ — причина, оправдывающая существование клубов, союзов, спортивных обществ и других объединений.

[1] В сущности *(франц.).*

[2] Потеряли винтик, который мог спасти дело *(франц.).*

БЕСПЛОДНЫЕ СПОРЫ — наименование дискуссий, в которых невозможно добиться победы. По свидетельству газет, так оценивают за рубежом дискуссии внутри Бельгии.

БОЛЬНИЧНАЯ КАССА — создается, чтобы гарантировать больным медицинскую помощь. Используется также для того, чтобы гарантировать врачам пациентов.

ВЕХА — иногда еще устанавливается в поздравительных речах. «Этот лавровый венок — веха в вашей спортивной жизни». «Ваш юбилей войдет в *анналы* нашего народа золотой вехой».

ВЗНОС — неологизм, вытесняющий «вклад». «Ваш взнос в дискуссию, как я полагаю, содержит немалую толику истины». Новый способ заявить человеку, что он лжет.

ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ КРУГИ — постоянно всплывают на страницах газет, хотя никто в точности не знает, где они находятся. Они склоняются к мнению, подчеркивают или выражают сожаление. Часто это не более чем псевдоним для журналистов, стремящихся придать вид *объективности* своим субъективным впечатлениям.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА — сфера, в которой безо всякого вреда для себя можно мыслить прогрессивно. В интеллектуальной беседе следует спрашивать, существует ли таковая в Бельгии.

ВРЕМЯ — то, чего всегда не хватает, чтобы в ходе теледискуссии дойти до корня проблемы.

ГЛАСНОСТЬ — необходима. К ней стремятся и ее демонстрируют. Следует говорить о «растущей гласности».

ГРАНЬ — место, где, если верить ораторам, постоянно находится государство: на грани банкротства, на грани скандала, на грани сепаратизма, на грани гражданской войны. В самый последний момент его все-таки удается спасти.

ДАМОЧКА — обращение к покупательнице на рынке.

ДАНЬ — следует платить прогрессу, современному дорожному движению, жизни, человечеству. «Что это случилось с Яном?» — «Он заплатил дань веку: попал в автомобильную аварию».

ДОКТОР — вожделенный партнер семейной жизни: «Через пять лет — «мерседес» и вилла». Личная собственность бельгийца: «мой» доктор. (Ср.: «Мой архитектор», «моя портниха», «мои люди», «мой французский»). Следует говорить: «Он, конечно, много зарабатывает, но зато какая ответственность!» Пользуется неизменным вниманием прессы. Ежедневно можно прочитать такое сообщение: «Опытному доктору оставалось только констатировать смерть».

ДОСУГ — если здоровый, то о нем должны заботиться власти. Всякий другой находят сами.

ЕДА — слово, наиболее часто встречающееся в письмах бельгийских солдат: «Еда здесь хреновая».

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ — традиционное оружие, взятое из национального арсенала. Если политики на него ссылаются («Здравый смысл должен восторжествовать»), то это значит, что они не находят практического решения проблемы.

ЗРИТЕЛЬСКИЙ НАЛОГ — деньги, выплачиваемые бельгийскому телевидению жителями, которые обычно смотрят нидерландские, французские и западногерманские телепрограммы.

ИМЕНА — становятся опасными, если их назвать. «Чтобы никого не забыть, я не буду называть имен». После этого добавляют: «Тем не менее хочу сделать маленькое исключение только для...» А затем читают список в две страницы на машинке.

ИНДИВИДУАЛИСТЫ. Следует уверять, что бельгийцы самые беспросветные индивидуалисты. Указать попутно на тот странный факт, что у них тем не менее существует масса объединений, обществ, союзов, клубов и т. п. «Превосходят организованностью всех индивидуалистов мира».

ИНСТАНЦИИ — всегда КОМПЕТЕНТНЫЕ. Сюда попадают, прежде чем бесследно кануть в Лету, многочисленные досье, рекомендации и т. п.

КОНСЬЕРЖ — человек, который в дни национальных праздников должен оставаться дома, чтобы вывешивать трехцветный флаг.

КУЛЬТУРТРЕГЕРЫ — буквально: переносчики, носители культуры. В этой стране я слышал так много разговоров о культуртрегерах, что у меня чуть не сложилось впечатление, будто культура здесь просто не способна передвигаться на своих собственных ногах.

ЛЕНТОЧКА — предмет внимания ежедневных телерепортажей. Перерезается министром по случаю открытия выставок, новых автострад, новых жилых кварталов, заводских комплексов. Отсюда, в частности, выражение «ленточный конвейер».

ЛОЖНАЯ ПРОБЛЕМА — вопрос, который предлагают на повестку дня ваши политические противники.

ЛОШАДЬ — самое благородное приобретение современного сноба.

МАДАМ — обращение к покупательнице в магазине.

МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК — мифологический персонаж. Появляется в жизнеописаниях великих людей. Излюбленный образ парламентских речей. Его будущее следует оберегать и обеспечивать, на его сторону следует становиться. Когда та или иная проблема заходит в тупик, у него спрашивают совета: «Маленький человек, что же дальше?»

МАЛОЕ ИСКУССТВО [1] — радуйтесь, когда о нем не говорят. Если же вас об этом спросят, то в свою очередь спрашивайте: «А что это такое, собственно говоря?» Никто вам прямого ответа не даст. После этого смело заявляйте, что не существует ни «большого», ни «малого» искусства, точнее — «искусства с большой и малой буквы». Что существует лишь хорошее и плохое искусство. Впрочем, если даже малого искусства не существует, оно все равно способствует «необходимой релятивации ценностей», «воспитанию более развитого чувства юмора у фламандцев», ускорению «процесса всеобщего самосознания». Обязательное условие: должно быть на уровне. Важно сослаться на Нидерланды, «обладающие в этой области богатой традицией». Называть имена Тона Херманса, Вима Кана, Вима Зонневелда. В интеллектуальной беседе обронить: «Большая тройка уже отстала от времени».

МАННЕКЕПИС — старейший житель Брюсселя, отсюда его фламандское имя[2]. Известен своим богатым гардеробом. Представляет Бельгию на международных выставках.

МАНХЭТТЕН — новое название рабочих кварталов Брюсселя.

МАРКУЗЕ. В компании всегда найдется эрудит, который перелистал достаточно рецензий, чтобы важно прогнусавить: «Как справедливо заметил Маркузе...». Среди множества цитируемых, но никогда не читаемых авторов Маркузе занимает весьма почетное место. Без его высказываний в кармане вы прослывете одномерным чело-

[1] Так называют в Бельгии и Нидерландах искусство современных «трубадуров».

[2] Этимологически «Брюссель», «Брюксель» означает «город на болоте». Название столицы Бельгии — фламандского происхождения.

веком. Если в разговоре вдруг всплывет его имя, не следует предаваться комплексу неполноценности из-за того, что вы прозевали как раз эти рецензии. Реагируйте вопросом: «Да, конечно, но точно ли вы цитируете?» Промаха не будет. Ореол тайны, которым общество окружает эрудитов, объясняется тем фактом, что они не моргнув глазом цитируют направо и налево, будучи уверены в своей бесконтрольности. Ваше «Да, но...» заставит его щеки слегка порозоветь, но главное, вызовет у окружающих впечатление, что вам об этом известно больше, в то время как ваш оппонент, в свою очередь, окажется не в состоянии вас проконтролировать. Если вам захочется, вонзив нож, еще повернуть его в ране, можете прибавить: «Маркузе сплошь и рядом толкуется превратно». Десять против одного, что кто-нибудь выскочит: «Он вообще довольно эклектичен». Но и этого вы можете нокаутировать как консерватора, сказав: «Именно поэтому он где-то отвечает современному мироощущению». Если после этого еще кто-нибудь заикнется, говорите: «Селективная критика освещает его слишком односторонне, как показал Ив Дютрон в своем последнем эссе». Кто такой Дютрон? Никто. Вы придумали его сами.

МЕНЕДЖЕР — новое обозначение «Сильного Человека». «В наш технологический век страной следует управлять, как современным промышленным предприятием».

МЕНЮ — единственный случай, когда «сознательный фламандец» может мириться с французским языком. «Так вкуснее звучит. Французский — это язык кулинарии».

МОНАРХИЯ. Всегда принципиально возражать против нее («В наше время!»), но на всякий случай сослаться на государственного деятеля, заметившего: «Монархия необходима Бельгии как воздух». В дружеской беседе спросить: «А в самом деле, кого нам выбирать в президенты? Фламандца, валлона, брюссельца или немца из восточных кантонов?»

МОРАЛЬ — вид допинга. Благодаря ему велогонщики выигрывают или проигрывают состязание.

МУДРЕЦЫ — так называют всеми уважаемых пожилых людей, которых собирают и опрашивают, чтобы проанализировать запутанную политическую проблему и найти решение, которое потом не выполняется.

«МЫ ВАМ ОБ ЭТОМ НАПИШЕМ»— выражение, означающее, что вы об этом никогда больше не услышите.

НАЛОГИ — новые всегда увязываются с «более строгим контролем» и с *оздоровлением*. «Если бы все люди были честными, налоги бы значительно снизились». Говорят, имея в виду других.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ. Отмечаются массовыми поездками за рубеж, в туристические центры и загородные рестораны. Многие бельгийцы отправляются за покупками в приграничные города соседних стран. Другие устраивают *пикники*.

НЕДЕЛЯ. Бывает неделя Нижнего Белья. Кроме того, может быть неделя Стиральных Машин, Книги, Природы, Солдата, Миссионера и т. д.

«НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ» — выражение, которое употребляют, когда хотят намекнуть на противоположное. Обычно добавляют «мадам» и «менеер».

НЕФТЬ. Легче воды. Плавает на поверхности, особенно в Северном море.

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ — мнение, в качестве которого может быть преподнесено что угодно.

ОБЪЕКТИВНОСТЬ — «полное и неискаженное воспроизведение всей полуправды и лжи, которой окружают какой-либо предмет». К ней можно лишь стремиться. Не забыть упомянуть с озабоченным видом о пагубном влиянии рекламы.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ. Также санация (что благозвучнее). Излюбленное времяпрепровождение политиков, министров и лоббистов, которые уже который год занимаются оздоровлением государственного бюджета, социального обеспечения, заболоченных земель, экономики провинции Лимбург, политики выдвижения на руководящие посты, рынка рабочей силы, демографии и охраны здоровья.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ — знак, по которому телезритель достает из холодильника бутылку пива и усаживается смотреть футбольный матч.

ПИВНЫЕ. Располагаются обычно возле церквей, так что культу немудрено ошибиться дверью.

ПИКНИК — английский термин для обозначения придорожного туризма. Поедая бутерброды, отдыхающие могут рассматривать машины, проносящиеся мимо них по автостраде. Очень популярный способ времяпрепровождения.

ПИСАТЕЛИ — люди, которые приобретают известность благодаря выступлениям на телевидении, так что после этого их иногда читают.

ПИСТОЛЕТ — вид огнестрельного оружия. В Бельгии так называют хрустящие белые булочки, которые по воскресеньям, вернувшись из церкви, едят в семейном кругу за завтраком, обычно с «шоколадным кофе». По тому, как идут дела у пекаря, можно судить, много ли жителей данного городка еще ходят в церковь.

ПОДВОРЬЕ — бывшая ферма. Древнее строение, покинутое крестьянами. Подходит для ресторана, антикварной лавки или усталого горожанина, который ищет отдыха в побелке, починке крыш, откачивании воды из подвала, ловле мышей и борьбе с сорняком. Уместно спросить в светской беседе, не видел ли кто-нибудь что-нибудь подобное, ибо вас это интересует. Персоналу государственных учреждений необходимо, «чтобы спастись от телефона».

ПОЛИТИКИ — люди, которые отвечают за то, чтобы проблемы не находили своих решений или, во всяком случае, усложнялись. Собираются затем конклавом и заседают до тех пор, пока не выработают решение, которое никого не устраивает.

ПРОГРЕСС. Никто не может его остановить. Каждый является его поборником. Принято сопровождать это слово другим — «но». Например: «Прогресс — это, бесспорно, хорошо, но...» После чего нужно выразительно замолчать.

ПРОДВИЖЕНИЕ. Если вы его желаете, нужно работать. Или, что лучше, иметь связи.

РАЗГОВОР. Необходим. Его следует поощрять. При этом обычно нежелательно решение какой-либо проблемы. Особенно популярны разговоры о разговорах. Например: «Это нам следует обсудить.— Все необходимо обговорить.— Мы должны дать им выговориться.— Напрашивается диалог по этой спорной проблеме.— Некоммуникабельность остается неискоренимым злом нашего времени». В компании интеллектуалов: «Нам нужно стремиться разорвать цепи нашей самоизоляции, чтобы наладить межчеловеческие контакты».

РАМА — вторая часть сложного слова, с помощью которой предприниматели дают понять, что они владеют не какой-нибудь лавчонкой, а солидным и универсальным делом на уровне мировых стандартов. Мануфактурную лавку, текстильный магазин или киоск фармацевта теперь называют «Манурама», «Текстирама», «Фармарама».

РЕЗОЛЮЦИЯ — оружие, применяемое в борьбе конгрессами, комитетами и объединениями. Устанавливает, что правительство зашло в тупик. Напоминает и делает ставку, пригвождает к позорному столбу, делает акцент, подчеркивает, настаивает и вновь подтверждает. Требует и выходит за рамки повестки дня.

РОД — слово, специально выдуманное для того, чтобы можно было одобрять вещи, в которых не находят ничего хорошего или о которых ничего не могут сказать по существу. «Эта проблема в своем роде чрезвычайно интересна». «Бельгиец уникален в своем роде». Можно заменять выражением «в известном смысле», хотя оно ничего известного не выражает. «В известном смысле каждый человек неповторим».

СВЯТЫЕ. Встречаются обыкновенно в домах неверующих, которые покупают их изображения у антиквара, чтобы внести какое-то тепло в стерильный блеск современного интерьера.

СКИДКА. Право на нее имеет всякий. Купив что-либо, нужно спросить: «Не делаете ли вы скидки для многосемейных (государственных служащих, ветеранов, вдовых, пенсионеров, студентов, членов туристического общества, Союза литераторов, парламента и всех, кто к ним приравнивается)?» Некоторые торговцы делают такую скидку, что несут убыток. Они покрывают его за счет широкой распродажи.

СМЕХ. Неуместен, когда иностранец коверкает ваш родной язык. Француз, например, никогда не будет смеяться, если вы плохо говорите по-французски. Он захочет вам помочь и скажет: «Chez nous on dit plutôt...»[1] Допустим, когда по-французски плохо говорит голландец. Примиряюще пояснить: «Зато он силен в английском».

СОСЕДКА — мадам, с которой мило здороваются много лет подряд, не зная ее по имени. Держит прокатное пианино. Когда у нее ломается телевизор, заходит «на минутку» посмотреть передачу из серии «Дома у Имярек».

ТЕЛЕФОН — аппарат, по которому дозволено нарушать мир в чужом доме.

ТИШИНА — редкое сокровище, местонахождение которого никому не известно. Иногда его ищут в старинных монастырях, где о нем периодически напоминает колокольный звон.

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ — обращение к людям, которые собираются проглотить очередную порцию дребедени, сервированной на «голубом экране».

ФЛАГ (наш). За рубежом его высоко держат спортсмены. В день 21 июля бельгиец может слышать по радио из машины сопровождения велогонок, что один из его соотечественников «достойным образом украсил наш флаг лаврами», а его коллеги «прославили национальные цвета».

ФЛАМИНГО. Когда зайдет речь об этой птице, непременно указать на большое влияние фламандцев при дворе испанских королей. Не путать с «фламенко».

ХОЛОДИЛЬНИК — политическая мебель, служащая для хранения жгучих проблем.

ЦЕЗАРЬ — предприниматель, заложивший, согласно легенде, почти все бельгийские дороги. «Брюссельская автострада? О, она существует еще со времен Цезаря». Называл бельгийцев «храбрейшими из галлов», видимо, потому, что они отваживались передвигаться по его дорогам.

---

[1] «У нас принято говорить...» *(франц.)*.

ЧЕЛОВЕК. Журналисты ищут его за работой. Служит также предметом интереса и озабоченности политиков, художников и т. д., выступающих с интервью по телевидению: «Моей самой высокой целью было служение человеку». «В своем творчестве я всегда обращаюсь к человеку». Когда отмечают чей-нибудь юбилей и затрудняются конкретно перечислить заслуги юбиляра, то говорят: «Мы чествуем вас прежде всего как Человека».

ЧЕЛОВЕК С УЛИЦЫ — мифический персонаж, в прежние времена весьма любимый политиками. Теперь вытесняется «рядовым телезрителем».

ЭКЗАМЕН — разновидность викторины: студенты дают такие ответы, каких, по их мнению, ждут от них профессора, и пытаются доказать, что если они, студенты, и не ученые, то, во всяком случае, с курсом, читанным экзаменаторами, знакомы. Проходит всегда в лихорадочной атмосфере. Отец и мать при этом заболевают. После экзаменов говорить о них в дружеской компании совершенно недопустимо.

ЭКСПЕРТЫ. Разбираются почти во всем, но когда выступают по телевидению, то зрители, как правило, не могут разобраться в том, что же они говорят. По мнению телевизионных критиков, эксперты совершенно не понимают публики, что в нашу эпоху является величайшим грехом.

ЭТО УВЕЛО БЫ НАС В СТОРОНУ — выражение, к которому прибегают комментаторы, когда сами ничего не знают по данному вопросу.

Я НИЧЕГО НЕ ИМЕЮ ПРОТИВ — оборот, предваряющий перечисление всего, что вы имеете против.

1878 – 1978

ХРИСТО НЕЙКОВ (Болгария). Первая пушка

КЭНДЗАБУРО ОЭ

Объяли меня воды до души моей...

РОМАН

Перевод с японского В. ГРИВНИНА

«Объяли меня воды до души моей...» — так назван этот роман; буквально в заголовке сказано: «Потоп подступает к нашим душам», а «Объяли меня воды...» — название последней главы. И то и другое из Ветхого завета, и то и другое играет роль в романе. Можно было бы спорить о символике романа, если бы Оэ сам не раскрыл свой замысел: «Я неверующий, и, возможно, мне трудно понять психологию верующего, но я часто обращаюсь к Библии... Великий потоп, тот самый великий потоп, который означает конец света, достиг уже нашей груди[1]. Случайно встретив это слово в Библии, я сделал его заголовком и начал писать роман»[2].

Что ж, не исключено, что когда-то неразумным вторжением в природу люди, движимые корыстью, нарушили мировой баланс. Начали таять льды, и вода затопила землю, сдвинулся полюс и сместилась земная ось. Это было стихийным наказанием за неумеренность и своеволие людей, в своем высокомерии не пожелавших считаться с законами природы. Теперь, по мнению Оэ, приближается та же ситуация. Сверхмерное вторжение в природу может сдвинуть земную ось, и человеческая цивилизация прекратит свое существование. Естественно, эта тема не может не волновать разумные существа. То, что гибли цивилизации,— факт неопровержимый. И то, что у человека не очень длинная память,— тоже факт неопровержимый. Потому бьют в набат писатели: «Впереди рифы! Смертельно опасно! Не торопитесь, осмотритесь!» Или, говоря словами Оэ,— уровень воды достиг уже нашей груди, еще немного — и все может погибнуть. Отвлекитесь от себя, посмотрите вокруг. Еще не поздно предотвратить катастрофу.

Что Оэ имеет в виду под «великим потопом» конкретно? «И вновь надвигается великий потоп, теперь уже в виде к о г а й. Но создается впечатление, что японцы, как и во время Хиросимы, не способны его отразить»[3]. «Когай» буквально значит то, что приносит обществу вред — «общественно вредный»: загрязнение воздуха, водоемов — разрушение жизненной среды человека. Это наболевший вопрос. Но к о г а й еще означает, что человеческое, духовное принесено в жертву материальному, техническому, человек стал орудием какого-то наращивания — денежного, промышленного, в общем, это безразлично. Важно, что человек стал способом добывания чего-то, цель и средства поменялись местами. То, что должно служить человеку, стало над человеком и поработило его. В современной Японии, которая, по словам Оэ, «в политическом, экономическом и культурном отношении дошла до последнего предела», этот процесс необратим.

К чему это приводит? К тому, что человек перестает ощущать себя человеком, самим собой, утрачивает чувство самотождественности, identity (Оэ часто пишет это слово по-английски). Человек утратил человеческую сущность, остался человеком только с виду. Большей трагедии для человека не придумать. Став орудием (экономики, политики), человек, пользуясь выражением Оэ, становится uprooted — «оторван-

[1] Оэ поясняет, что японское слово «душа» — «тама» значит и «душа» и «грудь» в физическом понимании.

[2] Беседа Оэ с критиком Ватанабэ Хироси в издательстве Снитёся 27 июня 1973 г.

[3] Там же.

© Kenzaburo Oe, 1973.

ным от корня», теряет связь со всем тем, что делает человека человеком: с природой, с другими людьми, с самим собой, теряет связь с прошлым, с будущим, теряет инстинкт самосохранения. Эта тема настолько актуальна для японцев, что и в упомянутом интервью критик Ватанабэ обращается к ней: «Кажется, Достоевский говорит, что в природе всё хорошо, будь то листок дерева или луч солнца. Теперь, когда пришли в противоречие техника и жизнь человека,— все это находится под угрозой. Противоречие с природой приводит к противоречию одного человека с другим, к противоречию человека с самим собой. В этом, по-моему, стержень романа Оэ».

Притом человек ж и в е т — внешне мало что меняется,— бывает деятелен, только он выпал из человеческого поля, его действия не служат человеческим целям. Он переходит в иное измерение, где существует свой порядок, своя «железная» логика, только она чужда человеку. Имея дело не с действительными, а с фиктивными вещами, принимая неистинное за истинное, он привыкает и не замечает, что ведет антижизнь. Но это плохо кончается: ложь смертельна для общества, тем более такая ложь, когда с формальной точки зрения лжи нет. В антижизни все выворачивается наизнанку, появляется антиразум, антилюбовь, антисправедливость. У античеловека отсутствуют регуляторы совести — все дозволено, нет ничего святого. Если такой человек убивает, его не мучают угрызения совести, он живет в другом измерении — м е х а н и ч е с к о м. Проблема античеловека очень волнует западный кинематограф. (Вспомните хотя бы «Механический апельсин» Кубрика.) О рождении античеловека говорят и романы японских писателей. (Кстати, «Человек-ящик» Абэ Кобо [1] вышел в том же, 1973 году, что и роман Оэ.)

«Одна из причин, почему мне захотелось взять это слово «потоп»,— говорит Оэ,— в том, что японцы, пережившие атомную трагедию, до удивительности, даже в сравнении с европейцами, не восприимчивы к такому явлению, которое я называю великим потопом. Предчувствие великого потопа появилось у меня после того, как в течение десяти лет я изучал материалы Хиросимы» [2].

До какого предела падения должен был дойти человек, чтобы превратить высшую форму знания в низшее проявление человеческой воли, обратив это знание против себя! (Война против всех неизбежно превращается в войну против себя.) То, что произошло в Хиросиме, не только предупреждает о том, что при тех условиях существования, которые сложились в странах Запада, рождается античеловек, но и что этот античеловек может быть страшной разрушительной силой, если его не остановить, не устранить социальные причины, его порождающие.

Пережитая трагедия обострила в японских писателях чувство ответственности за жизнь на земле, и они пытаются передать это чувство другим, привлекая внимание к тому невидимому заболеванию, которое разрушает общество. Духовный кризис, если он становится хроническим, приносит народу гибель. Оэ потому и прибегает к аллегории «великого потопа», что всемирное стихийное бедствие и зло, творимое людьми, могут быть равны по силе разрушения. В самообличении японских писателей бывает чрезмерность, они сгущают краски, но ими движет желание предупредить других: «Потоп подступает к нашим душам!»

Роман Оэ полифоничен, переплетается несколько мотивов, и, как всегда, тревожно звучит тема молодежи. Японцы привыкли видеть в Оэ писателя, поднимающего самые животрепещущие вопросы. «Когда волна студенческих беспорядков прокатилась по стране, было странно, что Оэ Кэндзабуро хранит молчание,— делится своим впечатлением о романе писатель Такэда Тайдзюн.— Мы, которым близок поверженный китов и деревьев, которые то протестуем, то сочувствуем Свободным мореплавателям, мечтавшим подобно Ною выплыть в современном потопе, поняли, наконец, смысл этого молчания. Тонкий, но отчетливый голос Дзина призывает нас отказаться от участия в организациях, угрожающих природе,— предотвратить всемирную катастрофу».

Более шести лет писал Оэ этот роман, писал, потрясенный взрывом недовольства — необузданного, стихийного бунта молодой энергии против устаревших, закостеневших форм жизни. Студенческое движение — одно из проявлений глубокого, но не вполне осознанного неприятия антижизни. Писатель видел в этом бунте симптом заболевания общества. Чтобы выявить заболевание, Оэ заострил черты, довел их до предела — «сказал всю правду» (согласно девизу романа «Футбол 1860 года» [3]).

«Вся правда», как понимает ее писатель,— оборотная сторона антиправды, по законам которой живут те, кто потерял человеческое лицо. Чтобы вырваться из их поля, нужно уметь сказать «всю правду», чего бы эта правда ни стоила, сколь неприглядной она бы ни была. Даже если нет надежды, если человеку предстоит оставить эту землю, как не выполнившему своего назначения — превратить землю в цветущий сад, сначала он должен знать «правду» во всей наготе, и пусть она ужаснет. Оэ верит — человек вынесет тяжесть, неимоверную тяжесть этой правды и выстоит, если преодолеет силовое поле антижизни.

---

[1] Роман Абэ Кобо «Человек-ящик» опубликован в «Иностранной литературе» № 8, 9, 1976 г.

[2] В 1965 г. Оэ опубликовал «Хиросимские записки».

[3] Роман Кэндзабуро Оэ «Футбол 1860 года» опубликован в «Иностранной литературе» № 1, 2, 1972 г.

В целом роман действительно наводит ужас, но понимаешь, что это страшные удары гонга, предупреждающие об опасности: обстоятельства таковы, что медлить нельзя. Сама предельность ситуации, альтернатива — быть или не быть, обязывает принять решение.

Итак, в заброшенном бомбоубежище сошлись те, кто возненавидел общество, поправшее человеческие законы. Исана возненавидел его сознательно, пройдя через падение и раскаяние. Будучи секретарем политика, он волей-неволей участвовал в растлении и убийстве ребенка, и это заставило его ужаснуться, ужаснуться своим существованием. А ужаснувшись, он отшатнулся от того общества, в котором перестали различать добро и зло. У него хватило духу преодолеть силу его притяжения, инерцию сознания, он порвал те нити, которые заставляют марионеток двигаться определенным образом.

Исана познал угрызения совести, в нем оказалось больше человеческого, чем в тех людях, которые смотрели на него с жалостью, как на не вполне нормального человека, пренебрегшего благами жизни, замуровавшего себя со своим сыном в атомном убежище. Человек у нас, говорят японские писатели, готов на что угодно, где угодно скрыться. в убежище, в яме, даже в ящике, лишь бы избежать невидимого насилия над мыслями и чувствами, превращающего человека в бесчувственное существо, в античеловека.

Порвав с обществом, выйдя из его поля, Исана оказался предоставленным самому себе. А оказавшись предоставленным самому себе, восстановил себя каков он есть. К нему вернулось чувство самотождественности. Восстановив себя, свою человеческую сущность, он ощутил свою связь с тем, с чем раньше был связан человек, но от чего давно отошел. Он вернулся в свое первоначальное поле, пережил свое родство с живыми существами, с растениями. Это не значит, что он вернулся в состояние дикости, это значит, что он вернулся в мир естественных связей, ощутил способность сопереживать, чувствовать родственность всему, что населяет землю. И тогда, естественно, он не мог спокойно смотреть на то, как «цивилизованные» люди истребляют китов и вырубают деревья. Японцы издавна верили, что деревья имеют душу и могут быть «учителями» людей, если человек научится понимать их язык, проникать в их душу.

Ощутив свою родственность с китами и деревьями, Исана познал свою ответственность за тех, кто не может за себя постоять, потому что не способен говорить и действовать. Освободившись от обязательств перед тем обществом, которое перестало жить по человеческим законам, он ощутил обязательства другого рода — защищать тех, кто беззащитен, быть поверенным деревьев и китов здесь, на земле, чтобы спасти их от истребления. «Из всех млекопитающих кит — самое крупное и самое доброе животное... Я думаю, тот день, когда будет уничтожен последний кит, будет последним днем и для такого млекопитающего, как человек»,— предупреждает Оэ. Люди не отдают себе отчета в том, что, разрушая землю, они разрушают себя. И стало быть, спасая китов и деревья, Исана тем самым спасает людей. Он считает себя ответственным за тех подростков, которые сначала преследовали его, а потом привязались к нему.

Подростки из Союза свободных мореплавателей, в отличие от Исана, ненавидят это общество насилия инстинктивно, чувствуя нутром, что дорога, которой идет оно, ведет к гибели. Общество, «в котором,— по их словам,— нет ни одного, кто не заслуживал бы осуждения», ждет возмездие и страшная расплата. Подростки своими действиями готовы приблизить ее, свести с этим обществом счеты раз и навсегда. Совершивший злодеяние — злом карается. Карается особым судом: зло неизбежно притягивает зло. Не отсюда ли инстинктивная неприязнь подростков к узаконенному беззаконию? В своем слепом, неистовом гневе они готовы разрушить все, что имеет к нему отношение. И все же они не объективно злы, не сами по себе. Их злоба вторична. Они злы, потому что ненавидят. Они мстят за утрату человеческого лица, за утрату духовности, без которой нет человеческого существования. В других обстоятельствах и они были бы другими. К Дзину, больному ребенку Исана, они относятся с трогательной нежностью, охраняют его, не дают в обиду. Они и к Исана потянулись, поверили ему, хотя совсем не верят людям из якобы «правильной» жизни, которые лгут даже тогда, когда говорят правду. Они поверили ему, когда убедились, что он не такой, как все, признали в нем родственную душу, потому что и он не смог жить в этой «правильной» жизни. Значит, в чем-то они ровня. Подростки потянулись к Исана в надежде, что он поможет им что-то понять, откроет им глаза и сам поймет их и сохранит о них память. Они жаждали услышать живое Слово. Исана понял их. Он увидел в них души загубленных деревьев и китов.

А подростки не только ненавидели. У них была мечта. Они мечтали о свободе, уйти в открытое море, где никто не отдает приказы. Но они понимали: если останутся только такие, как они, то жизни придет конец, потому что они ничего не умеют. И потому мечтали о новой жизни, о новом человеке.

Итак, не принимайте следствие за причину — хочет сказать писатель, а несчастьях подростков виновны те взрослые, которые давно перестали жить по законам совести. Но если пропадают регуляторы совести, которые в самые критические моменты истории не давали человечеству погибнуть, то действительно все может кончиться плохо. Инстинкт самосохранения толкает молодежь на бунт. Этот бунт может принимать самые разные формы, и формы самоистребления тоже. Сильные становятся бунтовщи-

ками, слабые — наркоманами. Но это бунтарство, сколько бы общество ни старалось, исчезнет только тогда, когда у него не будет социальных корней, когда изменится, оздоровится само общество.

Для Оэ этот роман оказался неким преодолением себя: «Для моей души он благотворен. Раньше, когда писал романы, будто толкал себя в бездну. Теперь же такое ощущение, будто обретаю опору». Он нашел, наконец, что искал,— человека, вернувшего себе чувство самотождественности, забывшего себя во имя других. «Я думаю,— говорит Оэ,— что если люди научатся концентрировать свое сознание на дереве как на дереве, то благодаря этому в них и откроется нечто новое... Молчаливое созерцание дает ощущение глубины... Я размышлял над этим с детских лет, но не умел в молчании сосредоточиться на роще как на роще, и потому мои герои получались нервозными людьми. Так было раньше. Но на сей раз героем стал человек, который решительно порвал с обществом и целиком сосредоточился на деревьях как на деревьях и хочет научить этому необузданную молодую компанию. Это одна из главных тем романа».

Вам, наверное, покажется странным вывод Оэ. Что ж, это японская традиция, но это та традиция, от которой народ не отказывается, ибо в ней заключен его поэтический опыт. Видеть в дереве дерево — этому учатся веками.

Возьми себе мое терпение,
дерево на утесе!
Дай мне взамен твое терпение,
не ведающее о себе[1].

Это стихотворение из цикла «Школа деревьев» демократического поэта Японии Дзюн Таками (1907—1965).

За рассуждением Оэ стоит вековая традиция, а доказать он хочет ту истину, что нет у человека права попирать и разрушать природу.

Погибая, Исана прославляет землю: когда последний человек уйдет, очистив эту землю, «киты, обращаясь к своим неизменным друзьям — деревьям, пошлют сигнал: ВСЕ ХОРОШО. Каждый листочек, каждая травинка присоединит свой голос к могучему хору: ВСЕ ХОРОШО!.. Обращаясь к душам деревьев и душам китов, он пошлет им последнее прости: ВСЕ ХОРОШО!»

Итак, Оэ — писатель непростой, и если попытаться изобразить графически ход его мысли, то картина получится довольно сложная. Но в центре картины окажется человек. Состояние этого человека внушает писателю тревогу: с человеком творится что-то неладное, он как бы разрушается изнутри, распадается, потому что он потерял точку опоры, потерял себя, свое лицо. Притом Оэ не просто констатирует факт, а ищет причину и каждый раз находит ее в социальной детерминированности поведения человека, то есть состояние человека зависит от характера общества. В современной Японии человек приносится в жертву политике, бизнесу. Эта идея проходит через все романы Оэ — и «Опоздавшую молодежь», и «Футбол 1860 года», и этот, последний роман. Писатель прямо ставит вопрос: если человек не изменится, не изменит свою жизнь, то его ждет гибель. Этой идее подчинены не только события, но и драматическая структура романа, о которой говорит Оэ в том же интервью: «Мир переживает катастрофическую ситуацию, и я написал роман с почти драматической структурой, где все предупреждает о катастрофе». Действительно, и ритм произведения соответствует его содержанию — тревожный ритм набата, предупреждающий людей об опасности.

Т. ГРИГОРЬЕВА

Глава 1

Атомное убежище

Мироощущение, характерное для эпохи сверхзвуковых скоростей, когда человек, достигнув Луны, устремился к Марсу, плохо уживается с таким немыслимым анахронизмом, но тем не менее нашелся в Японии промышленник, который, увлекшись американскими идеями, тоже решил заняться строительством индивидуальных атомных убежищ и продавать их как стандартную продукцию. Первое такое убежище было построено в Японии на западной оконечности взгорья Мусасино. Основание крутого косогора, спускавшегося от жилого массива к заболоченной низи-

[1] Дэюн Таками. Избранная лирика. М., «Молодая гвардия», 1976, стр. 25. Перевод с японского И. Мотобрывцевой.

не, густо заросшей тростником и мискантом, было подрыто и построен железобетонный бункер размером три метра на шесть.

Однако массовое производство атомных убежищ наладить не удалось, и это единственное в нашей стране убежище для личного пользования оказалось заброшенным. Через пять лет компания, строившая атомное убежище, использовав бункер в качестве фундамента, возвела трехэтажное здание, похожее на колокол. Основание первого этажа представляло собой прямоугольник, равный по площади восемнадцатиметровому бункеру. Задняя его часть вплотную примыкала к косогору. Сбоку пристроены были кухня и уборная. Из маленькой прихожей, немного в стороне, перед уборной — винтовая лестница связывала комнаты всех трех этажей. Третий этаж, где на противоположной от винтовой лестницы стороне был встроен балкон, оказался по площади меньше остальных, таким образом здание несколько сужалось кверху, и третий этаж чем-то напоминал капитанский мостик. В железобетонных стенах на каждом этаже были окна-бойницы с двойными непробиваемыми стеклами.

Дом имел такой странный вид потому, что архитектор, возводя само здание, упорно привязывал его к бункеру. Из комнаты в первом этаже, служившей столовой, можно было, подняв крышку люка — как на подводной лодке,— по крутой металлической лесенке спуститься в бункер.

Мужчина, решивший поселиться в этом доме (и живущий в нем по сей день), потребовал внести лишь одно изменение в первоначальный проект бункера. Он попросил пробить в железобетонном полу, прямо под металлической лестницей, квадрат тридцать на тридцать сантиметров и обнажить землю. Этот квадрат темно-бурой кантоской плодородной земли был всегда сырым. Если воды становилось слишком много, он делал в середине квадрата лунку и кружкой вычерпывал из нее воду.

Это абсолютно бесполезное четырехугольное отверстие служило хозяину дома опорой для ног в минуты раздумий. Усевшись на стул с прямой спинкой и воткнув, как рассаду, босые ноги в землю, он предавался размышлениям. И летом, когда от влажной земли поднималась приятная прохлада, и зимой, когда она покрывалась обильным инеем и стужа сводила ноги, размышлял он об одном — как достичь духовного слияния с деревьями, покрывающими землю, и с китами, обитающими в далеких морях. В недавнем прошлом он был личным секретарем своего тестя — консервативного политика, близкого к правительству, пользующегося особым доверием; позже в строительной компании, контролировавшейся этим политиком, на него была возложена реклама и сбыт атомных убежищ; но в один прекрасный день он бросил все, что идентифицировало его как личность, и, забрав у жены ребенка, стал жить затворником. Он сам назначил себя поверенным тех, кого любил в этом мире больше всего — китов и деревьев. Он даже имя изменил, чтоб подчеркнуть свою новую сущность,— Ооки Исана[1].

Предаваясь размышлениям и духовно общаясь с деревьями и китами, он впервые предпринял серьезную попытку воззвать к душам деревьев и душам китов. Он целиком посвятил себя бесконечному разглядыванию фотографий китов, слушал записанные на пленку их голоса, через бойницы атомного убежища в сильный бинокль наблюдал за росшими снаружи деревьями. Пока деревья были покрыты листвой, ветви выглядели привольно и естественно, но в разгар зимы черные, как будто закопченные, они казались страдальчески

[1] Ооки — могучее дерево, Исана — отважная рыба.

изломанными, чуждыми дереву. В окулярах бинокля на фоне бледного вечернего неба они выглядели мертвыми. День за днем разглядывая эти ветви, он однажды обнаружил, что по ним начинают стремительно подниматься живые соки, накапливаться силы, которые вот-вот нальют почки. С этой минуты внутри него самого, в темноте, где пульсировала горячая кровь, даже все увядшее начинало, казалось, набухать и приходить в движение, сопровождаемое оглушительными раскатами грома.

В этот короткий период, пока природа еще окончательно не проснулась, он становился осторожным, как краб после линьки, и все же не мог устоять перед соблазном посмотреть вблизи на деревья, покрывающиеся почками. Он выбегал из дома. Пока почки были заключены в твердые серовато-коричневые панцири, он чувствовал себя в безопасности, будто и сам, как веретенообразная зимняя почка, прикрыт таким панцирем. Но когда из панциря начинало пробиваться нечто удивительно беспомощное — мягкие зеленоватые листочки,— он дрожал от неизъяснимого страха, страха за сотни миллионов почек, которые попадали в поле его зрения. Разве не рушился мир, когда неумолимо жестокие птичьи стаи начинали клевать мягкие, соблазнительные почки?

Он видел собственными глазами, как в заросли горной камелии, гомоня, слетались эти невинные вроде бы существа огромной разрушительной силы, напоминающие стайку опьяневших от восторга детей. И тогда у него, поверенного деревьев, перехватывало дыхание, лицо багровело, и он начинал нетерпеливо переминаться с ноги на ногу.

Зимой, когда нет признаков, что почки должны распуститься, д у ш и д е р е в ь е в прячутся в корнях и деревья погружены в спячку. Поэтому и он, стремясь к духовной общности с деревьями, научился у них тоже впадать в зимнюю спячку. Ночами, когда ветер бушевал в ветвях деревьев, ему ни разу не снились тяжелые сны. Но как только голые ветки начинали покрываться почками, его охватывала тревога. Это был не только страх перед надвигающейся опасностью, но и тревога, вызванная предчувствием столкновения с чем-то неведомым. Он предвидел, что вот теперь-то и явится ему з н а м е н и е, которое перевернет всю его жизнь. В такие минуты каждой клеткой своего тела, всем своим сознанием вожделенно ощущая устремленность к чему-то неведомому, он, бреясь, начинал судорожно ощупывать свое лицо. В нем просыпалось вдруг неодолимое желание полоснуть себя по горлу, отражавшемуся в зеркале, и лишь огромным усилием воли он удерживал руку, сжимавшую бритву. Нет, нельзя поддаваться искушению. Ведь он живет в этом убежище, оберегая своего пятилетнего сына по имени Дзин, которого врачи считают слабоумным, хотя глаза у мальчика глубокие и ясные, а в остроте слуха вряд ли кто может сравниться с ним. В их общей спальне все было приспособлено для того, чтобы ребенок мог оставаться один. Теплое чувство к подвалу, где для его душевного покоя в полу было пробито отверстие, обнажавшее крохотный клочок земли, Исана распространил и на комнату, в которой жил вместе с сыном. Дружеское общение с Дзином здесь, в этой комнате,— единственное по-настоящему полезное деяние — и составляло смысл его затворнического существования.

Дзин, прежде совсем тощий, при нынешнем, малоподвижном образе жизни растолстел, и во всем его облике появились черты, наводящие на мысль, не страдает ли он монголизмом. День Дзина начинался с голосов птиц, переписанных отцом с пластинок на пленку. Птичьи голоса запечатлелись в сознании ребенка как некие самостоятельные слова. Обычно Дзин сидел или лежал в изголовье своей расклад-

ной кроватки, а магнитофон со скрупулезной точностью воспроизводил голоса птиц. Тихо, чтобы не заглушать их, Дзин выдыхал, почти не раскрывая губ:

— Это дрозд...

Или:

— Это сэндайский насекомоед... это сойка... а это камышовка.

Умственно отсталый ребенок различал голоса по крайней мере пятидесяти разных птиц, слушать их было для него не меньшей радостью, чем утолять голод.

Однажды, когда казалось, что зима уже кончилась, снова повалил снег, и Исана стал наблюдать в свой бинокль за снежинками, заполнившими все пространство окуляров, будто по ним лились нескончаемые потоки воды. Снежинки, трепеща, взмывали вверх, потом замирали — опускаются ли они когда-нибудь на землю, недоумевал он. В полете снежинок можно видеть синтез почти всех видов движения, и Исана подумал вдруг, что ему открывается всеобщий закон механики. Искрящиеся снежинки взмывали вверх, застывали, потом стремительно мчались в сторону — глядя на них, человек терял ощущение времени. В пространстве, где плясали снежинки, неожиданно появилась птица с черной головой и шеей. Птица трепетала от страха, бессилия, невыразимого блаженства, от того, что вот так свободно падает она вниз в бескрайнем небе. Исана несколько секунд следил за ее полетом. Точно в фильме, показывающем, как, накладывая одну краску за другой, печатают гравюру, на спине птицы появилось отчетливое зеленовато-желтое пятно. И она растворилась в небытии, откуда нельзя вернуться. Тщетно пытаясь отыскать исчезнувшую птицу, Исана увидел, что в заболоченной низине маршируют крепкие молодые ребята. Это были солдаты сил самообороны. В противоположной стороне на плацу тоже проводились учения, там же виднелись и казармы.

Вечером, когда за стенами убежища шуршал дождь со снегом, Исана снова подошел к бойнице и навел бинокль. Он увидел вдали одинокий дуб, по которому хлестал дождь со снегом. Но сумерки уже сгустились, и ему удалось разглядеть лишь могучий серовато-черный ствол. Он так долго смотрел на дуб, что почувствовал, как в него вливаются излучаемые дубом волны, и понял: он отождествляется с душой дерева. И как будто слившись с дубом, он ощутил, что это его насквозь промочил дождь со снегом, ощутил сбегающие по стволу капли воды. От напряжения у него взмокло лицо и широко расставленные руки, державшие бинокль, и он ощущал себя влажным, покрытым глубокими трещинами стволом дерева. Дуб во плоти и крови дрожит от холода, но дух его не поколеблен. И лишь когда на него садятся птицы, он испытывает неприятное ощущение в висках. Его глаза видят то же, что видит дуб. Птицы, на которых сзади налетал ветер, с трудом удерживают равновесие. Ветер взъерошил перья на груди и боках, и они потемнели, словно завитки содранной коры. Неподвижно сидящие птицы кажутся пышными и величавыми, но головы их, когда они вертят ими, поглядывая вниз, кажутся до смешного крохотными. Исана, подражая щебету птицы, произнес: «курукуку-бо-бо», и ребенок, неслышно жевавший позади него, сказал:

— Это горлица...

Воображаемая горлица, ободренная тем, что Дзин узнал ее, еще крепче вцепляется острыми когтями в ствол дуба. Но и это не более чем легкое прикосновение. Он все реальнее, ощутимее превращается в дуб. Какая-то неведомая сила изнутри и извне давит на глаза, прильнувшие к биноклю. Давление становится все сильнее, кажется, глаза

вот-вот лопнут. Он уже больше не может смотреть в бинокль. Он превратился в дуб, и время внутри и вне его проносится независимо одно от другого. Он навзничь падает на кровать, как падает срубленное дерево.

Глубокой ночью море вышло из берегов, покрыло всю землю, и киты, которых еще не успели истребить, решившись на последнее средство, подплыли к убежищу и стали бить по его железобетонным стенам чем-то мягким, влажным и тяжелым — плавниками. Пришедшие из моря вместе с морем, они били по стенам, чтобы деликатно, но в то же время настойчиво выразить свою волю. В полусне он чувствует, что ожидал их прихода. И поскольку он ждал их прихода, ждал, что они будут взывать к нему, думал он во сне, то отказался от всех благ, которые сулил ему реальный мир, и поселился в этом убежище. Но, ожидая их, он не знал, как ответить на их призыв. Он был готов ждать, ждать до бесконечности. И вот он ждет, вытянувшись на кровати, весь трепеща. Но киты никогда не смогут разрушить стены убежища и проникнуть внутрь.

На следующее утро он услышал по радио, что солдаты военного оркестра сил самообороны, проходившие обучение в заболоченной низине, подверглись нападению группы хулиганов и есть тяжелораненые. Может быть, в стену и стучали как раз солдаты сил самообороны, у которых были сбиты в кровь руки и они не могли стучать сильнее? Или, может быть, хулиганы решили напасть на укрывшихся в убежище?

Поздно вечером он добрался до железнодорожной станции, стоявшей на возвышенности за убежищем, и купил все вечерние газеты. Создавалось впечатление, что силы самообороны не склонны предавать гласности подробности инцидента — в газетах не было никаких подробностей, помимо тех, которые сообщались по радио. Но полиция проводила собственное расследование, и к Исана пришли двое полицейских. Полицейские — они стояли в прихожей, не заходя в убежище Исана,— сказали, что у них есть сведения не только о происшедшем здесь столкновении группы хулиганов с солдатами сил самообороны, но и еще об одном инциденте. Как правило, Исана никому, кроме сына и себя, разумеется, не разрешал переступать порог убежища. У него всегда наготове был убедительный предлог, чтобы отказать всякому (в том числе и жене, которая жила отдельно), кто собирался проникнуть к нему.

Но на этот раз Исана самому было любопытно узнать о происшедшем инциденте, и он решил воспользоваться приходом полиции. Но стоило ему впустить полицейских в прихожую, как весь их интерес переключился на убежище и его обитателей. Они начали выспрашивать Исана, почему он поселился в этом уединенном и странном сооружении. Объяснить полицейским истинную причину было совершенно невозможно. Оказавшись в безвыходном положении, чтоб защитить себя и Дзина, Исана проявил весь свой опыт и изворотливость, которые в трудную минуту всегда приходят на помощь «независимому человеку» — «homo pro se». Его жилище, объяснял он, включая и бункер, и надземную часть здания, было сооружено, в порядке эксперимента, одной крупной строительной компанией, когда еще в нашей стране планировалась постройка атомных убежищ и намечалось их поточное производство. В ближайшие несколько лет весь этот низинный район, где расположено убежище, будет отчужден для сооружения скоростной автострады, а до тех пор строительная компания вменила ему в обязанность жить в убежище и охранять ее законные права. Говоря это, он достал коробку с документами и показал их полицейским.

Он знал, что имя, которое они найдут в документах, сразу охладит их пыл. Полицейские и впрямь не остались равнодушными к известному в кругах полиции влиятельному деятелю консервативной партии, которым являлся президент строительной компании, тесть Исана. Поняв, что даже малейшие подозрения в отношении него совершенно необоснованы, полицейские вернулись к подробному рассказу об инциденте, нисколько не заботясь о том, какую бурю вызовут в душе Исана их слова. После их ухода, когда Исана уже успокоился, избежав лишних хлопот, связанных с необходимостью доказать достоверность своего объяснения, он вдруг ощутил, как жажда вожделенного и пока еще неясного з н а м е н и я все сильнее распаляет охвативший его тело жар. И хотя з н а м е н и е оставалось расплывчатым, трудноуловимым, оно, излучая чуть заметное желтоватое сияние, неслось по орбите и рано или поздно должно его настигнуть. Он проверил, заперты ли двери прихожей и кухни, убедился, что ребенок спит, и, охваченный непонятным возбуждением и вместе с тем угнетенный мрачной безысходностью, опустошенностью, заплетающейся походкой подошел к люку, спустился по железной лесенке вниз и погрузил ноги в красновато-коричневую мокрую землю тридцатисантиметрового квадрата. И, чувствуя, как к нему возвращается ощущение реальности бытия, стал восстанавливать в памяти рассказ полицейских.

Собравшись после работы вышить, полицейский агент решил сперва зайти домой — оставить бывший при нем пистолет — и по дороге столкнулся с девчонкой. Может быть, как и тогда с солдатами сил самообороны, ее целью тоже было добыть оружие: с виду никакой опасности она не представляла, и хотя агента удерживало сознание служебного долга, девчонка была очень уж соблазнительна, и он решил сделать вид, будто она и впрямь завлекла его, и пойти с ней. Так все и получилось. Сорокапятилетний опытный агент. Да и здоровый. Ты мне предлагаешь что-нибудь хорошенькое? Ну так как? Девчонка стояла у самого входа в бар, вроде бы сгорая от желания, опустив голову, и, слегка расставив ноги, засунула руки в шорты, будто заправляла блузку. Быстро и тяжело дыша, точно это ей никак не удавалось. Ну ладно, все будет в порядке, посочувствовал ей агент, взял за руку раскрасневшуюся девчонку — она сразу прижалась к нему — и пошел с нею.

Идя с девчонкой, агент спрашивал себя, на самом ли деле она такая уж бывалая и просто делает вид, будто сгорает от желания, надеясь соблазнить его, или у нее действительно нет никакого опыта, и она вообще не знала мужчины. Ему вдруг пришло в голову, что она девственница и от нее пахнет лекарством. Интересно, какое лицо, какое тело у этой девчонки, которая, желая соблазнить солидного сорокапятилетнего агента, стояла жалкая, расставив ноги, опустив голову, держа руку на расстегнутых джинсовых шортах и с виду прямо сгорая от желания. (Впрочем, увидев вблизи ее раскрасневшееся лицо, он убедился, что она в самом деле сгорает от желания). **Они все шли и шли. Сколько же можно идти? Жаль, поблизости нет никакой дешевой гостиницы, думал агент, хорошо бы подвернулся какой-нибудь тайный дом свиданий. Девчонка стала спускаться по косогору. Они шли уже довольно долго, а она даже слова ему не сказала,— может, ненормальная, подумал агент. Но глаза девчонки — она иногда поглядывала на него — были вполне нормальные, ясные и искренние, глаза человека, решившегося на важное дело.**

Идущая вниз дорога прорезала косогор наискось и спускалась от жилого массива к заболоченной низине. Возьми они чуть правее — и угодили бы прямо на узкую тропинку, ведущую к убежищу Исана. Значит, полицейские вовсе не случайно пришли осматривать его жили-

ще. Особенно если учесть, что впереди до самой низины, кроме его убежища, нет ни единого жилого дома. **Агент знал, что внизу нет никакой гостиницы, да и охота у него пропала, и он решил снова вернуться к своим прямым обязанностям, точнее — вести себя так же, как до встречи с девчонкой. Когда они спустились вниз, он остановился у фонаря и заговорил с ней. То ли общество такое, то ли время? Почему вы, молодые девицы, этим занимаетесь?** Агент произнес эти избитые слова, наставляя девчонку на путь истинный, но она оборвала поучения, продиктованные его служебными обязанностями, и, стоя в желтом свете уличного фонаря, прислонившись спиной к стене краснозема, в котором была прорезана дорога, раскрыла рот, еще более красный, чем краснозем, и закричала: **Пусть меняется время, пусть меняется общество, мы все равно будем это делать.** В слове «м ы» агент уловил беспокойство, точно небо над его головой на мгновение заслонила тень огромной птицы, но он тут же подумал, что это просто был ответ на его «в ы», и спросил: **Даже если наша страна станет коммунистической, вы все равно будете заниматься проституцией?** Девчонка, точно на устном экзамене, но вдобавок вкладывая в свои слова весь пыл, на который была способна, закричала: **И в коммунистической, и в любой другой стране мы будем и проституцией заниматься, и всем прочим.** Агент увидел, что по дороге на них несется человек пять вооруженных дубинками подростков — из тех, кого девчонка назвала «м ы». **Одному ему было с ними не справиться, агент понял: уйти от нападающих удастся, лишь прихватив с собой одного из них; он выбрал самого щуплого, и как тот ни отбивался, как ни выкручивался, сообразив, что избран в качестве жертвы, агент надел м а л ь ч и ш к е наручники, защелкнув другой конец на своем запястье. Но наседавшие со всех сторон подростки, изловчившись, ударили его сзади по голове, и он сразу же потерял сознание. Очнувшись вскоре, он обнаружил, что лежит у груды щебня, уткнувшись лицом в ручей, протекавший вдоль обрыва,— еще немного и захлебнулся бы. Пришел в себя и видит — в полутьме, прямо у него под боком девчонка старательно моет руки: ха-ха. Пистолет забрали, а эти щ е н к и, не сумев освободить товарища от наручников, толкуют, не отрезать ли агенту руку. Вот гады. Он тотчас вскочил, и, волоча за собой м а л ь ч и ш к у, скованного с ним наручниками, побежал по заболоченной низине, поросшей редкой травой: м а л ь ч и ш к а — ему тоже пришлось бежать изо всех сил — вдруг рухнул посреди дороги, но агент волочил его дальше, и тогда он стал пытаться отрезать н о ж о м руку уже себе, а не агенту. Да ему было и не дотянуться до агента. Но свою-то руку он запросто мог отрезать. И тогда агент — хулиганы гнались за ним, а м а л ь ч и ш к а был тяжелый, а главное, и впрямь мог отрезать себе руку — понял, добром все это не кончится, сам отстегнул наручники и убежал. Но долго еще ю н ц ы, вопя, неслись за ним вслед. Вы не слышали их криков? Агент обнаружил потом, что голова и рука у него в крови, голова — в своей, рука — в крови м а л ь ч и ш к и.**

Сейчас в низине, поросшей редкой травой, стоят засохшие мощные стебли мисканта и тростника. По этой-то вязкой низине, превращенной сухостоем в лабиринт, бегут изо всех сил мужчина с окровавленной головой и прикованный к нему мальчишка. Глубокая ночь. Они бегут, продираясь сквозь сухой мискант и тростник, и мальчишка, чтоб освободиться, достает нож и пытается отрезать себе руку. А сзади, сквозь густые заросли, вопя, несется банда...

Отрезать самому себе руку! Отрезать себе руку ножом. Это вовсе не то, что просто отрезать руку,— тут начинаются другие понятия. Так размышлял агент, мчась по зыбкой влажной земле. Осьминог пожирает самого себя. Щупальце осьминога, отторгнутое внешней си-

лой, вырастает заново, а сожранное им самим — не восстанавливается. Значит, для примитивного сознания осьминога самопожирание — вдвойне, втройне страшное решение. Мальчишка решился отрезать себе руку ножом, отвергнув в своей отчаянной смелости саму идею возрождения. Решился, терзаемый страхом более сильным, чем боязнь, что рука никогда не восстановится, понимая, что, отрезав себе руку, он рано или поздно должен будет расстаться с бандой, и эта боль доставляла ему больше страданий, чем причинила бы ножевая рана. К горлу Исана подступила рвота. Он то и дело поглядывал на свою руку, с трудом пересиливая желание снова и снова удостоверяться в ее существовании. Он старался изгнать из своего сознания все ножи, какие могли найтись в убежище. **Может быть, прикованный к агенту наручниками мальчишка был просто пьяи?** — спросил он тогда, и полицейский, представитель того типа людей, которые признают в своей болтовне только одностороннее движение, ответил: **Чего? А какое это имеет значение, пьяный, не пьяный?** — и продолжал свой рассказ. Но разве действительно не имело никакого значения, пьяным или трезвым был мальчишка, хотевший отрезать себе руку, чтобы освободиться от наручников? Если бы обезумевший от страха и отчаяния мальчишка в ту минуту действительно был пьян, перед ним наверняка замерцала бы надежда, хоть в виде вздымающейся по опаленному пищеводу рвоты. В опьянении отрезать себе руку не так уж страшно. Решение мечущегося между истерическим возбуждением и отчаянием подростка позволяло ему вонзить нож себе в руку, которая во хмелю казалась ему чужой. Но Исана почувствовал в своих построениях, так легко и просто все объяснявших, серьезный изъян. Если даже допустить, что мальчишка был пьян, полицейский все равно не мог не заметить: **мальчишка догадался, что хочет сделать с ним полицейский, волочивший его за собой, и сжался в комок.** Вот что это был за мальчишка.

Пусть меняется время, пусть меняется общество, мы все равно будем это делать. И в коммунистической, и в любой другой стране мы будем и проституцией заниматься, и всем прочим. Перенеся всю тяжесть своего тела на ноги, покоившиеся в земле, Исана встал со стула. Ноги, точно живые корни, ушли неглубоко во влажную землю — этот тонкий, едва заметный покров земного шара. Требовались немалые усилия, чтобы вытащить из земли корни, подняться по железной лестнице и подойти к окну-бойнице на первом этаже.

Исана взял свой мощный бинокль, потушил свет и сквозь темную бойницу, не отсвечивавшую теперь ни единым бликом, стал осматривать заболоченную низину. Кромешный мрак. Но мрак, в который смотришь невооруженным глазом, и мрак, разглядываемый через бинокль,— не одно и то же. В глубоком, беспросветном мраке, открывшемся в окулярах бинокля, он увидел того самого щуплого подростка, которого волочил за собой полицейский, **увидел мальчишку, догадавшегося, что хочет сделать с ним полицейский, и сжавшегося в комок.** Резкий ветер разгоняет тучи, со вчерашнего вечера заволакивающие небо. Высоко в небе светит луна, время от времени уходящая за тучи, но из бойницы ее не видно. Сухие стебли травы, склоненные ветром в сторону убежища и возвышенности за ним, чуть белеют во мраке, переливаясь, как волны, как мелкие рыбешки, что, извиваясь, стремятся вверх. Там-то и тащил агент упирающегося мальчишку, прикованного к нему наручниками. Возможно, предсмертный вопль подростка, готового от страха в бешенстве отрезать себе руку, и крики его приятелей, носившихся по темной заболоченной низине в поисках товарища, исчезнувшего вместе с агентом,— возможно, их вопль и крики, слившись с сигналами китов, долетавшими из дале-

кого моря, все еще звучали в его ушах. В едином созвучии с сигналами, которых никто на земле еще не сумел разгадать...

Глава 2

Покидает раковину

Исана ждал дня, пока деревья покроются молодой листвой. Когда деревья облачатся в свои доспехи и обретут ощущение полной безопасности, он, духовно общаясь с деревьями, тоже обретет уверенность, что нагота его отныне прикрыта и ему ничто не угрожает, и тогда он сможет, наконец, покинуть свое убежище... Однажды утром в окно-бойницу он увидел, что на дубе, разорвав почки, пригретая ласковым солнцем, трепещет нежная молодая листва, обнаженная и беззащитная. И сам он сразу почувствовал, как возрождаются в нем жизненные силы, дремавшие всю зиму. Медленно втягивая воздух трепещущими ноздрями, он совершенно отчетливо ощутил, как они бурлят в нем. Даже Дзин, который лучше его приспособился к затворнической жизни в убежище, зарядился новой энергией. Исана начал телепатически внушать ему, что нужно выйти наружу, чтобы израсходовать хоть немного скопившейся в нем энергии. В случае необходимости, сделать это совсем не трудно — требуется лишь время и терпение. К вечеру он тщательно закутал сына, как это делают с деревьями, когда их пересаживают, оборачивая соломой ствол, чтоб не засох, надел на него свитер и тонкие синие брюки, на голову — вязаную шапочку с узкими полями и вышел с ним из убежища. Они стали опускаться прямо по косогору к дороге, обрамляющей заболоченную низину. Ребенок упирался изо всех сил. Его пугало то, что земля под ногами сплошь поросла цветущим мхом и сантиметрах в пяти над ней распустились мелкие цветы. Обняв ребенка, Исана зашагал прямо по цветам. Горы сухих листьев и травы, с осени завалившие низину, теперь ссохлись и выглядели жалкими. Землю ковром укрыла молодая трава. Но она еще не успела подняться буйными высокими зарослями, и на низине там и сям виднелись проплешины и выбоины. Они шли, оставив вправо от себя огромную вишню, миновали ручей, где банда головорезов устроила агенту засаду, и вместо того, чтобы взобраться наверх, прошли через туннель, над которым была проложена линия электрички, спустились через поле, похожее на корабельное днище, поднялись на противоположный склон, и глазам их открылся плавный вираж скоростной автострады, устремлявшейся к центру города. Отсюда возвышенность казалась островом, никак не связанным с низиной. И лишь на чуть прикрытом молодой травой косогоре, у подножия острова, одинокой бетонной глыбой торчит его убежище.

Он сел вместе с сыном на заднее сиденье рейсового автобуса и, пока автобус огибал заболоченную низину, едва не свернул себе шею, стараясь и на миг не выпустить из поля зрения бетонную глыбу убежища. И даже когда его жилище скрылось за холмом, он, обняв сына и глядя на возвышенность, старался определить его местоположение. Зачем ему нужно было с такой точностью установить местоположение убежища? Если через час начнется последняя мировая война, он, прежде чем палящий жар ядерного взрыва и ударная волна достигнут города, со всем хладнокровием и упорством, которые человек ради такого дня накапливает всю жизнь, должен будет, пробираясь между мечущимися в панике жителями, вместе с Дзином пешком вернуться домой. И вдвоем с сыном, невзирая на гибель че-

ловечества, спокойно ждать, пока деревьям и китам будут предоставлены их законные права. Когда от безумного жара запылают бетонные стены и взрывная волна достигнет ушей Дзина, Исана услышит тихий шепот ребенка:

— Это конец света.

У входа в парк, на конечной остановке автобуса, Исана, ведя сына перед собой, подошел к вращающемуся турникету и стал опускать монету в узкую, как сощуренный глаз, щель. Но монета лишь ударяла его по пальцам. Отверстие было закрыто. Он решил перейти к соседнему турникету, но Дзин, усевшись на корточки в металлическом коридоре, ведущем к турникету, стал плакать и упираться. Исана не мог ничего с ним поделать. В затуманенном мозгу ребенка заранее вырисовывалось в определенном порядке все, что должно было произойти. И когда отец, всегда заставлявший его действовать именно в этом порядке, вдруг что-то изменил, Дзин решительно воспротивился, твердо придерживаясь схемы, зафиксированной в его мозгу.

Сначала Исана изо всех сил старался вытащить сына, растопырившего руки и ноги наподобие водяного жука, из металлического коридора. Когда же ему пришлось отказаться от этой затеи, он стал озираться вокруг, определяя вслух расстояние до окружающих предметов, убеждая тем самым Дзина, что уступает его сопротивлению. Он надеялся этим вернуть сыну покой и радость, освободив от навязчивой идеи и направив его мысль в новое русло. Потом он подошел к турникету и, притворившись, будто сообразил, как легче преодолеть его, поднял мальчика и опустил по другую сторону. А сам перебежал к соседнему турникету, но Дзин жалобно заплакал — почувствовав себя одинокой душой, маковым зернышком, брошенным посреди злого, огромного мира. Исана со всех ног понесся к металлическому коридору и стал — опять безуспешно — совать в отверстие монету, ему чудилось, будто за спиной у него звучит его собственный отчаянный плач. Хотя их с сыном разделял всего лишь турникет и вход в парк был совершенно безлюден, собственное существование в этом мире показалось ему настолько эфемерным и неустойчивым, что единственной его опорой оставался этот умственно отсталый ребенок.

Наконец Исана нашел турникет, в который ему удалось опустить монету; он прошел через него и, встав на колени, прижал к себе дрожащего от страха ребенка, словно надеялся, что мягкое, теплое тельце сына вернет ему душевное равновесие. В стороне, на почтительном расстоянии от них стоял служитель парка. Но почему раскричался этот пожилой служитель, да еще таким голосом, что волосы дыбом встают? Чего доброго, еще зверушки в парке со страха перестанут принимать пищу — хотел сказать Исана. Но когда их взгляды встретились, служитель лишь робко предупредил:

— Парк уже закрыт. Увидеть чучела чудовищ вам теперь не удастся. Да и аттракционы больше не работают...

— Но мы приехали издалека,— сказал Исана и, по-прежнему обнимая сына, стал внимательно осматривать парк. Парк погружался в сумерки, кругом не было ни души; на огромной площадке, вокруг высокого металлического столба, беспомощно повисли на тросах самолеты и клетки, которые должны были взлетать вверх. Рельсы американских гор казались парящим в воздухе скелетом лабиринта. И лишь в окрашенных краской бесплатных качелях да зеленой листве, слегка приодевшей ветви искривленных деревьев, чувствовалась жизнь. Музыка в парке давно умолкла.

— Раз уж вы приехали издалека, можете, пожалуй, прогуляться по парку. Пока рабочие не закончат уборку аттракционов и не уйдут,

выход будет открыт,— сказал служитель Исана, который все стоял на коленях, озираясь вокруг.

Исана и Дзин вышли на площадку с аттракционами. Перед ними, занимая чуть ли не пятьдесят квадратных метров, высился огромный помост, на котором стояли так называемые волшебные чашки. Толпившиеся вокруг подростки одновременно повернулись к Исана и Дзину и стали наблюдать за ними. По мере их приближения подростки, оставив лишь одного щуплого мальчишку, все разом, подобно откатывающейся от берега волне, стали отходить к глицинии, скрывавшей общественную уборную. Исана сразу же обратил внимание, как, не сговариваясь, организованно они отступают. Он почувствовал, что они с Дзином невольно замедляют шаг, приближаясь к помосту с волшебными чашками. Из чувства самосохранения он, разумеется, не стал разглядывать находившихся у него за спиной подростков. И шел вперед, словно завороженный видом волшебных чашек, но ребенок упирался, его пришлось волочить, как куль с песком, и они приближались все медленнее и медленнее.

Ему вдруг бросилось в глаза странное обстоятельство. Мальчишки, собравшись у общественной уборной, образовали кольцо, загон, в котором был лишь один выход — в сторону уборной. Парень, стоявший в глубине загона, неотрывно смотрел в сторону Исана, остальные сосредоточенно рассматривали западную часть неба. И те, кто был заперт в клетках, и те, кто остался в парке работать сверхурочно, и даже голуби, и эта неизвестно что собой представляющая компания — все, точно сговорившись, неотрывно смотрели на запад. Плечи и спины подростков были напряжены, казалось, они ждут добычу, которая должна попасть в их загон.

Исана испытал трепет, какой испытывает лягушка под злобным взглядом змеи. По спине пробежал холодок страха. Он здесь с ребенком и поэтому не посмеет сопротивляться, но это хулиганье, не исключено, изобьет не только его, не оказывающего сопротивления, но и ребенка. Исана представил себе, как легко его завлечь в ловушку, устроенную хулиганами. Правда, пока Дзину вроде не нужно в уборную, но в любую минуту он, гордый тем, что вышел наконец из дому, может заявить:

— Дзин хочет пи-пи.

И тогда у Исана останется один лишь выход — сделать несколько шагов в сторону уборной, а потом, подхватив на руки плачущего ребенка, броситься в сторону. Но нет, загон, устроенный подростками, доходит до самой уборной, закрытой живой изгородью из глицинии, и уйти, пока они сами не отпустят его с сыном, повалив перед тем на мокрый загаженный пол и избив, будет невозможно. Исана живо нарисовал в своем воображении, как он валяется на бетонном полу, а это хулиганье пинает его ногами, обыскивает карманы, дотрагиваясь до него кончиками пальцев, чтоб не испачкаться. Если он и не подохнет тут, как собака, избитый и истерзанный, то, уж наверное, долго не сможет пошевелить ни рукой, ни ногой. В уборной, уткнувшись носом и щекой в бетонный пол, лежит тело тяжелее собственного веса, тело потерявшего сознание человека. Перепуганный Дзин с бешеной быстротой все глубже втягивается в водоворот страха, постичь причину которого он не в состоянии. Стоило Исана представить себе страх, который охватит ребенка, как новый прилив страха, точно он и ребенок представляли собой одно целое, подталкивал к горлу что-то кислое, напоминающее желудочный сок, и начиналась резь в глазах. Мчись, мчись вперед, прижимая к груди ребенка, как мать. Если ребенка испугает топот бегущих сзади, кричи вместе с ним. Так подсказывал ему инстинкт.

Когда Исана миновал проход в загоне и пошел вперед не останавливаясь, он услышал, как парень, за которым он наблюдал краем глаза и который потом исчез из его поля зрения, дав добыче свободно пройти (если следовать ощущениям Исана — дав пройти заряженному гневом носорогу), сказал, будто главный загонщик, громко и нагло подающий знак своим товарищам:

— Это тот псих, который заперся в своем блиндаже...

Свирепый сухой ветер намел вокруг убежища лепестки последних в этом сезоне цветов, огромные горы лепестков вишни. Если эти хулиганы укрылись в заболоченной низине или еще где-то и наблюдают за убежищем, то, наверно, смеются над ним. Украсил, мол, свое бетонное чудовище дурацкими розовыми лепестками, представил себе их насмешки Исана. Правда, если они прячутся так близко, что могут рассмотреть лепестки вишни у стены убежища, то с помощью мощного бинокля из любой бойницы их можно легко обнаружить. Исана осматривал заболоченную низину, готовя себя к тому, чтобы, не дрогнув, встретить неожиданное появление в окулярах подростков, если вдруг увидит, как они, широко раскрывая рты, хохочут, высмеивая его. Но он никак не мог углядеть их в бинокль и в то же время не мог убедиться в том, что они не прячутся где-то поблизости, поэтому и в нем самом, как и там, за бойницами, свирепым сухим ветром бушевала тревога.

Но Исана не мог до бесконечности сидеть безвылазно в своем убежище, кипя от раздражения. Ему необходимо было время от времени выпрашивать очередную подачку у тех, кто обеспечивал существование его и Дзина. В такие дни, на случай если отключат электричество, он устанавливал в их общей спальне на третьем этаже магнитофон, переключающийся на батареи — стоит только вынуть штепсель из розетки. Это легко может сделать и ребенок, знай он только, где находится розетка. Потом вставлял в магнитофон склеенную кольцом ленту, на которой были записаны голоса птиц. В углу комнаты приготавливал плоскую, устойчивую чашку с водой и блюдце — даже если случайно толкнуть их ногой, вода на пол не прольется. Кроме того, наливал еще воды в бутылку с соской, с которой Дзин прожил большую часть своей жизни. Он убирал подальше ножи, ножницы и вообще все, чем можно порезаться; чтобы ребенок не захлебнулся, накрывал унитаз тяжелой металлической сеткой. Чтобы он не задохся, сунув куда-нибудь голову, Исана выбрасывал все полиэтиленовые пакеты и прорезал дырки в бумажных мешках с печеньем.

Уход из дому был связан с определенным ритуалом. И на этот раз Исана подождал, пока ребенок не усядется, выбрав самое удобное место — на кровати или на полу на подушке. Потом включил магнитофон. Голоса птиц постепенно замкнули сознание ребенка. Дзин стал похож на зверька, погрузившегося в зимнюю спячку. Исана, пятясь, вышел из комнаты, спустился, крадучись, по винтовой лестнице и покинул убежище...

...Пока он находился вне дома, им все настойчивей овладевало предчувствие, будто случилась беда и в запертом бетонном ящике, несомненно, произошла катастрофа. Он долго не мог решиться вставить ключ в замочную скважину входной двери. Опустившись на колени на полузасохшие лепестки вишни, он приложил ухо к замочной скважине. Изнутри послышались, правда совсем тихие, голоса птиц, записанные на кольцо пленки. Это его сразу же успокоило. Словно, если магнитофон по-прежнему воспроизводит голоса птиц, значит, и Дзин сидит смирно, не свернул себе шею, сорвавшись с вин-

товой лестницы, не задохнулся, сунув голову в полиэтиленовый пакет, не сжег горло, выпив моющее средство, и не захлебнулся в унитазе. Успокоившись, он вошел в убежище. На магнитной ленте заливался козодой. В темной прихожей голос его словно легонько поглаживал виски и переливался, удаляясь все дальше и дальше. Умиротворенный жизнерадостным пением птицы, Дзин растерянно улыбался и говорил обычно:

— Это козодой. И это тоже козодой.

Но сейчас голоса Дзина не было слышно, и, только поднявшись по винтовой лестнице наверх, Исана увидел сына, который спал под кроватью, устроившись между двумя желтыми пластмассовыми ведрами. Исана довольно долго словно некую диковину разглядывал подошвы ног ребенка, синие от засохшего и окислившегося на них крахмала. Потом, не снимая пальто, в изнеможении улегся, поджав ноги, прямо на кровать Дзина и стал слушать птичий хор, в котором солировал дрозд. Забывшись коротким, как эта кровать, сном, Исана увидел в неведомом мерцающем свете Дзина, которому было уже тридцать пять лет. Мерцание это, сопровождавшееся записью птичьих голосов, озаряло его сына и едва ощутимо согревало лицо Исана. В этом сне творилось нечто ужасное: избивали Дзина. У сына, хоть он и вырос, остались по-детски покатые плечи. Огромная голова, составлявшая чуть ли не треть его роста, и рыхлая полнота тоже остались детскими, щеки расширялись книзу и, закрывая ворот свитера, свисали на грудь. Этого тихого и безобидного повзрослевшего Дзина избивал жилистый полицейский, и тот, безуспешно пытаясь вырваться из его рук, издавал записанные с помощью гидромикрофона крики кита: йе, йе, йей, йей.

Сын не понимал, за что его избивают, не знал, как избавиться от полицейского, и, испытывая невероятные страдания, отвечал на сотрясавшие его склоненную голову удары лишь жалобными криками: йе, йе, йей, йей. Исана проснулся от криков кита, которые издавал он сам, с таким горьким чувством одиночества и беспомощности, что не смог удержать слез. Он лежал, поджав ноги, то и дело ворочаясь с боку на бок. Приподнявшись на постели и опустив ноги на холодный пол, он думал: нужно бы научить Дзина, чтобы он, если его будут бить, не страдал безропотно, а, зарядившись гневом, бросался в ответную атаку или хотя бы уклонялся от ударов. Времени мало, смеркается, а путь далек. Да и когда произошло все увиденное во сне, отец тридцатипятилетнего Дзина, то есть сам Исана, уже умер. Вот почему он, уже мертвый, сознавая полное свое бессилие, поджав ноги, ворочался с боку на бок и плакал, издавая крики: йе, йе, йей, йей.

Но успеет ли Исана при жизни научить сына, как вести себя в случае нападения? Может быть, обмотать голову черной тряпкой, вымазать неприкрытую часть лица красной краской и наброситься на Дзина в темноте у винтовой лестницы? А вдруг Дзин, с его тонким обонянием, осязанием и слухом, узнает в напавшем перерядившегося отца? Тогда он решит, будто отец — неведомо для чего,— обмотав голову черной тряпкой и вымазав красной краской лицо, устроил ему засаду и избил. Новый приступ страха заставил Исана заглянуть под кровать — вид спящего сына, как всегда, вселил в него бодрость и покой...

Чувствуя, что Дзин уже, наверное, проснулся, Исана снова заглянул под кровать. Заглянул под таким углом, чтобы при том освещении, которое было в комнате, Дзин мог сразу узнать его. Ребенок проснулся спокойно, и в обоих глазах его — том, который видел слабо, и здоровом — тоже засветилась тихая радость от того, что он уз-

нал отца. Глаза его, отливавшие радужным блеском, как внутренность раковины, улыбались точь-в-точь как у взрослого.

— Сэндайский насекомоед,— сказал он в ответ на голос, слышавшийся из магнитофона, и сладко зевнул. В душе Исана бесчисленными пузырьками всплыла радость. Он снял пальто, взял на руки еще теплого со сна Дзина, крепко прижал его к себе и, как бы убедившись, что и его собственное тело тоже живет, стал спускаться по лестнице.

— Сварим сейчас макароны, и я тебе расскажу, что сегодня произошло,— повторил Исана несколько раз, и Дзин наконец согласился:

— Свари макароны и расскажи...

Исана, как всякий мужчина, живущий затворником и не привыкший есть в компании, быстро проглотил макароны, сдобренные маслом и сыром, и выпил несколько чашек воды. Дзин же ел спокойно и размеренно, весь отдавшись еде, смаковал ее, устремив взор в потолок, и, пребывая в какой-то прострации, утратил способность двигаться, двигалась лишь рука, отправлявшая в рот очередную порцию макарон. Исана любовался сыном. Потом, видя, что ребенок съел все до последней крошки и продолжает неотрывно смотреть в тарелку, в надежде найти прилипший ко дну кусочек, придвинул к нему коробочку тянучек, которую купил про запас вместе с другими коробками продуктов и овощей. Деньги для этого он раздобыл, выйдя сегодня из дому. Дзин долго пытался открыть коробочку с тянучками и, когда ему это удалось, радостно протянул крышку Исана, но, раньше чем начать есть, внимательно осмотрел аккуратно разложенные в коробочке конфеты. Исана посмотрел на марку, воспроизводящую старую гравюру. На огромной рыбе плывет по волнам бог, играя на арфе. Эта репродукция картины, изображающей Ариона с арфой в руках на спине дельфина, была в коллекции Исана, посвященной китам. Исана смотрел на репродукцию старинной картины, воспроизводящей животное из семейства китовых, с не меньшим восхищением, чем Дзин на свои тянучки. Потом, обратившись к Дзину, прочел длинную лекцию, страстно желая, чтобы д у ш и д е р е в ь е в и д у ш и к и т о в незримо при сем присутствовали:

— Едва только переступив порог больницы, в комнате ожидания, где находились посетители, пришедшие проведать больных, я сразу же увидел полицейского в штатском. Возможно, кроме него были и другие. Но мне вполне достаточно и того, что я увидел одного. Стоя у телефона-автомата, я услышал, как молодая женщина, которая то ли пришла кого-то проведать, то ли ухаживала за больным и хотела поговорить с кем-то, чтобы больной ее не услышал, называла имя больного и номер палаты — я запомнил. Через некоторое время я сказал ей, что работаю в газете, и спросил, на каком этаже специальная палата. Если речь идет о политическом деятеле, то на пятом, восточное крыло, объяснила она мне.

Зачем я запомнил номер палаты, в которой лежал больной, не имеющий ко мне никакого отношения? Это была просто предосторожность на случай, если полицейский в штатском, стоящий у лифта, спросит, к кому я иду. Но мои опасения оказались напрасными. Я преспокойно поднялся на пятый этаж. Правда, когда я вышел из лифта, то увидел в восточном крыле коридора еще одного полицейского, стоявшего у дверей самой дальней палаты с таким видом, будто он оказался здесь случайно; этот был уже в форме. Что же делаю я? Вхожу в уборную, сажусь на унитаз, не поднимая крышки, и спокойно жду, когда и полицейский придет сюда по нужде. Я сразу же узнал его шаги. Действительно, стуча подкованными ботинками и отдуваясь тяжело, как бык, вошел полицейский. Запершись в соседней кабине, он чем-то шуршал, а потом издал громкий звук. Несколько секунд я

сдерживался, но все же прыснул. Выйдя из уборной, я направился в палату, которую теперь никто не охранял. Когда я вошел, секретарь, разумеется, вскочил и бросился ко мне. Но я тут же увидел сраженного раком властителя мира политики, который, сидя на кровати, как будто глянул в мою сторону. Я увидел твоего деда. Подтянув к себе деревянный кронштейн, прикрепленный к спинке кровати, он разглядывал себя в висевшем на нем зеркальце. Он действительно ужасно похудел. Его сморщенная голова теперь была похожа на совершенной формы шар, самой широкой частью которого были виски, откуда овал мягко сходил на нет к макушке и подбородку. Мне показалось, что он думает успокоенно: да, именно это моя настоящая голова.

Когда я служил у этого человека личным секретарем, он был очень полный и заплывшие жиром лицо и затылок нарушали идеальную форму шара — это его ужасно раздражало. Только потому, что голова его лишилась идеальной формы шара, он считал свою полноту безобразной. Я пробовал говорить, что полнота его совсем не безобразна, а он не то чтобы возмущался, но возражал и при этом рисовал свою голову, какой она была в студенческие годы. Череп — туго обтянутый кожей, ни жиринки, круглый, как арбуз. Сейчас его голова снова приняла идеальную форму шара. Разглядывая в зеркало свою голову, он, наверно, хотел убедиться, что полость рта, напоминающая маленький черный шарик, очень подходит к голове, имеющей идеальную форму шара. Не зря же он, мельком взглянув на меня, непрошеного гостя, не закрыл рта и по-прежнему держал перед собой зеркало. Мне даже почудилось, будто в этой темной круглой яме я увидел раковую опухоль, поразившую его горло. Казалось, оттуда вырываются вонь и мириады вирусов рака. Мне хотелось крикнуть этому старику с головой, имеющей идеальную форму шара: вы за свою долгую жизнь бюрократа и политика лгали несчетное число раз, стараясь добиться, чтобы вам поверили, и на этой удобренной ложью почве взрастили лишь жалкую травинку правды, касающейся формы вашей головы, но, к сожалению, вам никто не верил.

Мне удалось пройти лишь половину узкого пространства между дверью и кроватью — в меня вцепился упитанный секретарь, ревностно оберегающий политика, заболевшего раком. Свет из окна освещал его спину, и он напоминал либо дрессировщика собак в длинном дрессировочном халате, либо просто мешок, набитый песком, но воздух, со свистом вырывавшийся из его ноздрей, тяжело пах дзинтаном[1] и луком. Какой же была его энергия, укрепляемая лишь с помощью дзинтана и лука, в этой жизни, отданной сидению у постели больного? Его энергии вполне хватило на то, чтобы вытолкать меня из палаты. Кроме того, он несколько раз больно ударил меня по колену, что тоже заставило меня отступить. Поэтому единственное, что мне удалось, когда меня выталкивали вон, это прокричать призыв. Прокричать, обратившись к старику, чтобы перевоспитать его! В г о н и н о г и в з е м л ю, к а к д е р е в о! Меня с таким ожесточением толкал и пинал секретарь, что голос мой прерывался, но все равно, когда я прокричал это больному, секретарь, во всеоружии дзинтана и лука, дошел до того, что воззвал к кому-то, стоявшему у стены: Н а о б и - с а н, р а з р е ш и т е и з б и т ь е г о? При этом продолжал бить меня по колену, подлец. Холодный голос твоей матери ответил: М о ж е ш ь и з б и т ь е г о к а к с л е д у е т. И этот дзинтаново-луковый молодчик начал избивать меня по-настоящему, а в это время вернулся тот, ходивший по нужде полицейский. Налетел

[1] Дзинтан — лекарство в виде мелких серебристых шариков, оказывающее тонизирующее действие.

на меня сзади и больно ударил по голове. Тут я понял, что у меня не остается времени отправить последнее, даже самое крохотное послание, и закричал: йе, йе, йей, йей.

— Это кит,— радостно, нараспев сказал Дзин.

Глава 3

Слежка и угрозы

Когда человек, впоследствии назвавшийся Ооки Исана и имевший настоящее имя, записанное в книге регистрации актов гражданского состояния, просыпался, то, пока пробуждались от сна лишь руки и ноги, а мозг и желудок еще были погружены в дремоту, он временами испытывал глубокую опустошенность вынутого из петли самоубийцы. Впервые это случилось однажды утром. Во время сна в его продолжавшем бодрствовать сознании сохранялось воспоминание о том, как вечером он точил кухонный нож по просьбе жены — они еще жили вместе — и во сне пробовал самые разные способы покончить с собой. Лучше всего, решил он, перерезать себе горло, и эта картина отчетливо запечатлелась в его мозгу. На рассвете, проснувшись в своей холодной кровати, он, точно ящерица, настороженно поднял голову, нащупал босыми ногами пол и кратчайшим путем направился в кухню. Но шум работающего холодильника, помимо воли Исана, остановил его. Достав из холодильника жирный кусок свинины на ребрышках, целиком зажаренный в духовке, он рвал его зубами, искоса поглядывая на три аккуратно висящих кухонных ножа, поблескивавших в рассветной мгле. Насытившись, Исана вновь пробудил в себе инстинкт самосохранения...

Хотя он тогда и упустил момент, чтобы дать выход бесконечной опустошенности, испытываемой обычно на рассвете, он считал чистой случайностью, что в утренней газете не было статьи о его смерти или о том, что **отказывающийся жить ребенок в конце концов умер.** Отказывающимся жить ребенком был Дзин. Почему Дзин оказался в состоянии безысходности — неизвестно, но ребенок явно отказывался жить, и те, кто внимательно наблюдал за ним, установить ничего не смогли. Когда Исана впервые обратил на это внимание и они с женой, стыдясь, должны были признать, что не чем иным, как дурной болезнью, которой оба когда-то страдали, объяснить это невозможно, положение ребенка стало критическим. Он активно отказывался жить, и это состояние стало для него обычным.

Поскольку Дзин был еще слишком мал, чтобы сознательно относиться к своему телу как к чему-то враждебному, то вряд ли он нарочно истязал свое сопротивляющееся страданиям тело. Однажды зимним утром жена увидела, что в ванне, вода в которой уже почти остыла, сидит Дзин и его тело, выступающее из воды, посинело и покрылось гусиной кожей. Он заболел воспалением легких и долго не поправлялся. Он так долго не мог выздороветь потому, что жидкая пища, которой его кормили, не успев достичь желудка, сразу же извергалась обратно. Казалось, что еда, направлявшаяся в желудок, встречала на своем пути бесчисленные барьеры, а обратно проходила беспрепятственно.

Исана и его жена, с грустью сознавая, что случившееся свидетельствует о ненормальности ребенка, старались по возможности не думать о ней. Но это им не удавалось, потому что перед глазами был оправившийся после болезни и подросший Дзин; он весь ссохся и, хо-

тя, казалось, снова зажил как все нормальные дети, начал вдруг падать на пол, причем совершенно безропотно ударялся лицом, никак не пытаясь предостеречься от ушибов. Так повторялось по нескольку раз на день. Тем, кто смотрел со стороны, эти ужасные падения доказывали, что жизненные силы ребенка иссякают; все лицо мальчика бывало перепачкано кровью, шедшей из носа, на ушах и переносице образовались кровоточащие раны.

В конце концов Исана и его жене пришлось поместить Дзина в манеж с загородками из резины, а когда его вынимали оттуда — поддерживать за ножки, чтобы уберечь от бесконечно повторяющихся падений. Манеж был устлан мягкой резиной, которую используют при упаковке произведений искусства, резина эта имела отвратительный запах и так пружинила, что Дзин с трудом поднимался, чтобы тут же снова упасть,— это было ужасное зрелище. И человеку, увидевшему, как ребенок без конца падает на мягком резиновом полу, нисколько не заботясь о том, чтобы уберечься от ушибов, сразу же приходила в голову мысль, что ребенок, ничего общего с ребенком не имеющий, пытается убить себя.

Поправившись после воспаления легких, Дзин начал отказываться от еды, и Исана тоже долгое время страдал от рвоты и однажды во сне понял, что ничего произрастающего на поверхности земли он не может вводить в свой организм. Они с Дзином научились обходиться минимальным количеством пищи и подслащенной водой. Разумеется, Исана пришлось оставить работу. Между отцом, сидевшим опершись на резиновую загородку манежа и поставив между ног кувшин с подслащенной водой, и сыном, сидящим внутри манежа с зажатой в исхудалой ручонке бутылочкой с соской, в которую была налита подслащенная вода, стала устанавливаться телепатическая связь.

В один прекрасный день Исана сказал жене, что он с сыном должен бежать отсюда в какое-то другое место, туда, где они смогут спастись,— так жить больше невозможно. Жена, безмолвно наблюдавшая со стороны жизнь этих двух любителей подслащенной воды, видимо, перехватила их телепатические переговоры и не только не воспротивилась, но даже попросила отца, чтобы им, использовав в качестве фундамента заброшенное атомное убежище, выстроили жилье, в котором они могли бы уединиться. Потом, разумеется, возникла масса осложнений житейского характера, но в конце концов отцу и сыну, которых до завершения строительства поместили в больницу, все же удалось укрыться в убежище и начать усиленное питание не только подслащенной водой, но и другими продуктами. Устроясь по-новому, они сразу переменились, это были уже не прежние Дзин и его отец, отказывавшиеся жить. Дзин быстро приспособился к новым условиям и сразу же выздоровел после того, как они укрылись в убежище, предназначенном для атомной войны. Исана не покидала уверенность, что он интуитивно избрал единственно верный путь излечения сына.

...Однажды утром, возвращаясь с покупками, за которыми он ходил с Дзином, Исана, взглянув на фасад убежища, обнаружил, что вокруг средней бойницы третьего этажа нарисован ярко-красный круг и рядом — огромный крест. Людям, которые будут смотреть издали, от подножия холма, эти рисунки, возможно, покажутся украшением, оживляющим безобразную бетонную громаду. Круг и крест, нарисованные сочной красной краской, не имели ни одного потека. Работа была выполнена с предельной тщательностью и явно потребовала немало времени и усилий не одного человека: кто-то рисовал большой кистью, другие, находившиеся рядом, стирали лишнюю краску.

Когда им удалось это сделать? Обутые в спортивные туфли на резине, подростки поднялись по косогору, оттуда перебрались на крышу убежища и спустились к бойнице на веревках. Если бы Дзин не спал, то даже малейший звук за бетонной стеной не прошел бы мимо его ушей. У него поразительно тонкий слух, да и сам Исана не мог этого не услышать. Значит, глубокой ночью? И к тому же в новолуние? Последние два-три дня небо, правда, было чистым, но месяц только нарождался. Заставив себя до мельчайших деталей проанализировать случившееся, Исана ясно представил себе согласованные действия тех, кто темной ночью работал кистью, погружая ее в красную краску, и кто светил карманными фонариками и стирал потеки. Может быть, они, укрываясь в той местности, которая просматривалась в бинокль через бойницу в стене убежища, заподозрили, что, рассматривая в бинокль деревья, он на самом деле постоянно следит за их тайником? И нарисованные ими знаки выражают протест? В поле зрения, открывавшемся из бойницы, вокруг которой был нарисован круг, попадала находившаяся поодаль от заболоченной низины заброшенная киностудия, давно прекратившая съемки.

Еще в то время, когда кино как средство развлечения процветало, одна кинокомпания осушила участок заболоченной низины и выстроила киностудию. Позже кинокомпания разделила участок на три — левый продала автомобильной компании, выпускающей новое средство развлечения, а правый вернула государству, что, видимо, было предусмотрено контрактом на осушение низины. Мелкие подразделения сил самообороны использовали его для проведения учений. Киностудия, находившаяся в центре участка, сейчас была совершенно заброшена. Если, как предполагал Исана, они укрылись в этих развалинах, то нет ничего удивительного, что, усмотрев в его бинокле опасность для себя, решили сделать ему предупреждение. Но, расценив действия Исана как шпионаж, они вряд ли ограничились бы простым предупреждением. Не заподозрили ли они в его наблюдениях нечто иное?

Еще в то время, когда Дзин отказывался жить, Исана консультировался с психиатром, своим однокурсником, относительно преследовавшей его мании самоубийства. Психиатр, знаток своего дела, с полной определенностью заявил, что неосуществленная попытка самоубийства — это лишь крик о помощи. А вдруг, подумал Исана, я, сам замуровавший себя, подглядывая через бойницы в бетонных стенах, взываю о помощи к бескрайнему миру? В глазах Исана мелькнула добрая улыбка — в огромном красном круге и кресте он вдруг увидел сигнал, что его крик о помощи услышан...

— Ладно,— Исана засвистел сквозь сжатые зубы.— Нужно как-то оградить Дзина от опасности. Я пока и сам не знаю, чего бы мне хотелось: спровоцировать нападение или получить их помощь. Но то, что они сделают, вряд ли окажется помощью Дзину. К тому же он пока и сам не взывает о помощи...

Исана, посвятивший свою жизнь защите Дзина, поднялся по косогору и вошел в убежище. Почти час он рылся в своем имуществе. Потом, дрожа от страха, что группа Красного круга и креста нападет на Дзина, оставшегося в убежище, задыхаясь мчался на велосипеде, чтобы купить в хозяйственном магазине у вокзала банку зеленой краски и большую кисть. Всеми необходимыми материалами он себя обеспечил, теперь нужно было начать физическую тренировку. Он замыслил явную авантюру, забыв, насколько ослабло его тело от долгого затворничества в убежище,— да к тому же трудно даже представить себе, как они будут смеяться, наблюдая за тем, как он болтается на веревке, спущенной с крыши. А потом еще выйдут из сво-

его укрытия и, чего доброго, обмакнув кисть в зеленую краску, проведут ею по заду болтающегося в воздухе Исана. Чтобы испытать, на что способны его воля и тело, он привязал к перилам винтовой лестницы веревку, опустил ее в подвал, а сам встал на настоящую землю четырехугольного отверстия, проделанного в бетоне. Потом, глухо стукаясь о стены, начал взбираться по ней вверх.

Добравшись до площадки второго этажа, он повалился на нее, как тюлень, и удовлетворенно перевел дыхание. Он убедился, что руки у него все еще крепкие, и в его закрытых глазах, в которых пульсирующая от физического напряжения кровь рисовала причудливые узоры, всплыл и тот узор, который он собирался нарисовать на стене. Дзина не только не испугали странные физические упражнения отца, но он радостно воспринял их как новую игру.

Исана вынес из столовой маленький стульчик, поставил его под вишней и усадил Дзина. Затем с площадки поднялся на крышу, обвязался веревкой, другой конец которой был прикреплен к столбу для сушки белья, и подошел к краю крыши. В листьях вишни за Дзином видны были нахально торчавшие напоказ спины птиц, налетевших на дерево подобно вихрю. Ребенок сидел смирно. Наверно, прислушивается к птичьему пересвисту. Суета птиц далеко внизу казалась безумно глупой. Точно прицеливаясь, он смотрел на видневшиеся вдали за заболоченной низиной полуразвалившиеся строения киностудии. Видимо, подростки прячутся именно там, и если у них есть такой же сильный бинокль, как у него, то он должен проявить мужество, чтобы с достоинством выдержать их обостренный линзами взгляд. Решительно повернувшись спиной к тем, кто находился за заболоченной низиной, и к Дзину, сидевшему под вишней, он, держа в руке банку с краской, из которой торчала кисть, стал спускаться вдоль стены убежища. Крепко вцепившись в веревку, он встал обеими ногами на бетонный карниз крыши и резко откинулся назад. Исана понимал, что, только прижавшись вплотную к отвесной стене, он сможет сохранять равновесие, и поэтому, прильнув к нарисованному на ней ярко-красному кресту, точно распял себя на нем, касаясь щекой оставшихся на стене красных капель краски.

Втянув живот и выгнув спину, Исана поместил в образовавшуюся выемку банку с краской, придерживая ее одной рукой, а другой вытащил кисть. Вытянув руку, он нарисовал две соединяющиеся концами дуги, между ними — закрашенный круг. Посмотреть под нужным углом на то, что у него получилось, сохраняя при этом равновесие, было невозможно, и он удовлетворился тем, что еще раз жирно обвел линии. Поставив на край крыши банку с краской и положив в нее кисть, Исана, подтягиваясь на веревке, забрался туда сам и посмотрел вниз. Прикрыв ладонью глаз, на него смотрел по-прежнему смирно сидевший на стуле Дзин, казавшийся с крыши не больше макового зернышка. Да, действительно глаз! — промолвил Исана, поняв смысл того, что показывает ему сын. К кругу и кресту, нарисованным подростками на стене убежища, Исана пририсовал огромный зеленый глаз. Пока Исана спускался с крыши, оттуда, где он нарисовал зрачок и уголок глаза, на стену пролилось несколько капель зеленой краски, и глаз выглядел плачущим. Теперь становилась понятной и поза Дзина — он прижимал ладони к глазу, чтобы стереть слезу.

Исана и сам не мог бы толком объяснить, какой смысл вкладывал он в нарисованный им глаз. Но тем не менее внешний мир реагировал на него предельно остро. Реакция была материализована в камне, пущенном из рогатки. В тот же день вечером в толстое стекло бойницы убежища с властным стуком ударил камень — не настолько сильно, чтобы разбить его, но издав достаточно определенный звук, чтобы не спутать его с каким-либо другим. Исана как раз варил дежурное блюдо Дзина — макароны и, чтобы ребенок не испугался, продолжал опускать их в кипяток, как будто ничего не произошло. Потом, когда макароны были готовы, Исана, окутавшись паром, слил через дуршлаг воду. Скрытый облаком пара, нетерпеливо ждал Дзин. Исана положил в кастрюлю масла и с силой стал перемешивать макароны, неподатливые, как тянучки. Его энергичные действия подбодрили Дзина. Когда Исана, положив макароны в две большие тарелки, поставил их на стол, служивший им обоим обеденным, а ему самому к тому же еще и письменным, Дзин, опередив его, уже сидел на стуле с вилкой в руке и с силой, весь напрягшись, тряс баночку с тертым сыром, посыпая макароны.

С биноклем на ремне, протиснувшись в узкую щель за спиной Дзина, Исана с напускным спокойствием вышел из комнаты и, как конькобежец, берущий старт, выбрасывая носки в стороны, взбежал по лестнице на третий этаж. Он сразу же обнаружил первого лазутчика. Это была девчонка. Возможно, ее использовали как приманку. Она сидела в метре от яйцевидной тени, которую отбрасывала кажущаяся черной вишня, вокруг ее головы нимбом сверкали рыжеватые волосы. Сидела на том самом стуле, что и Дзин; Исана забыл внести его в дом. Девчонка застыла, слегка вздернув голову и неотрывно глядя на вход в убежище. Стул она оттащила подальше от тени, отбрасываемой вишней, чтобы присутствие ее сразу бросалось в глаза. В поисках засады Исана осматривал окрестности, будто чертил глазами вокруг вишни и лазутчицы витки расширяющейся спирали. Чертил в поисках снайпера, выстрелившего из рогатки в бойницу убежища. Но на неровной низине, уже довольно густо поросшей молодой травой, никого обнаружить не удалось. Исана перевел взгляд на развалины киностудии — багряное вечернее солнце освещало ее сзади, чуть справа, поэтому обращенная к нему сторона строений была темной и обнаружить там чье-нибудь присутствие было невозможно.

Исана высунулся из бойницы и навел бинокль на девчонку, сидевшую на стуле,— он увидел ее так отчетливо, словно сумел отсрочить заход солнца по крайней мере на полчаса. В окулярах бинокля лицо ее выражало еле сдерживаемые враждебность и страх, как у арестанта, сфотографированного помимо его воли. Нитка бисера пересекла лоб, поддерживая выкрашенные в светло-каштановый цвет завитые волосы, пылавшие вокруг ее овального личика. Все это можно было разглядеть и невооруженным глазом. Но бинокль позволил обнаружить удивительную привлекательность губ и глаз девчонки. Лицо худощавое, под кожей ни жиринки, и сама кожа гладкая и эластичная, будто ее сняли продубили и вновь натянули на место. Чуть выдающиеся вперед губы, казалось, нарочно были созданы для того, чтобы соединить края трещины, образовавшейся на этой эластичной коже. Полные, в поперечных морщинках губы окружала мягкая припухлость. Они были чуть приоткрыты, так что виднелись два передних зуба.

И еще глаза. Края век и ресницы были, наверно, подведены тушью — ресницы от этого выделялись резче, но глаз не затеняли.

Лучи вечернего солнца падали на девчонку со спины, и, казалось, сиреневатый свет отражался в ее глазах. И эти ее жгучие, чуть косящие глаза, не моргая, смотрели на вход в убежище.

Снова наклонившись вперед, как конькобежец, берущий старт на ледяной дорожке, Исана сбежал вниз по винтовой лестнице. Однако вышел он из дому медленно и спокойно направился к вишне. Еще когда он открывал дверь, девчонка вскочила со стула, но не убежала, а встала за спинкой стула. Она стояла в глубокой тени под черной густой кроной вишни, на которой теперь не было ни одной птицы. Исана ясно видел ее смуглую кожу и слегка косящие жгучие глаза.

— Чего? Ну, чего? — смущаясь, жалобно произнесла девчонка едва слышно.

— Я пришел за стулом моего сына. Ты на нем сейчас сидела,— сказал Исана.

Он взял стул и попятился назад, точно от толчка, а девчонка что-то пробормотала хриплым голосом — может быть, ругала себя за робость. Исана, правда, расслышал, что она сказала, но понять смысла ее слов не мог. Когда он, вскинув стул на плечо, повернулся и стал подниматься по косогору к незакрытой входной двери, девчонка громким, возбужденным голосом, произнеся имя известной актрисы времен процветания кино, снова окликнула его. Тогда-то ему стал понятен смысл тех слов, которые она пробормотала раньше.

— Может, переспим в гримерной?

Слова девчонки с горящими мрачным пламенем, слегка раскосыми глазами были явно обращены к Исана: **Дядечка, переспите со мной хоть разок!** Склоненное вперед тело Исана — на плече он держал по-прежнему стул — мелко задрожало от смеха. Не успел он захлопнуть за собой дверь, как в нее ударил камень, но он, не обращая на это внимания, сел верхом на стул и, положив голову на спинку, продолжал хохотать. Рядом с ним стоял Дзин, обняв за поясницу трясущегося от смеха отца: от него пахло тертым сыром.

Глубокой ночью Исана проснулся от топота скачущих лошадей. Ему приснилось, будто его огромное, как гора, мертвое тело (возможно, оно разрослось уже после смерти) закопано совсем неглубоко и над ним проносится табун лошадей. Во сне Исана беспокоился, что Дзина испугал топот и он вот-вот услышит плач мальчика. Это они топали по крыше. Исана ждал, что рано или поздно они придут, и сейчас, проснувшись, понял, что они нагло ворвались в его жизнь и бесцеремонно топают по крыше!

В бешенстве, весь дрожа от возмущения, он вскочил на ноги, но света зажигать не стал и замер между своей кроватью и кроватью Дзина. Хорошо бы изловчиться и напасть на скакавших у него над головой подростков, но он прекрасно понимал, что бессилен что-либо предпринять. Вскоре после того, как Исана поселился в своем убежище, ему приснился сон. Страшный сон, будто разразилась атомная война. На крыше убежища скопилась огромная толпа людей, жаждущих спастись от атомного нападения, угрожая и требуя впустить всех в бункер. Проснувшись в ужасе, проникшем в самую глубину его мозга, еще погруженного в сон, он хотел было броситься отбивать натиск толпы на крыше, но вдруг понял, что, в бессилии метаясь по кровати, он просто видит продолжение сна: бессилие и страх, сковавшие его тело, еще долго оставались раной в его душе.

И на этот раз Исана не стал впустую бегать по убежищу в поисках оружия. Он просто был охвачен всепоглощающей идеей со-

хранить свою жизнь ради того, чтобы уберечь Дзина. К тому же сейчас Дзин действительно был напуган топотом по крыше. И застонал, будто от боли. Исана и сам готов был стонать, как ребенок. Не застонал он только потому, что, боясь привлечь внимание мальчишек, топавших по крыше, даже света не зажигал и, крепко обняв сына, старался приободрить, поддержать его.

Топот на крыше неожиданно прекратился. Скорее всего, они спрыгнули на одну из площадок, в косогоре за убежищем. Исана немного успокоился, решив, что топот на крыше был не враждебным действием, направленным против него и Дзина, а операцией, призванной донести до них некое послание. Но он был не в состоянии следовать за эхом, рожденным этим посланием. Потому что Дзин от пережитого страха превратился в кусок истерзанной плоти. Нужно было отдать все силы, чтобы вернуть его к жизни.

Исана решил все оставить как есть до тех пор, пока он на рассвете не заберется в бункер (впрочем, не раньше чем Дзин оправится и его можно будет спокойно оставить одного), где восстановит в памяти все происшедшее и найдет нить к тому, как понять и обезвредить послание, полученное им от тех, кто топал ночью по крыше. Поручу-ка я это бесчисленным душам деревьев и душам китов, которые, наверно, внимательно следят за нашей с Дзином затворнической жизнью, подумал он. Дзин, свернувшись калачиком, застыл и стонал так жалобно, что любого привел бы в отчаяние. Исана, прижав к себе ребенка, протянул руку и включил магнитофон, другой рукой он все время растирал ему руки и ноги. Если бы начавший работать магнитофон вдруг испортился и в крохотное светлое оконце, приоткрывшееся в Дзине, полились бы раздражающие шумы, он бы опять ушел так далеко, что Исана никогда бы не смог до него добраться. Он взвился бы в неоглядную высь или утонул в бездонной глубине, как мертвая рыба. Ладони Исана, прикрывавшие застывшее тело ребенка и гладившие его покрытую пупырышками кожу, со страхом ждали такого момента.

Воображению Исана сознание Дзина рисовалось как нечто схожее с сердцевиной яйца. В скорлупе заключена жидкая кровяная сыворотка, замутненная чем-то вроде белка. И в нем — сознание: комочек желтка. Если Дзин, как это бывает каждый раз, когда он ест макароны, ощущает покой и уверенность в себе, его сознание все разрастается и разрастается до тех пор, пока не заполнит всю внутренность скорлупы. Но стоит поселиться в нем страху или обычной тревоге — количество темной кровяной сыворотки увеличивается и крохотное сознание Дзина тонет в ней, как жалкое зернышко. Стоило Исана подумать, что Дзин вдруг умрет с этим зернышком сознания, погруженного в страх, как его самого охватывал безграничный ужас...

Пять часов подряд Исана лежал в убежище, наполненном голосами птиц, и массировал безжизненное тельце ребенка.

В свете пробивающегося сквозь тучи утреннего солнца Исана увидел, как из закрытых глаз Дзина капали горячие слезы. Дзин ночью прикусил нижнюю губу, и в уголках рта запеклась кровь — так бывало после анестезии, которую делал зубной врач. Посмотрев в темное зеркало сбоку от унитаза, Исана увидел, что и он прикусил нижнюю губу. Вдруг вспыхнула острая боль. Страшный привкус, который он ощущал всю эту долгую ночь, был вкусом его собственной крови. Но и в тот миг, когда Исана понял это, ему все равно казалось, будто он пять часов кряду ощущал вкус крови сына.

Исана задремал. Отступая в темное бессознание, он чувствовал, как его душа, устремившись за помощью в бункер, низвергается вниз

и, коснувшись у основания металлической лестницы земли, покрытой последней в этом сезоне изморозью, слышит, как души деревьев и души китов говорят ему: пока с тобой все в порядке, спи. Спи до полудня. После полудня — новый бой.

Глава 4

Бросает вызов — получает вызов

После полудня, совершенно безоружный и одинокий, если не считать Дзина, служившего ему боевым подкреплением, Исана покинул свое укрытие и отправился на поле боя. Он вынес два стула, поставил их рядом у ствола вишни лицом к заболоченной низине и стал ждать появления атакующих сил подростков. Поскольку вчерашние слова девчонки были явно связаны с кинопроизводством, непосредственным объектом наблюдения Исана избрал, разумеется, полуразвалившуюся киностудию за низиной.

Дзин, как человек, перенесший тяжелую болезнь, смирно сидел на стуле. Птичьих голосов не было слышно, и в поле зрения Дзина не попадало ничего, достойного внимания. Дзин задремал и тихо посапывал. Исана пошел в убежище за одеялом — укрыть мальчика. Когда он сбегал обратно вниз по косогору, то увидел, что на втором этаже павильона движется пятнышко света. Может быть, это отражается свет в линзах направленного на него бинокля? Исана укутал Дзина в одеяло, усадил поглубже на стуле, чтобы ему удобнее было спать, и стал внимательно изучать каждое из четырех окон под самой крышей павильона. Два окна слева закрыты. Два других открыты, но он не мог вспомнить, есть ли в них стекла. Исана, закрыв глаза, пытался восстановить в памяти внешний вид павильона, который он рассматривал днем из бойницы. Перед его мысленным взором отчетливо всплыли закрытые окна. Он снова попытался разглядеть, что делается внутри павильона за открытыми окнами. Огонька больше не было видно — там стояла кромешная тьма, как в речной пучине. Возможно, на окнах задернули занавески. Он вспомнил вдруг искушающий голос девчонки, и притом так ясно, будто он исходил из той тьмы: **Может, переспим в гримерной?**

Девчонка говорила про гримерную выдающейся кинозвезды, на рекламу которой тратилось процентов десять капитала всей японской кинопромышленности! Эти непристойные, но полные определенного смысла слова искушения или, используя ходячий образ кинорекламы, «соблазнительные слова», сказанные рядом с разваливающейся киностудией, взволновали Исана. Как-то, для подготовки контракта, Исана ходил к одной кинозвезде — старый политик, больной сейчас раком горла, решил «угостить» ею своих зарубежных гостей — и увидел, что в жилище актрисы, где детский нарциссизм сочетался с властным стремлением к богатству, даже не пахло эротикой. И тем не менее «соблазнительные слова» **Может, переспим в гримерной?** вызвали у него сладкие грезы.

Эти грезы о «символе секса на серебристом экране» благодаря гротескным преувеличениям предельно откровенно и в то же время интимно воплощают то, чего недостает в реальной жизни всем, к кому обращен такой призыв. Напоминают, что сцена, на которой оживала мечта, покрыта пылью и поломана, как и сама находящаяся в жалком запустении киностудия. В воображении возникает идущая по пятам девчонка с горящими глазами и ртом — открытой раной,— кото-

рый произносит непристойные слова, словно именно они необходимы и неизбежны. Слова эти лучше любых откровенных жестов и самых изощренных приемов, к которым прибегает девчонка, заставляют тех, к кому они обращены, забыть разумную осторожность, вселяют непокой и решимость. Исана смотрел в свой бинокль, испытывая удовольствие от одной лишь мысли, что и его ведут туда же...

Но вот реальное воплощение этой мечты — причем в совершенно неожиданном виде — появилось перед Исана. В окулярах бинокля — Исана, погруженный в мечты, рассеянно глядел на появлявшиеся в поле его зрения предметы — снова появилось окно павильона, и в нем — вышедшая из темноты на свет совершенно обнаженная девушка, похожая на деревянную куклу. От ключиц и выше она была скрыта проемом (значит, она поставила у подоконника какой-то предмет и взобралась на него), поэтому у Исана не было оснований утверждать, что это та самая девчонка. Была лишь какая-то внутренняя уверенность. Тело ее было абсолютно лишено жира, но грудь сильно выдавалась вперед. Она повернулась спиной и встала на четвереньки... Потом, не оборачиваясь, слезла с возвышения и исчезла во тьме, а вместо нее появился подросток и, высунувшись из окна, навел бинокль прямо на Исана.

Исана и раньше предполагал, что у них есть бинокль, в который они наблюдают за ним. Но после шоу, устроенного обнаженной девицей, это открытие привело его в смятение. Поддавшись наивной иллюзии, что если он перестанет смотреть в бинокль, то и подросток уберет свой, Исана то опускал бинокль, то снова подносил его к глазам.

— Почему вы все время шпионите? — послышался заглушаемый шуршанием листвы на ветру голос, исходивший, казалось, от д у ш и д е р е в ь е в, воплотившейся в вишне.

Обернувшись, Исана увидел, что за его стулом и стулом Дзина, используя ствол вишни как прикрытие, стоит парень, с которым он уже встречался в парке. У входа в убежище застыл еще один, по обеим сторонам дороги, идущей вниз по косогору, стояло еще человек двадцать, наверное. Как и в тот раз, когда они устроили загон, подростки даже не смотрели в сторону Исана, но было ясно, что они следят за каждым его движением.

— Мы давно уже знаем, что вы наблюдаете за нами в бинокль через смотровую щель своего блиндажа,— сказал парень мягко, увещевающе, и в его узких глазах, точно прорезанных острым ножом, сверкнул желтый огонек негодования.— Вы ведь и сами не станете отрицать, что подглядывали за нами в бинокль? Что вы увидели в окне?

Исана с досадой почувствовал, что краснеет. Он заметил, что мальчишки стараются казаться равнодушными, но от удовольствия, которое не могут скрыть, даже поводят плечами. Правда, парень, разговаривавший с ним, сохранял на бледном худом лице полную бесстрастность и лишь отвел от Исана узко разрезанные глаза. Его выпуклый лоб мягко пересекала наискось прядь волос. Лицо, казалось, затаило готовую вырваться наружу ненависть, но профиль у него был мягкий и никак не вязался с представлением о насилии. Только когда он посмотрел, наконец, на Исана и, судорожно напрягши тонкие, четко очерченные губы, снова заговорил, Исана ясно увидел как мягкий профиль его исчез и в лице появилось что-то зловещее.

— Может, повернете стул ко мне? Пока не выясним всего, мы вас не отпустим, как в прошлый раз. А в такой позе вы долго не высидите.

Исана послушно поднялся со стула. По тому, как быстро реагировали подростки у него за спиной на это незначительное движение, Исана понял, что они представляют собой хорошо обученную личную гвардию. Осторожно, чтобы не толкнуть стул Дзина, он повернул свой.

— Подложите под ножки камни, а то еще опрокинетесь.

Исана, присев на корточки, стал укреплять ножки стула — в листве вишни свистал порывистый ветер.

— Если собираетесь запустить в меня камнем и убежать, откажитесь от этой идеи. Мои дружки все время следят за вами. Сразу поймают,— снова раздался сквозь шум листвы голос парня, словно окатив Исана, зажавшего в руке камень, ушатом холодной воды,— да вы и не удерете, раз мальчишка останется здесь. Куда вам бежать?

Исана аккуратно подложил под ножки стула плоские камни и сел, заранее предвидя, что переговоры с парнем будут долгими.

— Никуда я не собираюсь бежать. Мое место здесь,— сказал Исана.

Он уже понял, что бежать невозможно, а если пытаться оказать сопротивление, ему все равно не справиться с парнем, за спиной которого стоит его верная гвардия; и никто ему не поможет — поблизости ни души. Махнув на все рукой и ожидая, что его вот-вот начнут избивать, он и возражал для виду, уцепившись за расплывчатое слово «место».

— Мои ребята, знаете, если уж за кем погонятся, не уймутся, пока не догонят и не отделают как следует,— снова пригрозил парень.

— Хотел бы я на это посмотреть,— сказал Исана и увидел, что юноша, устыдясь своего хвастовства, густо покраснел. Чувствительный он, однако.

— Можем показать, когда захотите. Постойте, а разве вы не видели, как мои ребята бегают? Вы ведь целыми днями только и подглядываете за ними.

— Я действительно смотрю, что делается снаружи, но за вами никогда не подглядывал,— сказал Исана.— Если не считать того случая в парке, я вижу вас в первый раз.

— Выходит, вы сегодня просто случайно рассматривали павильон киностудии? — презрительно усмехнулся парень.— Небось, догадались, что там наш тайник?

Исана стремился лишь к одному — показать, что его на такую нехитрую уловку не поймать.

— Девчонка из вашей компании приглашала меня переспать с ней в гримерной. Вот я и смотрел, есть ли там, в павильоне, гримерные киноактрис. Потому я кое-что и увидел. Но тому, что у вас есть какой-то тайник и он где-то рядом с павильоном, я и сейчас не очень верю.

— Почему? — спросил парень, переходя к обороне.

— Если вы содержите дом свиданий, то вряд ли позволили бы себе открыто говорить, что там ваш тайник. И женщине, поскольку она занимается проституцией, тоже не разрешили бы никого туда приглашать. Иначе кто-нибудь из ее клиентов донесет в полицию — и вашему убежищу крышка. Так что, если не убивать всех, кто попадется на ее приманку, вам надо всякий раз менять тайник. Другого выхода нет, верно?

— Мы не разрешаем приглашать всех без разбора,— парировал парень, покраснев, и плотно сжал губы.— Мы ведь не содержим дома свиданий. А в случае с вами мы решили, что вы не станете доно-

сить на нас. Вы ведь ничего не рассказали полицейским, когда они пришли к вам. В вашем блиндаже нет телефона, а когда вы ездили на станцию за покупками, мы проследили: к полицейской будке вы и близко не подходили, по автомату не звонили. Один из наших ребят спросил у полицейского, который здесь поблизости ошивался, кто живет в этом блиндаже, и тот ответил: да какой-то безвредный псих, прячется от атомной бомбы. И после вчерашнего случая вы утром тоже не заявили в полицию. Почему? Вот и прикиньте.

— Да заяви я, что кто-то топал ночью по моей крыше, разве полицейские поверят? В лучшем случае поинтересуются, пострадал ли я, и выяснится, что и заявлять-то не о чем.

Исана хотел скрыть, как пострадал от их топота Дзин, да и у него самого неприятный осадок от вчерашнего еще не испарился. Видимо почувствовав это, парень торжествующе усмехнулся.

— Я еще раз спрашиваю: зачем вы все-таки следите за нами? Глаз, который вы нарисовали на стене,— это что, вызов, следил, мол, и буду следить за вами? Мы не знаем, что у вас на уме, и нам не по вкусу вечная ваша слежка. Говорите, что вы здесь делаете? Почему следите за нами? Чего вам надо?

Исана сразу же уловил, что парень начинает нервничать, и это придало ему смелости.

— Вы, конечно, решили, что я инспектор по жилищному строительству,— сказал он с издевкой.— И тайно поселился здесь с сыном, чтобы как следует все измерить и рассчитать, а потом пригоню сюда строительных рабочих, и они все перероют бульдозерами? И ваш тайник снесут, да?..

Парень, подозрительно глядя на него, молчал, и Исана пришлось самому сделать вывод из своей болтовни:

— Подобных дурных намерений у меня нет. Да и в этой заболоченной низине никакое строительство невозможно. Кроме возведения искусственной жизненной сферы, подобной киностудии. А киностудию можно построить и в пустыне, для нее заболоченная низина вполне годится.

— А все-таки что вы здесь делаете? — спросил парень, чтобы прервать болтовню Исана.

— Нет, лучше скажите вы, что я здесь, по-вашему, делаю?

Вдруг из тени, отбрасываемой вишней,— Исана даже не заметил, откуда именно,— вынырнула та самая девчонка с огненно-рыжими волосами и, совершенно игнорируя Исана, обратилась к парню:

— Сказал, чтобы взял его? Бой весь горит, его рвет все время. Не говорит ни слова, только плачет.

Парень, не глядя ни на девушку, ни на Исана, уставился куда-то вдаль. Исана понемногу освоился, и страх перед насилием со стороны этих юнцов стал ослабевать.

— Какое я вообще имею к вам отношение? — спросил Исана, снова пытаясь увести разговор в сторону.

По-видимому, ведя спор, парень умел чутко реагировать на перемену обстановки. Не теряя времени, он, как человек практичный, показал, что готов отступить и открыть карты.

— Раз уж вы, хоть и следите за нами в бинокль, не донесли на нас в полицию и не написали в газету, мы не сделаем вам ничего плохого — высказали свое недовольство, и все. Если бы не это, никаких отношений у нас с вами не было бы. А теперь собираемся наладить с вами отношения — нам это необходимо. Мы хотим наладить отношения с человеком, не имеющим с нами ничего общего, именно потому, что никаких отношений с ним нет. Конечно, если вы

такой, каким нам представляетесь. Чтобы узнать, так ли это, нам надо выяснить, что вы здесь делаете.

— Кроме заботы о сыне запереться в этом доме заставила меня мысль о деревьях и китах.

— Ученый?

— Я считаю себя поверенным деревьев и китов. Не знаю, верите вы этому или нет.

— Ума не приложу, как ответить,— и верится и не верится,— задумчиво сказал парень.— Быть поверенным деревьев и китов — значит считать важнее всего на свете деревья и китов, а всех прочих ни во что не ставить? Неужели вы до этого дошли?

— Совершенно верно,— сказал Исана.

— Прекрасно. Вы лучший помощник, какого мы только можем желать,— сказал парень с неожиданным воодушевлением.— Я плавал на китобое, поэтому знаю и китов, и людей, которые на них охотятся, и если вы поверенный китов, то, значит, не из полиции. Сколько крови люди проливают, лишь бы добыть китов, будь то беременные самки или детеныши — все равно. А мясо их продают по дешевке. Поверенный китов — для него такие люди враги, и, значит, он борется с полицией, верно? Ведь если где-нибудь на пустынном берегу вылезший на сушу кит и какой-нибудь подонок вступят в борьбу, полиция придет на помощь подонку. А вам, выходит, придется бороться с полицией.

— Псих, свихнувшийся на какой-то чепухе, не станет доносить и не напишет в газету, это уж точно,— вставила девчонка, задумчиво глядя на Исана.— Нам кажется, вы такой...

— Мы не считаем вас сумасшедшим,— поправил юноша девчонку.— Просто мы рассчитываем на вашу помощь, не боясь, что вы донесете на нас в полицию.

— Я еще не сказал, что готов помогать вам,— отчеканивая каждое слово, заявил Исана, переводя взгляд с парня на девчонку.

— Будете помогать. Ведь вам не захочется, чтобы с маленьким сыном, который сейчас так спокойно спит, случилось что-нибудь нехорошее, например, то, что люди делают с детенышами китов? — открыто пригрозил он. И посмотрел на Исана с нелепой, но в то же время откровенной враждебностью, будто ему волей-неволей придется пойти на такую жестокость и не кто иной, как сам Исана, вынуждает его к этому.

— Ну что же, если так, ничего не поделаешь; я, правда, не знаю, в чем состоит ваша просьба, но у меня нет другого выхода, как подчиниться, хотя это и не будет добровольной помощью,— сказал Исана, покраснев от негодования.

Девушка оставалась совершенно спокойной, а юноша, не обращая внимания на негодование Исана, сказал:

— Мы пришли просить о помощи, потому что заболел наш товарищ, у него жар, вы уж приютите его ненадолго в своем доме и вот ее тоже, чтобы ухаживать за ним.

Обращаясь к душе деревьев, воплотившейся в вишне, Исана воззвал к ней: **Как проста подстроенная ими ловушка, проста до глупости. Даже если их товарищ в самом деле болен, они, несомненно, использовали его болезнь как предлог.** Он это чувствовал интуитивно. Иначе зачем бы им прибегать к столь сложной процедуре? И все это ради того, чтобы попросить его приютить на время какого-то больного, который может доставить много хлопот, если о нем донесут в полицию? Причем, когда им пришлось вынуждать его к этому, они не остановились ни перед чем, прибегли даже к прямой угрозе. Обдумав все это, Исана пришел к заключению, что у не-

го лишь один выход — подчиниться, чтобы угроза не была приведена в исполнение.

— Хорошо, я все понял и возьму вашего больного,— сказал Исана.

Юноша, считая, видимо, что последнее слово должно остаться за ним, помолчал. Потом, точно преодолев нерешительность, громко сказал:

— Мы привезем больного, как только стемнеет.

Он прошел мимо Исана и упругой походкой баскетболиста начал спускаться в заболоченную низину, где ковер молодой травы еще не превратился в буйные заросли.

Подросток, стоявший у входа в убежище, и его дружки, выстроившиеся по обеим сторонам дороги, огибавшей возвышенность и взбиравшейся вверх по косогору, исчезли. Вслед за предводителем отправились в свой тайник. И лишь девчонка осталась у вишни, опершись рукой о ее черный, израненный ствол. Не заговаривая с ней, Исана направился в дом, но почувствовал, что девушка пошла за ним вслед, и услышал удары по земле какого-то твердого предмета. Обернувшись, он увидел, что она с серьезным видом шагает за ним, неся в каждой руке по стулу и прижимая их локтями к бокам. Девушка бодро поднималась по косогору, твердо ступая босыми ногами с широко разведенными в стороны носками, всем своим видом являя то ли безразличие, то ли отчаяние. У входа в дом Исана остановился, дожидаясь ее. Теперь, в быстро сгущающихся сумерках, ее невысокая переносица казалась совсем впалой, но крылья носа и губы, напоминающие кожицу апельсина, стали еще резче очерченными. В горящих глазах ее, казалось, собрались крупинки янтаря, сверкающие в закатном небе. Только подойдя вплотную к Исана, она, наконец, пристально, не мигая, посмотрела на него. Он тоже посмотрел в ее влажные, точно залитые густым сиропом глаза.

— Пить хочу,— медленно шевельнулись губы девушки.

— Зайди в дом, там кран и чашка,— ответил Исана.

Однако девушка, поставив принесенные стулья в прихожей, открыла кран на трубе выведенной из стены у самой земли, спустила ржавую, застоявшуюся воду и, сложив ладони корытцем, попила. Потом стала мыть ноги, потирая одну о другую. Ее обнаженные бедра, даже в неустойчивом положении сохранявшие силу, показались Исана налитыми упругой мощью. В глубоком разрезе темно-коричневой джинсовой куртки он увидел тоже оставляющую ощущение силы грудь с двумя удлиненными круглыми цилиндриками. Обернувшись и встретившись взглядом с Исана, девушка не смутилась и на цыпочках первой вошла в прихожую. Уложив Дзина на диван, Исана увидел, что девушка села рядом прямо на пол и стала пристально разглядывать лицо ребенка.

Исана решил, что они с Дзином устроятся спать на первом этаже, а спальню на третьем освободят. Комната на втором этаже, которая служила кладовой и одновременно библиотекой, заглушит, наверно, шум от чужих людей, которые поселятся на третьем. Исана поднялся на верхний этаж и начал перетаскивать вниз кровать Дзина, магнитофон и коробку с магнитофонными лентами, словари, книги. В узкой, вытянутой по дуге комнате, теперь безобразно пустой, с единственной оставшейся кроватью, темнели окна-бойницы. Из них открывался вид на утонувшую в сумерках черную низину, и на всем протяжении от полуразвалившейся киностудии до его убежища не было заметно никакого движения.

Когда Исана перенес все вниз и с одеялами в руках вошел в комнату, девушка, сидевшая рядом с Дзином, по-прежнему не отрывала

глаз от спящего ребенка. Сидела неподвижно, не изменив позы, не обратив никакого внимания на вошедшего Исана. Глаза девушки — в темноте трудно было даже различить белки — казались спокойными, как тихая вода; обводящая верхнюю губу линия чуть поблескивала, как белая нитка,— она выглядела совершенным ребенком, и тут замершему с одеялами в руках Исана открылся весь ужас откровенно циничных слов, которыми вчера эта девушка пыталась завлечь его. Было похоже, что девушка уловила, какое впечатление произвела она на Исана, и обернулась к нему, вернув силу своим горящим глазам. И не только глазам — каждый мускул ее тела напрягся, как у готового к прыжку зверя.

— Ты почему света не зажигаешь? — спросил Исана, словно отбиваясь от набросившегося на него противника.

— Нет, сперва вы скажите, почему грохочете, а света не зажигаете? — парировала девушка.

— Тебе приказали не спускать глаз с моего сына, чтобы я не передумал? Он у вас вроде заложника? — спросил Исана.

— Да никто мне этого не говорил. Красивый мальчик, вот я и смотрю на него,— сказала девушка.

Она снова уставилась на Дзина, и Исана захотелось поскорее прекратить это. Захотелось потому, что за последние несколько лет, просыпаясь, Дзин не видел перед собой никакого другого лица, кроме лица Исана, а судя по тому, что укутанный в одеяло ребенок начал шевелиться, он должен вот-вот проснуться. Но Дзин открыл глаза сразу, едва заговорил Исана. И теперь беззвучно смеялся, будто еще во сне видел эту девушку и улыбался ей.

— Как он хорошо смеется,— сказала девушка.— Хорошо, и совсем не похож на слабоумного. Слабоумный — смеется или злится, все равно— всегда хмурится, точно у него горе какое...

— Ты, я вижу, многое знаешь о слабоумных,— сказал Исана.— Заладила: слабоумный, слабоумный, тебе что, приходится общаться с ними?

— У меня брат был дефективный,— спокойно ответила девушка.

Снаружи донесся резкий свист. Через некоторое время он повторился снова, неожиданно перейдя в трель. Для Дзина это был голос птицы.

— Это дрозд,— прошептал он.

Девушка с простодушным удивлением повернулась к Исана.

— Он что-то сказал. И голос какой приятный,— глаза ее от удивления сделались круглыми.— Что он сказал?

— Он назвал птицу, которой сейчас подражали,— объяснил Исана.

— Правда? Птица так свистит? — Тут девушка впервые вспомнила о своей миссии.— Это мои товарищи привезли больного,— продолжала она.— Куда его можно поместить?

— Я освободил третий этаж. Поднимитесь по винтовой лестнице.

Девушка еще раз взглянула на смеющееся лицо Дзина и направилась в прихожую, а оттуда, как была босиком, вышла во тьму.

— Ты угадал, дрозд,— сказал Исана, подходя к сыну.

Уже примерно неделю по вечерам Дзин иногда сообщал: это дрозд. Именно в это время года поют дрозды, думал Исана и не обращал внимания на слова сына. Но оказалось, вокруг убежища вертелись мальчишки, свистом и трелями подавая друг другу сигналы. Возможно, Дзин и не путал пение птицы с условными знаками, а хотел предупредить отца о присутствии тех, чье скопище было для

него стаей фальшивых дроздов, и, точно успокаивая его, говорил своим приятным, как сказала девица, голосом: это дрозд...

Девушка вернулась одна и вызывающим тоном спросила:

— Он не хочет, чтобы его видел кто-нибудь, кроме нас; скажите, в какой комнате мы можем поселиться и где брать воду для питья?

Исана объяснил расположение комнат на третьем этаже, показал, где кухня, уборная, какие лекарства есть в аптечке, и, глядя в горящие глаза девушки, захлопнул у нее перед носом дверь.

Было слышно, как за дверью подростки осторожно тащили что-то вверх по лестнице. Потом в прихожей появились, видимо, и другие.

— Может, спереть еще пару подушек с сидений? Я заметил на стоянке много заграничных машин,— сказал некто как о чем-то само собой разумеющемся.

— Хватит. Здесь одеял сколько хочешь,— властно ответила девушка.

Исана долго не мог заснуть. Он все думал, какую ему избрать тактику, чтобы решительно изменить взаимоотношения с подростками.

Потом его мысли, как некогда грезы о смерти, раскрутила невидимая сила тьмы. Он лежал во тьме и вопрошал души деревьев и души китов, удастся ли ему, изо всех сил прижимая к себе Дзина, уйти от преследования мальчишек, несомненно подстерегающих его снаружи, и добежать до полицейской будки у вокзала в городе, на холме. **Если вспомнить, как они гнались за тем агентом, находившимся при исполнении служебных обязанностей, придется признать, что это невозможно. Подумать только, как намучается сын, когда я, держа его на руках, буду мчаться во тьме, какой ужас охватит его, если меня настигнут, изобьют и я буду валяться в заболоченной низине.** Но предположим, он осуществит это тяжелое предприятие, физически почти невыполнимое, о чем он заявит полицейским? О том, что, практически не прибегая к конкретной угрозе насилия, его попросили о такой мелочи, как приютить на время больного и сиделку; согласившись и освободив им комнату, он стал как бы их пособником. Единственно, чем можно убедить полицейских,— донести, что за ним гонятся дружки девицы, которая недавно соблазняла их пожилого сослуживца, но пока он вместе с полицейскими вернется в убежище, ее и след простынет. Он и в самом деле не знал, как построить убедительную для полицейских версию случившегося. Кто поверит, например, его рассказу о девушке в окне павильона? А потом, когда после бесплодного доноса он будет возвращаться в убежище, его до полусмерти изобьют юнцы, поджидающие во тьме у подножия холма. Даже девчонка, и та будет возмущена: а еще говорит, что поверенный китов и деревьев,— спрятался за спину властей и продал нас, хорош. Они будут пристрастно и с тем же усердием, с которым топали по крыше, допрашивать меня, в самом ли деле я поверенный китов и деревьев. **Если даже мне удастся убедить их в этом, что я должен буду для них сделать, чтобы мне простили неудавшийся донос? Одними лишь пылкими призывами к душам деревьев и душам китов и самому себе, не говоря уж о других, не докажешь, что ты воистину их поверенный,**— жалобно говорил Исана, обращаясь все к тем же душам деревьев и душам китов.

Есть более простой способ, чем бежать с сыном на руках,— подняться по винтовой лестнице, запереть в комнате девчонку и «больного» и, как следует забаррикадировав вход в убежище,— в общем,

сделав все, чтобы подростки, почуяв неладное, не смогли ворваться внутрь,— подать сигнал бедствия выстрелом из ракетницы, которая находится в бункере как принадлежность атомного убежища. **Но есть ли у меня право просить чужих людей о помощи? Могу ли я во всеуслышанье взывать из своего убежища? Я, человек, порвавший связи со всем светом и запершийся с сыном в атомном убежище, бросив всех на произвол ударной волны и радиации ядерного взрыва? Если помощь и будет оказана, то сюда ворвутся не только те, к кому я взываю, но и все на свете чужие люди,** говорил он, обращаясь к душам деревьев и душам китов. Жалобно взывая к ним, отдавшись во тьме мечтам, он вдруг ужаснулся от страшной мысли. В непроглядной тьме тело его одеревенело, и он утратил способность взывать к душам деревьев и душам китов. А девушка и больной мальчишка, притаившиеся на третьем этаже, точно умерли, они-то, возможно, и есть посланцы душ деревьев и душ китов. А если так, то, желая быть поверенным деревьев и китов, Исана убивает призывы этих самых деревьев и китов, беспрерывно обращаясь к душам деревьев и душам китов. И выполнение этого плана убийств... Исана заснул, и ему приснилось, будто его привели на суд душ деревьев и душ китов. Там его ждали свидетели обвинения: девчонка с пламенеющими янтарными глазами и «больной», весь перебинтованный так, что нельзя было узнать, кто он такой...

Глава 5

Китовое дерево

Прежде чем проснуться, Исана снова увидел сон: вокруг него толпятся сонмы душ деревьев и душ китов. Деревьев-душ множество, как в девственном лесу. Китов-душ множество, как до начала эпохи китобойного промысла. Этот странный сон был последовательно диалектичен — Исана понимал, что поскольку это души, то, хотя их неисчислимое множество, им хватит места, чтобы выстроиться вдоль стен комнаты, в которой спят они с Дзином. Когда Исана лежал еще на диване, укрывшись одеялом, но уже готов был проснуться, души деревьев и души китов устроили ему безмолвный перекрестный допрос, построенный на методе психоанализа. Исана разрешили остаться лежать на диване. **Зачем меня спрашивают, собираюсь ли я причинить зло тем, кто находится на третьем этаже? Ведь пострадавший — я,**— взывал он к душам деревьев и душам китов еле слышным голосом, потому ли, что на него был надет собачий намордник, или сам он сомневался в своих словах, но во всяком случае голос был еле слышен...

Он проснулся оттого, что у него пересохло в горле. И хотя ему это приснилось, он проснулся оттого, что в горле и впрямь пересохло. Сон поначалу был несколько нереален, но в мелочах, в том, как общались между собой люди, оставался вполне достоверным. Оттого и переход проснувшегося Исана к реальной жизни осуществился удивительно естественно. Такие сны он уже видел не раз. Но сегодня в его виденья впервые вторглись посторонние люди, их судьбы. Все еще лежа на диване, в предрассветных сумерках, Исана обнаружил, что дверь в кухню приоткрыта. А ведь он точно помнил, что закрывал ее. Вглядевшись в темноту за дверью, Исана рассмотрел человека. Теперь, окончательно проснувшись, Исана быстро поднялся и сел. Девушка, только того и ждавшая, окликнула его хриплым голосом:

— Больной проголодался, дайте ему чего-нибудь поесть.

— Ешьте все, что найдете в холодильнике,— сказал он, испытывая неловкость от звука собственного голоса.

Однако вместо того, чтобы сразу направиться к холодильнику, девушка, забившись в угол, провожала его взглядом. На лице у нее не было и следа косметики, но все равно ее глаза сверкали, губы были очерчены резче прежнего, а смуглая кожа приобрела еще более сочный оттенок — потому только, что она не была накрашена. Это была совсем не та перемена, к каким привык Исана у девушек, спавших с ним когда-то. Он вынул из холодильника хлеб, ветчину и латук и положил на кухонный столик у мойки. Только тогда девушка нерешительно приблизилась к нему. Исана включил тостер и пододвинул к ней. Все это время глаза его были прикованы к ее телу. А девушка смотрела на его оголившийся круглый животик, вздувающий вельветовые брюки. Исана стало не по себе. Девушку точно подменили: весь вид ее говорил, что она не считает больше его посторонним, ее сдержанность, граничившая с робостью, просто изумляла его.

Сверху горохом посыпалось жалобно:

— Инаго! Инаго!

— Он сказал «инаго» — саранча?

— Да нет, просто зовет меня. Это мое прозвище — Инаго. Прилипло еще с детства,— ответила девушка неохотно, и Исана прекратил свои расспросы, но придумал для ее имени другие иероглифы, ничего общего с саранчой не имеющие.

Он придвинул к девушке, готовившей бутерброды, коробку с чаем и чайник. Но вдруг забеспокоился, что она не умеет как следует обращаться с газом, и сам поставил чайник на плиту. Потом стал готовить еду для себя и Дзина. Это общение с девушкой в крохотной кухне, когда они то и дело касались друг друга, не могло не создать атмосферы близости, граничащей с чувственностью. Попроси она поделиться приготовленной им едой с больным, Исана бы не отказался. Более того, желая как следует накормить больного, он, не дожидаясь ее просьбы, налил полную кастрюлю воды и опустил в нее замороженную курицу. Она стала медленно оттаивать, чуть замутняя воду, так бывает, когда тает снег. Потом он добавил в кастрюлю промытый рис и крупно нарезанный лук. Он хотел приготовить рис по-китайски. Девушка, накладывая бутерброды на тарелку и заваривая чай, внимательно следила за его стряпней, затем молча поставила еду на поднос, подхватила его и вышла за дверь к винтовой лестнице.

Пока в кастрюле закипала вода Исана приготовил себе и Дзину чай и намазал хлеб маслом. Уменьшив огонь, он вернулся в комнату. Дзин тихо лежал с открытыми глазами. Было в нем какое-то беспокойство, потому, наверное, что они спали не в своей комнате, а здесь внизу. Покуда варилась каша, отец с сыном принялись за свой немудреный завтрак. За стенами убежища послышался свист.

— Это дрозд,— сказал Дзин.

Но чтобы привлечь внимание девушки, свиста оказалось недостаточно, и в стену бросили небольшим камнем. Кто-то спустился по лестнице и вышел в прихожую. Вскоре девушка — это была она — вернулась в дом, вошла в комнату и, ведя себя так, будто Исана было известно имя их предводителя, сказала:

— Такаки хочет встретиться с вами, говорит, ему нужно, чтобы вы кое-куда съездили на велосипеде.

Исана выглянул в бойницу. Парень по имени Такаки — к нему, решил Исана, очень подошли бы иероглифы, обозначавшие «высокое дерево»,— стоял, прислонясь к вишне и опустив голову. Трудно было понять, о чем он думает, гадает, небось, как Исана отнесется к его просьбе.

— За ребенком я присмотрю,— сказала девушка.

Вздрогнув, точно пронзенный вдруг острой болью, Исана обернулся. Если вдуматься, сказать такое — все равно что предложить отрезать ему руку или ногу. И сказано все было так, будто это — дело решенное. Дзин, разложив на полу ботанический атлас, внимательно рассматривал яркие изображения листьев, веток с плодами и целых деревьев — тис, мискант, подокарп. Девушка, устроившись сзади него, смотрела на ребенка чуть ли не с благоговением. Что означает этот новый зигзаг в ее поведении — подумал Исана, разглядывая девушку. Оставив Дзина, Исана направился к выходу из убежища, с легким сердцем отказавшись от ритуала, обычно сопровождавшего его уход.

— Как он смотрит на меня. Больному непременно нужна радость,— сказала девушка. Сверкавший нездоровым блеском взгляд девушки заставил Исана поежиться. Бессильная мольба в ее глазах вызывала сострадание и была как-то связана со сном о душах деревьев и душах китов. **Ведь пострадавший — я**, мысленно возразил Исана, но взгляд девушки сразу заставил его отбросить эту мысль.

— Дзин будет спокойно рассматривать деревья. Дзин будет рассматривать деревья,— сказал Исана сыну.

— Да, Дзин будет рассматривать деревья,— подтвердил Дзин, не отрывая глаз от ботанического атласа.

Исана вывел из прихожей велосипед и стал спускаться по косогору. Двинувшийся ему навстречу парень, не отводя взгляд от никелированного руля велосипеда, заговорил, чуть шевеля тонкими губами:

— Рана нашего больного нагноилась, может, вы купите каких-нибудь антибиотиков? В последнее время без рецепта врача в аптеках перестали продавать антибиотики. Вдобавок он боится столбняка и потерял сон, надо бы купить и снотворного. А его продают, только установив место жительства и фамилию.

— Не знаю, снотворного я обещать не могу,— ответил Исана.

Пока он, толкая сзади вилявший из стороны в сторону велосипед, выводил его на дорогу, Такаки достал из огромного кармана американского военного френча пакет, завернутый в большой платок.

— Здесь одна мелочь. В аптеке, может, удивятся...

— Это собрали твои товарищи?

— Нет, очистили пару междугородных телефонов-автоматов,— сказал парень.

Исана собрался было сесть на велосипед, но парень ухватился рукой за седло. Сначала он молча шел рядом, мрачно понурясь. Потом повернулся к Исана, явно желая что-то сказать, но никак не мог решиться и, однако, заговорил, всем своим видом показывая, что, если Исана встретит его слова холодно, он оборвет разговор:

— Вы так уверены, что являетесь поверенным деревьев и китов, что и мне почему-то хочется в это поверить. Но я решил спросить: вы не слышали такое название «Китовое дерево»? Оно так и называется. Где бы я ни бывал, всюду было свое Китовое дерево. Только название это никогда не произносят вслух — так было у меня на родине, и поэтому местные жители никогда его не слышали. Или, может, по какой другой причине? Во всяком случае, в наших местах знают о Китовом дереве. А что, если оно есть и тут, но только называется по-другому, и не объяснишь, какое оно из себя...

— Китовое дерево! — выдохнул потрясенный Исана, и ему стало не по себе оттого, что он не услышал голоса Дзина: **Это Китовое дерево.**

Перед глазами Исана возникла совсем иная картина, нежели та, что открылась сейчас перед ним — бескрайняя даль. Так широко и безбрежно, насколько хватает глаз, простирается степь или море; поселившись в городе, Исана забыл, как выглядит бескрайняя даль, и вот сейчас перед ним снова, как призрачное видение, появился бескрайний лес до самого горизонта, произрастающий из одного корня,— это было Китовое дерево. Могучие, неколебимые стволы венчала густая крона волнующейся листвы — всем своим видом дерево напоминало резвящегося в море полосатика. И из гущи листвы, образующей голову с беззаботной улыбкой, на него смотрели умные черные глаза. Как прекрасно это Китовое дерево!

— Велосипед упадет,— сказал юноша.— Все мои товарищи приехали в Токио по набору, они не любят откровенничать, где и когда родились. А я вот родился в лесной местности, и у нас там растет Китовое дерево. Ну, а у вас на родине росло Китовое дерево?

Исана подумал, что юноша не раз уже спрашивал незнакомых людей о Китовом дереве и всякий раз ответ был отрицательный. И услыхав, что Исана назначил себя поверенным китов и деревьев, он захотел заставить его поверить нехитрой своей выдумке. Конечно, он рассчитывал, что Исана, услышав всего два слова «Китовое дерево», конечно же, сам захочет поверить в его существование...

— Деревня, где я жил в детстве, тоже окружена лесами, правда, такого названия у нас нет,— сказал Исана осторожно.— Но сейчас, узнав от тебя о Китовом дереве, я сразу представил себе огромное древо, похожее очертаниями на кита и колышущееся на ветру, как кит на волнах. И мне стало приятно и радостно.

— Пр́иятно? — спросил Такаки, стараясь понять, что за смысл вкладывает Исана в это слово.— Как вы его себе представляете? Я ведь только слышал название «Китовое дерево», а сам его ни разу не видел... Я был тогда совсем маленьким. Как услышу, бывало, о Китовом дереве, целый год потом мечтаю о нем. В детских журналах всегда печатают картинки-головоломки, где спрятаны разные животные. Я представляю его деревом, в котором сплелись десятки китов. Однажды я даже нарисовал это дерево.

Перед глазами Исана теперь появилось целое стадо китов. Он подтянул к себе велосипед.

— Значит, ты тоже не видел Китового дерева?..

— Нет, но в наших местах оно и вправду растет, под ним в деревне даже как-то вершили суд,— перебил юноша, чтобы Исана не задал новый вопрос, который перечеркнул бы все сказанное раньше.— И те, кого судила деревня, в ту же ночь исчезали. Точно, Китовое дерево существует.

Даже если эта история про Китовое дерево и казалась Исана невероятной, он и не думал в ней усомниться. Ему было досадно, что они подошли к дороге, ведущей вверх, к городу на холме. Досадно потому, что юноша сейчас повернет обратно.

— Ты потом доскажешь мне все о Китовом дереве, ладно? — грустно спросил Исана.

— Я всегда верил, что найду наконец человека, который всерьез отнесется к Китовому дереву,— сказал Такаки, снимая руку с седла.

Исана чувствовал себя похожим на послушную обезьянку, ведь она, покрутившись на крохотном пятачке, опять забирается на колени к человеку, держащему ее на коротком поводке... У него голова шла кругом от удивительного и, в общем-то, бессмысленного рассказа незнакомого человека, и он вдруг отметил, что даже не может сосредоточиться на мысли о Дзине, оставшемся в руках у этих чужих людей. Китовое дерево! На отвесной стене, окаймлявшей глубоко про-

резанную в холме дорогу, обнажились корни живых деревьев. Каждый раз, проходя здесь, Исана, убежденный, что смотреть на одни лишь корни невежливо по отношению к деревьям, мерил взглядом весь ствол до самой макушки, но теперь, изо всех сил толкая велосипед, он даже не поднимал головы, как бы извиняясь перед душами деревьев, которыми пренебрег. **Мне сейчас был послан сигнал, сигнал Китового дерева, и я должен бежать, хоть у меня и перехватило дыхание.** Добравшись до вершины холма, Исана, не отдышавшись, вскочил на велосипед и помчался к аптеке у станции.

Он полагал, что получить снотворное будет нелегко. Но немолодая аптекарша, записав его адрес и имя, нисколько даже не удивившись, какое оно странное — Ооки Исана, сразу дала ему коробочку со снотворным. Назначение же антибиотика вызвало у нее массу вопросов:

— Для ребенка? Если собираетесь принимать его сами, почему бы вам не посоветоваться с врачом? Да и с чего взрослому мужчине, холостяку стыдиться болезни, которой он может вдруг захворать? — Хотя слова аптекарши выставляли Исана на всеобщее посмешище, он, стремившийся жить как человек-невидимка, ничем не связанный с обитателями города на холме, решил претерпеть этот позор, но зато воспользоваться ошибкой аптекарши.

— Скажите,— спросил Исана, опустив глаза,— ведь никаких побочных явлений, никакого вредного воздействия оно не окажет?

— Да уж сколько ни предупреждай, что в больших дозах антибиотики принимать нельзя, каждый, кто занимается самолечением, все равно принимает их больше, чем положено. Вот и вы решили, будто очень уж сложно сходить в клинику, раз у вас дома больной ребенок, хотя выписать рецепт — минутное дело. Не понимаю, чего вы стыдитесь?

Хотя и по ошибке, но все устраивалось самым лучшим образом; Исана молча ждал, пока ему выдадут лекарство. Он понимал, что, стой он вот так, без слов, не только аптекарше, заподозрившей у него неприличную болезнь, но и всем посторонним будет казаться «застенчивым типом», «человеком, осознающим свой позор». Когда он в конце концов получил лекарства и снова сел на велосипед, то невольно уже по-другому глядел на людей, делавших покупки на торговой улице, и обычных прохожих. **Нет, я не случайный приезжий здесь, на привокзальной торговой улице; все видят во мне хозяина странного дома под горой. Теперь я должен обращать внимание на всех, кто меня окружает,**— обратился он к душам платанов, задыхавшихся в клубах выхлопных газов. Как только появились подростки — абсолютно чужие люди, заставившие Исана иметь с ними дело,—для него сразу же стало реальностью и существование других посторонних людей, живущих в городе вроде совсем не так, как эти парни. Другими словами, вместо того существования, которое они вели с Дзином в убежище, разорвав все связи с людьми, он стал жить под чужими пристальными взглядами, на виду у окружающих. Они подступают к нему и требуют определить, с кем он, к какому лагерю примкнет. Разум его бьет тревогу, но не беда, ведь он под защитой могучих Китовых деревьев. С этими мыслями он крутил педали велосипеда, и ему казалось, будто тело его возносится ввысь. Чем дольше крутил он педали, тем зримее, реальней становилось Китовое дерево, реальнейшей реальностью, овладевая всем его мозгом, пуская корни в его теле, проникая к нему в кровь. Сознание Исана утопало в купающейся в желтых лучах листве. Он крутил и крутил педали, взрастив в своих мыслях и плоти Китовое дерево, сам превратившись в него. Спускаясь по склону, он не слез с велосипеда, а лишь все время притормаживал. Но когда он,

не замедлив хода, повернул и понесся еще быстрее, переднее колесо вдруг соскользнуло с обочины. Все еще сидя в седле, он взлетел вместе с велосипедом в воздух, потом, инстинктивно собравшись, как спортсмен, рухнул вниз. Его выбросило на грядки, где увяла уже никем не собранная китайская капуста. Он безостановочно катился вниз, не в силах совладать со своим телом,— так бывает, когда тебя подхватит набегающая на берег волна,— со страхом думая, что вот-вот взорвется боль где-нибудь в мышцах или костях. Не удержавшись на капустных грядках, Исана врезался плечом и головой в земляную насыпь и, перемахни он через нее, несомненно вывихнул бы себе ключицу или свернул шею. Но тут, собрав все силы, он преодолел инерцию и, вжавшись в насыпь, остановился, чуть ли не вверх ногами...

Если бы он сразу вскочил на ноги, то, конечно, не удержал бы равновесия и тотчас бы снова упал. Некоторое время он лежал неподвижно, как пловец, отдавшийся волне. Беспокоило только, что из носа течет кровь. Он разбил его о руль, когда взлетел в воздух вместе с велосипедом. Земля же, на которую он упал — и трава, и листья, и сама почва, именно их он целыми днями разглядывал в свой бинокль,— не причинила ему никакого вреда. Возможно, ему покровительствовали души деревьев и души китов. Исана выплюнул сгусток крови, которая затекала в горло, вытер окровавленные губы рукавом джемпера и прижал его ненадолго к носу и губам. Лежа на спине, он увидел колышущиеся круг, крест и глаз, нарисованные на стене убежища. Глаз ли? — издевался он над своим рисунком, и слова были горше крови, заливавшей рот. Этим он старался успокоить свое тело — внутренности, кости, мышцы, потрясенные страшным падением. Потеряв способность к ориентации, он не мог понять, откуда к нему с криками сбегаются, вприпрыжку, как кузнечики, какие-то люди. Потом он узнал знакомых юнцов; громко смеясь, они нагло пялились на Исана. Конечно, смеющиеся подростки и не думали ожечь Исана своим смехом. Смех не был для них и средством снять охватившее их напряжение. Он напоминал скорее нетерпеливый лай собак, ожидающих, когда можно будет полакомиться попавшим в капкан зверем. Испытывая жгучий стыд, вконец растерянный, Исана встал. Покачнувшись, он услыхал новый взрыв хохота; смеявшиеся мальчишки не собирались даже расступиться и дать ему дорогу.

— Смотрите-ка, встал! Пошел! — завопил кто-то. Как человек, стоящий на доске, наклонно уходящей в воду, Исана, повинуясь инстинкту равновесия, покачивался то вправо, то влево. Медленно, шаг за шагом он приближался к убежищу, время от времени падал, и тогда сознание его фиксировало выкрики гогочущих подростков: смотрите ка, а он все еще идет! Их смех и крики словно сжались в ком злобы, подкативший к горлу. И злоба эта росла и росла с каждым шагом, вызывавшим хохот мальчишек; так на празднике толпа глумится над чучелом черта. Превозмогая боль, хромая, он добрел, наконец, до убежища.

Схватив стоявшую у стены косу, он, размахивая ею, бросился на орущих подростков. Если бы они всерьез пошли в контратаку, то жалкий, размахивающий косой Исана, к тому же еще вынужденный то и дело вытирать рукавом нос, был бы вскоре повержен наземь. Но для мальчишек его отчаянное нападение стало новой игрой, и они отбегали ровно на столько, чтобы коса не могла их достать. Злоба, вдруг вспыхнувшая в Исана, так же неожиданно угасла и сменилась опустошенностью.

Отбросив косу и вытирая рукавом кровь, он открыл входную дверь — за ней, как будто наготове, стояли Инаго и низкорослый мальчишка. Исана чуть не столкнулся с ними.

— Ха-ха-ха. Вы и вправду весельчак! Ха-ха-ха...— гримасничая, смеялась Инаго.

Стоявший рядом с ней мальчишка — на лоснящемся темном лице его, будто вымазанном сажей, выступали капельки пота — тоже смотрел на Исана как на диковинного зверя. Подрагивая заострившимся подбородком, он еле слышно засмеялся:

— Ха-ха-ха, ну и комик же вы! Когда нам приходит в голову над кем-нибудь посмеяться, мы придумываем всякие штуки, но вас никому не переплюнуть. Ха-ха-ха.

— Такаки здесь? — спросил Исана, почувствовав боль в плече.

— Только что был. В щель наблюдал. Но после ваших номеров он, чтобы не расхохотаться, решил поговорить с вами попозже. Вылез на крышу и спрыгнул на косогор за домом. Ха-ха-ха, нет, вы и вправду комик!

— Возьми, это антибиотик, доза и все прочее указано на пакетике. А как принимать снотворное, ты, небось, и сама знаешь.

— Спасибо,— с трудом выдавила из себя Инаго и снова сморщилась,— ха-ха-ха.

Мальчишка, стоявший рядом с ней, тоже смеялся. Глаза Исана привыкли к полумраку, царившему в доме, и он увидел, что свою правую руку мальчишка поддерживал левой. Она была обмотана тряпкой и дурно пахла. Джинсы висели на нем мешком, и кое-где проглядывало тело —темное, покрытое гусиной кожей. Исана посмотрел на его вспотевшее лицо, всклокоченные волосы паренька стояли торчком, у него явно был сильный жар. Придерживая раненую руку, он, выпучив и без того круглые глаза, верещал жалобным голоском: хи-хи-хи.

— Вы сошли сюда, чтобы уйти из дома? — спросил Исана.

— Значит, выгоняете больного человека? — сказала Инаго, широко раскрыв горящие глаза и притворно надув пухлые губы.

— Я подумал так, потому что вы спустились в прихожую.

— Да нет, просто Бой захотел посмотреть на вас вблизи после того, как вы свалились с велосипеда,— сказала Инаго и снова засмеялась: — Ха-ха-ха.

Выглянув в открытую дверь, Исана увидел, что мальчишки с криками и смехом тащат его велосипед. Один из них, нахлобучив на голову кувшин для воды, нес мешочек с мелочью — Исана не стал расплачиваться ею в аптеке. Инаго прошла мимо него и строго прикрикнула на них с порога:

— Too much! [1]

Исана некогда было раздумывать, что в данном случае могли означать эти английские слова. Подросток шагнул вперед, но тут же навалился всей тяжестью на перила и, потеряв равновесие, стал сползать на пол, всем своим видом давая понять, чтобы ему подали руку. Но руку, которую протянул ему Исана — другая была по-прежнему прижата к носу,— мальчишка, только что смеявшийся над ним, решительно оттолкнул. Между бровями у него пролегла глубокая складка, а глаза, затуманенные от жара, были полны ненависти и злобы. Он что то прорычал по-волчьи и недобро сверкнул глазами. Дверь в комнату была закрыта, в прихожей было темнее обычного, и сверкавшие у ног Исана глаза мальчишки казались еще злее. Инаго, обняв мальчишку, помогла ему встать на ноги. Поднимаясь с ним по винтовой лестнице, она сказала:

— Раньше ребята остерегались вас, а теперь, после вашего полета с велосипедом, они стали относиться к вам совсем по-другому.

---

[1] Хватит *(англ.)*.

— Но уважать, как видно, не начали,— горько усмехнулся Исана.

Дзин уже проснулся, причем такого пробуждения Исана не наблюдал еще ни разу за всю их затворническую жизнь. В комнате, где и днем — бойницы не очень-то щедро пропускали свет — царил полумрак, на диване лежал Дзин, уставясь в потолок. Магнитофон у него на коленях, поблескивая светло-коричневой лентой, издавал тихое шипение. Если же на самом деле магнитофон не включен, подумал Исана, значит, он при падении повредил слух. Казалось, что Дзин, прислушиваясь к шипению, погрузился в мир безмолвия. Но потом Исана понял: для Дзина существует и настоящий звук. Конец тянувшегося из магнитофона тонкого шнура достигал его уха. Дзин слушал магнитофон через наушник, а чтобы посторонние шумы ему не мешали, другое ухо прикрыл ладонью...

— Послушай, Дзин! — позвал Исана, но Дзин лишь чуть приподнял голову и больше никак не реагировал на возглас отца.

Исана, конечно, знал о существовании мешочка с принадлежностями к магнитофону и запасными сопротивлениями. Но ему и в голову не приходило, что записи птичьих голосов можно слушать через наушник. Когда Дзин хотел послушать голоса птиц, Исана тоже погружался в их переливы, заполнявшие убежище,— так изо дня в день текла их жизнь, и потому наушник им был ни к чему. Но, наверно, вторгшаяся в их жизнь девчонка да мечущийся на третьем этаже в жару мальчишка терпеть не могут птичьих голосов. И самое удивительное, что Дзин, не привыкший общаться ни с кем, кроме Исана, безропотно подчинился настояниям девчонки и вот с увлечением отдается новой забаве, прижав руку к уху с такой силой, что побелели пальцы, и при этом игнорирует кого? Самого Исана...

Исана прислонился к стене, он дышал открытым ртом, нос все еще кровоточил, он прижимал к нему рукав джемпера, и вид у него был довольно глупый. Он так и не пришел в себя после падения, да к тому же лишился сочувствия сына и казался себе всеми забытым и одиноким, покинутым на дрейфующей льдине, когда тело его и разум окружены бушующим океаном насилия. У него оставался единственный выход — воззвать к душам китов, плавающих в этом безбрежном океане. **Их дурацкий способ развлекаться просто смешон. Таких ребят, готовых находить развлечение в чем угодно, я видел только среди сверстников, когда был еще ребенком. Но ведь им-то по восемнадцать-девятнадцать лет. Свалившись с велосипеда, я устроил для них великолепный спектакль. Да, все их поведение говорило о безграничной жестокости. Но почему же они так нагло смеялись? Бесчувственно и беззастенчиво?**

Воззвав к душам китов, Исана удалось глазами бесчувственно и беззастенчиво смеющихся подростков взглянуть на свое падение. Происшедшее хотя и комично, но это еще терпимая неудача. Кроме того, они научили Дзина пользоваться наушником, что для самого Дзина отнюдь не бесполезно. Дзин наконец вынул наушник и, продолжая зажимать одной рукой ухо, в котором все еще слышалось муравьиное шуршание, опустил другую на живот. Желудок Исана стал резонировать в такт сигналам, которые подавал пустой желудок сына. Дзин послал Исана улыбку — так от центра все дальше и дальше к краям распускаются цветы в поле.

— Вот я и пришел, Дзин,— сказал Исана, ощущая, как лицо его подернулось рябью улыбки. Он приветствовал сына, который вернулся к нему, избавясь от влияния девчонки.

— Да, ты пришел,— сказал Дзин.

— Я упал с велосипеда, но все обошлось, к счастью. Это хорошо, правда?

— Да, это хорошо.

— Я тебе когда-нибудь объясню, как нужно падать, если уж угодил в беду. Давай-ка поедим кашу с курицей. Дзин будет есть кашу с курицей.

— Будет есть кашу с курицей,— повторил Дзин и пошел за Исана на кухню.

Тут Исана вдруг вспомнил, что оставил на огне кастрюлю, в которой вместе с кашей варилась курица. Он знал, что каша не подгорит, ведь он налил в кастрюлю много воды. Но курица в кастрюле за полчаса станет как резиновая. Вместе с Дзином он нырнул в пар, наполнявший кухню, и услышал тихое бульканье — каша спокойно варилась. Облако пара, вырвавшись в открытую дверь комнаты, стало таять. И, словно возникнув из пара, на тарелке, поблескивая капельками жира, появилась половинка курицы.

— Эта девчонка вынула курицу,— сказал Исана с естественной радостью голодного человека, собравшегося поесть.— Курица спасена.

— Да, курица спасена,— сказал Дзин с неподдельным удовольствием.

Срезав мясо с ножек, крылышек, ребрышек, Исана положил его на кашу в кастрюле, посолил и стал нарезать лук. Потом разложил по тарелкам, сдобрив кунжутным маслом и соей, и приготовил овощной гарнир. Пока Дзин ждал, чтобы каша остыла, Исана решил отнести еду своим жильцам с третьего этажа: он взял в одну руку поднос, поставив на него мисочки с гарниром, миски и палочки для еды, а в другую — кастрюлю с кашей, и стал по́дниматься по винтовой лестнице. На третьем этаже, открыв дверь плечом, он увидел такое, чего никак не ожидал. Не выразив удивления, не проронив ни слова, он опустил кастрюлю на старый журнал, валявшийся у самой двери, рядом поставил поднос и сразу спустился вниз...

Исана увидел лежащего на спине подростка, его темная без кровинки кожа от жара покрылась потом; он не обратил никакого внимания на внезапное появление Исана. Обмотанную тряпкой правую руку он, точно оберегая ее как нечто самое дорогое, прижал к груди. На его обнаженном животе, темном и впалом, лежала голова Инаго. Левой рукой, без жиринки, но в то же время гладкой и мягкой, она обнимала подростка за худое бедро... Повернувшись на миг, девушка сразу же увидела Исана. Но ни смущения, ни волнения в ее взгляде он не заметил.

Исана вернулся в комнату, где Дзин пробовал кашу нижней губой, и они оба с аппетитом поели, излучая друг на друга нежное тепло насыщающихся людей.

Глава 6

Снова о Китовом дереве

Поев каши и поспав, Дзин, испытывая потребность в движении, быстро заходил взад-вперед по комнате. Исана, закончив свои ежедневные размышления в бункере, внимательно наблюдал за действиями сына; но тут сверху спустилась Инаго, спокойно и непринужденно, нисколько не смущенная тем, при каких обстоятельствах Исана видел ее несколько часов назад, и сказала:

— Такаки передал, что хочет продолжить свой рассказ и ждет вас в машине. А за мальчиком я присмотрю. Больной принял снотворное и все равно спит.

— Это дрозд,— бодро заявил Дзин, продолжая ходить из угла в угол по комнате.

— Услышал свист, которым твои приятели сигналят друг другу. У Дзина прекрасный слух,— объяснил Исана.

— А я вот не слышу,— сказала девушка, с неподдельным уважением глядя на расхаживающего по комнате ребенка.

В поведении Инаго было нечто, позволившее Исана с легким сердцем оставить на нее Дзина. Между Дзином и Инаго— она, сменяя Исана, вошла в комнату, села на диван и с интересом следила за мальчиком — точно протянулась невидимая нить, и роль отца сразу же свелась на нет. Вокруг вишни забавлялись подростки — сжавшись в комок, падали на землю; увидев Исана, выходящего из убежища, они встретили его с напускным безразличием.

— Ха-ха-ха, что же вы не смеетесь? — тихо спросил Исана и засмеялся сам — что ему еще оставалось?

Слева внизу разворачивался темно-голубой «фольксваген». Потом машина на большой скорости помчалась вверх по узкой дороге. Исана узнал в водителе Такаки, но тот был в темных очках и при этом еще старался не смотреть на Исана, так что разглядеть выражение его лица было невозможно. Такаки открыл дверцу, не поднимая глаз на Исана. Как только Исана сел в машину, Такаки рванул ее с места, не обращая внимания на приближающихся подростков; можно было подумать, что он чем-то озабочен, на самом же деле серьезность его была напускной. Не напрягай он все время губы и щеки, давно бы, небось, рассмеялся: ха-ха-ха. Сухое, с туго натянутой кожей лицо парня в профиль вообще не казалось грустным, напротив, оно было полно молодого, может быть чуть наивного, веселья. Нет, он ничем не отличается от остальных ребят, подумал Исана, что, впрочем, вполне естественно... Исана без всякой задней мысли протянул руку к карте, лежавшей на приборной доске вместе с большим блокнотом. Однако Такаки, который вел машину, вроде бы не замечая Исана, грубо, словно пинком остановил его:

— Не трогайте! Машина ведь краденая. И блокнот чужой!

Значит, этот парень действительно украл машину и приехал на ней? — обратился Исана к душам деревьев, росших слева на небольшом холме, и отдернул руку.

— Видите там, вдали деревья? — спросил Такаки, в голосе его не осталось и следа былой резкости.— Что это, в общем-то, за деревья?

— Вон те, самые высокие,— красная сосна и дзелькова,— сказал Исана.

— А эти огромные деревья — с мелкими ветками без листьев, похожими на метелки? — снова спросил Такаки.

— Это и есть дзелькова.

— Дзелькова? Какие красивые деревища; их здесь, в окрестностях, очень много,— сказал Такаки.— А в наших местах мало.

Дзельквы, очерчивающие вместе с красными соснами контуры холма и на первый взгляд разбросавшие как попало свои не то коричневые, не то темно-фиолетовые стволы, соединялись на фоне бледного серовато-голубого неба в четкую конструкцию. Рассматривая дзельквы, вперившие в облачное небо свои тонкие, но сильные ветви, и называя их так же, как только что назвал юноша,— деревищами. Исана почувствовал, насколько они желаннее всех, самых желанных деревьев. **Мне кажется, их бесчисленные ветви подают тайный знак людям, и в первую очередь мне, но как прочесть его, как сделать понятным?** — спрашивал Исана у душ деревьев.

— Я помню почти все деревища в Токио. Они, вместо дорожных знаков, помогают мне удержать в памяти карту города. Если мне надо куда-нибудь, я еду, заранее представляя себе, где какие растут

деревища. И, угоняя машину, я всегда держу их в памяти — это здорово помогает. Если за мной гонятся, следуя бездушным дорожным знакам, они никогда меня не поймают.

— Но на улицах, рядом с многоэтажными домами, огромные дзельквы существовать все-таки не могут. Они росли в старые времена в приусадебных лесах. Там, где раньше были крупные помещичьи усадьбы или остались большие незастроенные участки, дзельквы еще сохранились, но в центре города ни одной не осталось.

— А вы пойдите в центр города, заберитесь на крышу многоэтажного здания и посмотрите вокруг. Сразу же убедитесь, что я говорю правду,— уверенно сказал Такаки.— Нет, дзельквы еще кое-где сохранились — они высятся там и сям, как кактусы посреди пустыни в ковбойском фильме. Если долго смотреть на них, наоборот, многоэтажные здания исчезнут из виду и в уме возникнет карта местности.

— Пожалуй, ты прав,— сказал Исана, слова парня его убедили.— Да, тебе не откажешь в наблюдательности, когда речь идет о деревьях.

— Впервые попав в Токио, я подумал, что раз здесь живет такое огромное скопище людей, то и Китовые деревья тоже должны расти, и стоит подняться на высокое открытое место, сразу увидишь Китовое дерево, принадлежащее незнакомым людям. И вот каждое воскресенье, углядев с крыши универмага огромное дерево, я засекаю направление и иду посмотреть на него.

— Значит, по-твоему, Китовое дерево относится к дзельквам? — спросил Исана, находя в переплетении тонких красновато-коричневых ветвей стоящей на фоне облачного неба дзельквы много общего с китом.

— Мне кажется, что Китовое дерево — это чаще всего деревище. Просто, собравшись однажды вокруг него, люди решили: давайте считать эту прекрасную старую дзелькву Китовым деревом.

Такаки умолк, он сосредоточенно вел машину. Они подъехали к широкой реке, перерезающей равнину, обогнули огромную дамбу, на которой мог бы приземлиться легкий самолет, поднырнули под двухъярусный стальной мост для поездов и автомашин и недавно построенную скоростную автостраду — железобетонное сооружение в виде корабельного днища и, наконец, пробрались через вереницу автомашин, скопившихся в ожидании переправы по стальному мосту. Китовое дерево, размышлял Исана, обращаясь к душе Китового дерева, растущего неведомо где. Китовое дерево — Исана никогда не видел его, но, возможно, это дерево важнее всего, что ему предстоит увидеть в жизни. Где-то в непроходимых лесах, в самой чаще есть поляна, расчищенная от подлеска и травы, чтобы создать наилучшие условия этому особому дереву. И в центре поляны высится громадное, могучее дерево, олицетворяющее табу, существующие в той местности, дерево, которому поклоняются все. И есть на свете подросток, душой которого завладело Китовое дерево. Этот подросток задумался: а вдруг Китовое дерево — это деревище, то есть огромная дзельква? Ведь именно дзелькву называли когда-то могучим древом. Но подросток покинул родные места, так и не увидев Китового дерева. И вот он попадает в огромный город, который смело можно сравнить с лесными дебрями, и устремляется на поиски могучей дзельквы. Устремляется лишь для того, чтобы, отыскав место, где растет Китовое дерево, принадлежащее незнакомым ему людям, установить, наконец, какое дерево называли Китовым в тех краях, откуда он родом...

Машина, благополучно миновав забитую автомобилями дорогу, снова спустилась под гору и медленно двигалась, лавируя между домами, стоящими на осушенной низине. Потом сунулась в глухой закоулок — отсюда, подумал Исана, не выбраться,— и они и впрямь уткнулись в толстую металлическую цепь, лежавшую поперек дороги. Здесь начинался крутой склон, поросший прошлогодней сухой травой и редкими кустиками новой; он переходил затем в небольшую возвышенность, где росли вечнозеленые деревья, покрытые шапками запыленной листвы. Машина, вместо того чтобы остановиться у подножия, задрала нос и резко пошла вверх. С ревом забралась она на самую вершину, откуда справа и слева спускались рельсы американских гор и обезьяньего поезда. Из самого парка пейзаж казался каким-то ненастоящим, будто на сцене среди густых зарослей задника декорации возвышался далекий холм, сплошь поросший деревьями.

— А как спустишь отсюда машину? — спросил Исана.

Потянув на себя ручной тормоз до упора, съехав на сиденье назад и утонув в нем, Такаки стал осматривать парк, красные сосны и дзельквы. Наконец, он, казалось, уловил смысл вопроса Исана. И, вздохнув, сказал:

— Машину оставим здесь. Трава разрастется, и ее долго никто не сможет найти. Как привольно живут здесь птицы. Они питаются тем, что разбрасывают в парке эти отвратительные животные. Самая благодать здесь птицам и крысам. Надо бы разок привести сюда Дзина, птицы его позабавят.

Зная, что Инаго докладывает своему предводителю обо всем, Исана рассчитывал на объективность ее информации.

— Нет, Дзин действительно интересуется птицами, но его привлекает только их пение. Как следует разглядеть летящую птицу он не в состоянии. Услышав пение множества самых разных птиц, да еще сопровождаемое грохотом американских гор, он скорее всего просто испугается.

— Необычный ребенок.

— Да, хорошо ли, плохо ли, но необычный,— сдерживая готовую прорваться гордость, сказал Исана.

Такаки снова завел разговор о Китовом дереве:

— Я говорил, что сам не видел Китового дерева в наших местах, но это как раз и подтверждает его существование. Мне, как могли, мешали увидеть его — вот в чем дело. А раз мне в детстве запрещали видеть его, оно и не шло у меня из головы. Заболев, я без конца видел во сне огромное черное дерево, шелестящее на ветру, и в густых ветвях, в листве этого дерева, как на слайдах, возникала одна картина за другой. Изображения со слайдов, на которых были засняты действительные события, тоже появлялись на Китовом дереве. Сейчас мне даже кажется, будто однажды глубокой ночью я, весь в жару, ходил в лесную чащу и своими глазами видел, как на Китовом дереве мелькали изображения слайдов. И хотя у меня тогда был жар, это не выдумка. Ведь кое-что во сне — правда. Я думаю, нельзя утверждать, что именно жар был всему причиной, нет, но потом голова прояснилась от дурманящего жара, и разные смутные обрывки построились в систему. Взрослые, конечно, избегали разговоров о Китовом дереве, но разрозненные факты, которыми была забита моя детская голова, впервые сложились в нечто осмысленное. Сон показал их мне, а экраном служило Китовое дерево. Моя голова, близкая к безумию из-за сильного жара, только благодаря ему, наверно, и смогла вобрать в себя все, что по крупицам узнают дети в

наших местах. Мне кажется, я видел сон, воплотивший все сны всех детей наших мест. Я видел сон и так дрожал, что и врач, и родители боялись, как бы я не сошел с ума или не умер. Вы мне верите?

— Разумеется, верю,— сказал Исана.

— Вот что я увидел на экране из листьев Китового дерева.— Такаки проглотил слюну, преодолев возникшие было сомнения.— Началось все с того, что взрослые нашей деревни — и старики, и женщины, и даже тяжелобольные, все, кроме детей,— глубокой ночью собрались под Китовым деревом. Вернее сказать, не собрались глубокой ночью, а оставались там много часов подряд: с захода солнца, всю безлунную ночь до рассвета. Пока эта долгая сходка не кончилась, уйти из лесу не разрешалось никому. Собравшиеся стояли молча, потупившись. Ночь была безлунной, но все вокруг освещали неяркие отсветы мелькавших в небе зарниц. Ведь даже в полной темноте, если закинуть голову назад, линия носа будет поблескивать. И глаза тоже, верно? Но в ту ночь все стояли не шевелясь и опустив голову. Еще до той ночи, когда у меня был жар, мы много раз обсуждали с ребятами, что нам делать, если взрослые все без исключения уйдут из деревни и оставят нас одних. Вот я и увидел во сне такую ночь. Может, это покажется странным, но именно потому, что такая ночь действительно была в п р о ш л о м, я з н а л, что ребята, плавая в реке, протекавшей в долине, или ставя силки, в которые никто не попадал, спорили, что нам делать, если все взрослые уйдут из деревни и в ней останутся только дети, козы и собаки. Пылая жаром, я смотрел на экран и со страхом ждал, что вот-вот должно что-то случиться. Медсестра, не из наших мест, потом еще долго смеялась надо мной, потому что во сне я все время вытягивал руки, как будто пытаясь остановить что-то надвигавшееся на меня, и вопил: снова начнется, снова начнется! Но я, наверно, хотел сказать: скоро начнется, а не снова начнется. И тут как раз началось то, что я пытался остановить. На экране Китового дерева, шелестевшего черной листвой, появилось само Китовое дерево, и собравшиеся под ним жители деревни — эта черная толпа людей — окружили приведенную сюда семью в мешковатой одежде из белой поблескивавшей в темноте бумаги. И одежда, и лица людей, облаченных в нее, виделись как в тумане. Так обычно бывает во сне, когда мы видим нечто волнующее нас в том обличье, в каком оно нам представляется. Отчетливо можно было разобрать, что люди эти в мешковатой одежде из белой бумаги и что это одна семья. Черной стеной окружавшие их люди — не только женщины, но даже дряхлые старики — все, как один, молча швыряли в них камнями. Это продолжалось бесконечно долго, наконец, все члены семьи, избиваемой камнями, попадали на землю, и их бросили в специально вырытую яму, а на экране Китового дерева снова возникли черные склоненные головы безмолвной толпы. Потом появилась еще одна семья в мешковатой одежде из белой бумаги и тоже упала под градом камней. Так повторялось пять раз. И черная толпа избивающих, и избиваемые в мешковатой одежде из белой бумаги не вымолвили ни слова, и всю ночь шелестело лишь Китовое дерево — такой это был сон, и то, что в нем случилось, повторялось пять раз... И мешковатая одежда из белой бумаги, и пятикратное повторение, должно быть, имели для взрослых из нашей деревни какой-то особый смысл. Выздоровев, я спрашивал потом у домашних, но они мне ничего не отвечали. Меня стали считать ненормальным, подзатыльники—вот и все, чего я добился. А врач из соседнего городка, которого позвали ко мне, уверенный, что я все равно умру, совсем меня не лечил и убеждал родителей: если он и вы-

живет, то останется навсегда тихим идиотом, а может, и буйно помешанным — радости в этом мало! Из-за того, что у меня долго не проходил жар, я стал похож на красную креветку и, метаясь по постели, то сгибался, то разгибался, тоже как креветка. Очнулся я дня через два-три, когда жар спал. Я весь был изранен, а на шее появилась багровая полоса, точно мне сдавливали горло веревкой.

Такаки внезапно умолк. Его худое лицо вдруг побагровело и вспухло, а в широко раскрытых глазах проступила кроваво-красная сетка.

— Пошли! — Исана понимал, что о Китовом дереве Такаки рассказал все, что знал, и хотел, чтобы он, по возможности лаконично, выбирая самую суть, снова рассказал свой жуткий сон — суд под Китовым деревом.

Такаки — лицо его стало прежним — повел глазами и молча кивнул. Они вылезли из машины, и «фольксваген», вместо того чтобы остаться неподвижным, начал вдруг раскачиваться, как зверь, потерявший равновесие, и пополз вниз.

Такаки не обратил никакого внимания на падение машины и, шагая вперед под темной крышей вечнозеленых деревьев, сказал:

— Такому человеку, как вы, который хотел услышать о Китовом дереве, а услыхав, не стал приставать с дурацкими объяснениями, вот такому человеку я и хотел все рассказать.

Исана в искреннем тоне юноши уловил задушевность и ответил словами, не имевшими, казалось бы, непосредственного отношения к его рассказу.

— В такие тихие вечера я как бы ощущаю поддержку окружающих меня деревьев и, мне кажется, могу действовать наилучшим образом. Вот почему, я думаю, что мне помогают д у ш и д е р е в ь е в...

Теперь Такаки стоял на самой низкой части насыпи и, собираясь спрыгнуть на открытое место за каруселью, внимательно осматривал землю. Он беспокоился не о себе, а об Исана, который сегодня утром упал с велосипеда.

— В такие минуты, даже размышляя о смерти, я думаю: это еще одна радость для человека,— продолжал Исана.

Они очутились в парке и, обойдя карусель, двинулись к выходу, где была автобусная остановка; юноша, чуть задержавшись, поравнялся с Исана.

— Неужели вы решитесь умереть, бросив Дзина на произвол судьбы?

— Ты прав, конечно. Потому-то я и не думаю о смерти как о конкретной программе действий. Нет, это не более чем приятные мечты о том времени, когда придет смерть, о том, чтобы быть к ней готовым. Когда смотришь на могучие стволы и тоненькие веточки огромных деревьев — дзельквы, вяза, которые ты называешь деревищами,— подобные мысли особенно часто приходят в голову. Эти могучие деревья делают бессмысленной границу между жизнью и смертью, тем более зимой, когда кажутся сухими и мертвыми... Я люблю, когда зимой в деревьях замирает всякая жизнь.

— Вы считаете, что деревья впадают в зимнюю спячку? Животные могут погружаться в зимнюю спячку, я знаю даже одного ч е л о в е к а, который путем упражнений приучил себя к этому,— сказал Такаки. В интонации, с какой он произнес «человека», явно чувствовалось шутливое желание поместить этого чудака в один из разделов биологического атласа. Исана рассмеялся вместе с юношей, но допытываться, какие упражнения нужны, чтобы научиться впа-

дать в зимнюю спячку, не стал. Перебравшись через запертые ворота и подойдя к остановке автобуса, Такаки, точно вдруг вспомнив о чем-то, предложил:

— Может, сходим еще в наш тайник?

— Нет, я должен вернуться к Дзину. Нельзя надолго оставлять его с чужим человеком,— сказал Исана.

— В ближайшие дни я вас туда отведу,— сказал Такаки и, направившись к оживленному перекрестку, исчез. В одиночестве ожидая автобуса, Исана внезапно подумал: не обидел ли я его своим отказом?

На следующий день Исана с нетерпением ждал, когда придет Такаки. Но от него не было никаких вестей дней пять. Пока Такаки не показывался, подростки, которыми он предводительствовал, слонявшиеся прежде вокруг убежища и вишни, тоже куда-то исчезли. Больной, затаившись на третьем этаже, усиленно лечился, и в жизнь Исана и Дзина вторгалась одна лишь Инаго. Таким образом, явные перемены, происшедшие в жизни Исана и Дзина, и начало новых перемен — все совершалось под влиянием притягательной силы пылающих янтарным блеском глаз девчонки, смеющихся даже в самые серьезные минуты, и ее смуглой кожи. Совсем не стремясь к этому, она завладела сердцем Дзина. Исана всегда думал, будто сознание его ребенка подобно закупоренной консервной банке. Проделав в ней крохотное отверстие, Исана научился как бы с помощью тоненькой трубочки добираться до его сознания. И когда самого Исана не было рядом с Дзином, он оставлял у конца трубочки магнитофон, на ленту которого были записаны птичьи голоса. Исана был убежден, что возможны лишь два этих способа общения с сознанием Дзина. Но сейчас в консервной банке, заключающей сознание ребенка, появилось еще одно отверстие, и туда стало интенсивно вливаться нечто иное...

Сначала Исана считал, что подобная роль девчонке не под силу, но оказалось, что Инаго обладает прирожденным талантом педагога.

Она не только без всякого труда нашла путь к сердцу Дзина, но и безбоязненно пошла на сближение с Исана. Выразив желание спуститься в бункер, она с интересом разглядывала его устройство— это ли был не лучший способ завладеть сердцем Исана. Когда она залезла в бункер, а Исана позволил ей это, сам оставаясь у открытого люка, Инаго почтительно, но голосом, от которого голова шла кругом, задавала ему вопросы. Заглядывая в бункер, чтобы ответить ей, он встретился с горящими в темноте глазами девушки. И испытал стыд, будто залучил в ловушку маленького зверька, и вспыхнувшее огнем желание. Хотя сидевшая в бункере девчонка была наполовину поглощена тьмой, в глубоком вырезе куртки из джинсового материала виднелись не только плечи, но и маленькая грудь, и цилиндрики сосков. Правда, Инаго не придавала этому никакого значения. Все ее внимание было приковано к четырехугольному отверстию в бетонном полу, где была настоящая земля.

— Раньше я думала: как ужасно, если в этом бункере уцелеем лишь мы одни, даже когда сбросят атомную или водородную бомбу и весь Токио будет разрушен. Но оказывается, это такое место, где можно держать ноги в земле, пока снаружи по той же самой земле мечутся люди. Выходит как бы наоборот — мы не останемся в одиночестве. Я не могу как следует выразить это, но...

Прошла неделя, и Такаки сообщил через Инаго, что он хочет встретиться с Исана у лодочной станции, рядом с парком. Такаки, наверное, потому сам не пришел к убежищу, что больной с третьего

этажа был против того, чтобы показывать постороннему человеку тайник. Теперь уже без всякого страха поручив Дзина заботам девушки, Исана отправился в условленное место. Широкая река лежала под облачным, пасмурным небом — глядя с лодочной станции на ее сверкающую гладь, изрезанную островками, невозможно было определить, в какую сторону она течет. Такаки сидел спиной к реке, опершись на локти с видом скучающего чудака, явившегося на лодочную станцию после конца сезона, и ждал Исана. На дне воронкообразной впадины, куда они спустились, какой-то подросток, войдя в воду, вытащил из зарослей тростника белую металлическую лодку. Место было удивительное. Заросший тростником островок прямо перед ними и другие островки, расположенные рядом, не позволяли людям, стоявшим на дамбе, увидеть, как Исана и Такаки, грохоча, залезали в лодку, которую удерживал подросток.

Так и не произнеся ни слова, не подняв головы, он оттолкнул лодку, а сам остался стоять в мутной мелкой воде. Бросив последний взгляд на него и на тростник, покрывающий остров, Исана повернулся к Такаки, взявшемуся за весла. Хотя он еще не начал грести, лодка плыла вниз по течению, получив ускорение от толчка.

— Разве ваш больной товарищ не возражал против того, чтобы ты приводил меня в тайник? Удалось его уговорить? — спросил Исана.

— Бой, что ли? Да я думал, он вчера умрет. Вот и решил: пусть возражает, если ему от этого легче,—как ни в чем не бывало сказал Такаки.

Исана так покраснел, что лицо его, обдуваемое легким речным ветерком, казалось, вспыхнуло. Он даже начал заикаться:

— Думал, вчера умрет? Значит, вы решили подбросить нам с сыном в убежище труп?

— Совершенно верно,— спокойно согласился Такаки.— Нам было бы трудно избавиться от трупа Боя. Даже если бы он умер от столбняка, его раны любому врачу показались бы подозрительными. И он из любопытства или профессионального долга, но обязательно постарался бы заинтересовать этим полицию.

— В общем, собирались повесить на нас с Дзином покойника? — зло бросил возмущенный Исана, прервав беспечную болтовню Такаки, который словно нарочно пытался еще больше разозлить его.— Но почему? Почему вы решили оставить труп именно у меня? Почему? Вы хоть подумали о том, что делаете?

— Не кипятитесь! Надеюсь, вы не наброситесь сейчас на меня? Мы ведь в лодке, не забывайте,— сказал Такаки, отпустив весла и вытянув перед собой руки, точно готовясь отразить нападение.

Исана увидел, что глаза юноши, которые тот все время отводил в сторону, налились кровью, лицо посерело, пошло пятнами, и на нем появилось злое и в то же время странно заискивающее выражение.

— Видите ли, мы, Союз свободных мореплавателей, выбрали именно вас,— сказал Такаки, не меняя позы.

Некоторое время, пока он не греб, лодка плыла, набирая скорость, между островками.

— Мы выбрали именно вас,— продолжал Такаки,— потому что, долгое время наблюдая за вами, убедились, что вы отличаетесь от остальных жителей этих мест. Мы сразу поняли, что вы человек странный, но в чем состоит ваша странность, не представляли себе, пока я не услышал ваш рассказ о китах и деревьях. Тогда я и подумал, что если вы и стоите между нами и всеми остальными людьми

на свете, то все-таки вы ближе к нам. Вот я и решил установить с вами контакт. И получилось так, что, когда Бой оказался при смерти, мы сделали ваше убежище приютом для умирающего. Но Бой, как известно, не умер, и никаких осложнений, из-за того чтоб отделаться от его трупа, не возникло. Теперь его можно даже спокойно забрать из вашего убежища, и все-таки я решил показать вам тайник Союза свободных мореплавателей. Отныне вам будет ясно, что мы всерьез хотим наладить с вами контакт. Во всяком случае, ни с кем другим завязывать отношений не собираемся.

— Это-то я понимаю, но...

Лодка доплыла до конца протоки, им пришлось вылезти из нее и пробираться под аркой водостока. Миновав арку, они оказались в самом центре огромной свалки. Чего только здесь не было, ни дать ни взять — выставка негодных выброшенных предметов, связанных с жизнью человека. Лучшим доказательством того, что мусор сваливают сюда уже не первый год, были прорезавшие его слои сухой травы. В этой горе мусора был вырыт проход в ширину плеч человека. Следуя за Такаки, Исана шел по проходу, стараясь не касаться грозящих обвалом мусорных стен, потом свернул за угол — поворот, видимо, был сделан для того, чтобы проход не просматривался насквозь,— и оказался у киносъемочного павильона.

(Окончание следует)

1878–1978

ХРИСТО НЕЙКОВ (Болгария). Перед боем

Критика

ЛИТЕРАТУРА МОЛОДЫХ: ГРАНИ ПРОБЛЕМЫ

НАЧАЛО

«Быть просто-напросто молодым — это слишком мало и не повод для серьезной дискуссии... Вот если ты молод, как Пушкин, или как Рембо, который, не достигнув и двадцати лет, создал поистине революционные произведения, или как Томас Манн, ставший автором «Будденброков» в двадцать пять лет...» Румынский поэт Аурел Драгош Мунтяну, участник Второй встречи молодых писателей социалистических стран в Москве, безусловно верно, хотя и несколько максималистски подошел к проблеме. Что определяет литератора новой генерации, написавшего первые книги в 70-е годы? Какими путями он пришел к осознанию своего общественного назначения и творческого призвания? Какими видятся ему 80-е и 90-е годы литературы его страны? Круг вопросов, которых коснулись участники встречи,— она проходила под председательством секретаря СП СССР О. Шестинского,— писатели из Болгарии, Венгрии, Вьетнама, ГДР, Кубы, Монголии, Польши, Румынии, Чехословакии и Советского Союза, был весьма широк, но центральной оставалась тема: «Общественное призвание писателя». «Временем самого своего рождения нам выпала счастливая доля жить и писать в новом мире,— сказал советский прозаик Альберт Лиханов,— где социализм стал достижением и преимуществом не одной только советской страны. Мир социалистического содружества — великие, благородные, сильные слова. Большое счастье писать, чувствуя плечо друга, хотя он и говорит и пишет на ином языке, но живет одним с тобой чувством, одной мыслью. Это подарил нам социализм».

Молодой литератор формируется и крепнет вместе с обществом, в котором живет и на которое порою влияет самым существенным образом. Молодой литератор социалистических стран, как отметил Мунтяну, «находится в привилегированном положении, ибо участвует в жизни общества, где надо делать все. Сегодня мы дерзаем радикально менять человека. Тысячелетия он жил под тиранией собственности. Человек был связан тем, чем он владел, и даже предопределялся тем, чему был хозяином. Разве легко создавать социальные условия для освобождения человека от бремени «богатства», для подлинной отшлифовки его натуры? Революция — не парад, мы все это хорошо знаем сегодня, и писатель — не трубач, а борец, идущий в первых рядах, там, где иногда бывает беспощадный перекрестный огонь».

История развития социалистического искусства в разных странах и на разных этапах убедительно показывает, что с точки зрения его основных принципов не может быть деления на молодых и старых, отцов, детей и внуков. «Социалистическое искусство по самой своей сути молодое, боевое, жизнерадостное, и его примечательная особенность — постоянный приток молодых талантов»,— напомнила советский специалист по литературам социалистических стран С. Шерлаимова.

Другими словами, молодость, революционность, наступательность — непременные

черты нового искусства — стали одновременно категориями эстетическими. И все же вспомним. Когда вышла в свет первая книга «Тихого Дона», ее автору было всего двадцать три года. Чешский поэт Иржи Волькер за свою короткую жизнь успел создать лишь две тоненькие книжечки стихов, но его творческое наследие составило целый этап в развитии чешской поэзии, нити от него явственно прослеживаются и в современной поэзии Чехословакии. Навсегда молодым остался и Христо Смирненский; его справедливо называют основоположником болгарской поэзии социалистического реализма. Важной вехой в развитии польской пролетарской литературы явился сборник «Три залпа», выпущенный в свет в 1925 году молодыми революционными поэтами Броневским, Вандурским и Станде. Своеобразие мятежной музы замечательного венгерского поэта Аттилы Йожефа отчетливо обозначилось уже в сборнике «Не я кричу»— а автору этой книги еще не было и двадцати.

Этот список имен писателей, о которых говорила С. Шерлаимова, дополнил вьетнамский писатель Ань Дык; он напомнил о молодом поэте Ле Ань Суане и писателе Ле Винь Хоа, погибших на войне против американских агрессоров, о Тхань Хае, в недавнем прошлом — связном на знаменитой тропе Хо Ши Мина, дороге, идущей по склонам Чыонгшона, а сегодня — известном поэте. Он говорил о своих сверстниках, талант которых мужал в тысячекилометровых переходах через чащобу джунглей, в горах, под бомбами и снарядами врага; они пережили лихорадку и соляной голод, сражались в рукопашных схватках с американскими солдатами. Они жили твердой верой и надеждой в победу. «Все это, наша жизнь и революция были настолько бурными, что желание, настойчиво толкавшее к чистому листу бумаги, стало непреодолимым. Вот так и стали мы писателями».

Почти все участники встречи поделились своими соображениями по поводу одного из определяющих вопросов современного искусства — соотношения традиции и новаторства. Ладислав Баллек (ЧССР) сравнил продукт творчества — произведение искусства — со связкой прутьев, которые «лишь в сплетении обладают силой», а в отдельности обречены на гибель: «Когда первое яблоко собственного урожая увидет нам в руки или на голову, мы допускаем или начинаем допускать, что наше творчество, если оно хочет существовать и продолжать свое существование, рождается на какой-то основе, в сложном сочетании элементов старого и нового, создавая то, что перерастает в будущее». А Ян Брудницкий (Польша) закончил свое выступление такими словами: «Мы ощущаем весьма тесную связь с великолепными традициями польской революционной и народной поэзии, с теми ее течениями, которые сформировались еще в период между двумя мировыми войнами. Сюда относятся такие имена выдающихся поэтов, как Броневский, Пшибось, Шиманский, которые были к тому же прекрасными переводчиками революционной советской поэзии — Маяковского, Блока, Есенина». Социалистическое искусство не знает так называемого разрыва поколений, отказа от национальных традиций, от творчества предшественников — черт, столь свойственных «контркультуре» современного Запада, авангардистским направлениям буржуазной культуры.

«Новое поколение должно выявлять нового поэта, который может взглянуть на мир по-своему, выражая опыт своих сверстников,— сказал О. Шестинский.— Мы, старшие люди, восприняли начало космической эры как чудо. А поэт Олег Хлебников, который родился в 1956 году, то есть во времена запуска первых космических спутников, пишет о космосе как о реальной, обычной своей жизни:

Начинается космос над головой...
стоит чуть-чуть приподняться —
в него окунешься...

Но приятельское отношение к космосу — не бравада. Поэт понимает, что в судьбе его поколения такое смогло произойти лишь благодаря накоплению опыта старшими поколениями. Его уважение к жизни предшественников своих — яркая черта его поэзии. Для нравственных устоев молодой поэзии показательны строки О. Хлебникова, одного из ее представителей, строки о героях войны:

Состариться такие не могли,
Пускай морщины лоб избороздили.
Наверно, это трещины земли
Прошли по их судьбе и проступили».

«Для нас борьба за социализм, борьба за свободу народа, борьба за мир и социальный прогресс является главной темой. И ни один писатель не может уйти от нее,— сказал Гильермо Родригес Ривера (Куба).— В каждой стране, несомненно, есть свои особенности. Но тем не менее главное, что нас объединяет,— общность наших идей, борьба за счастье и справедливость». Общность идей определяет и единство социалистических литератур при национальном своеобразии развития каждой из них. Проблема общего и особенного тоже вызвала оживленную дискуссию. Выступавшие отмечали, что на характер литературы в каждой стране накладывает неповторимую печать и история этой страны, и ее конкретная современная ситуация, и особенности отечественных культурных традиций. Например, в литературах ГДР или Чехословакии существуют прочные традиции изображения рабочего класса; в других — в болгарской, венгерской, румынской — традиционно сильнее изображение деревенской жизни; в

литературе Югославии, в польской и словацкой литературах значительное место занимает партизанская тема, в социалистической литературе Вьетнама — изображение героической борьбы против американских агрессоров. Все это отражается и на новой, сегодняшней литературе. Но вместе с тем неизменно укрепляется и общее в социалистических литературах, позиции марксистской эстетики и социалистического гуманизма.

Обращаясь к некоторым участникам встречи с просьбой ответить на наши вопросы, редакция задалась двойной целью: дать возможность читателям «Иностранной литературы» получить более полное представление об обсуждавшихся проблемах и ближе познакомиться с людьми, которые сегодня начинают свой путь, а в скором времени, возможно, станут гордостью национальных литератур. Вот эти вопросы:

1. *Что определяет пафос творчества и гражданское назначение молодого писателя, пришедшего в литературу в 70-е годы?*
2. *Сейчас часто толкуют о кризисе печатного слова, о невозможности литературы конкурировать со средствами массовой информации, об устаревании романических, повествовательных жанров. Какой Вам представляется литература 2000 года?*
3. *Расскажите о знакомстве читателя Вашей страны с произведениями молодых писателей социалистических стран.*
4. *Как вы решаете для себя извечный вопрос о традиции и новаторстве? Кого из писателей Вы считаете своими учителями?*

Ответы, которые прислали нам участники встречи по возвращении на родину, как увидит читатель, непохожи по манере изложения; и в оценке одних и тех же явлений их мнения порой не совпадают, а порой в них сказываются во многом неустоявшиеся, недостаточно четкие, но, пожалуй, показательные для молодого поколения литераторов воззрения на проблемы творчества, на будущее художественного слова.

Росен Босев

БОЛГАРИЯ

Прозаик. Несколько лет был корреспондентом болгарских газет, редактором в издательстве «Български писател». Сейчас работает в отделе «Искусство и культура» газеты «Работническо дело».

Председатель Кабинета молодых писателей при Союзе болгарских писателей. Кандидат в члены ЦК Димитровского коммунистического союза молодежи.

Издал сборники рассказов «Вперед через росу», за который получил премию Союза болгарских писателей, «Сние-зеленое» и «Небесный дом».

Молодой писатель семидесятых годов нашего века — это представитель помудревшего, трезво мыслящего человечества, которое все явственнее осознает свои задачи и ответственность перед будущим, видит свои недостатки, своих друзей и врагов на пути к равенству и братству между народами. Как никогда, болгарская литература несет в себе определенные идеи. Сегодня судьба отдельного героя выражает позицию автора по отношению к обществу в целом.

Для нашего времени характерен приход всех видов искусства на реалистические позиции. Продолжавшееся десятилетиями чисто формальное экспериментирование как будто завершается, оставляя в арсенале писателя отдельные новые приемы, подчиняющиеся реалистическому жизнеописанию.

Научно-техническая революция также оказывает влияние на творчество молодого писателя, детство которого прошло под радугой первых космических орбит. Проблемы, которые порождает вторгающаяся в повседневную жизнь техника, не могут оставаться вне поля зрения молодых авторов. Не следует пренебрегать и тем фактом, что современный мир нивелируется под влиянием НТР, а потому надо внимательно всматриваться в этот мир, находить в нем неповторимые, никем не замеченные черты, чтобы сделать свое открытие всеобщим достоянием. И если молодой художник талантлив и его побуждения искренни, то в его произведениях с неизбежностью проступят контуры будущего коммунистического общества.

Я не думаю, что кино и телевидению удалось «похитить» хотя бы одного человека из числа настоящих читателей. Скорее они набирают себе многочисленных поклонников из числа тех, кто и раньше был равнодушен к искусству и литературе. Лично я довольно скептически отношусь к способности большого и малого экрана служить эквивалентом литературы, но в то же время ясно отдаю себе отчет в широких возможностях новых видов средств массовой информации.

Бесспорно, телевизионные фильмы, созданные по произведениям Толстого, Достоевского, Диккенса или Стендаля, не в состоянии раскрыть всех достоинств этих про-

изведений. Но нельзя отрицать и тот факт, что идеи произведений, их замысел, пусть и не исчерпывающе, доходит до многих зрителей, которые раньше вообще не прикасались к этим книгам. Возможно, посмотрев телевизионную экранизацию, они прочтут их.

Что ценнее — сто миллионов различных образов Анны Карениной в сознании каждого читателя или миллиард похожих образов Анны Карениной в сознании всех зрителей? Мне кажется, это — неразрешимая дилемма. Тезис об устаревании романических и повествовательных жанров, по-моему, неточен. Разумеется, современный роман видоизменился — он стал более динамичным, более условным, но наряду с этим более прямолинейным. И я думаю, что сторонники идеи отмирания романа ищут аргументы не в этих изменениях, а чисто в формальном факте — уменьшении количества произведений этого жанра и их объема. Они утверждают, что у современного читателя нет времени для чтения романа объемом в одну-две тысячи страниц. Мне кажется, что читатель не виноват; просто мало сейчас писателей, способных посвятить десять — двадцать лет своей жизни созданию огромного произведения. Но как раньше, так и сейчас писатель на протяжении жизни создает одно-единственное произведение — собственное творчество. И то, что он сейчас предпочитает разбивать его на небольшие части, которые имеют самостоятельные заглавия и выходят отдельными произведениями,— еще не повод, чтобы утверждать, что повествовательные жанры отмирают.

Мне кажется, я могу предугадать, как будет выглядеть часть литературной картины двухтысячного года. Более того, я могу безошибочно назвать, по крайней мере, сто имен, которые займут свое место в этой картине. И среди них — Шекспир, Сервантес, Гёте, Стендаль, Толстой, Достоевский, Гоголь...

Трудно сказать, какие конкретно произведения станут классикой, но убежден, что они уже созданы и живут шумной или неприметной жизнью среди нас, со знаком бессмертия на челе — который, увы, зачастую невидим для современников.

В принципе ваш вопрос скорее означает: как будут писать в двухтысячном году. Думаю, что все процессы будут развиваться поступательно, без резких скачков. Думаю, что заметное тяготение к документальной прозе примет к тому времени более конкретную форму. Я также ожидаю, что поэзия, которая сегодня как будто находится в состоянии известного застоя, возьмет реванш.

Интерес в Болгарии к советской художественной литературе огромен, и не только к современной классике, но и к произведениям последнего времени. В Болгарии пользуются большой популярностью и любовью имена десятков советских писателей. К сожалению, я не могу припомнить имя хотя бы одного писателя в возрасте до тридцати пяти лет. То же самое я могу сказать о литераторах других братских стран. Мало известны в социалистических странах и наши молодые писатели. В этом есть нечто парадоксальное: во всех социалистических странах уделяется все возрастающее внимание молодым писателям; с другой стороны, непрестанно растет количество переводной литературы наших стран, и все же мы крайне плохо знаем своих молодых коллег.

Я думаю, что данное явление можно объяснить двумя моментами. Первое объяснение кроется в общей тенденции увеличения среднего возраста «молодого» писателя; на сегодня нет нашумевших, популярных авторов в возрасте двадцати пяти лет — как у себя в стране, так и за ее пределами.

Другое объяснение надо искать в области организации — издательства и литературные издания социалистических стран крайне редко и хаотично издают антологии или отдельные произведения молодых литераторов. В последнее время у нас прилагаются известные усилия, чтобы поправить это положение. Мне кажется, что аналогичные шаги предпринимаются и в других странах. Примером тому может послужить советско-болгарское сотрудничество. Несколько лет назад начал выходить одновременно в Москве и Софии, на русском и болгарском языках, альманах «Дружба» (с 1977 года он стал журналом) — уникальное в мировой практике издание, превратившееся в трибуну молодой советской и болгарской интеллигенции.

Я думаю, что традиционна та часть литературы, в чьи задачи входит раскрытие человека на основе его взаимоотношений с окружающим миром. Именно здесь начинается новаторство. Каждый писатель всегда ищет свой, неведомый доселе подход независимо от того, создаст ли он фантастического героя в реалистической литературе Испании, выпустит ли он на сцену совершенно нетипичного принца, удастся ли ему сконцентрировать в душе убийцы старушки размышления о величии человеческой природы, напишет ли он роман в стихах или поэму в прозе. Ни в коем случае нельзя считать навязчивым желание писателя стать понятным как можно большему числу читателей. И он добьется этого, если будет говорить о вещах «традиционных», близких интересам основной массы читателей, и будет говорить это голосом самобытным, непохожим на другие, голосом, который заставит людей слушать его.

Я не смею назвать своими учителями таких любимых мною писателей, как Гоголь, Достоевский, Фицджеральд, ибо это прозвучало бы нескромно: я, мол, чему-то научился у них. Как сказал наш прекрасный современный прозаик Йордан Радичков, у которого я, как и у Василия Аксенова, научился некоторым языковым приемам, «мимо Гоголя надо проходить на цыпочках».

Перевод с болгарского О. БАСОВОЙ

НАЧАЛО

Сильвестр Эрдег

ВЕНГРИЯ

Прозаик. Руководитель Клуба молодых писателей при Союзе венгерских писателей. Лауреат премии имени Аттилы Йожефа. Сотрудник издательства «Магветё». Широкую известность принесла С. Эрдегу его первая книга «Жеребенок», которая была опубликована в 1972 году. В 1976 году вышла повесть «На горе черепов». Его рассказы регулярно появляются на страницах литературных газет и журналов.

Позицию молодого писателя сегодня, я думаю, определяют идеи мира и социализма, в то же время на нее влияет сложность и напряженность положения на нашей планете. Хотя и происходит сближение народов и наций повсюду — на Ближнем Востоке, Африке, Европе, Южной Америке, до «братания» еще далеко. Молодой современный писатель, думается, впервые в истории почувствовал ответственность не только за свой народ, но и за народы всех наций, за каждого человека. Молодые писатели теперь часто пишут в первом лице множественного числа — как бы солидаризируясь со своим народом, с человечеством.

Думаю, при этом их участь не легче участи писателей прежних времен — хотя такого всеобщего тяготения к миру не было еще никогда. Но это — иная доля: изменяется действительность, а с ней и возможности писателя. Подобно тому как в науке наибольшие проблемы связаны с микрочастицами, так и в обществе изображение, изучение и познание наиболее сложной его единицы — одного человека — для художника является задачей, во имя которой он трудится. Неправда, что в литературе уже все сказано о человеке! Ведь человек, пусть он физически не вечен, по своим возможностям, духовному потенциалу, поступкам — существо бесконечное! По законам биологии ему дано родиться на свет, а стать человеком — возможность, данная обществом. Между этими двумя понятиями человека заключена огромная разница: только творческим общественно-созидательным трудом может преодолеть человеческое существо этот путь.

И от молодых писателей зависит, какое наследие в этом бесконечном процессе оставят они грядущему поколению.

Не знаю, какой будет литература 2000 года. Но знаю одно: то, что сохраняет жажду жизни, будет всегда жить. При разнообразии жанров, стилей, творческих индивидуальностей литература, искусство, на мой взгляд, есть жизнь. Ибо читатели, зрители, слушатели музыки способны сопереживать, а затем возвращать обществу энергию, почерпнутую из произведений искусства. Часто говорят, что каждый человек нужен, заменимых людей нет. Эта незаменимость вытекает из необходимости быть полезным друг другу. Даже Робинзон у Дефо не мог существовать один, так где уж тут человеку XX века! Разобщение людей парадоксально, оно предупреждает о том, что люди положительно нужны друг другу. Крестьянин — рабочему, рабочий — инженеру, инженер — художнику, художник — всему обществу. И продолжил бы: венгр — румыну, румын — болгарину... Такой незаменимой, необратимой представляется мне и литература. Она не может пройти, кончиться. Какой будет литература 2000 года — не знаю, но хотел бы, чтобы она была хорошей и еще лучше! Еще более достоверной, более общественно значимой. Хотел бы, чтобы она была как человеческая жизнь. Прекрасной — со всей ее болью, противоречиями, победами и неудачами.

В наше время столько всего можно прочитать, посмотреть и послушать, что человек не в состоянии охватить этого. Он вынужден выбирать, но и выбор таит в себе заблуждение. Я не могу знать заранее, что надо непременно прочитать. Знаю только, что должен искать слова, без которых становишься беднее и меньше. Плохо, если писателя понимают только соотечественники. Плохо, если произведение адресуется только им, а не всем людям. Великие произведения могли многое дать и сказать людям. Нам в равной мере дороги Данте и Рабле, Бальзак и Толстой, Достоевский и Шекспир, Горький и Томас Манн. Мы, молодые писатели, еще не создали таких произведений. Но, вероятно, сможем написать их и напишем, если спросим с себя со всей строгостью, неумолимой искренностью, в духе реального времени, если ближе и лучше узнаем друг друга. И в этом нам могут помочь переводы.

Молодым писателям всего мира нужно стремиться своим оружием разрушить все фальшивые, ошибочные, поверхностные — а, значит, недостоверные, несправедливые — взгляды на литературу, на общество, на человека, чтобы начать «настоящую историю человечества».

Традиции и новаторство неотделимы друг от друга. Они находятся в диалектическом единстве как день и ночь, жизнь и смерть. Одно бессмысленно без другого. Поэтому лично я эти два понятия не разделяю. Но я чувствую, что человеку, писателю важно знать, что есть традиция, а что — новаторство. Я полагаю, хорошо то новаторство, которое завтра станет традицией, и хороша та традиция, без которой невозможно заниматься новаторством. Не знаю, кто как решает это. Но мне кажется, ключ ко всему — в достоверности. Не модернистом надо быть любой ценой, не хранителем традиций во что бы то ни стало, а искренним и достоверным. Произведения так же возрождаются, как и люди. Но не насильственно — ведь нельзя возродить и человека. Каждый человек возрождает сам себя, если обновление — его жизненная потребность.

Это должно учитываться и художником. Сегодня уже нельзя так писать, как, к примеру, писал Толстой. Сегодня уже не та

эпоха. Но наш долг — писать с такой же потрясающей искренностью, с такой же непоколебимой тягой к истине, как писал Толстой.

Примеров для подражания — «эталонов» — у меня нет. Но я с огромной благодарностью склоняюсь перед каждым писателем, поэтом, художником, человеком, кто спустя столетие, тысячелетие мог хоть что-то дать мне в жизни, чтобы эта одна моя жизнь могла стать полнее и ярче.

Перевод с венгерского З. ТОРОСЯН

Гильермо Родригес Ривера

КУБА

Поэт и прозаик. Работал журналистом на радио и в журиалах «Куба интернасиональ», «Унион». Был редаитором журнала «Кайман барбудо», органа Союза молодых коммунистов. Первая инига стихов «Обмен впечатлениями» появилась в 1966 году. Второй сборник, «Красная книга», в 1970 году был реномендован жюри премии «Каса де лас Америкас» к печати и частичио опубликован в антологии «Шесть поэтов».

Должен сказать, что в литературу я пришел немного раньше представителей моего поколения. И хотя первую книгу опубликовал в 1966 году, мои стихи выходили в различных кубинских журналах еще с 1963 года. Поколение, к которому я принадлежу и которое вступает в литературу сегодня — а продолжают его традиции совсем молодые писатели,— это творческое поколение, вливающееся в жизнь Кубы после победы Революции.

Думаю, что на ваш вопрос можно дать много ответов: их столько же, сколько в мире стран, ибо у каждой из них свои традиции, своя история и своя культура. Может быть, даже в каждой стране каждый писатель ответит вам по-разному.

И все-таки у молодых кубинских писателей, как и у всех нас, есть одно общее, что объединяет: определяющей константой, составляющей саму суть нашего творчества, являются революционные преобразования, которыми жила и продолжает жить наша страна. Именно ее действительность вдохновляет нас иа новые свершения в области литературы, именно она постоянно присутствует в нашем творчестве. И это происходит не только когда творчество непосредственно связано с социальными проблемами, но даже и в том случае, если мы трактуем самые интимные темы, например, темы любви.

Человек не может избежать влияния действительности просто потому, что он живет в ней, из нее извлекает свой опыт, она неизбежно влияет иа его мировоззрение.

Понимание этого необходимо писателю, именио оно служит ему отправной точкой для осознания своей социальной ответственности, своей связи с другими людьми.

Более 300 лет тому назад Лопе де Вега написал:

Ибо становится голос мой
душою молчания вашего,

А это означает, что поэту выпадает обязанность говорить за других людей, сказать то, что они не могут сказать, выразить интересы своего класса, своего народа и человечества. Идеал этот не одряхлел. Он живет в душах молодых писателей и нашей эпохи.

Мне думается, что предполагаемый кризис печатного слова является — именно там, где больше всего говорят о нем, то есть в развитых капиталистических странах — показателем настоящего и очень глубокого кризиса в обществе. Если литература дегуманизируется, если она отчуждается или уже отчуждена от тех, кому предназначена, естественно, уменьшается или совсем исчезает ее влияние на человека. У подобного явления есть свои социальные корни.

Разумеется, формы художественного видения мира, среди них и литература, обусловлены конкретной исторической реальностью, но возникновение новых форм художественного изображения вовсе не предполагает замены ими уже существующих: все они находят себя, преобразуются, переплавляются в рамках тех эстетических норм, которым подчиняется человек в данную историческую эпоху. У кино, например, есть такие возможности, которых лишена литература,— прежде всего, лепка видимых, движущихся образов...

Но литература — именно потому, что оиа не дает конкретный, видимый глазом образ,— предоставляет возможность предполагать, воображать, мысленно формировать наше собственное видение той действительности, которую отражает произведение.

Пока у человечества существует язык, будет существовать и литература — как его наивысшая эстетическая конкретность. Я не прорицатель, но мир идет по пути прогресса. А литературу двухтысячного года я представляю себе как литературу, созданную более свободным, более развитым человечеством.

За последние годы вышли интересные книги, посвященные литературам социалистических стран. Журнал «Унион» — орган Союза писателей и деятелей искусств Кубы — выпустил специальные номера, посвященные советской, болгарской, польской и румынской литературам. В них включены и произведения уже заявивших о себе молодых писателей. Вообще в нашей стране творчеству молодых писателей стран социалистического содружества уделяется большое внимание. Нас, молодых кубинских

НАЧАЛО

писателей, тоже живо интересует их творчество, ведь мы тоже страна, строящая социализм, и знакомство с этими произведениями помогает нам осознать и собственные проблемы.

Я надеюсь разрешить проблему традиции и новаторства так, как ее решали в каждую историческую эпоху великие писатели. Спешу пояснить, что я вовсе не хочу сказать, что уже сумел сделать это. Но ведь нужно стремиться достичь самого лучшего. Писатель тесно связан с определенной традицией, он — еще одно звено в той цепи, которая и есть развитие культуры; игнорировать это, не знать этого равнозначно разрыву тех связей, которые соединяют с народом, с действительностью. Порой же упорное замыкание в русле традиции отказывает литературе в возможностях обновления, развития, делает ее чем-то старым, отжившим. Кроме того, следует помнить, что далеко не все традиции могут быть положительными: необходимо их критическое освоение. Я думаю, что связь между традицией и новаторством диалектична, они взаимно влияют друг на друга, и понять это необходимо для правильного решения этой важной проблемы. Именно так решали ее — и свидетельство этому их творчество — великие писатели, даже в тех случаях, когда они не давали теоретических формулировок. У нас, современных писателей, есть одно преимущество — мы более четко осознаем эту проблему, а все остальное уже зависит от таланта.

Мне кажется, лучше, когда у тебя не один учитель, а много. Я ценю творчество очень многих писателей, восхищаюсь ими, учусь у них. И я не могу сказать, кто больше влиял на меня в поэзии — Пабло Неруда, Маяковский, Гарсиа Лорка, Хосе Марти, Сесар Вальехо или Уолт Уитмен. Короче, я мог бы назвать много имен. Любой большой писатель может чему-нибудь научить нас. Самое же главное — это найти свой собственный стиль, свои собственные средства выражения.

Перевод с испанского Н. БУЛГАКОВОЙ

Александр Навроцкий

ПОЛЬША

Поэт, прозаик, переводчик. Ему принадлежат три сборника стихов и томик рассказов. А. Навроцкий переводит советских, румынских, венгерских и финских поэтов. В его переводе вышли стихи Шандора Петефи и Аттилы Йожефа. А. Навроцкий работает в редакции поэзии издательства «Искры».

Пафос творчества и гражданское назначение молодого писателя, пришедшего в литературу в 70-е годы, определяет красота жизни.

Жизнь сама по себе прекрасна, и уже тот факт, что мое поколение поляков не должно сражаться и погибать, обладает ни с чем не сравнимой важностью. В 70-е годы мы сражаемся не на фронте, а за нового человека. Это огромная задача. Я иногда обращаюсь к теме войны, но лучшие мои стихи и рассказы не о войне, а о том, на что способен человек, когда он любит, когда трудится, в минуту опасности. Героиня одного из моих рассказов, «Белая вилла», говорит:

«Я хотела построить новую жизнь на искренности, доверии, избавиться, наконец, от бремени фактов, которые ненавидела. Я думала, что в людях есть какие-то мосты, а они на самом деле строят и строят крепости. И стоят на крепостных стенах, сжимая в руках камни... Сами-то они никогда ни в чем не виноваты... У меня нет больше сил выносить это постоянное одиночество. Почему за причиненное мне зло я сама же должна еще и расплачиваться? В детстве я мечтала о принце, о том, что я буду принадлежать только ему. Но судьба обходится с мечтой нередко безжалостно. Жестокость уничтожает все то, что пытается быть прекрасным...»

Меня интересует, когда в человеке кончается эгоист и начинается человек как общественное, социальное существо? Как проходит этот процесс в каждом конкретном случае? Недавно я был приглашен на слет молодых авторов, который происходил в живописной части нашей страны — на Мазурских озерах. В нем участвовали писатели, молодые живописцы, графики и музыканты. Однако наиболее динамичную группу среди присутствующих составляли поэты, и уже только этот факт говорит о том, что в нашей стране поэзия занимает ведущее место и находит самый широкий общественный резонанс.

Удивительно приятным был вечер у камина, который состоялся в Охотничьем домике. Поэты читали свои стихи, а затем до рассвета продолжались дискуссии. Чем должна быть литература? Должна ли литература находить цель в самой себе или же она должна заниматься чем-то важным в человеческой личности? Мне запомнились слова, принадлежащие Виктору Гюго: «Наука — это мы, а искусство — это я». Однако необычайно важно, каким будет «я», художественная и моральная личность автора, художника. И истинный поэт не занимается поисками форм, он рождается с этой формой, ибо форму диктует ему время, в которое он живет. Поисками форм занимаются только ремесленники, которые тщатся стать поэтами или писателями. Я понимаю — мы живем в трудное и сложное время. И тем не менее писатель для меня — сильная индивидуальность, которая может в окружающем ее многообразии действительности найти нечто, что даст возможность ей воспринять и отобразить эту действительность как единое целое.

Мы все знаем, какой огромной силой воздействия обладает искусство. Поэтому, если искусство будет искусством пессимизма, отчаяния, в руках художника талантливого оно станет опасным: пессимизм и отчаяние будут довлеть над сознанием читателя, уродовать его.

Великие творцы по природе своей были оптимистами, они умели находить в жизни истинную ценность, они творили, утверждая эту ценность, а зачастую отдавали ради нее жизнь.

Сейчас стало модно говорить о кризисе литературы, подобно тому как с незапамятных времен было модно плохо говорить о молодежи. А молодежь ведь всегда одна и та же: она хочет преображать современную ей действительность. Молодые отвергают опыт пожилых людей, хотят сами расплачиваться за свои ошибки — нечто подобное происходит и с литературой. Тем не менее еще чаще слышны разговоры о кризисе кино и телевидения. Разумеется, литература в какой-то мере меняется: например, в романе отмирает описательная часть за счет увеличения репортажной. Можно предположить, что в будущем, поскольку у нас будет все меньше и меньше времени, уменьшится также и объем романа. Раньше люди охотно читали так называемый роман-поток, в котором было 600 страниц и более. Сегодня читатели предпочитают романы объемом 150—200 страниц и ищут там не пустую болтовню, а такие проблемы, которые позволили бы им понять также самих себя. Одним словом, я вижу будущее в сжатом, сконденсированном психологическом романе. Кино я оставляю зрительные образы. Кроме того, сама форма кинопроизведения необычайно быстро устаревает. Фильм, которым мы восхищались еще пять лет тому назад, сегодня может показаться скучным и архаичным. Дело в том, что кино в значительной степени зависит от технических средств; кино — это цивилизация, а цивилизация, в отличие от культуры, стареет очень быстро: то, что было ново вчера, сегодня становится анахроничным и ненужным. Культура же всегда остается живой, ибо культура — это душа человека, которая всегда одинаково реагирует на боль, счастье, любовь и ненависть. Разве устарели сегодня проблемы, мучившие Антигону или Медею? А Шекспир? Ведь по его пьесам новые и новые поколения учатся находить правду о сущности человека. До сегодняшнего дня с неослабевающим успехом читается «Война и мир» — потому что ее герои так глубоко человечны, а значит, и правдивы. Существует много киноверсий «Войны и мира», успех каждой несравним с популярностью оригинала.

Читателям моей страны очень нравятся Шукшин, Распутин и другие современные советские писатели. Они высоко ценят советскую литературу за ее смелость и оригинальность. К сожалению, в меньшей степени известна современная советская поэзия — быть может, потому, что Маяковский, Хлебников и Ахматова были слишком крупными индивидуальностями и их блеск все еще затмевает другие поэтические имена. А может быть, потому, что они близки нам?

Популярны в Польше также болгарская и венгерская литературы. Кстати, я привел имена поэтов, живших довольно давно, просто потому, что я не разделяю литературу на молодую и старую: литература бывает только хорошей и плохой. Необходимо, кроме того, отметить, что знакомство с иностранной литературой в какой-либо стране зависит еще и от оперативности переводчиков и издательств. Если произведения писателя будут переводиться с большим запозданием, то за это время они, разумеется, в определенной мере утратят свою актуальность. К счастью, в Польше у нас есть хорошие и оперативные переводчики. Ежегодно мы издаем антологию, содержащую новейшие произведения писателей социалистических стран, а если молодой писатель из братской страны опубликует интересную книгу, то мы немедленно ее переводим. Такая книга появляется у нас обычно года через два после ее выхода в свет у себя на родине, а иногда и еще быстрее.

Традиция — это учеба у мастеров слова, а новаторство — это вопрос своеобразия писательской индивидуальности, то есть вопрос своего собственного видения мира. Сезанн уже не мог писать картины так, как Леонардо да Винчи или Эль Греко. Шукшин не мог писать так, как Толстой или Валентин Катаев, ибо каждый новый писатель замечает новые элементы диалектически изменяющейся действительности. А писательское дело, само творчество — это отношение к действительности, то есть поиски правды. Писателей я делю на тех которых ценю, и тех, кого люблю. Я ценю Томаса Манна и Альбера Камю: от Манна я узнал многое о судьбе и поведении человека, брошенного в водоворот истории. Но я не люблю Манна за его длинноты, за то, что он хочет все досказать до конца. Камю я ценю за лаконичность и проникновение в самые глубины человеческой души. Человек не всегда видит сам себя изнутри — этому научил меня Камю. Люблю же я, например, польских писателей Сенкевича и Пруса. У Сенкевича я научился, что сюжет всегда должен нести в себе нечто необычное, у Пруса — что писатель всегда должен обладать мудрым, глубоко человечным чувством юмора. Я люблю Льва Толстого. Он доказал, что произведение литературы может быть одновременно и поучительным и гениальным. А это самое трудное. И наконец, я уже несколько раз перечитывал «Тихий Дон» Шолохова, великий роман о страстях, одухотворяющих историю и человека.

НАЧАЛО

Внимательный читатель сразу заметит, что я учился у писателей, полярно мне противоположных, но, вероятно, все новое рождается из противоположностей. Я еще не знаю мнения критиков о своей последней книге — сборнике рассказов «Святые из снов и яви», но мнение читателей уже знаю. Книжку мою, изданную тиражом в десять тысяч экземпляров — для Польши это тираж средних размеров,— они раскупили в течение трех дней.

Перевод с польского А. БОНДАРЕВА

Александр Русов

СССР

Прозаик. Доктор химических наук. Автор повестей «Самолеты на земле — самолеты в небе» (1975) «Линия в пространстве» (1976) и романа «Три яблока» (1977).

Случается, что с годами, с накоплением жизненного и профессиоиального опыта человек меняет свои взгляды на некоторые существенные проблемы жизни и творчества. Но стоит взглянуть иа причину таких перемен чуть пристальнее, и мы неизбежно придем к выводу, что это только кажущееся непостоянство. Уподобив разные высказывания отрезкам прямых и мысленно продолжив каждый из них возможно дальше, мы с удивлением обнаружим, что все они пересекаются в некой точке, местонахождение и смысл которой до сих пор не удалось описать однозиачно. В противном случае такие вопросы не возникали бы снова и снова.

В самом общем виде на первый вопрос анкеты можно было бы ответить так: назначение молодого (как и немолодого) писателя 70-х годов остается таким же, каким было в 60-е, 50-е, 40-е годы, а может, и тысячу лет назад. Но в расплывчатости такого ответа содержится тем не менее множество более частных ответов и прежде всего на вопросы, чем сегодняшний день отличается от вчерашнего; каких питательных веществ, микроэлементов сегодня не хватает возделываемой нами почве общественного самосознания. В сравнении с нашими бабушками и дедушками, современниками трех революций, или с родителями, вынесшими бремя Великой Отечественной войны, мы несем, казалось бы, менее тяжкое бремя забот эпохи научно-технического прогресса. Но можем ли мы, не впадая в легкомыслие, утверждать, что иаше здоровье не оставляет желать лучшего? Ответив на эти, оказывается не очень легкие, вопросы, мы бы в какой-то мере подошли к другим, образующим долгие вереницы в преддверии главных, общих, основных вопросов. Так, несколько риторическому вопросу о назначении писателя непременно предшествовал бы вопрос о праве писателя судить о современности, об уровне его знаний, его сознания, о тех инструментах, с помощью которых он пытается разобрать или собрать сложнейшее устройство современной жизни и если не превзойти, то максимально приблизиться к вершинам, различимым на расстоянии веков.

Я часто вспоминаю слова Фаворского, обращениые к ученикам: «Если рисуешь человека, то нужно смотреть возможно шире, косить в ту или иную сторону, даже если ты изображаешь только фигуру или голову. А если думаешь удовлетвориться лицом, то получишь нос, если думаешь удовлетвориться головой, получишь лицо, если хочешь изобразить всю фигуру, захвати и сколько-то окружающего, захватывай больше того, что хочешь изобразить».

Мы также должны задуматься над тем, почему разгадка писательского бессмертия заключена одновременно в опережении своего времени и в приближении к нему на возможно близкое расстояние, в слиянии с ним.

В связи со вторым вопросом анкеты следует заметить, что слово искусства и текст массовой информации находятся, по существу, на непересекающихся плоскостях. Может ли существовать конкуренция между изготовителями продукции разного назначения? Может ли карамель заменить хлеб, а лимонад — воду? Впрочем, злоупотребление сладостями способно не только отбить аппетит, но и вызвать заболевание. Злоупотребления любого рода, в том числе и средствами массовой информации, чреваты серьезными опасностями.

Противоречие между аттракционом, то есть средством массового привлечения публики, и искусством — это извечно существующее противоречие между поверхностью и объемом, мимолетным и вечным. Излишне упоминать, что оно не является монопольным продуктом нового времени. Вообще, столь широко распространенная фетишизация современности, постоянное подчеркивание ее исключительности напоминают эффект преодоления звукового барьера реактивным самолетом. Самолет и производимый его моторами шум с грохотом отрываются друг от друга, как отрывается с треском при больших скоростях развития общество от своих культурных корней. И тогда возникает иллюзия взрыва. Но это только иллюзия. Отработанные тысячелетиями в результате кропотливой, добросовестной работы природы надежные биологические механизмы защиты не дадут человечеству лишиться корней и погибнуть. Такой оптимизм мог бы показаться неоправданным, если бы сама жизнь уже теперь не начала снимать явно надуманный вопрос о конкуренции между искусством и массовой информацией или, во всяком случае, не начала поспешно бросать гирьки на чашу весов искусства. Пока жив на земле человек, кризис может затронуть лишь опреде-

ленные формы искусства, но не само искусство. Подавленное в одной точке времени и пространства, оно с двойной силой выявит себя в другой.

Я бы рискнул признаться, что предчувствую наиболее активное развитие литературы и других искусств на путях преодоления камерности, достижения гармонического согласия между чувством и разумом, преобладания созидательного начала над деструктивным, если бы наши предположения и надежды не значили так мало перед лицом будущей реальности, к которой они сегодня обращены. Все-таки мне кажется почему-то, что и общественный вкус, и мода, которая, разумеется, далеко не всегда совпадает с требованиями искусства, пойдут по тому же пути. Надеюсь, что не за горами время, когда литература и критические суждения о ней преодолеют определенную узость, консерватизм, ортодоксию, упрощенчество при подходе к предмету и средствам изображения. В известном возрасте неизбежно наступает пора, когда приходится менять одежду, из которой вырос, даже если очень привык к ней. Развиваясь, литература в глазах общества, критики и писателя получит больше степеней свободы, больше живых контактов с другими искусствами точно так, как на наших глазах разные и, казалось бы, не связанные друг с другом, издревле суверенные науки соединили свою кровь в замечательно жизнестойких гибридах, идея существования которых еще сравнительно недавно могла бы показаться кощунственной.

Изначально я учился больше у поэтов и художников, чем у прозаиков. Проза оказалась лишь наиболее подходящей, хотя, возможно, отчасти случайной, формой выражения того, что просилось наружу. Поэтому среди своих учителей, не кривя душой и не страшась поставить в один ряд, назову Леонардо да Винчи и Пушкина, Маяковского и Павла Кузнецова, Льва Толстого, Бунина и Мане, Гоголя и Брейгеля Мужицкого, Юрия Олешу и Николая Грицюка. Одни учили масштабам, другие — непосредственному восприятию натуры, третьи — юмору, четвертые — разуму, пятые — смелости. Перечисление учебных предметов, как и списков учителей, можно было бы значительно расширить, уточнить, ибо, называя имена, я не имел целью выделить среди них «главные», поскольку таковых, видимо, не существует. Сегодня идешь на урок к одному, завтра — к другому.

Было время, когда меня больше волновали и были более понятны современные художники: Руо казался гораздо доступнее Рембрандта. Потом я острее стал воспринимать старое искусство, а современное несколько отодвинулось на второй план. Все сместилось. Новомодные течения стали для меня как нечто само собой разумеющееся, привычное, даже порой скучноватое, а вот творения тех, кого принято называть классиками, но в ком я видел теперь чуть ли не революционеров, поражали своей силой и новизной. Помню, какое неизгладимое впечатление оставил перечитанный «Ревизор» Гоголя.

Обращаясь в недавно написанных повестях, связанных с проблемами жизни в современной науке, к народным пословицам и поговоркам, к традиционным сказочным сюжетам и лубку, я испытывал сладкое чувство новаторства, хотя, если разобраться, о каком новаторстве можно было здесь говорить. В связи с этим я думаю, что новаторство — это не столько новые форма и содержание, сколько свежий морской воздух и тот новый для каждого морехода горизонт, к которому он направляет свой корабль.

Юрий Помпеев

СССР

Прозаик, публицист. Работает преподавателем Ленинградского инженерно-строительного института. Автор трех книг художественных очерков, документальных повестей — «Явись на пост» (1968), «Хибинская Спарта» (1970), «С такими людьми» (1973), «Останется имя» (1974), в которых автор рассказывает о людях Севера, сегодняшних трудовых будиях.

Блуждающий дух Фауста был занят поисками Логоса, этого архимедова рычага в истории человечества. Искания Фауста, как известно, привели его к тому заключению, что Логос — это не только Слово, бывшее в начале начал, но и — Деяние, попросту — Дело.

Социальность любого литературного жанра, ее сущность определяется ответом на вопрос: что должны делать люди, чтобы обрести понимание, признание, справедливость, счастье, чтобы упрочить собственное достоинство и доброе свое имя?.. То есть в центре проблемы располагается глагол д е л а т ь.

Великий утопист Шарль Фурье установил такую социальную аксиому, по которой в самой природе человеческого духа заложена потребность быть деятельным и побуждать к этому других людей, ибо ленность и паразитизм при разумной социальной организации общества — бессмыслица и несправедливость.

Но деятельность деятельности рознь. И на этом утверждении Шарля Фурье останавливаться никак нельзя. Все дело — в стремлении и достижении трудом самых дорогих идеалов и привилегий, которые несет в себе социалистическая организация жизни в каждом из отечеств, придание этим идеалам повседневной красоты и жизненности.

НАЧАЛО

Именно в этом представляется одна из главных задач искусства: следовать по стопам жизни, но следовать всегда дальше, чем она. То есть вглядываться в настоящее как бы из будущего. Так, как это умел делать Владимир Ильич Ленин, предсказавший Октябрьскую революцию за десять лет до ее свершения.

Три человека, по мысли Горького, строят человеческую культуру — ученый, художник, рабочий. Разум, воображение и воля — вот векторы, творящие культуру. Чем сильнее любовь к труду, тем выше культура не только каждого человека в отдельности, но общества в целом.

Литератор, материализуя в своих книгах наше время и собственное знание о нем, облекая в слова и радость, и боль земной современности, не может обойти вниманием одного из творцов человеческой культуры — рабочего, работящего человека. Ибо труд есть активнейшая деятельность сознания, проявление нравственных начал в человеке, его сущности, предназначения и творческих задатков...

Истинная свобода начинается в действительности лишь там, где прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью. Да, свобода, сколько бы о ней ни говорили, начинается в своем истинном смысле с исчезновением в человеке сгустка своекорыстных интересов.

Главная задача литературы и прежде всего публицистического жанра связана с выработкой мировоззрения, характера созидателя, творца. И я думаю, что характером, который ему присущ, советский человек немало обязан своей литературе. Даже недостатки, промахи в его воспитании в известной мере соотносятся со слабостями нашего проникновения в жизнь. Сейчас, когда интенсифицируются и темпы жизни, и производство, особенно важно предупреждать нравственное нездоровье, нравственные болезни. Пренебрежение духовными ценностями, пренебрежительное порой отношение к нравственно чистым людям свойственно ограниченной, потребительской философии. Я часто вспоминаю в связи с этим замечательного писателя Михаила Зощенко. Его размышления о нравственном здоровье общества, его «Голубая книга», посвященная Горькому, по сей день сохраняют свою ценность.

Нам сейчас как никогда важно привлечь внимание к человеку, как иногда говорят, чистого сорта, к тем, кто сегодня в собственном своем поведении воплощает подлинно коммунистические нравственные нормы.

Литература для того и существует, чтобы питать мысль и чувства людей не теоретически вычисленными белками и углеводами, а полнокровной, настоянной на горечи созидания, образной бескомпромиссной речью.

Литератор, определяя свое предназначение, не должен, мне кажется, так поступать, чтобы, столкнувшись с непосильной ношей, доказывать себе и читателю: это не мое дело, это — дело общества.

Поясню этот тезис примером. Недавно вышел двухтомник Константина Симонова «Разные дни войны», отразивший мужественный характер этого большого писателя и осознание им своего призвания. Самые тяжелые минуты, дни, месяцы, годы, пережитые Отечеством, переживались писателем личной глубокой болью и работой. Война, как известно, не только зло, гнетущее человека, но и общая безмерная тяжесть. Сколько ты от нее берешь на себя, на собственную душу и плечи, как раз настолько облегчаешь ношу соотечественников.

Только тогда, когда отсутствует микронная доля разрыва между Словом литератора и Делом, которое он отстаивает повседневно, возникает полное доверие к нему со стороны читателя, в особенности рабочего человека, ценящего прежде всего нашу надежность и достоинство.

Пристальный интерес современной литературы к теме труда высвечивает качественность переживаемого нами Времени, ибо так называемая всемирная история, считал Маркс, есть не что иное, как преобразование человека человеческим трудом. А что может быть выше призвания для литератора, чем участие его в преобразовании человека?!

Не знаю, о чем говорит, к примеру, «книжный бум» в нашей стране, но только не о кризисе печатного слова. К этому могут быть причастны в какой-то мере так называемая «образованность» и потребительский интерес украсить модными обложками любимую мебель.

Основные же читательские стремления связаны с тем, что человек жадно следит за литературными новинками, чтобы упрочить посредством литературы свое собственное достоинство и приблизить, как солнышко, вновь открытый талант, бережливо, трогательно к нему отнестись. Примеры последних лет: необыкновенная популярность таких советских писателей, как А. Вампилов, Н. Рубцов, В. Шукшин.

Литературные жанры, естественно, видоизменяются, поэтому и на них воздействует радиация НТР: книги становятся меньше по объему, и это прекрасно. Но художественность не жанр, это качество, изящность сочинения. Главные свойства истинной литературы как во времена Гомера, так и через четверть века наперед останутся неизменными.

«Истинная нравственность — это, в сущности, человеческое счастье»,— вот что понял один из героев молодого болгарского писателя Владимира Зарева. Его роман «День нетерпения» опубликован «Иностранной литературой»[1], которая преимущественно и знакомит советских читателей с произведениями молодых (и не молодых) писателей социалистических стран.

[1] См. «Иностранную литературу» № 3 5, 1977 г.

Роман В. Зарева посвящен как раз интересующей меня теме человеческого труда на большой стройке, проявлению рабочим человеком высших нравственных начал и обретению им житейского счастья.

Следует, наверно, прежде всего отличать модернизм от новаторства. Модернизм нестроен и скоротечен, ибо его стремления всегда преувеличены. Новаторство же истинно, оно взрастает на вздобренной почве традиций, питается ее соками и пользуется отточенными критериями правды, справедливости, боли за человека.

По духу творчества и социальных устремлений мне как публицисту близки прозаики Иван Катаев и Илья Эренбург, поэты Леонид Мартынов и Александр Твардовский.

Георге Сучу

РУМЫНИЯ

Прозаик, публицист. Творческую деятельность начал в 1961 году. Первая книга прозы — «Яйцо» (1968). Его перу принадлежат также романы «Трейер и бог» (1969), «Недокончеиное солице» (1970), «Обелиск в Алба-Юлий», «Работа и дин Ниив» (1972), «Если б ружье было зелеиой травой» (1973). Литературиую известность принес роман «Крести меня землей» (1974). Г. Сучу — лауреат двух литературных премий.

Литература социалистнческой Румынии переживает сейчас период расцвета. За последние годы к крупным писателям старшего поколения примкнул широкий фронт молодых писателей. Произведения писателей разных поколеиий — в их числе самого молодого, недавио утвердившегося,— сливаясь воедино, дают полную динамичную картину сегодняшней румынской литературы. В настоящее время мы, руководствуясь марксистско-ленинским учением, прилагаем иемалые усилия для выявления подлиинных литературных цеиностей, освоения культурно-художествеиного иаследия прошлого и перевода на румыиский язык наиболее известных произведений из золотой сокровищницы всего человечества. Приведу лишь один пример: из русской и советской литературы переведены и опубликованы в нашей страие сотни, а может быть, и тысячи произведений. Великие русские классики Пушкин, Тургенев, Толстой, Гоголь, Достоевский, Чехов и другие выходили и выходят у нас собраииями сочинений, порою в 15—20 томах.

Эти многообразные и сложные пути позиания служат благоприятной почвой для формирования таланта молодых писателей.

Молодой писатель в Румынии — человек, стремящийся изучать нашу национальную историю и жизнь народа, знакомящийся с истииным увлечением с культурой других страи и народов. Думается, есть несколько прииципиальных черт, характеризующих пафос творчества молодых румынских писателей. Книги Сорина Титела, Мирчи Чобану, Аугустина Бузуры, Джордже Бэлзице, Эуджена Урикару, Вирджила Дуды, Бужора Неделковича, Аурела Драгоша Мунтяну, Нормана Мани — я имею в виду лишь иедавио вышедшие их романы — затрагивают острые моральные, социальные и политические проблемы. Романы наших молодых писателей изображают человека и процесс формирования человеческого сознания на фоне революционных преобразований в современной Румынии. Четкость анализа, улавливание сути событий, вера в совершенствование человека, вера в то, что художественная литература помогает пониманию бытия человека, зачастую ясный реалистический стиль, стремление к постоянному плодотворному диалогу с читателями — таковы лишь некоторые характерные черты творчества молодых. Особенно интересно, жизнестойко и сложно сегодняшнее наше поэтическое творчество. У нас наблюдается подлинный взлет поэзии, и молодые румынские поэты внесли весомый вклад в развитие нашей лирики, однако мне как прозаику сложио об этом говорить. Значительные достижения есть и в иашей критике, практикуемой молодыми авторами, умеющими четко и глубоко анализировать литературные явлеиия.

Я ие думаю, что существует кризис слова. Напротив. Национальные языки достигли сейчас такого расцвета и стабильности, что оии могут выражать любые мысли и тоичайшие движения человеческой души. Так что современные писатели владеют совершенным инструментом художествеиного выражения, и им не приходится, как в прошлом, бороться за чистоту языка.

Кризис слова — это, по-моему, лжепроблема. Ни одного из великих писателей нашего века, таких, как, скажем, Томас Мани, Фолкнер, Садовяну, Реймонт, Шолохов и другие, не останавливало такое лжепрепятствие. И они не теоретизировали на эту тему, а отражали жизнь человека и его роль в обществе, создавая свои великие произведения на живом языке родиого народа, которому самоотвержеино служили.

Теорию кризиса языка придумали идеологи буржуазного искусства, и в ией есть, на мой взгляд, по меньшей мере два пробела. Во-первых, отсутствует правильиый взгляд на роль искусства в обществе: если ты творишь для людей, для народа, как можно уверять, что их язык ие способеи отражать их мысли и чувства? Во-вторых, теорию эту сочинили, по-моему, иеудачники

или квазиталантливые авторы, не сумевшие, как гласит народная мудрость, взять быка за рога и обвинившие во всем язык, а не собственное литературное бессилие.

Художественный язык писателя — явление специфическое, индивидуальное, но он питается национальным языком, а национальные языки сегодня живые, богатые.

Литература не конкурирует со средствами массовой информации, она древнее их, она — закономерное явление в истории человеческого общества, так что никто и ничто не может отменить или перечеркнуть ее. Я думаю, что средства массовой информации могут и должны помогать проникновению в различные слои народа высококачественной литературной продукции. В социалистическом обществе фактически так и происходит: по мере того как развиваются средства массовой информации, возрастают тиражи книг — это отмечает даже статистика. Итак, в зависимости от того, с какой целью используются средства массовой информации, мы обязаны четко разграничивать их назначение в капиталистическом мире и революционном, социалистическом.

В 2000 году литература останется литературой, но у нее появится еще больше читателей, а реализм при дальнейшем глубоком его освоении будет первостепенным творческим методом. На протяжении тысяч лет сознательной истории человеческого общества реалистическое искусство не отбросили, а, значит, не отбросят его и в будущем. И все же хочется думать, что в третьем тысячелетии будет меньше сетований и меньше теоретиков, занимающихся софистикой. И тем более возрастет наша роль в обществе и литературе — тех, кто стремится к торжеству мира и прекрасного.

Отвечая на первый вопрос, я уже подчеркивал, что в Румынии лучше всего известны классики, в том числе и живые классики из социалистических стран. Я думаю, это общее явление. Наш долг — делать все для взаимного знакомства и перевода. Вторая встреча молодых писателей социалистических стран, состоявшаяся в Москве, помогла такому взаимному знакомству, а плоды этого знакомства вскоре конкретизируются.

Я — за уравновешенную связь новаторства и традиций. Только глубокое знание традиций и уважение к ценностям, созданным нашими предшественниками, являются для нас залогом того, что мы пишем, залогом удачливой судьбы наших произведений в будущем. Мы должны любить своих литературных родителей и предков и одновременно со спокойной совестью отвечать в нашем творчестве на проблемы современности, проблемы века и сегодняшнего величественного исторического часа. Самым большим злом для художника я считаю оторванность от традиций, изоляцию в «башне из слоновой кости» и уверенность в том, что так можно «революционизировать» искусство! Это заблуждение, и чем оно искреннее, тем трагичнее. Как писатель, как человек, как диалектик я верю в непрерывность явлений и истории.

Подлинный писатель не может ограничить себя и свои интересы одним-единственным литературным мастером, как бы велик тот ни был. Мы, писатели, используем опыт многих передовых писателей разных эпох и поколений, разных художественных методов. Я постоянно перечитываю книги тех авторов, которые помогают мне обрести собственную манеру письма. Некоторые из них я перечитывал до двадцати раз. И буду постоянно перечитывать впредь. Вот несколько моих любимых авторов: из русской и советской литературы — Достоевский, Толстой, Чехов, Шолохов; из французской — Бальзак, Стендаль, Жионо; из американской — Готорн, Эмерсон, Хемингуэй, Фолкнер; из английской — Шекспир. Я пишу о крестьянах и люблю перечитывать поляка Реймонта. И наконец, из румынской литературы хотел бы считать своими учителями Славича, Эминеску, Ребряну, Садовяну, Павела Дана (рано умершего трансильванского писателя). Перед нами, молодыми, встает проблема: как использовать уроки этих великих мастеров? Как мы используем уроки великого и революционного нашего настоящего? На этот вопрос я осмеливаюсь скромно ответить своим творчеством, книгами, которые пишу.

Перевод с румынского Л. ДОЛГОШЕВОЙ

Павел Француоз

ЧССР

Прозаик и сценарист, автор коротких рассказов, которые на протяжении последних лет публиковались в чешской периодической прессе. В 1974 году у него вышла книга рассказов «Такая тишина», получившая премию Чешского литературного фонда. Богатый материал для размышлений и творческого осмысления поведения молодежи дает Павлу Француозу гимназия, где он в течение многих лет работает учителем.

Быть человеком и служить своему народу... Быть гражданином и способствовать развитию общества... Что это означает конкретно?.. Что значит быть писателем в наших сегодняшних условиях и в данной исторической ситуации?..

Это значит активно участвовать в общественной борьбе нашего времени за лучший мир, быть не только историком, но сознательным, активным творцом нашего сегодняшнего и завтрашнего дня. Способствовать укреплению социалистического общественного сознания человека нашей эпохи, помогать ему развивать и культивировать все положительные качества его человеческой личности, развивать в нем богатство чувств, гуманизм, моральные и этические ценности.

Мы живем в такое время, когда иаучно-техническая революция, реализующая свои задачи в благоприятных условиях социализма, изменяет формы жизни человека в обществе.

Быстрое развитие нашего общества приносит с собой все новые и новые явления, ситуации, конфликты и ставит их перед современным человеком, который сам своей деятельностью участвует в общественных переменах и в то же время испытывает иа себе их влияние.

«Искусство,— писал Анатоль Фраис,— помогает человеку приобретать жизненный опыт, способствует познанию самого себя и определению правильного отношения к событиям жизни».

Мие представляется, что именно в иашу столь динамичную эпоху особенно необходимо:

чтобы литература учитывала изменяющиеся формы жизни человека в обществе;

чтобы она была способна их обнаруживать и отражать в художественной форме;

чтобы она реагировала на них и помогала современному человеку искать и находить ответ иа вопросы о том, как сохранить себя в этих новых, меняющихся жизненных условиях, как действовать и что делать, как проявлять свое отношение к жизненным явлениям, то есть как жить, потому что именно в своем специфическом ответе иа этот вопрос литературе принадлежит особая, неповторяющаяся роль.

Объектом литературы является человек, показанный в сфере мыслей и чувств. Изображение человека, его переживаний является для писателя средством показа всего общества; писатель не только описывает события, он стремится глубоко познать их и понять.

Я думаю, что изобразить в литературе нашу современность во всем ее размахе, в ее сложности и величии, изобразить в ней обычного, простого человека, человека сегодняшнего дня, его победы и пронгрыши, надежды и ошибки, его чувства, стремления, любовь и неиависть, его велнчие и слабость, его общественные, трудовые, любовные и семейные отношения, показать его силу, красоту и глубину, скрытые в нем, изобразить его борьбу за счастье,— я думаю, что показать все это, перенести это иа страннцы новых рассказов, повестей и романов — огромная, прекрасная и волнующая задача, касающаяся и иас, писателей молодых по своему возрасту или по своему творчеству. Ибо кто другой мог бы чувствовать глубокую потребность по-новому сказать свое слово о жизни, мире и современном человеке, как ие автор — ровесник этих перемеи, переживший их вместе с обществом и как граждаиин этой земли, и как члеи социалистического общества, и как человек даниой эпохи.

Мы живем в иовой эпохе человеческой истории, иачатой 60 лет назад. Роль литературы в иаши дни ие только прекрасна, ио и ответственна, и иелегка. Что иеобходимо, чтобы и мы могли внести свою лепту в современную социалистическую литературу?

Необходимо, например, чтобы человек был жив и здоров, чтобы он мог работать и чтобы ему ие было стыдио самому перед собой. Необходимо неустаино познавать жизиь в ее изменеииях и учиться у нее.

Необходимо внимательио и сосредоточеиио наблюдать за всеми изменениями, чтобы уловить и то незримое, что возникает и получает развитие, ибо нельзя бежать за общественным развитием, надо иногда и обгонять его.

Необходимо уметь взволновать, воодушевить, сохранить и воспитать способность своего сердца биться в унисон с другими сердцами, уметь пережить чужую боль и радость, обиду, гнев и очарование, воспитать в себе способность чувствеииого восприятия явлений жизни, находить в себе положительные эмоции, бороться против скепсиса и самоуверенности, а главное — беречь свое сердце от очерствения, от безразличия.

Необходимо занять определенную позицию и знать, чего ты хочешь, почему это должен написать только ты, что этим преследуешь, чему этим помогаешь.

Необходимо работать с созианием общественной значимости литературы, потому что это — та основа, на которой мы можем уверенно возводить иаше здаиие со всеми ее архитектурными иадстройками.

Необходимо любить правду, потому что правдивое изображение является иепремеиным условием общественного воздействия литературы.

Необходимо служить своей работой людям, чувствовать себя гражданином своего социалистического общества, быть товарищем всех тех людей, которые, выполняя заветы Великого Октября, повседневно воплощают в жизнь его гуманистические идеалы, чувствовать свою ответственность за сегодняшний и завтрашний день.

Одно из известных определений гласит, что талаит — это смелость сделать иечто для счастья других людей.

Мне кажется, что это одновременно и обязанность постоянно, снова и снова к этому стремиться.

Перевод с чешского Т. МИРОНОВОЙ

◆

Критика

ЖАН ПЕРЮС

ПОЭТ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Заметки о творческом пути Жака Гошрона

Не так давно во Франции вышли в свет, один за другим, два прекрасных сборника — итог сотрудничества художника Бориса Таслицкого и поэта Жака Гошрона — «Яблоня на ветру» (1974) и «Навстречу Океану» (1975). Эти книги, изданные самими авторами и к тому же небольшим тиражом, к сожалению, почти не были замечены. Пусть это не удивляет читателя. Борис Таслицкий, крупный мастер социалистического реализма, один из лучших художников сегодняшней Франции, работает в одиночестве. Жак Гошрон, за редкими исключениями, вынужден печататься за свой счет — должно быть, пройдет еще немало времени, прежде чем будет оценена по достоинству эта яркая фигура в нашем искусстве середины века. О художнике Таслицком скажут свое слово специалисты, я же хочу представить советскому читателю Гошрона, одного из наиболее серьезных, мыслящих и независимых французских поэтов второй половины столетия. Думается, его путь интересен для всех, кто хочет глубоко понять современную французскую поэзию в ее развитии.

■

Жак Гошрон достиг поэтической зрелости в годы Сопротивления — именно оно стало подлинной школой поэта. Вступив в ряды поэтов Сопротивления, Гошрон вместе с ними обратился к новой поэтике, с ее осознанием природы и назначения поэзии в масштабах национальных. О возникновении этой новой поэтики и обстоятельствах, ее породивших, он позже расскажет в статье «Великий час французской поэзии» (1974). В те годы, писал он, поэзия становилась глашатаем национального самосознания и протеста, актом освобождения. В этих словах заключена очень дорогая для поэта мысль, которую он будет неизменно отстаивать в своем творчестве, порой удаляясь от исходной точки, но никогда не отступая от главной формулы: «Поэзия — это свобода».

Стихи, написанные Гошроном во время войны, почти не публиковались. Из его «Подпольных тетрадей» известны всего два коротких отрывка — стихи-листовки, включенные П. Сегерсом в антологию «Сопротивление и его поэты». Лаконичные, боевые строки, написанные неклассическим стихом, распространявшиеся под псевдонимами, говорили о преступлениях фашистов с гневом и объективностью протокола (так, кстати, и была названа позднейшая поэма) и завершались призывом к немедленному действию. В 1942 году в марсельском журнале «Фюзе» появился пролог к большой поэме «Иисус и волхвы», задуманной как мистерия, где древние христианские мифы и старинные народные обряды ставились на службу тогдашней битве. В символических образах поэмы нашла воплощение тема, которая будет возникать то тут, то там в последующем творчестве поэта,— тема надежды. Звучит она и в драматической поэме «Родриго из Трианы, или Время каравелл», написанной в 1944 году, но по сей день неизданной. В историю матроса с корабля Колумба, первым увидевшего неоткрытую землю, своеобразно вплетены надежды, окрылявшие французский народ в момент Освобождения.

В сущности, все главные темы поэзии Сопротивления явственно присутствуют в

творчестве Гошрона с тех самых пор, как он стал печататься. Ненавистью к фашизму проникнуты «Эпитафия нищете» (1945—1946) и «В рядах французских маки» (сборник «Протокол», 1949). Поэт воспевает здесь великую и благородную битву, которой оказывают помощь и силы природы; в стихах Гошрона даже деревья встают в ряды бойцов с тьмой, леса дают им приют:

В эти годы
Родился союз
Людей и деревьев
. . . . . .
Леса свободе давали кров[1].

К одному из важнейших мотивов поэзии Сопротивления Жак Гошрон возвращается в поэме, начатой в 1945-м и завершенной в 1947 году,— первоначально она должна была называться словами рефрена старинной французской песни: «Давным-давно и тебя люблю» (жаль, что поэт отказался от этого прекрасного заглавия, подчеркивавшего связь современной и традиционной любовной лирики). Тема любви к женщине, сливающейся с любовью к свободе, звучала и в стихах Арагона, открывшего заново Францию и ее народ в глазах Эльзы, и в стихах Элюара, обращенных к Нуш и ставших гимном свободе.

Любовь означает и правосудие, но не милосердие, но не всепрощение, снисходительное к вчерашним палачам и воспитывающее палачей завтрашних. Постепенно в поэме предстает лицо истиниой любви, рождаясь из ее различных ликов:

Да пребудет любовь неподкупней весов,
Непреклоннее лезвий стальных
И мудрей изречений древних.

Ключевые, опорные формулы, в которых отражены этические принципы Гошрона, это — «мыслить здраво», «мыслить созидательно». Любовь, братство, разум, созидание — вот основы его поэтического опыта.

По-своему воплощая постоянные темы поэзии Сопротивления, Гошрон с неизменной силой утверждает жизненность высоких и гуманных идеалов. Без обнаженной эмоциональности Арагона, следуя скорее за Элюаром, хотя и оставаясь в рамках другой поэтики, Гошрон так же вдохновенно воспевает обновленную любовь и единение.

■

Чтобы понять послевоенное творчество Гошрона, необходимо иметь в виду социальную и политическую атмосферу Франции назавтра после Освобождения — атмосферу накаленной классовой борьбы. Даже в годы войны необходимость единства действий против нацистов не исключала размежевания тех, кто ждал от Освобождения реставрации старого порядка, и тех, кто надеялся на создание более демократического и справедливого общества. Эти последние вместе с коммунистами дороже всех — своей кровью — заплатили за изгнание оккупантов и, победив, естественно, ставили целью решительное наступление на буржуазию, на коллаборационистов всех мастей. Образ вновь поднимающего голову фашизма мы находим в злой сатире Жака Гошрона «Парад», которой открывается сборник «Эпитафия нищете», где поэт гневно обрушивается на буржуа, радующихся возрождению фашизма.

Тогда же, в конце 1946 года, началась «грязная война» во Вьетнаме (война, на которую отправляли погибать тех, кто остался в живых в армии Сопротивления). Несколько месяцев спустя, весной 1947 года, были незаконно отстранены министры-коммунисты. В 1949 году плакаты с чудесным белым голубем мира, нарисованным Пикассо для Всемирного конгресса сторонников мира, попали во Франции под запрет. Империалистическая политика французского правительства вовне сочетается с жестокими репрессиями внутри страны. В 1947 году против бастующих горняков были брошены танки. В 1949 году рабочий Андре Улье, расклеивавший призывы к борьбе за мир, был в упор убит полицейским.

Политическая реакция сопровождалась усиленными нападками на литературу периода Сопротивления; делались попытки под различными лозунгами развенчать философские и этические принципы «борющейся литературы», кое-кто утверждал, что она была лишь временным явлением и что настала пора поставить на ней точку. С возвращением из США Андре Бретона вновь оживился сюрреализм. Жан Полан в «Коммерс» и «Нувель ревю франсез» старался объединить — вокруг «чисто эстетической» программы — писателей из рядов Сопротивления и писателей-коллаборационистов. В этих условиях на Национальный комитет писателей во главе с Арагоном ложилась задача подлинного объединения всех прогрессивных писателей, задача разрушить стены гетто, в которое буржуазия стремилась заточить писателей-коммунистов.

Политика национального единения, способного противостоять всем ветрам и ураганам, нашла свое воплощение и в литературных произведениях. Поль Элюар и Луи Арагон отстаивали незыблемость поэтических завоеваний Сопротивления. Арагон опубликовал в журнале «Эроп», начиная с 1946 года, серию из двенадцати статей (переизданных потом отдельной книгой), в них он пытается дать ответ на вопрос, что такое поэзия. Арагон определяет ее как «песнь» (отсюда и название сборника «Хроника бельканто»), но песнь национальную, порожденную тысячелетним народным опытом, чистейшей стихией национального языка. Здесь же был сформулирован и один из основных принципов поэтики Сопротивления: поэзия всегда присутствует в языке, ее музыка — это, говоря словами Арагона, «странствующая душа Франции». Песнь

[1] Здесь и далее переводы стихов Н. Стрижевской.

становится, таким образом, выражением народного сознания.

Поле деятельности Жака Гошрона в ту пору чрезвычайно обширно: будучи членом Национального комитета писателей, он горячо поддерживает политику идейного объединения интеллигенции, с 1948 года входит в редакционный комитет «Леттр франсез». В своих творческих поисках Гошрон увлечен стремлением извлечь из глубин национального языка поэзию, в нем кристаллизующуюся. В его стихах неизменно присутствует блестящее чувство языка, чувство, основанное не только на знании литературы, но и на великолепном знании жизни народа — рабочих и крестьян. Размышляя об арагоновских терминах «поэзия-песнь» и «поэзия бельканто», выдвинутых в противовес эстетствующим приверженцам рассудочной поэзии, Гошрон обосновывает собственный эстетический выбор: он утверждает, что песнь не должна оставаться только «бельканто». В статье, которую он много позже посвятит Гийому Аполлинеру (1966), будет сказано: «Триумф Аполлинера напоминает о том, что мелодия обязательно должна присутствовать в поэзии, но не превращаться в красивые вариации на цыганский манер. Красивый стих, рифма, движение ритма — это не цель поэзии». Гошрон всегда отвергал поэзию, спасающуюся от жестокой реальности в мире символов или мифов, он ставил перед собой цель находить поэзию в повседневной социальной и политической действительности. Поэзия, считает он, призвана хранить следы истории народа.

История общественной борьбы в послевоенной Франции пронизывает сборник Гошрона «Эпитафия нищете». Это череда едких саркастических сатир, нередко близких к прозе, развенчивающих приспешников оккупантов, трусливых и жестоких буржуа; это и защита тех высоких идеалов и ценностей, за которые сражались лучшие люди Франции и которые будут претворены в реальность,

Когда нашим молотом будут разбиты
Нищеты могильные плиты.

Образ молота недвусмыслен — это молот в руках рабочих. Тем же стремлением черпать поэзию в повседневной жизни рабочих отмечены сборник из двадцати четырех поэм «День за днем» и альбом «Книга рабочих часов» (1947).

Поэма «Курръер» (1948) — яркий пример участия поэзии в классовой борьбе. В маленьком шахтерском поселке Курръер произошла катастрофа — то, что горняки называют «пылевым взрывом» (результат скопления пыли, становящейся при определенных условиях взрывоопасной). Несмотря на предупреждения профсоюза, меры предосторожности своевременно не были приняты — из соображений экономии. Пыль становится в поэме символом рутины, бесчеловечности и лицемерия хозяев, алчной буржуазии. Стихи эти звучали на собраниях и митингах, исполнялись на публичных концертах. Поэзия рабочей борьбы, поэзия широкого революционного дыхания — с ее языком, близким к разговорной речи, часто переходящим в прозу,— как нельзя лучше отвечала духу и обстановке тех лет. Образы поэмы перекликаются с политическими лозунгами, черпают в них силу и выразительность.

Так утверждалась в условиях тогдашней Франции поэзия подлинно коммунистическая, призывавшая человека и искусство к активной деятельности во имя будущего. Однако путь этой новой поэзии был нелегок. В своих исканиях она обращается к традициям мировой революционной литературы прошлого. Так, Жака Гошрона привлекает творчество Шандора Петефи. «Петефи,— замечает он в одной из статей 1952 года,— наглядный пример того, что иет двух различных фронтов — политического и культурного». Гошрон видит в Петефи «поэта поистине народного, ибо его творения знаменуют появление в литературе эксплуатируемых масс, с их стремлениями, надеждами и чаяниями,— таких, каковы они есть, и таких, какими они хотели бы быть». Стихи Петефи, по признанию Гошрона, укрепили в нем «веру в то, что поэзия — не услада для одиночек».

Он открывает для себя и Маяковского, почти неизвестного тогда во Франции (то есть до издания его «Стихов и прозы» в переводах Эльзы Триоле). В Маяковском больше, чем в ком бы то ни было, он видит воплощение настоящего величия поэзии. В самом замечательном новаторе современного стиха Жак Гошрон узиавал те же чувства, что одушевляли и его самого, прежде всего «любовь к жизни... эту неистовую любовь, которая подгоняет поэта, вступающего в схватку с медлительностью повседневной жизни». Опираясь на опыт Маяковского, Гошрон стремится возродить престиж поэзии гражданственной: «Не размывать контуры поэзии, а, наоборот, уточнять и подчеркивать их, сделать их видимыми и ощутимыми для каждого... Не полагаться на традиционные источники поэзии, но черпать в повседневных фактах, в конкретных деталях тот опыт, который питает теорию». Как никогда прежде, Гошрон ощущает, какое расстояние разделяет поэзию, «иллюстрирующую события», и поэзию, которая сама рождает событие.

«Маяковский,— пишет Гошрон,— должен был создать иовую поэтику, в противовес старой, чтобы его поэзия была услышана». В ту пору он напряженно ищет новые формы и художественные средства, позволяющие рассказать не просто о жизни народных масс, но о жизни именно рабочих. В 1951 году вместе с музыкантом Луи Дюрэ Гошрон работает над поэтической композицией, предназначенной для показа на фестивале молодежи и студентов в Берлине. В 1953 году, к десятилетней годовщине гибели героини Сопротивления Даниэль Казанова, он создает еще одну поэтическую композицию — ее поставил Луи Дакен. В том же году Гошрон и композитор Жозеф Косма сочиняют оперу по мотивам новеллы Андре Стиля «Стальной цветок».

Эти поиски завершаются в 1956 году появлением произведения большого эпического размаха — поэмы «Ткачи». Восстание лионских ткачей было первым — и мощным — восстанием пролетариата Франции. Чтобы подавить его, властям потребовалось прислать из Парижа солдат и артиллерию, и все же первая коммуна просуществовала тринадцать дней. Ее и воспел Жак Гошрон. Поэту пришлось решать совершенно новые художественные задачи: впервые современная французская поэзия обращалась к столь обширному и сложному поэтическому эпосу («Ткачи» насчитывают 538 стихов), впервые ее материалом становился эпизод из истории рабочего движения, наконец, впервые в ней непосредственно зазвучали голоса рабочих. Для изображения восстания потребовалось не только найти новую форму, но и переосмыслить самый жанр. Ведь автору предстояло показать события такими, как они были в действительности, и одновременно такими, как они воспринимались участниками,— иначе говоря, слить в одно целое эпическое повествование, лирическую песнь и драматическое действие. Думается, Гошрону это удалось.

В простых и сильных образах разворачиваются перед нами картины жизни пролетариев:

Череи век, годы — словно чугун,
Череи, как уголь во тьме рудников.

Черен, как мрак в недрах гор,
Как наш небосвод, куда сотни труб
Изрыгают сажу и дым.

Черен век, годы — словно чугуи,
Пышет жаром от топок котлов,
От расплавленной стали в ковшах.

Нам рукн ломает молот,
Под непосильным грузом
Наши кости хрустят.

Железный век...

Чьей-то рукн железной власть
Швыряет женщин, детей
В машины огромную пасть.

Временами эпопея уступает место песне, правильные четверостишия сопровождаются рефреном в виде двустишия — в соответствии с традицией старинных трудовых песеи; в этом обращении к исконным национальным формам — как бы отзвук поэзии Сопротивления. Однако, когда поэт изображает восстание, в его стихах оживает еще одна фольклорная традиция — традиция революционной песни.

Неизменно верный исторической правде, Гошрон, рисуя своих героев-ткачей, ориентируется на действительный уровень их мышления,— и язык его поэмы грубоват, подчеркнуто прозаичен. С другой стороны, сложная игра образов, не всегда прямо связанных с реальностью, где развертывается история ткачей, поразительно точно и тонко передает внутреннюю диалектику духовного мира простых людей, гигантское усилие их сознания, стремящегося подняться до постижения законов окружающего мира. Поэтические метафоры преобразуются в призыв к революционному действию. Такая поэтика очень близка Маяковскому.

Рассказ об уличных боях между повстанцами и национальными гвардейцами — центральный эпизод поэмы. Пролетарии поднимаются на кровопролитную войну с буржуа. Для поэта это — поворотный момент века:

Смерть негасимый факел
Зажгла на заре истории.

Был полдень,
Великий полдень,—
Когда содрогнулась земля.

Повествование выстроено вокруг образа знамени. Сначала оно черного цвета — это знамя восставшей нищеты, чье «черное терпение» наконец кончилось:

Черное знамя — ужасный стяг
Из подземелий взмыл,

Черное солнце воздето в руках,
Черное знамя тряпья —
Чистейший, священный стяг.

После кровавого побоища знамя ткачей становится алым:

Знамена в саваны превращены,
Но постепенно опять
Черные стяги, от крови красны,
Снова взмывают в руках нищеты.

Так знамя бунта становится стягом революции.

По моему суждению, Гошрон сумел убедительно показать, что классовая борьба и ее история могут стать вдохновляющим началом и основой самой высокой лирико-эпической поэзии,— именно здесь, на мой взгляд, и пролегает путь развития современной эпопеи. «Ткачи» знаменовали собой появление не только новой поэтики, но и поэта нового типа, обладающего личным опытом участия в сражениях пролетариата, поэта, чье творчество также неразрывно связано с борьбой рабочего класса.

Силу и своеобразие гошроновских «Ткачей» по достоинству оценила самая массовая аудитория: прекрасная кантата Ж. Косма на текст поэмы прозвучала в Праге, опера «Ткачи» с успехом шла в Будапеште и Берлине. В 1965 году под руководством Луи Эрло состоялась постановка «Ткачей» в Лионе.

■

Нередко приходится слышать утверждение, что в годы, последовавшие за созданием «Ткачей», Жак Гошрон писал мало. На самом же деле у него, поэта рабочего класса, не было ни малейшей возможности печататься: его сказку в прозе «Лесная легенда», например, отвергли все предубежденные издатели. Он покидает Париж и сам строит себе дом — «поэму для жилья», как он его назовет,— на высоком берегу Сены, откуда открывается великолепный вид на Мезон-Лаффит и Пуассн. Каменщик и плотник, столяр и слесарь, он раздумывает

ЖАН ПЕРЮС
ПОЭТ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

над проблемами поэзии. Его размышления объединены в сборник «Праздничная литургия» (1965). По словам Гошрона, «поэзия обличающая и поэзия воспевающая сходны своей односторонностью». Обе они упускают из виду реальную жизнь, и та и другая недостаточно действенны. Значит, поэзии нужно искусно проложить свою узенькую тропинку, путь между воображаемым и действительным, уловить сложную диалектическую связь между ними. Мудрость, к которой приходит поэт,— в том, что у него есть право с помощью познания и разума вмешиваться в устройство мироздания. «Во мне движенье времени»,— пишет он. Поэзия должна нам «в долины дверь распахнуть», «для праздника флаги развесить», отстоять от зла и страха чистоту и радость жизни.

Поэзия, верит Гошрон, и сама подобна жизни. Остановившись, она лишается ее бнения и тем самым перестает быть поэзией, она — очищающая песнь, смывающая всю грязь проточной водой. Однако ничто не может быть сказано ею однажды и для всех — она вонстину «бесконечная песнь». «Вечный первый крик» — так называет поэзию Жак Гошрон.

В поэме «Яблоня на ветру» (1974), обращаясь к той же теме, Гошрон сопоставляет поэта и садовника — ведь оба они трудятся ради непрерывного обновления жизни:

И в самый жестокий мороз,
Когда все сковано льдом,
Всегда различу я и срежу
Мертвую ветвь — во имя
Грядущей весны.

Проблемы поэтического языка Гошрон рассматривает в глубоком исследовании, посвященном поэме Элюара «Здесь, всегда и повсюду». «Теоретически и практически доказано, что язык закрепляет и фиксирует изменения реальной жизни,— пишет поэт.— Он тяготеет к статике и абстракциям, но неподвижность языка может быть взорвана присущей ему образностью, перекидывающей мостик к воображаемому. В процессе письма выявляется все богатство логики и воображения, они неотделимы друг от друга: без абстрагирования нет речи, без конкретного нет реальности, без образности нет смысла — и мы говорим в пустоте и впустую».

Но Жак Гошрон отказывается от проникнутой мистикой образности символистов, отвергает он и схоластическую игру в образность — мертвую, ибо она риторична,—он не приемлет и образность сюрреалистов, способную, пожалуй, поражать, даже шокировать, но не более. Поэт создает собственный мир образов, и светлых, и мрачных, возрождающихся от стихотворения к стихотворению и словно испытываемых на прочность,— они как бы пробные камни реальности. Зачастую именно из образов — дерево, океан — рождаются темы больших поэм Гошрона.

С особенным вниманием относится Гошрон к строю поэтической фразы, к лексике. Нередко ломая традиционный синтаксис, соединяя разнородные синтаксически элементы, жертвуя напевностью, пользуясь назывными предложениями, он все же бережно сохраняет живую ткань речи, ибо именно ею поддерживается взаимосвязь между твордом и читателем. Вводя в стихи слова нарочито прозаические, порой разрушая привычные ассоциации, порой, напротив, иронически подчеркивая их, Гошрон иногда приходит к кажущейся неясности (впрочем, какая поэзия, даже самая прозрачная, обходится без неясности?), неясности, где тьма оттеняет свет; и все-таки стремиться к свету необходимо, если мы хотим вместе с поэтом «превзойти самих себя».

■

Приглашая читателя обратиться к позднему творчеству Гошрона, прежде всего к его поэме «За здоровье аргонавтов» (1973—1974), хочу напомнить, что в 1973 году поэт перенес тяжелую болезнь, проведя десять дней между жизнью и смертью. Это «путешествие» и стало материалом его произведения. Узкая тропинка, которую Гошрон проложил для поэзии, вдруг превращается в тончайшую нить, в черту, разделяющую жизнь и смерть,— причем не воображаемую, а конкретную, познанную на собственном опыте.

После «Аргонавтов» — путешествия к краю небытия — «Яблоня на ветру» звучит как гимн отвоеванной жизни. Выбор жизни, со всеми ее обязательствами,— таков главный смысл поэмы.

Первые же взволнованные стихи возрождают в памяти картину вновь обретенного дома на вершине утеса — на высоком берегу Сены, который писал Марке:

Просто клочок земли —
Не виноградник, не сад,
И небо простерто над ним,

И времени кони летят,
И славы проносится дым
Над шествием весен и зим.
. . . . . .
Между землей и небом,
На высоте горизонта
Пространства вольного власть.

Здесь стоит яблоня, метаморфозы которой день ото дня запечатлевал друг Гошрона Борис Таслицкий.

Глубоко личный тон сохраняется на протяжении всей поэмы, как, впрочем, и следующей — «Навстречу Океану», где авторское «я» еще ощутимее.

Темой «Яблони» становится противоречие между течением времени в природе — вечным чередованием времен года — и временем человеческим, непрерывным движением историн и прогресса. Дерево, чья жизнь подчинена смене времен года, становится для поэта символом бесконечности — одновременно и покоя, и перемен. Рост дерева так же постепенен, как освобождение задавленного сознания под влиянием доброй воли,— вот в чем поэт усматривает движение Истории. Но чтобы свершалось движение истории, требуется участие садовника, который поможет созреванию плодов. Так своеобразно переосмысляет Гошрон антич-

ный образ древа жизни. Богатство и глубина этой трактовки подготовлены всем долгим предшествующим творчеством поэта.

Союз человека и дерева присутствовал еще в юношеском произведении Гошрона «В рядах французских маки» — там он был вызван особыми обстоятельствами: лес давал прибежище партизанам, сама природа вставала на сторону борцов за свободу. Прежние образы в поэме полностью обнсзляются. Дерево возвышается между небом и землей, но она не бесплодная «глина и булыжник» из «Праздничной литургии»,— здесь, в «Яблоне на ветру», земля становится вместилищем жизни, черноземом, откуда корни черпают животворные соки. Образ неба тоже претерпевает измеиения, оно служит источником света, обозначая мечту, идеал. И дерево, оберегаемое садовником, как бы соединяет небо и землю.

Пространство между небом и землей, где «созревает суровая нежность плодов», овевает ветер. Ветер из «Яблони на ветру» — новый образ у Жака Гошрона — символизирует движение мысли, истории, жизнн, из которого рождается будущее, он — зримое воплощение «непрерывности» жизни с ее многообразием, потрясениями, вихрями, бурями и затишьями:

Прозрачные бури,
Скитания света —
Так шествует ветер,
Несущий в ладонях
Нежиость дождей,
Сумерек шепот,
Цветов дыханне, трепет крыльев
И звезд признанья.

«Яблоня на ветру» — итог, подведенный поэтом на пороге 70-х годов, полный сдержанного, выстраданного оптимизма:

Совсем не просто быть деревом.

Никто не знает зараиее,
Никто тебе ие подскажет,

Как выпрямить спину
И плечи солнцу подставить.

Нужно раскинуть ветви,
Корнями вцепиться в почву,

Чтобы стать тверже скалы,
Чтобы стать крепче утеса

И не согнуться под ветром,
И не сломаться в бурю—

Стоять свободно и твердо
Среди пространства и ветра,

Где запахи моря струятся,
И солнечиый свет трепещет,

И кружатся птицы.

Появившаяся через год после «Яблони на ветру» поэма «Навстречу Океану» стала новым успехом философской лирики Гошрона. И в ней речь идет о глубинных источниках бытия, о созидательном и победоносном движении истории и человечества.

При всей кажущейся свободе формы, поэма выстроена очень тщательно. В противовес томящейся от рабства Земле могучий Океан символизирует свободу, которой жаждет человечество.

■

Неутомимый труженик, Гошрон продолжает работу — уже после «Яблони» и «Океана» вышли два небольших сборника, прибавивших новые краски к его дарованию, новые нитонации к его голосу, начат новый цикл стихов.

По-прежнему много времени отдает он переводам — в фокусе его внимания советская, венгерская, болгарская, македонская поэзия. В Венгрии его переводы Ш. Петефи и А. Йожефа отмечены премией. Начинает сказываться влияние Гошрона на современную французскую поэзию; рубрика «Поэтические тетради», которую он ведет в журнале «Эроп», по праву принесла ему честь стать организатором прогрессивной поэтической молодежи Франции.

Завершая краткий очерк пути поэта нашего времени, поэта глубоко французского — Жака Гошрона, хочется подчеркнуть одно важное обстоятельство: он имел мужество честно и прямо взглянуть в лицо тем сложным проблемам, которые современная действительность и искусство ставят перед художииком-коммунистом, и посвятить все свое творчество поискам их решения.

Перевод с французского Н. СТРИЖЕВСКОЙ

◆

Заметки на полях

ЖИВЫЕ ТРАДИЦИИ

3 марта, день победоносного окончания русско-турецкой войны 1877—1878 годов, для наших болгарских друзей исполнен особенного значения. Это праздник национального освобождения Болгарии. После почти пятивекового гнета Османской империи, героической национально-освободительной борьбы болгарского народа перед ним открылся путь независимости, самостоятельного развития. На этом пути длиною в столетие были и трудности, и острые социальные столкновения, а порой и трагические сотрясения, но в итоге он привел к рождению социалистической республики, о которой мечтали лучшие сыны болгарского народа еще в XIX веке.

День 3 марта знаменует собой начало нового этапа и в развитии русско-болгарских отношений. Дружба, скрепленная кровью тысяч солдат и офицеров русской армии, павших в боях у Плевны, Шипки и Старой Загоры за освобождение Болгарии, живет в сознании народов наших стран как священный завет каждому новому поколению. О признательности болгарского народа освободителям говорят сотни памятников русским воинам, павшим на болгарской земле. «Я не знаю другой страны в мире,— писал Васил Коларов,— где бы народная любовь и благодарность другому народу были воплощены в столь многочисленных, свято хранимых и окруженных почетом памятниках, как в Болгарии, где каждый город, каждый парк, каждый холм, каждая пядь земли свидетельствуют о безграничной любви и признательности болгарского народа к своим освободителям».

Вот почему для обеих наших стран юбилейная дата памятна и знаменательна. К этой дате в Советском Союзе и Болгарии приурочено большое число литературных публикаций. Наиболее значительными являются «Библиотека болгарской классической литературы» в десяти книгах (Москва, «Художественная литература») — пять из них уже вышло; совместный двухтомный труд Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР в Ленинграде и Института литературы Болгарской академии наук «Русско-болгарские фольклорные и литературные связи» (1976—1977); «Освобождение 1878 года и развитие болгарской литературы» (София, 1977); «Здравствуйте, братушки! Произведения болгарских писателей об освобождении 1878 г.» (София, 1977); Э. Георгиев «Эпопея освободительной борьбы болгарского народа в славянских литературах» (София, 1976); Г. Германов «Окровавленное накануне. Болгария и болгары в русской литературе» (Варна, 1976).

В «Библиотеку болгарской классической литературы» входят произведения крупнейших болгарских поэтов и прозаиков XIX и XX веков — Христо Ботева, Ивана Вазова, Захария Стоянова, Алеко Константинова, Пенчо Славейкова, Пейо Яворова, Димчо Дебелянова, Елина Пелина, Йордана Йовкова, Христо Смирненского, Гео Милева, Николы Вапцарова. Собранное вместе, их творчество позволяет ощутить биение пульса крепнувшей дружбы народов двух стран. В канун русско-турецкой войны, когда было потоплено в крови Апрельское восстание болгарского народа и в Болгарии бесчинствовали турецкие орды, Иван Вазов публикует стихотворение «Россия»:

«...Повсюду там, где вздох суровый,
Где неутешно плачут вдовы,
Где цепи тяжкие влекут,
Ручьи кровавые текут
И узник-мученик томится...

По всей Болгарии сейчас
Одно лишь слово есть у нас,
И стон один, и клич: Россия!

Россия! Свято нам оно,
То имя милое, родное,
Оно, во мраке, огневое,
Для нас надеждою полно».

(Перевод Н. Тихонова)

Через несколько месяцев после появления этого стихотворения Россия действительно объявила войну Турции. Молодой поэт, находившийся в эмиграции в Румынии, в июне 1877 года встречал русскую армию на окраине Бухареста. Этому событию он посвятил стихотворение «Прогулка в Баиясы», в котором нашли выражение настроения многих болгар, ожидавших от русских защиты и помощи. Вазов вместе с русскими войсками вступил на болгарскую землю, был свидетелем ожесточенных сражений, в которых принимали участие болгарские ополченцы и армия Румынии, выступившая на стороне России. Героическая защита Шипки воспета им в лиро-эпической поэме «Ополченцы на Шипке». Словно из легенды дошли до нас строки, переведенные на русский язык В. Луговским:

«И теперь — лишь буря грянет на Балканы,
Вспоминают Шипку горы-великаны,
И проносит эхо гром былых побед
Через перевалы, в даль грядущих лет».

Поэт через всю свою жизнь и творчество пронес глубокую любовь к русскому народу и русской литературе, которую он высоко ценил и на образцах которой учился.

Вместе с Иваном Вазовым в этой же войне участвовал и Петко Славейков, известный болгарский просветитель, крупный поэт и общественный деятель. Во время перехода русских войск через Балканы в конце 1877 года он добывал ценные сведения разведывательного характера, снабжал продовольствием отряды русской армии. Генерал Скобелев говорил о нем: «Это великий патриот и драгоценный помощник». Прошло несколько десятилетий, и его сын Пенчо Славейков стал выдающимся болгарским поэтом. В своей знаменитой поэме «Кровавая песня» он запечатлел эпизоды из русско-турецкой войны и прославил подвиги освободителей своего народа. Ему принадлежат широко известные и часто цитируемые в Болгарии слова: «Россия нас освободила политически. Это и дети знают. Но Россия освободила и ум наш... начала двух лучших источников жизни наш молодой, энергичный и жизнеспособный народ взял у русских, великих наших братьев».

Двухтомная совместная работа «Русско-болгарские фольклорные и литературные связи», безусловно, привлечет внимание специалистов и широтой охвата — от первых контактов в письменности в X—XI веках до литературного взаимообогащения на современном этапе развития,— и использованием новых или малоизвестных материалов, раскрывающих взаимный интерес писателей двух стран.

Статья болгарского автора Георгии Димова посвящена процессу восприятия болгарской литературой общественностью второй половины XIX века русской литературы и эстетической мысли. Конкретное изучение многочисленных фактов приводит ученого к выводу, что

«...социально-политическая и философская основа русской материалистической эстетики оказалась созвучной общественным нуждам и задачам, которые предстояло решать молодой болгарской интеллигенции... Болгарская интеллигенция приобщалась к передовым идеям, проповедуемым лучшими сынами России, звавшими к освобождению человека и раскрепощению его мысли; русские писатели и деятели культуры в свою очередь интересовались положением и судьбой порабощенного болгарского народа. Эта диалектическая взаимообусловленность, отчетливо различимая в свете расширявшихся взаимных контактов, стала важным фактором в формировании революционно-политической направленности духовной жизни Болгарии».

Немало уже сделано для выявления роли Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева в истории болгарской литературы в целом и творчестве отдельных писателей. В двухтомнике литературоведы дополняют эту сторону связей. Но особенно важно, что в ряде статей советских авторов убедительно показана важность болгарской темы в творчестве русских писателей. Об этом пишут: В. Порудоминский — «Болгарские страницы жизни и творчества В. И. Даля», В. Вильчинский — «Война за освобождение болгар и русская литература», П. Троев — «Глеб Успенский в Болгарии». Новый свет на характер русско-болгарских литературных связей проливают и сами литературные произведения, и высказывания русских писателей о судьбе болгарского народа, о русско-турецкой войне 1877—1878 годов.

«Характерный для русской литературы гуманистический пафос,— пишет В. Вильчинский,— отличает высказывания Тургенева, который рассматривал войну как освобождение угнетенного народа независимо от исповедуемых этим народом убеждений... Сочетание глубоких христианских убеждений с широкой веротерпимостью характерно для статей по славянскому вопросу Достоевского...

Писатель считает, что «всечеловечность есть главнейшая личная черта и назначение русского», что в заступничестве нашего народа за угнетенных славян проявилось его исконное чувство «бескорыстной любви к несчастным и угнетенным братьям своим...»

Авторы двухтомника делают вывод, что русско-турецкая война стала творческим импульсом для многих русских писателей. После нее были созданы такие гуманистические произведения, как стихотворение в прозе И. Тургенева «Памяти Ю. П. Вревской», как рассказы В. Гаршина, стихи Я. Полонского и А. Трефолева, очерки и письма В. Гиляровского и С. Боткина.

В книге «Эпопея освободительной борьбы болгарского народа в славянских литературах» академик Эмил Георгиев разбирает многочисленные произведения писателей разных славянских народов, увековечившие исторические для Болгарии события. Болгарский ученый считает, что «в славянских литературах возникла целая эпопея борьбы болгарского народа за свободу». В специальную главу — «Освободительный поход братского народа» Георгиев выделяет произведения, посвященные русско-турецкой войне 1877—1878 годов. Здесь мы находим имена не только русских писателей, но и таких широко известных чешских, словацких, сербских литераторов, как Ян Неруда, Каролина Светлая, Сватоплук Чех, Ярослав Врхлицкий, Павол Гвездослав и Йован Йованович-Змай.

«Освобождение Болгарии от пятивекового османского ига,— пишет Э. Георгиев,— было логическим завершением не только развития болгарского народа в так называемую возрожденческую эпоху, но и развитием ближайших к нему славян, роста идей и стремлений славянской общности, славянской солидарности, славянского единства. Болгарский вопрос получил широкую популярность среди славянских народов и начал волновать не только сердца порабощенных болгар, но и миллионы славянских сердец. Русско-турецкая освободительная война 1877—1878 гг. ...остается одним из самых важных моментов в истории движения за славянское братство и единство».

Интересен новый труд болгарского специалиста по русской литературе, доцента Софийского университета Георгия Германова «Окровавленное накануне». Это единый цикл очерков о произведениях русских поэтов, прозаиков, публицистов и мемуаристов, посвященных жизни Болгарии и болгар особенно в период подъема национально-освободительного движения и во время русско-турецкой войны. Книга открывается главой о Пушкине, который первым ввел в русскую литературу болгарские образы и темы. Вслед за ним эту тему в своих произведениях развивают В. Тепляков, И. Липранди, А. Хомяков, А. Вельтман. Но особое внимание ей уделяет Тургенев, создавший впечатляющий образ болгарина Инсарова в романе «Накануне».

Судьба болгар глубоко волнует Тургенева и в момент подавления Апрельского восстания 1876 года, и во время русско-турецкой войны. Его смелые выступления против протурецкой политики некоторых западных держав, в защиту бесправных болгар сыграли важную роль в пробуждении интереса прогрессивной общественности разных стран к тяжелой участи болгарского народа. Литературовед отмечает большую заслугу тогдашних редакторов «Отечественных записок» Некрасова и Салтыкова-Щедрина, которые «правильно формировали общественное мнение по болгарским вопросам. Публикация в журнале статей о Болгарии основывалась на обильном фактическом материале. Они были написаны аналитично, компетентно и добросовестно».

«Изображение Болгарии и болгар в русской литературе,— пишет в заключение Г. Германов,— связано с постоянным глубоким интересом русских писателей, начало которому было положено А. Пушкиным... Русские поэты, прозаики, критики и мемуаристы, начиная от А. Пушкина до Г. Успенского и А. Блока, видели Болгарию и болгар по-своему, через призму своих нравственных норм, своих общественно-политических и эстетических воззрений. Силой своего таланта они воссоздали образ нашей страны и нашего народа в кровавое накануне его избавления от вековой национальной и социальной тирании. В эти произведения они вложили свои идеи и свой талант».

Новой вехой в развитии братской дружбы стали исторические события октября 1917 года. Болгарский литературный критик-коммунист Георгий Бакалов в 1921 году писал, что «Октябрьская революция изменила у нас соотношение сил... Социализм перестал быть миражем, а его контуры обозначились на близком северном горизонте в пламени революции». Рождались новые советско-болгарские отношения, основанные на принципах пролетарского интернационализма и общих социалистических идеалах. Провозвестниками новых идей в Болгарии стали революционные поэты Христо Смирненский, Гео Милев, Никола Вапцаров. Их лучшие произведения составили отдельный том «Библиотеки болгарской классической литературы», о которой речь уже шла выше. В творчестве этих поэтов Болгарии традиционные связи наполняются новым содержанием: они становятся выражением революционной общности народов, передают дух пролетарского интернационализма. Молодо и по-современному звучат строки Смирнен-

ского, родившиеся в 1921 году. Москву, бывшую ранее притягательной силой для славян, он воспринимает как центр пролетарского мира, как «звезду всех будущих времен».

«Москва! Москва!
Ты ярко вновь горишь, ты вновь гудишь,
из сердца пламень льешь вокруг;
с улыбкой ясно-алой ты хранишь
сплетенье крепких братских рук...
С восторженной любовью, как сестра,
ты собрала со всей земли
и радости и бурную печаль!
Москва! Москва!
Ты вся — расплавленный металл!»
(Перевод С. Городецкого)

В 20—30-е годы в Болгарии огромной популярностью пользовались произведения Горького, Блока, Маяковского, Шолохова. О значении их творчества для роста политического самосознания болгарского народа и болгарских писателей, в частности, ярко свидетельствуют новые материалы, подобранные авторами совместного труда «Русско-болгарские фольклорные и литературные связи».

В начале сентября 1944 года Советская Армия, преследуя фашистские полчища, вступила на болгарскую землю. Болгарский народ назвал советских воинов дважды освободителями. После второй мировой войны советско-болгарская дружба приобрела новое содержание. Она стала фактором взаимопомощи, фактором взаимообогащения народов, идущих по пути социализма. Об этом свидетельствуют совместные грандиозные стройки, широкий культурный взаимообмен, многочисленные деловые и творческие встречи, которые стали прочной традицией в повседневной жизни наших стран и народов. Традиции русско-болгарских литературных связей получили богатое развитие в творчестве многих современных советских писателей. При этом не только русских писателей — Николая Асеева, Павла Антокольского, Николая Тихонова, Ильи Эренбурга, Константина Паустовского, но и писателей народов СССР — Максима Рыльского, Педера Хузангая, Расула Гамзатова, Мустая Карима, Сулеймана Рустама и других.

Живо восприняли традиции отцов советская и болгарская молодежь. Во второй половине 60-х годов по инициативе ЦК ВЛКСМ и ЦК Димитровского коммунистического союза молодежи Болгарии сложился совместный Клуб творческой молодежи. Он стал активной формой содружества в областях литературы и искусства. Клуб периодически выпускал литературно-художественный альманах «Дружба». В самом же конце минувшего года на основе альманаха родился молодежный журнал «Дружба», который выходит теперь на русском и болгарском языках в Москве и Софии. Первый номер журнала открывается приветствиями товарищей Т. Живкова и Л. Брежнева.

По выражению товарища Живкова,

> «...журнал станет для болгарских комсомольцев новым окном в мир строящегося коммунизма, в духовный мир советского человека, в советский образ жизни, а для славной советской молодежи он станет еще одним мостом дружбы, связывающим ее с нашим социалистическим отечеством».

Л. И. Брежнев в обращении к читателям «Дружбы» отметил:

> «Живой огонь дружбы, с могучей силой вспыхнувший у Плевена и на Шипке, одинаково дорог сердцу болгарина и советского человека. Отдавая дань глубокого уважения подвигу наших предков, мы с особым волнением обращаемся к тому незабываемому времени, когда победоносное наступление Советской Армии, громившей гитлеровские войска, слилось с героической борьбой болгарского народа за свое освобождение и социалистическое будущее».

В. ЗЛЫДНЕВ

МНЕНИЕ РОМАНИСТОВ

За последнюю четверть века, пожалуй, ни одна литературоведческая проблема не вызывала таких ожесточенных споров в западной критике, как судьбы романа. Спорили исследователи и сами романисты, журналы проводили анкеты, «круглые столы», устраивались международные дискуссии[1]; этой проблеме посвящено множество книг.

Лучший ответ на все вопросы давала сама живая литература, убеждавшая в том, что роман — при всех тех изменениях, которые он претерпел в последние десятилетия, и вопреки тем нападкам, которым он подвергался со стороны «новаторов» различного толка,— остается наиболее емкой идейно-эстетической формой воспроизведения действительности, наиболее популярной и в писательской, и в читательской среде.

«Столы ломятся от книг, а критики трепещут: никогда еще не было такого количества романов»,— пишет французская газета «Монд». В самом деле, если осенью

[1] Часть этих материалов вошла в книгу «Судьбы романа» (сборник статей. М., «Прогресс», 1975), которая дает представление о размахе и содержании дискуссий о романе, проходивших в основном в 60-е годы.

1975 года издательства страны опубликовали двадцать восемь первых романов, то в 1976 и 1977 годах их выходило около пятидесяти. В условиях инфляции и роста цен на бумагу вполне логично было бы предположить, что издательства не захотят идти на риск и откажутся от публикаций первых произведений, что всегда небезопасно. Но этого не случилось. Факт весьма примечательный и достойный того, чтобы над ним поразмыслить. И сотрудники еженедельника «Нувель литтерер» обратились к дебютантам с подробнейшей анкетой, с помощью которой хотели лучше уяснить, кто эти писатели, решившие начать свою жизнь в литературе с публикации романа.

Вопросы к романистам были предельно простыми: кто они? каков их возраст? чем они занимаются? где, когда и как они пишут? в какой степени рассчитывают на литературный заработок? каковы их отношения с литературной средой, издательствами, рекламой? чего они ждут от читателей и критики? И, наконец, самый главный вопрос: почему они начали свою писательскую деятельность с романа?

> «Мы решили задать им эти простые вопросы,— пишет еженедельник,— чтобы посмотреть, чтобы понять, как еще может возникнуть желание написать роман, когда живешь в обществе, пресыщенном всеми видами «речи» и погрязшем в удовлетворении материальных потребностей.
>
> Вот результаты: поучительные, неожиданные и — почему не признаться — приятные...
>
> По существу, ответы выходят за границы вопроса о первом романе; в них вырисовывается облик новой литературы и тех условий, в которых работает писатель во Франции. Если вас интересует, что живет и движется в современном французском романе, вы найдете здесь некоторые многообещающие симптомы этого движения».

Как видно, журналисты из «Нувель литтерер» оценивают результаты анкеты весьма оптимистично, хотя, забегая вперед, нельзя не сказать, что их оптимизм не всегда обоснован и кажется иногда, что они подают материал излишне тенденциозно, выдавая желаемое за сущее.

Первая группа вопросов анкеты связана с возрастом и социальным положением начинающих, их профессией, заработком и т. д. Ответы опровергают сложившийся стереотип романиста-дебютанта, молодого человека без профессии и заработка, живущего впроголодь и пишущего где-то в мансарде Латинского квартала свой первый роман. В большинстве своем это люди, получившие образование, занимающие довольно прочное положение в обществе, немолодые: средний возраст дебютантов — 40—50 лет. Таким образом, старшие принадлежат к поколению «нового романа», поколению Роб-Грийе и Бютора, те, что помоложе,— к поколению «Тель кель», Соллерса и Рикарду. Почему же они начали так поздно? Журнал так объясняет этот факт:

> «Лучшим и наиболее здравомыслящим среди них, вероятно, казался невозможным выбор между классическим романом, о полном умирании которого им было известно, и новым романом, который выдавал себя — причем теоретики в большей степени, чем сами авторы выдавали его — за единственно приемлемую форму, и эти претензии на универсальность молодые романисты решительно отвергали. Оказавшись в тисках между консерватизмом и терроризмом, они выбрали единственное решение — молчание».

Это объяснение, предложенное «Нувель литтерер», конечно же, не безусловно. Читатели и большинство критиков так устали от холодного экспериментаторства формалистического романа, претендовавшего последние двадцать лет на ведущую роль во французской литературе, что теперь, когда его влияние явно пошло на убыль, проецируют нынешнее положение дел в прошлое и, думается, достаточно произвольно и субъективно объясняют такой трудно объяснимый факт, как то, почему художник написал свой первый роман не в двадцать, а в сорок лет. Но сама эта субъективность как раз очень симптоматична и показательна для характеристики ситуации в современной французской литературе.

Центральный вопрос анкеты — почему дебютанты решили начать с романа, почему выбрали именно этот жанр. Впрочем, понятие выбора в данном случае не совсем удачно, и это отмечали сами опрашиваемые:

> «Слово «выбирать» кажется мне несколько спорным. Я сказал бы скорее, что романическая форма выпала на мою долю» (Пьер Мальдонадо).
>
> «Я решительно ничего не выбирал. Это издатель поставил слово «роман» под заглавием» (Жан-Клод Эмион).
>
> «Роман для меня — это настолько естественный способ выражения, что я и не думал о выборе» (Мишель Креспи).

Итак, если оставить в стороне ответ Ж.-К. Эмиона и несколько ему подобных, обращение к жанру романа выглядит как нечто совершенно органичное, а в чем-то даже бездумное: писать роман столь же естественно, как дышать, пить, есть. И хотя эта бездумность — тоже выбор, не ею, вернее не только ею, характеризуется отношение начинающих к роману как к жанру. Из их ответов видно, что роман привлекает как форма выражения, «свободная от всякой нормативности», как «наиболее гибкая литературная

форма, в которой почти нет правил и текст может развиваться совершенно свободно», в которой «смешиваются все жанры, создавая весьма своеобразное единство».

Эти высказывания и оценки не дают особых оснований для оптимизма, ибо они мало отличаются от претензий на экспериментирование, характерных для предыдущих поколений романистов; «новые романисты» тоже начинали с прославления свободы романной формы, которая вылилась в конце концов в «освобождение» от героев, интриги, сюжета, необходимости что-то изображать и выражать и превратилась в чистую словесную игру.

Но есть среди ответов и более категоричные и определенные:

«Я захотела написать роман, чтобы иметь максимум шансов быть прочитанной» (Жоан Эснер).

«Поскольку я хотела установить контакты с читателем, я избрала роман как наиболее удобное для этого средство» (Орели Монтель).

«Роман предоставляет мне наиболее популярный способ художественного выражения» (Мишель Герен).

В этой группе ответов роман уже признается как форма традиционная, наиболее удобная — быть может, даже и в силу своей привычности — для установления контактов с читателем, гарантирующая интерес к произведению. В этих признаниях проявляется тенденция, весьма характерная для сегодняшней молодой литературы Франции: стремление быть прочитанной, понятой, стремление что-то донести до читателя. Новое поколение, как видно, уже не привлекает сомнительная слава недоступных пониманию гениев, творения которых требуют специальной дешифровки. Примечательно, что большинство из романистов ставило перед собой задачу рассказать «историю», вернув, таким образом, роману одно из его основных качеств — повествовательную фактуру, которую он едва не утратил полностью под пером неоавангардистов. Правда, не следует думать, что «история» для молодых романистов — это синоним интриги или связного одномерного повествования.

«Мы всегда рассказываем какую-нибудь историю. Но необязательно ту, которую от нас ждут. Историю, которая может иногда существовать сама по себе, существовать в нескольких планах, существовать благодаря языку и вне всякой интриги» (Жан-Ив Мок).

«Сначала мне приходит в голову идея, этическая или философская. Затем я придумываю интригу, которая представляется мне наиболее живой, близкой к действительности, максимально наглядной» (Робер Баньоль).

«Я рассказываю несколько историй одновременно. Я пишу, стремясь создать музыку рок» (Юго Лакруа).

«История кажется мне вещью второстепенной. Меня интересует письмо» (Блоден де Кон).

Разнобой точек зрения и ответов мешает журналистам из «Нувель литтерер» сделать четкие выводы, хотя, повторяю, им, очевидно, и хочется высказаться более определенно, нежели это позволяет сам материал.

«Что-то изменяется в современном романе...— пишет еженедельник,— никаких теорем, никаких анафем не возникает в этой маленькой группе улыбающихся мятежников, которые осмеливаются писать романы для того, чтобы рассказать историю. Превосходно: все или почти все признаются в этом без ложной скромности или ложного стыда. Они это делают с тем большей легкостью, чем свободнее и раскованнее их концепция романа. Их ответы содержат такое количество возможных вариантов, что это должно помешать появлению в среде критиков нового Гюстава Лансона, который бы торжественно провозгласил запоздалый возврат классического романа. Эти варианты весьма существенны, ибо в них, именно в них, отражаются все изменения, все преобразования, все возможные обличья литературы сегодняшнего дня».

Сейчас еще трудно сказать, как сложится судьба начинающих и не окажется ли для многих из них первый роман вместе с тем и последним. Не в этом дело. Их ответы дают нам возможность предположить, что французский роман сегодня отказывается видеть в неоавангардистском экспериментаторстве непременный и единственно приемлемый способ обновления и дальнейшего развития современной прозы.

Н. РЖЕВСКАЯ

◆

Публицистика

ЗАРУБЕЖНЫЕ ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ О 60-летии ОКТЯБРЯ

Мира Алечкович

ЮГОСЛАВИЯ

Время уходит, и вот мы оглядываемся назад — а позади шесть десятилетий. Я родилась семь лет спустя после Великой Октябрьской революции, однако в доме моего деда Младена, сапожничавшего в городе Нови Сад, она постоянно участвовала в нашей жизни. «Началось,— говорил дед,— и ничего ее больше не остановит. Весь мир станет красным». Слово «красный» стало символом коммунизма и коммунистов. «Красные,— толковали в Югославии во времена моих детства и юности,— красные победят». По-другому говорили лишь те, чьим интересам прямо угрожала победа рабочего класса.

А коммунисты терпеливо и упорно работали, организовывали народ, разъясняли и убеждали. Их вдохновляла и вела Великая Октябрьская революция. И когда я, повзрослев, стала осмыслять окружающий меня мир и его противоречия, несправедливости, войны, то все больше утверждалась в том, насколько живы идеи Октября в сердцах моих товарищей, в душах окружающих меня людей, как, не отступая, несут коммунисты правду об этих идеях народу, воочию утверждалась в том, что без идей Октября невозможно представить современный мир.

Ныне всем очевидно, даже тем, кто намеренно не хотел этого понимать, что Октябрьская революция открыла новую эру в истории человечества, эпоху перехода от капитализма к социализму, эпоху революций и освободительных войн малых стран против завоевателей, порабощенных народов против колониализма, открыла дорогу свободному человеку и освобожденному труду и что государства с иными общественными системами обращаются к опыту и плодам Ленинского Октября. На знаменах Октябрьской революции золотыми нитями вытканы формулы достойного бытия современного человека, со всеми его помыслами и устремлениями, с его трудом, борьбой, творческими свершениями.

Сегодня невозможно представить себе современный мир без идей Октября — ни в жизни общества, ни в науке, ни в искусстве, ни в мечтах о будущем.

О том, чем была Октябрьская революция для меня, для всех нас, для всего моего народа, героически сражающегося в дни фашистской оккупации, я рассказала в своем юношеском стихотворении, написанном в 1941 году в форме разговора с Лениным, стихотворении, текст которого размножили мои товарищи — подпольщики. Возможно, оно лучше, чем я сейчас, передаст наши чувства и наши мысли. В ту пору мы сражались плечом к плечу с Красной Армией в двух различных краях земного шара, но на одном фронте. В ту пору наш народный поэт пел, передавая через своего вождя, маршала Тито привет Красной Армии:

Товарищ Тито, когда в Россию приедешь,
Передай от нас привет Красной Армии,
Передай привет и скажи так:
Мы сражаемся тридцать шесть месяцев,
Мы сражаемся и битву ведем
Плечом к плечу с Тито и с партией.

А наш старейший поэт Владимир Назор, присоединившийся к партизанам, сложил строфы, которые все мы пели в партизанской колонне:

С Дона, с Волги и Урала
Высоко затрепетала
И на шапки к нам упала
Красная звезда.

Мы знали, что это звезда Октябрьской революции, символ ленинских идей о строительстве нового мира, мира современности, который сегодня без Октября и Ленина невозможно себе представить. И эти идеи, идеи Ленина и Октября, набирают с годами все больше победительной силы, утверждающейся во всех концах света.

Ленинские труды издавна вдохновляли трудящихся моей страны, а годовщины Октябрьской революции стали праздником для югославских коммунистов и для всего нашего народа. Мы отмечали их в самом сердце оккупированной Европы, в освобожденном городе Ужице осенью 1941 года, когда торжественным парадом прошли части Народно-освободительной армии и партизанских отрядов Югославии, в котором принимали участие бойцы с красными звездами на шапках, горожане и молодежь, самые юные,— для всех нас, для всех людей труда это был праздник свободы, социализма и лучшего будущего. Таким он навсегда и останется.

Перевод с сербско-хорватского Александра РОМАНЕНКО

ОКТЯБРЬ 1941

Сегодня октябрь загадочен, тих
и светится важной огромной тайной,
и я увенчиваю мой стих
мечтой о свободе, мечтой бескрайней.
Если б не это, разве могла бы
я выйти на улицу, чтобы опять
среди таких же, голодных, слабых,
часами в очереди стоять
за жалким кусочком грубого хлеба,
за горсткой угля — в тот день, когда
открылся глазок голубого неба?
И жив ты, и горе тебе не беда...

Рано становится здесь темно,
слышится грохот бандитских сапог,
день обернулся вечером, но
пламя войны притушить смог...
Этому городу я чужда,
город, прости мне мое отчужденье...
Были года... Были года...
Красную гвардию создал Ленин.
Были года, были дни — на «Авроре»
клич прогремел и разнесся кругом,
в сердце у нас те далекие зори,
знаем, куда и зачем идем,
свет тех костров и в ущельях синих,
и на поросших лесом горах,
мы не позволим топтать святыни,
будем сражаться, отбросив страх.
Как бы нас ночи ни брали за горло,
как бы ни распинали дни,
реки надежды все полноводней,
так вздуваются, так бурлят...
Что бы сказал Ленин сегодня,
глядя на этих юных солдат?
О тех, кто гибнет во имя Света,
во имя Свободы и Октября,
Ленин сказал бы, наверно: «Это —
борьба!»
Что бы ответить ему могли мы?
«Видишь расстрелянных там и тут?
Наши потери неисчислимы,
но вера растет, и отряды растут!
Видишь, Ильич, грозных виселиц тени,
трупы касаются трупов,— как знать,
может, и я по страшным ступеням
завтра взойду, и мой друг, и мать,
но и в последнем сне мне приснится
девочка, ставшая жертвой врага,—
в сердце, трепещущем, как у птицы,
страх, но память моя крепка.
И если сегодня или завтра
меня поглотит ночная тьма,
все, что я знаю,— я позабуду,
если ж погибну — об этом буду
первая знать я сама».

Сердце, трепещущее от страха,
не хочет биться под вражьей пятой,
ради всех тех, кто взошел на плаху,
ради бесстрашной девочки той,
ради того малыша, который
еще в пеленках узнал беду —
я видела это в прошлом году,—
ради Ленина, ради «Авроры»,
ради правды я через все пройду.
Так рано становится здесь темно,
не будь надежды, жизнь стала б адом,
камень и тот заплакал бы, но
я не одна — товарищи рядом.
Может, жива я чувством святым,
что завтра серой, промозглой ранью
должна сказать и себе и им:
верьте Октябрьскому восстанью!
Не будь у нас этой надежной опоры,
разве светлела бы ночи мгла,
разве поросшие лесом горы
завтра заря оживить бы могла?
Помните все: под единое знамя
дружно встает за народом народ,
и все эти люди, товарищи, с нами,
Ленин живет, и Октябрь живет.

Перевод с сербско-хорватского ТАМАРЫ ЖИРМУНСКОЙ

Михай Бенюк

РУМЫНИЯ

В знаменитой поэме Маяковского «Хорошо!» о Великом Октябре есть строки о том, как в Петрограде трамвай доставляет пассажиров из капитализма в социализм. В Зимнем дворце победили, восторжествовали идеи Ленина. Ударом молнии неслыханной силы рассекло горизонт, и мир и люди разделились надвое. У того же Маяковского один из героев-революционеров обращается к членам Временного правительства: «Которые тут временные? Слазь!»

В день 7 ноября 1917 года Советы завоевали право на непобедимое существование в истории, в будущем.

7 ноября 1977 года исполнилось 60 лет с той поры, 60 лет — средняя продолжительность человеческой жизни. Но какие колоссальные изменения произошли за эти шесть десятилетий на международной арене! Родилось первое в мире социалистическое государство. Ленин уже тогда прозорливо начертал пути, по которым пошли рабочий класс и крестьянство в Стране Советов, разработал декреты о мире и земле, об уничтожении эксплуатации человека человеком. И сегодня идеи Ленина живы и дороги для всего человечества, стремящегося к свободе и прогрессу. Было покончено с гражданской войной, внутренним врагом страны, был побежден и враг внешний — капиталистическая и империалистическая интервенция. А победа в Великую Отечественную войну 1941—1945 годов, победа над гитлеровской военной машиной, над фашистской бесчеловечностью и жестокостью, над грабежами и насилием, которым подвергали фашисты мирное население Советского Союза, явилась для молодого социалистического государства экзаменом на аттестат зрелости, который Страна Советов с честью выдержала, противопоставив врагу превосходство социально-политическое и моральное, военно-промышленное и экономическое. Первое в мире социалистическое государство продемонстрировало несокрушимую военную мощь и умение защитить себя, победа в войне 1941—1945 годов явилась закономерным завершением победы Великой Октябрьской революции. Страна Советов блистательно подтвердила в международном масштабе свой авторитет государства, на которое с надеждой смотрят трудящиеся земного шара, мечтающие о мире и социализме.

А разве само существование таких социалистических стран, как Болгария, Германская Демократическая Республика, Чехословакия, Югославия, Польша, Румыния, Венгрия,— в Европе, и стран социализма в других частях света не является следствием Великой Октябрьской революции 1917 года и великой победы 9 мая 1945 года над гитлеровским фашизмом? Результатом, следствием революционной борьбы в этих странах? Разве это — не закономерные достижения революции? За минувшие 60 лет карта мира изменилась, как изменилась и социально-политическая структура многих государств, как, впрочем, и моральный облик нового человека — представителя народных масс. С изменением производственных отношений, перестановкой социальных сил из года в год менялся человек, менялось человеческое сознание, менялись еще тогда, когда у власти стояли враждебные нам классы, эксплуатировавшие тех, кто производил материальные блага.

Господствующие классы в буржуазных странах пытались поработить, подчинить своему влиянию интеллигенцию — уже со школьной скамьи и службы в армии,— пытались посеять ненависть к революционному движению. Но было, видимо, что-то в самой атмосфере послереволюционных лет, что распространялось неудержимо и властно, находя отклик в сердцах трудящихся и солдат, возвращавшихся с фронтов Германии и Австро-Венгрии. Революционные настроения носились в воздухе.

В 1917 году мне не было еще и десяти лет. Но из разговоров взрослых односельчан я понял: в Румынии что-то происходит, меняется. Уже тогда понимал я нелегкую долю румынского крестьянина. У нас, в Валя Дозней, было в то время много русских военнопленных. Работали они обычно на железных рудниках, в каменных карьерах, грузили и перевозили мрамор. Однажды я видел, как они веселой толпой ринулись атаковать товарный поезд, к фуражкам у них были приколоты цветы; на вокзале звучало одно русское слово, которое я запомнил с той поры: «Домой».

— Они покончили с войной,— говорили наши крестьяне, случайно оставшиеся в деревне или только что вернувшиеся с фронта.

На прощанье мои односельчане принесли русским солдатам, возвращающимся домой из плена, корзины яблок, груш, слив, винограда, а хлеба, по правде говоря, несли мало — у самих не было. Румыны-крестьяне делились с русскими чем были богаты. Так же радушно встречали они и военнопленных в 1914—1915 годах. Румыния — значит, и деревня моя — в то время входила в состав Австро-Венгерской монархии, уже тогда дышавшей на ладан. Мои одно-

сельчане — а были-то все больше женщины, мужчин в селе осталось мало, почти все были отправлены на многочисленные фронты 1914 года — приходили поглядеть на русских военнопленных, а сами думали про своих сыновей, которые могли быть в плену в России. И румынки верили, что там, на русских вокзалах и станциях, кто-то выносит пленным поесть.

Крестьяне из моего села пришли повидать и советских военнопленных во вторую мировую войну — только тогда наше село было под пятой не Австро-Венгерской монархии, а диктатуры Антонеску. Жандармы и местные власти «позаботились» тогда, чтобы поезд с военнопленными отошел от платформы поскорее, и наши крестьяне и крестьянки, спешившие на вокзал с корзинами фруктов, мамалыгой, токаной, национальным нашим мясным блюдом с луком и перцем, не успели отдать им еду. Поезд тронулся, догнать его они не могли, и тогда в знак протеста они побросали еду на землю: пускай господам ничего не достанется. На всю жизнь понял я, что такое сила международной солидарности эксплуатируемых — людей разных национальностей, будь то румыны, или венгры, или представители других наций.

Однако вернусь к тому, о чем я говорил ранее,— влиянию Великой Октябрьской социалистической революции на ход событий в мире.

Нет необходимости перечислять здесь все завоевания Октября и их воздействие на Румынию. Я думаю, прежде всего, о создании в 1921 году Румынской коммунистической партии. С 1924 года она вынуждена была уйти в подполье и в тяжелейших условиях продолжала вести борьбу с антинародным правительством — вплоть до освобождения Румынии от фашизма 23 августа 1944 года. С установлением народной власти в стране Румынская коммунистическая партия встала во главе государства и уверенно ведет его по пути строительства социализма и коммунизма, в тесном дружеском контакте с Советским Союзом и всеми социалистическими странами. После 7 ноября 1917 года началась революция и в Австро-Венгрии. Солдаты возвращались с фронтов, и никакие жандармы в мире не осмеливались их остановить. Возвращались из России, из Польши, из Хорватии и Сербии, из Италии. Поезда были переполнены, люди стояли в тамбурах, висели на подножках вагонов, на крышах, пели, ликовали. Война кончилась! Революция и Октябрь — носилось в воздухе. Я понял в ту пору, что знамя революции бывает лишь одного цвета — красного. В рядах Красной Армии сражались венгры, румыны, немцы, цыгане — люди разных национальностей, а ядром ее были бедняки.

В 1919 году из России, где он был сначала военнопленным австро-венгерской армии, а потом, после Великой Октябрьской социалистической революции, бойцом Красной Армии, вернулся мой двоюродный брат. Он жив сейчас, ему 90 лет, он крестьянин и художник-любитель. Преследуемый за то, что был коммунистом, он эмигрировал в Америку, откуда вскоре вернулся и вновь был арестован за подпольную работу. Сейчас он пишет мемуары и рисует, а в часы отдыха читает Лермонтова и Шелли (в подлинниках!). Излюбленное его воспоминание, которым он очень гордится,— о том, как, ухватившись за поручень и стоя на подножке переполненного вагона, он ехал в какой-то русский город — я не помню его названия,— где должен был выступать перед солдатами Ленин. Он слушал Владимира Ильича!

Наши с ним разговоры и переписка во многом предопределили мой литературный путь.

Я бы не стал уделять так много места своему личному пути в литературе, если бы благодаря сделанному мною выбору не был уверен, что влияние идей Великого Октября коснулось не только судеб нашего рабочего класса, но и литературы. Румынским писателям Н. Д. Коче и Ал. Сахии посчастливилось побывать в СССР еще при жизни Ленина, как и политическому деятелю и философу Лукрецию Пэтрэшкану. Многие наши прозаики писали о 1917 годе, как, например, Гала Галактион. Многие переводили на румынский язык произведения русских писателей — Горького, Есенина, Гладкова, Шолохова, Маяковского, Блока, Брюсова, Хлебникова и других.

Идеи Ленина прямо или косвенно получили отзвук во взглядах и даже стиле многих передовых наших писателей. Но самые действенные контакты начались между нами тогда, когда румынский народ 23 августа 1944 года побратался с советским народом в борьбе против общего врага — фашизма. Михаил Садовяну, Тудор Аргези, Виктор Эфтимиу, Дж. Кэлинеску, Камил Петреску, Чезар Петреску, Эмил Исак, Ион Агэрбичану, Иштван Надь, Имре Хорват, а затем Ион Барбу, Лучиан Блага, Михаил Кручану, Дж. Баковия, Ион Пас, Перпессичиус — таков далеко не полный перечень имен крупнейших выразителей социалистических и коммунистических идей. Это имена тех, кто до освобождения от фашизма, отдал сердце свое и перо на службу новому строю, душой, направляющей силой и мозгом которого явилась Румынская коммунистическая партия.

Сегодня литература нового общества уверенно идет по тому пути, по которому шли борцы ее авангарда, выступившие за революционные идеалы еще в период между двумя войнами. Она — надежда и опора Румынской коммунистической партии, как называет писателей молодого и старшего поколения нынешнее руководство нашей партии и страны.

Три года, с 1946-го по 1948-й, я был советником по культуре при Румынском посольстве в Москве, встречался с советскими писателями, читал их революционные произведения, созданные под влиянием идей Ленина и Великого Октября, под влиянием героической победы советского народа в Великой Отечественной войне. Читал, сам писал, с увлечением занялся первыми переводами с русского. Тогда я начал работать над «Словом о полку Игореве», а во время войны, в которой я участвовал как солдат, в короткие часы передышек между боями, я не раз обращался к «Войне и миру». Читая роман Льва Толстого, я размышлял над силой партизанского движения в России в борьбе с фашистским зверьем.

Встречи и беседы на приемах с советскими писателями, такими, как Тихонов, Эренбург, Полевой, Федин, Шолохов, Симонов, Фадеев, Бирюков, Маргарита Алигер, Пастернак, Ольга Берггольц, Бажан, Межелайтис, Андрей Лупан, Ион Друцэ,— я перечисляю здесь лишь писателей, с которыми встречался и беседовал лично,— позволили перекинуть между нами мост дружбы, которая продолжает развиваться, дружба литераторов России, ее братских союзных республик с писателями Румынии, советско-румынская дружба.

Встречаясь с писателями различных стран мира, я не раз убеждался в том, как постепенно, но глубоко распространилось за минувшие 60 лет влияние Великой Октябрьской социалистической революции. Убеждался воочию в том, что трудящиеся разных континентов сплачиваются в борьбе за свободу и справедливость на земле, за уничтожение эксплуатации человека человеком, против расизма и шовинизма, которые разъедают капитализм и империализм.

Рядом с именами советских писателей, которые я назвал, я бы поставил таких поэтов, как Бехер, Пабло Неруда, Рафаэль Альберти, Тристан Тцара, Николас Гильен, таких прозаиков, как Людвиг Ренн, Вилли Бредель, такого одаренного драматурга, как Бертольт Брехт, без которых нельзя представить себе сегодня литературу мира. Этот перечень имен охватывает лишь малое число тех, чье литературное творчество, его классовый смысл были предопределены Великой Октябрьской социалистической революцией.

Беседуя со многими писателями мира, встречаясь с ними во время творческих зарубежных поездок и на конгрессах, читая их произведения, я все больше убеждаюсь в международном размахе и непреходящем значении Великой Октябрьской социалистической революции, все больше ощущаю силу ее растущего год от года влияния.

Марксизм-ленинизм явился ведущей философией революционного движения во всех странах, в которых трудящиеся стремятся к уничтожению эксплуатации человека человеком, к установлению незыблемых основ мира между народами. Говорят, что революция не импортируется. Это верно, но верно и то, что революция рождает исторический подъем, и семена революции, попав на благодатную почву, прорастают, привыкают к местным условиям и дают всходы.

Оглядываясь назад, на те шесть десятилетий, которые прошли с 7 ноября 1917 года, мы видим, что распад колониальной системы и борьба порабощенных пока еще народов за свою независимость, свободу и суверенитет — все это следствие революционных завоеваний, которых мы добились за этот период. Полный крах империалистического произвола неизбежен. Но империализм падок на барыши, на прибыли; в любой точке мира, где у него объявляются союзники, он не откажется от гонки вооружений, от разжигания новых очагов войны. Кровавая авантюра Гитлера и поддерживавшей его фашистской клики кончилась тем, что началась вторая мировая война, в которой жертвами стали миллионы людей, не говоря уж о бесчисленных потерях материальных и культурных. Это должно послужить уроком современным любителям авантюр. Сейчас, когда прошло 60 лет со времени победы Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года и образования Страны Советов, которая теперь не одинока, рядом с которой теперь есть социалистические страны и у которой есть друзья во всех уголках мира, ничто не может преградить дорогу социализму и коммунизму, ничто не может встать на пути народов, стремящихся к взаимопониманию и миру, к прочной уверенности в своем будущем на нашей планете.

Как сын того народа, который в войне 1877 года на Балканах сражался бок о бок с героическими русскими солдатами, как сын страны, которая в 1905 году приняла политических эмигрантов — революционных моряков броненосца «Потемкин» и войска которой вместе с русской армией в августе 1917 года в битве при Мэрэшэшти подняли оружие против захватчиков второго рейха в первой мировой войне, как сын земли, давшей красногвардейцев Великой Октябрьской социалистической революции, сражавшихся 28 августа 1944 года вместе с брат-

ской Советской Армией против гитлеровской военной клики, вместе освобождавших от фашистских захватчиков Венгрию и Чехословакию до победы 9 мая 1945 года; как сын Румынии, строящей сегодня социализм и поддерживающей братские отношения с СССР и другими социалистическими странами, и, наконец, как старый коммунист — я солидарен со всеми сыновьями моей родины, которые преданы Румынской коммунистической партии и ее руководителям, и я счастлив был вместе со всеми отпраздновать 60-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции — праздник всех трудящихся на земном шаре, всех людей, стремящихся к прогрессу, свободе и миру между народами.

Перевод с румынского А. ДЕСЯТНИКОВОЙ

Атуквей Окай

ГАНА

Октябрьская революция была величайшим событием нашего столетия, шестидесятая ее годовщина — знаменательная веха современной истории.

Великая Октябрьская социалистическая революция не только преобразовала действительность в стране, где она произошла, но и оказала решающее влияние на ход мировых событий, коренным образом изменила характер мировой истории. Она не только привела к созданию первого на свете социалистического государства, возвестив о рождении нового мира, прекрасного мира, олицетворяемого Советским Союзом, но и фактически открыла новую перспективу всем угнетенным народам земного шара, став для них маяком, мечтой, примером, формулой, источником вдохновения.

Благодаря Великой Октябрьской социалистической революции мир уже никогда не будет прежним.

Октябрьская революция наглядно показывает нам, африканцам, чего мы можем достичь — человек может изменить окружающую действительность, перестроить свое общество. Человек может — и должен — стать свободным. Вот почему идеал демократической и свободной Южной Африки является для нас не просто прекрасной мечтой, но и реальной, достижимой целью.

Что касается нас, деятелей культуры стран Африки, то свой осуществимый идеал мы видим в повышении культурного уровня нашего народа. Первым шагом должно стать введение бесплатного и обязательного образования; впоследствии, по мере ликвидации неграмотности, писатели приобретут широкий круг читателей, благодаря чему искусство сможет более активно воздействовать на нашу жизнь, способствовать росту национального самосознания, пробуждению, воспитанию и развитию лучших качеств народа, обеспечению величайшей из свобод — свободы творческого самовыражения, которая может быть обретена только там где народ является главной движущей силой своего общества.

Далее, мы видим свой осуществимый идеал в установлении доступных цен на книги, чтобы практически каждый имел возможность покупать их; тем самым был бы устранен финансовый барьер между культурными ценностями и народом.

Многие наши художники и писатели стремятся отобразить в своих произведениях нашу действительность со всеми ее сложностями и противоречиями, подчеркивая и разъясняя главное: действительность еще не такова, какой она должна стать; существующее положение вещей следует изменить — это возможно, это в наших силах.

Вывод этот позволяет делать славное наследие Октябрьской революции, преобразовавшей современный мир, взгляд на историю шести десятилетий эпопеи замыслов, планов, начинаний, самоотверженного труда, свершений и побед.

Перевод с английского В. ВОРОНИНА

Вацлав Садковский

ПОЛЬША

Когда я думаю о воздействии Великой Октябрьской социалистической революции на мировую литературу, мне наиболее существенным представляется даже не сам по себе ряд шедевров, рожденных революционным опытом, которые обогатили мировое искусство, и даже не глобальное распространение идей Октя-

бря, затронувших так или иначе любую из живых современных национальных литератур. Я думаю в первую очередь об определенном принципиальном переосмыслении понятий, положенных, собственно, в основу самих традиций мировой литературы.

Человечество уже от самых истоков своей истории облагораживало свои эмоции и запросы в сфере нравственного порядка и в сфере социальных отношений, преобразуя их в форму утопических прозрений; ни на одном из предыдущих этапов общественного развития человека его идеалы не могли быть целиком воплощены в жизнь, его человеческая сущность не получала возможности полной самореализации. От мечтаний о «золотом веке» через утопии античные, средневековые и более поздние (при этом я имею в виду главным образом те, которые отражены в бессмертных с эстетической точки зрения произведениях Платона, Кампанеллы, Томаса Мора, вплоть до утопических социалистов XIX века) воображение многих наиболее чутких мыслителей и художников, в том числе и не стоявших в стороне от борьбы за непосредственное преобразование мира, за ликвидацию наиболее отвратительных его мерзостей, слишком часто отдалялось от конкретной действительности, с ее непреодолимыми сложностями и неразрешенными конфликтами, уходя в мир чистых, отвлеченных идей, при посредстве которых создавались подчас наивные, хотя и отмеченные печатью эпохи, системы. И все-таки это наследие прошлого послужило одним из источников вдохновения при выработке научного революционного мировоззрения, которому в истории выпала задача реализовать утопию, превратить ее в конкретную программу перестройки мира.

И как раз именно литература наиболее чутко и глубоко реагировала на этот основополагающий перелом в исторической борьбе человечества за свое спасение и возрождение. Нет, я вовсе не собираюсь утверждать, будто все писатели мира стали певцами революции, поняли ее значение и единогласно приветствовали ее. Увы, даже такой страстный мечтатель-фантаст, как Герберт Джордж Уэллс, не в состоянии был — при максимуме доброй воли и желания понять революционный эксперимент в Советской России — до конца осмыслить и оценить его. Забавно, что он усомнился даже в реальности плана ГОЭЛРО, наметки которого обсуждал в беседе с Лениным. Нет, это произошло по-иному: с момента Великой Октябрьской социалистической революции утопия, абстрагирующаяся от конкретных исторических условий, в каких началась перестройка мира, лишилась своей основы, а точнее говоря, утратила самый смысл своего существования.

Эта принципиальная переоценка вовсе не означает, что действительность, созидаемая революцией, получила идеально совершенное воплощение, не оставляющее простора фантазии и не нуждающееся в коррективах и предложениях, что перестало развиваться литературное творчество, продолжающее традиции фантастической литературы.

Наоборот: само плодотворное творческое направление, вдохновленное опытом Великой революции и строительства нового общества в Советском Союзе, в известной степени программно противостоит квиетическому самодовольству достигнутым; это зрелое, ищущее направление, интегральная часть программы действий которого — влияние на сознание и психику человека путем критики, побуждающей его к еще большей требовательности и повышенным запросам. И все же, если бы составить перечень или реестр всех тех обличений зла и бездушия в человеческих взаимоотношениях, какие в своей заботе о духовном росте советского человека выдвигала советская литература, то пришлось бы поутихнуть даже наиболее громким «бунтарям» в мире, спекулирующим на конъюнктуре антисоветской пропаганды. И этот самоконтроль, этот неустанный, систематический и тщательный труд отсечения любой клеветы и сорняка этического порядка проникнут глубокой убежденностью в том, что это именно клевета и сорняк, и что человечество с помощью Октябрьской революции получило возможность дальнейшей самореализации, и что для этого уже не надо отходить от подлинной действительности и отрываться от нее воображением, чтобы представить более совершенный и светлый мир, связанный с этой действительностью и реальный благодаря ей, творимый вопреки всему путем самых напряженных усилий. Следовательно, творческая фантазия вдохновляется не сказкой утопического порядка, противостоящей реальности, но революционной романтикой или мечтою о будущем, наконец-то свободной от ощущения угрозы со стороны действительности, хотя бы даже она и устремлялась далеко вперед от сегодняшних примет ее.

И примечательно, что великие, классические утопии в мировой литературе уже не появлялись на протяжении последних шести десятков лет, ибо они и не могли появиться, не только потому, что чуть больше полувека — слишком короткий срок для того, чтобы сформировалась такая форма художественного выражения, но и потому, что на самом деле переоценке подверглись сами принципы, обоснованность их существования.

Зато, разумеется, в мировой литературе появились эпигоны и пародисты традиций классической утопии. И не случайно, что создания их творческой фантазии по сути — антиутопии, акты неверия и презрения к человеческой мечте и

устремленности к будущему. Самый выразительный пример здесь — антиутопия О. Хаксли, насмешливо озаглавленная им «Прекрасный новый мир». И не случайно также, что к этим «новым традициям» антиутопии обратился в своем антисоциалистическом ослеплении Джордж Оруэлл. Подобное вырождение «утопического жанра» наглядно подтверждает, что эпоха создания утопических картин ради того, чтобы вооружить человеческую фантазию надеждой и волей для борьбы за лучшее, более гуманное, будущее, миновала.

Шестьдесят лет назад началась эпоха преобразований идеалов и грез в действительность, которую возможно построить путем устранения антагонистического разрыва в человеческом обществе и его классовых основах, с помощью создания такой системы отношений между людьми и народами, при которых мечты и чаяния одних не должны оплачиваться за счет усилий и несчастий других.

И хотя последовательное формирование такой системы человеческих отношений в мире — одна из самых трудных, сложных и, возможно, наиболее небезопасных задач, какие стояли перед человечеством, такая задача питает ныне не мечты, оторванные от действительности и нацеленные против нее, она рождает ощущение исторической ответственности каждого чуткого и честного писателя, художника, интеллектуала.

И, пожалуй, именно здесь пролегает принципиальная грань разделения в мире: между теми, кто (хотя бы с самыми завышенными претензиями и суровыми критическими оценками) считает Октябрьскую революцию началом великого исторического процесса преобразования «Планеты людей» (Сент-Экзюпери) и жаждет видеть ее благоустроенной для нужд человека, и теми, кто отвергает эту революционную действительность и на самом деле стремится задержать развитие мира, стремление к реализации человеческих запросов и надежд. Да будет мне позволено как литературному критику выразить удовлетворение по поводу того, что на той, противной стороне баррикады я не вижу ни одного писателя с подлинно высоким талантом или незаурядной фантазией. Все же те, которые не обратили свой дар против мира, творимого Революцией, и не выдвинули против него своих контрпредложений, убежденные, что их нет и не может быть, найдут, хочется верить, немало путей для своего творческого существования в этом подлинном, драматически и героически развивающемся мире, призванном воплотить в жизнь великий гуманистический завет некогда утопических мечтаний и грез.

Перевод с польского С. ЛАРИНА

1878–1978

Рисунок ТОМА ВЫРБАНОВА (Болгария)

Публицистика

НГУЕН ТУАН

БАГРЯНЕЦ ЧЕРНОЙ РЕКИ

Покорить Черную реку, усмирить ее, заставить неуемную ее мощь разлиться электрическим током по жилам высоковольтных передач, раскалять гигантские печи, вращать станки, творящие из косной неживой материи сотни и тысячи вещей, без которых уже становится невоэможной жизнь,— давняя эта мечта сейчас воплощается в жизнь. Наша машина мчится к самой большой коммунистической стройке Вьетнама (думаю, эпитет «коммунистическая» здесь весьма и весьма уместен!). Лишь километров этак через пятьдесят шоссе № 6 достигнет района будущей плотины, которая перегородит Черную реку, а вдоль дороги видны уже зримые знаки идущей там огромной работы. Само полотно шоссе пришлось здесь расширить до двенадцати метров, чтоб по нему могли пройти огромные грузовики, везущие к реке оборудование и стройматериалы. Повалены наземь стоявшие прежде по обочинам неохватные деревья-исполины, каждое из которых могло бы укрывать в своей тени целую придорожную харчевню. Прокладывая и расширяя дороги, приходится жертвовать деревьями. Глядя на них, чувствуешь невольную жалость, но ведь все, что совершается здесь, делается во имя общего блага... Когда гребень плотины вознесется на высоту ста двадцати метров над свирепым ревущим потоком, уйдут под воду, на дно рукотворного моря, лесистые склоны, поросшие гигантскими раскидистыми деревьями. Леса эти будут как бы «сожжены» ради того, чтоб могли начать свой непрестанный бег турбины и генераторы могучей электрической станции. В жизни так уж ведется: за все надо платить высокую цену...

Машина въехала на стройку. И я тотчас с головой погружаюсь в работу. Делаю записи, испещряя именами, словами и цифрами страницу за страницей. Снова и снова задаю вопросы начальнику геологической экспедиции, работающей на Черной реке, и его заместителю. Управление экспедиции расположилось в домике, поставленном на том самом месте, о котором поэт Тан Да [1], описавший торжище Фыонглэм, сказал:

Гора «Изваянье владыки небес»
стоит здесь с начала времен.
Кто вкруг подножья ее изогнул
русло Черной реки?..

Грохот реки, гул машин, голоса людей сливаются в мощную, ни на что не похожую музыку, которая — уже сама по себе — способна дать представление о размахе строительства. Первым этапом его будет воэведение плотины у города Хоабинь. Вторым — сооружение плотины на пустынном плато Табу, куда протянулась отсюда, рассекая лесные чащи, двухсоткилометровая трасса дороги. Когда оба гидроузла в Хоабине и Табу достигнут проектной мощности, электростанция на Черной реке станет крупнейшей в Юго-Восточной Азии. Электрическая энергия пойдет отсюда в Бьенхоа и дальше на юг, ярким светом вспыхнет в уличных фонарях города Хо Ши Мина. Я вспоминаю невольно, как лет десять назад, когда страна еще не была объединена, один из моих собратьев по перу писал: «С Севера на Юг и с Юга на Север снова пойдут поезда, и, купив единый билет, можно будет проехать по всему Вьетнаму. В Ханое и в Сайгоне одинаково ярко зажгутся фонари...» Потом на память приходит другая фраэа, толкующая (в который уж раэ!) истинный смысл счастья: «Счастье — это нечто такое, о чем мы мечтаем в детстве и юности и что достижимо лишь в зрелые годы...» И еще вспоминается мне, как двенадцать лет назад в Сибири я стоял посреди машинного зала Братской

[1] Тан Да — псевдоним поэта и прозаика Нгуен Кхак Хьеу (1888—1939). *(Здесь и далее — прим. перев.)*

ГЭС, тянувшегося в теле огромной плотины, перегородившей Ангару. Стремительно вращались роторы турбин — их было более десяти,— генераторы снабжали энергией чуть ли не всю Центральную Сибирь; и я, глядя на них, мечтал о том времени, когда вот так же покорится людям и Черная река. А сегодня в полдень я плыву вдоль ее берегов и вижу, как эта давняя моя мечта становится явью. Стекла очков затуманились, я достаю из кармана платок и, тщательно протерев их, снова оглядываю здешние берега: зелень листвы и трав сплошным ковром одела горные склоны, красивые той особенной первозданной красотой, которой, ежели верить сказкам, отличались обиталища небожителей и фей... К действительности меня возвращает голос геолога, сидящего рядом со мной на катере. «В ложе Черной реки,—говорит он,— обнаружены сильно метаморфизированные породы без следов окаменелостей. Они относятся к докембрию, скорее всего к нижнему протерозою; возраст их равен одному миллиарду восьмистам миллионам лет...» Я пытаюсь представить себе, как выглядела тогда Земля, почти лишенная жизни, а спутник мой, оседлав, как говорится, любимого конька, продолжает свой монолог: «От устья речушки Жут, впадающей в Черную реку, и до базара Фыонглэм обнаружено одиннадцать выходов древних скальных пород, заграждающих русло. Скальные выходы имеют различную конфигурацию. Это явилось немаловажным фактором в выборе места для основания плотины...»

Катер наш то и дело пристает к берегу. Я заглядываю на знаменитый базар Бо, брожу по улицам уездного городка Дабак, потом поднимаюсь к старинной стеле, поставленной государем из дома Ле после победы над Део Кат Ханом [1]. Каменная плита с надписью стоит у самого подножия водопада Бо. Базарные площади и улицы городка вместе с устьем Жут и участком дороги на Шонла, причалы и пристани — все это со временем уйдет под воду, на дно огромного озера, зеркало которого раскинется там, где бушуют и пенятся водопады. По нему поплывут суда и баржи водоизмещением в две тысячи тонн. Они будут доставлять сюда, в горы, пассажиров и грузы. И, может быть, именно здесь родится новое творение киноискусства, подобное «Поэме о море» Довженко, но только со всеми особенностями и чертами, присущими нынешнему Вьетнаму, успешно строящему социализм.

На улице в уезде Дабак алеют красные флаги. Здесь в течение пяти дней проводятся мероприятия в честь IV съезда партии. И от устьев больших и малых речек, впадающих в Черную реку, начиная с Лайтяу и до самой равнины — повсюду, где есть коммунисты, трепещут над зеленью леса красные флаги. Черная река оделась в багрянец знамен...

Катер плывет по реке, а мне чудится, будто вокруг уже простирается озеро и по сторонам видны лишь вершины затопленных гор, ставшие как бы рамой из камня и зелени, заключившей в себя рукотворное море. Впрочем, оно в значительной мере и творенье природы: ведь берега его целиком воздвигнуты природой из монолитных горных кряжей в отличие, скажем, от водохранилища в Тхакба [1], где строителям пришлось перекрыть плотинами и дамбами десятки ущелий и горных проходов. С пристани Тьыонг, пересекавшей одну из старых трасс геологической разведки, я снова обвел взглядом острия горных вершин и почему-то вдруг с особенной ясностью вспомнил давние времена: военную зону Тули, канатную дорогу, протянутую от центра к Четвертому округу, прежде чем в 1952 году был освобожден город Хоабинь. Иногда приходилось тянуть канатную дорогу еще дальше, на Бай, Буа и Зием [2]...

Отсюда, от пристани Тьыонг, по неровным берегам Черной реки разбегаются, пестрея, красноватые выемки в грунте. Из лодки — на зеленом фоне вздыбленных лесистых гор — они кажутся недавно отрытыми боевыми траншеями. На самом же деле это — пути, проложенные геологами, чтобы втащить по обрывистым склонам буровые установки и прочую технику. И, глядя на них, я вспоминаю, как некогда солдаты волоком перетаскивали через здешние перевалы свои пушки. Буровые вышки возносятся повсюду, словно на нефтепромыслах. Они поднимаются даже над речным потоком, упираясь лапами-стояками в пришвартованные друг к другу плоскодонки...

И вот мы, группа писателей и поэтов, едем на встречу с участниками партконференции Объединенной геологоразведочной экспедиции Черной реки. Атмосфера, царящая здесь — оживленная и торжественная,— как нельзя лучше отражает обстановку в районе работ экспедиции, охватившей практически почти весь бассейн реки. Оно и понятно, ведь конференция собралась в канун IV партсъезда. Следя за ее работой, прислушиваясь к выступлениям, я снова и снова убеждаюсь в правоте пророческих ленинских слов: «Коммунизм — это Советская власть плюс электрификация всей страны». Отрадно, что в зале много молодежи, немало девушек и женщин,— ведь это тоже приметы времени. Я мысленно переношусь в прошлое: впервые красное знамя с серпом и молотом поднято было над Черной рекой в 1944 году, в день Международного праздника трудящихся 1 Мая.

---

[1] Речь идет о победе над восставшим против центральной власти предводителем тайских племен Део Кат Ханом, пытавшимся отделиться от Вьетнама (XV в.); ее одержал государь Ле Тхай То, основатель династии Ле (1428—1788).

[1] Тхакба — гидростанция, построенная в 60-е годы с помощью Советского Союза.

[2] Имеются в виду события времен войны Сопротивления (1946—1954) против французских колонизаторов.

НГУЕН ТУАН
БАГРЯНЕЦ ЧЕРНОЙ РЕКИ

Знамя это, прикрепленное к блоку на роликах, скользнув по стальному проводу, переброшенному через реку, затрепетало над самой серединой потока у пристани Нгаук, там, где сегодня закладывается основание плотины. И мог ли наш товарищ, революционер, поднявший тот красный флаг в день далекого теперь Первомая, знать, что водружает первую веху будущей социалистической стройки?!

■

Геолог Нгуен Ты передвинул поближе к моему краю стола книжку «Черная река» [1] (сборник этот в две с половиной сотни страниц был издан уже довольно давно) и стал расспрашивать, как продвигается моя работа над следующей книгой о «нашей реке» и когда она сможет увидеть свет. Потом вдруг глянул мне прямо в глаза и спросил: «Скажите, а почему мы называем свою страну Землей Отца-Матери [2]?..» «О боже,— подумал я,— чего тут спрашивать? Ведь это известно каждому вьетнамцу, который любит свою землю и хоть чему-нибудь да учился...» Нгуен Ты слушал мои объяснения, кивая головой, но вид у него был при этом довольно-таки неудовлетворенный.

«Так-то оно так,— сказал он,— но прежде всего должна была существовать земля, а уж потом на ней поселились наши предки. Вроде бы нет на свете другого народа, у которого бы, как у нас, слово «страна», «родина» складывалось из двух слов, означающих «земля» и «вода». В летописях сказано, что государство наше существует примерно четыре тысячи лет. Но сколько тысячелетий стояла наша земля, когда на ней еще не было ни единого человеческого существа? Этот ее «правозраст» измеряется целыми геологическими эпохами и эрами, миллионами, миллиардами лет. Мы обнаружили породы, сложившиеся около трех миллиардов лет назад. И что утвердилось сначала на месте нынешнего Вьетнама — суша или море? На этот вопрос ни наши геологи, ни зарубежные не дали еще точного ответа. Но какая бы ни возобладала поначалу стихия, край этот, появившись на свет вместе со всей планетой, стал частью Вселенной. А потом нагота суши и пустота океана начали отступать перед жизнью, сперва еще примитивной и слабой, но становившейся со временем все сильнее и многообразией. Семьдесят миллионов лет назад она оделась зеленым покровом лесов. Деревья, конечно, тогда были совсем другие. И все-таки где же здесь главным образом развивалась жизнь — в море или на поднявшихся из воды островах, слившихся постепенно в массив материка? Трудно сказать. Знаю лишь: шла здесь извечная борьба стихий. Временами суша оттесняла море, но потом океан затоплял ее снова. Древнейшая история нашей земли вся состоит из таких чередований и перемен. В горных районах Лайтяу были открыты осадочные породы, слагавшие морское дно, их возраст — пятьсот пятьдесят миллионов лет. Сколько раз бушевали здесь и противоборствовали слепые силы природы?! Со временем фактором, все ощутимей влиявшим на столкновения стихий и преображавшим природу, стал Человек... И то, что сегодня, в XX веке, народ наш одолел и сбросил в Восточнов море [1] зловещую мощь завоевателей-янки, тоже, в конечном счете, было борьбой за существование родной земли и торжество жизни над смертью...»

Зная, что я уже, как говорится, увязал свою котомку и собирался в поездку — а может, и не одну — вверх по Черной реке, Нгуен Ты долго еще делился со мной своими мыслями о прошлом земли, которую предки наши испокон веку считали своею, о том, как нам в 70-е годы XX века стать полновластными и умелыми ее хозяевами, построить на ней новую мудрую и прекрасную жизнь...

Ночью в гостинице возле базара Фыонглэм я долго не мог заснуть и все глядел на отраженье луны в Черной реке, убегавшей вдаль к горе Балдахину [2], вспоминая слова Нгуен Ты о преданиях, в которых воплотились мечты наших предков. Больше всего, пожалуй, его занимала легенда о вековечной вражде Повелителя гор и Повелителя вод. Заговорив о ней, он сразу припомнил казао [3]:

Чем выше горы,
тем длиниее река;
Не утихают вечная злоба,
ревность и жажда мщенья...

В словах этих, по его мнению, заключена была самая суть легенды. И воплощением неутихающей вражды и жажды мести являлась не какая-то там неведомая или вов-

---

[1] Речь идет о книге очерков Нгуен Туана «Черная река», посвященной социалистическому строительству (Ханой. 1960 г.). В «Иностранной литературе» № 4 за 1974 г. печатался очерк «Люди строят дорогу», взятый из этой книги.

[2] Название «Земля Отца-Матери» восходит к VIII в., когда Вьетнам был захвачен правившей тогда в Китае династией Тан. Одно из восстаний против завоевателей возглавил представитель местной знати Фунг Хынг. В 791 г. он взял штурмом резиденцию танского наместника и начал преобразования, облегчавшие положение народа, но вскоре умер. Народ воздвиг в его честь храм и прозвал «Великим повелителем, Отцом-Матерью». С тех пор Фунг Хынг считался святым заступником государства, не раз якобы помогавшим вьетнамцам в борьбе с иноземными завоевателями.

[1] Восточное море, здесь — Тихий океан.

[2] Гора Балдахин (Танвьен) — горная вершина поблизости от Ханоя; в древних преданиях — обиталище Повелителя гор, считавшегося духом-охранителем государства вьетов. Согласно легенде, Повелитель гор и Повелитель вод сватали дочь государя вьетов Хуига. Повелитель гор первым доставил свадебные дары, и потому отец невесты отдал ее ему в жены. Разгневанный Повелитель вод затеял со своим соперником войну. Считается, что ежегодные наводнения суть проявления злобы и мести Повелителя вод. Но водная стихия бессильна сокрушить горы. Вьеты в легенде выступают на стороне Повелителя гор, помогая ему отразить набеги водяных чудищ.

[3] Казао — народные песенные стихотворения, строящиеся в основном на чередовании шести- и восьмисложных строк.

се иесуществующая река, а именно наша живая и свирепая Черная река. Кто же не знает, как Повелитель вод (олицетворяемый Черной рекой) был посрамлен Властелином суши? И предки наши вьеты, немало пострадавшие и претерпевшие из-за буйства водной стихии, которая обрушивалась на них из-за речных излучин и с морских побережий, радовались торжеству Повелителя гор и сложили об этом стихи, те самые, что вспомнил Нгуен Ты. Теперь уж и не дознаться, когда, при каких земных владыках родились они. Но если верить «геологической» трактовке моего приятеля, то в них звучат отголоски далеких доисторических противоборств суши и моря, когда вода отступала под натиском тверди и вырисовывался все яснее и четче нынешний облик земли...

Что ж, значит, Черная река таит в себе как бы овеществленное воспоминание о том очень давнем поражении, которое потерпелв водная стихия от нерушимой, незыблемой мощи земли и камня. Но если так — вода не всесильна! И сама мысль об этом придает новую решимость людям, пришедшим сюда, чтобы покорить Черную реку ради счастья народа, строящего небывалый прежде уклад жизни на Севере и на Юге древней Земли Отца-Матери.

Глядя с гостиничной галереи на убегающие к месту впадения в реку Красную вод Черной реки, я поставил на подоконник недопитый стакан, словно собираясь вступить в разговор с шумливой рекой, которая владычествовала над здешними горами еще в ту пору, когда не было и в помине ни государей Динь, ни государей Ли, Чан [1] и Ле, не говоря уж о правивших после них монархах. «Послушай, сиятельная река,— сказал бы я,— скоро, как говорят, конец твоему злому самоуправству. Тебя усмирят воля и разум пятидесяти с лишним миллионов моих сограждан, в помощь которым пришлют свои машины и технику друзья из зарубежных стран. Придется тебе отступить и покориться! О нет, мы ие хотим твоей гибели, но отныне ты будешь служить Человеку. Старые приятели твои, четырех- и шестивесельные лодки с раздвоенной, словно ласточкин хвост, кормой, бороздившие бурные речные воды, завтра заскользят по просторной глади озера. Смирись, подчинись людям, и, право, чем скорее ты сделаешь это, тем лучше. Знай, самое большее лет через восемь путь тебе намертво преградит стодвадцатиметровая плотина из бетона. Не лучше ли тебе пораньше унять бесполезный свой пыл? Поверь мне, наука и техника, достигшие у нас, в социалистическом Вьетнаме, небывалого прежде расцвета, найдут средство обломать клыки и когти водяных чудищ. Да и вообще, если говорить об отношениях между Человеком и Рекою, то Человек, выражаясь фигурально, неизбежно оседлает и укротит любую реку — даже такую стремительную и своенравную, как ты. Ради твоего же блага, послушай меня: смирись! Право, пора бы уняться, ведь ты мечешься из конца в конец этой земли, сокрушая холмы и скалы, чуть ли не с самого мироздания. Дай тебе волю, ты так и будешь без всякой пользы катить свои воды к Восточному морю, питая недоброю влагой бури, тайфуны и смерчи и вскипая разрушительными паводками. Нет, лишь смягчив свой нрав и следуя предначертаниям разума, обретешь ты, наконец, добрую славу!..»

Едва рассвело, мы набились в машину, доехали до пристани и на пароме переправились на противоположный, левый берег. Здесь, прямо у будущей гидростанции, начиналось строительство нового города.

По плану в этом левобережном городе будет жить пятьдесят тысяч человек. Здесь предполагается выстроить около двадцати различных промышленных предприятий, которые будут работать на дешевой электрической энергии. И это не прожектерство, а реальная, точная программа.

Покуда же здесь раскинулся поселок Тхиньланг. Когда-то французы устроили тут окружной центр. В начале войны [1] мы отступили сюда от торговой деревушки Бо. И как раз неподалеку отсюда наши войска в 1952 году разбили наголову знаменитого французского генерала Делатра де Тассиньи, после чего был освобожден Хоабинь. Гора Бавань была тогда от подножия до самой вершины окутана языками пламени и густыми клубами черного дыма... Помню еще, как в ту пору, когда мы готовились к долгой, затяжной войне, я со всем своим семейством, погрузив на велосипед нехитрый наш скарб, пробирался по здешним дорогам во Вьетбак [2] и ночевал в шумной торговой деревушке Дунг возле самой реки. Двадцать пять лет миновало со времени тех старых сражений. И в провинции Хоабинь давно уж царит мир; но нынче вокруг бывшего окружного центра Тхиньланга снова слышен скрежет металла и грохот взрывов. Народ опять перешел в наступление. Разгромив французских колонизаторов и американских захватчиков, он ведет теперь бой с враждебной и косной стихией. И Тхиньланг оказался на переднем крае строительного фронта. Под боком у старых бамбуковых хижин на сваях разворачивается новая жизнь. Огромные бульдозеры с железными цепями на колесах ползут наперегонки, сравнивая пригорки и рытвины. Рядом высятся новые многоэтажные дома рабочего поселка. Грохочут машины бетонного завода, поставляющего стройматериалы для новостроек. Над строительными площадками будущих предприятий висит пахнущая бензиновой гарью дымка. Город протянется на десятки километров вдоль

[1] Динь (968—980), Ли (1010—1225), Чаи (1225—1400) — вьетнамские династии.

[1] Имеется в виду война Сопротивления.

[2] Вьетбак — горная местность у северной границы Вьетнама; на первом этапе войны Сопротивления была главной опорной базой сил Освобождения.

берега Черной реки. Трудно, конечно, сейчас назвать с точностью день, когда численность населения этого нового, не имеющего еще названия города достигнет проектной цифры 50 000. Но забота о благоустройстве его будущих жителей ощущается уже сегодня.

Горячие солнечные блики желтеют на развороченной и сглаженной бульдозерами красной земле, лишь кое-где чернеют илистые лужи, оставшиеся после вчерашнего ливня. Иногда на вершинах сглаженных холмов громоздятся округлые груды земли, перемещенной сюда бульдозерными отвалами. Они похожи на высокие башни Тямпы [1], сложенные из глиняных кирпичей. А чуть подальше, у самой реки — холм, на склонах которого только что вырублен лес, бульдозеры еще не прошлись по нему своими отвалами; там поставят дома для советских специалистов, они должны приехать сюда в конце года — около тысячи человек. «Получится,— думаю я,— целый советский поселок. Интересно, русское дадут ему имя или — наше, вьетнамское? А может, в согласии с духом нашего рационального века, просто-напросто обозначат порядковым номером?..»

Рядом со мной останавливаются двое молодых парней — водители бульдозеров. И я, услыхав невольно их разговор, отмечаю про себя, что их занимают те же мысли.

— Знаешь,— сказал один,— я видел многих советских товарищей, приезжавших сюда в самом начале работ. Парни — что надо, ладные, крепко сбитые, почти все светловолосые. Гляжу на них, а сам вспоминаю русских военных советников, я их встречал когда-то в ракетном дивизионе ПВО под Ханоем. Однажды, в самый разгар лета, я видел их в городе. Маялись, бедняги, от жары. А тут пиво привезли свежее — радости было! Шум, смех... Я даже подумал: может, это те самые ракетчики?..

— Дай-ка прикурить! — улыбнулся другой.— Скажешь тоже — «ракетчики». Ракеты, брат, дело военное — рассчитаны на удар, на разрушение. А здесь у нас — стройка. Хотя, очень возможно, что русские ребята которых ты видел тут, и похожи на давешних военных. Они ведь земляки...

— Говорят, из них многие — уроженцы «нефтяной столицы» Баку. И еще немало таких, кто строил Асуанскую плотину в Египте...

А в садах Тхиньланга, у старых хижин на сваях, расцвели персики и сливы. И белизна лепестков сливы кажется особенно чистой рядом с розовыми цветами персика. Говорят, это добрая примета. Я думаю, так оно и есть, ведь здесь, на Черной реке, вершится столько прекрасных дел!

Перевод с вьетнамского М. ТКАЧЕВА

[1] Тямпа — индуистское рабовладельческое государство на территории Центрального Вьетнама; упоминается в источниках со II века. Искусство Тямпы оказало влияние на формирование вьетнамской культуры. В конце XV века Тямпа утратила независимость.

1878 – 1978

Рисунок ДИМИТРА БАКЛАНОВА (Болгария)

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ

ИГОРЬ НЕВЕРЛИ

Живая связь

ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ

Игорь Неверли, известный польский писатель, был в довоенные годы секретарем знаменитого польского педагога и писателя **Януша Корчака** *и стал его другом, ближайшим помощником по работе в созданных и руководимых Корчаком детских интернатах («Наш дом» — для польских и «Дом сирот» — для еврейских детей), а также в детской газете «Малый пшеглёнд».*

Замечательной личности Януша Корчака, его общественной и литературной деятельнасти, его героической кончине посвятил Неверли книгу «Живая связь», выдержавшую в ПНР уже несколько изданий.

В 1978 г. исполняется сто лет со дня рождения Януша Корчака, ЮНЕСКО объявило этот год Годом Корчака. Мы предлагаем вниманию читателей несколько отрывков из книги Игоря Неверли.

Не буду отвлекаться и расскажу о главном — как я получил те две карамельки, вишневую и ореховую, что придали потом всей моей жизни совершенно новый вкус.

Я снимал тогда крохотную комнатенку на улице Новолипье, пробавляясь уроками стенографии и случайной корректурой, и как-то вечером зашел в гости к одним из немногих своих знакомых — к доктору Ферберу с женой. Пани Цецилия сказала, что Януш Корчак, о котором я, должно быть, слышал (я действительно слышал немного), писатель и педагог, ищет секретаря со знанием стенографии. Она ему уже говорила обо мне, и Корчак просил зайти к нему в «Дом сирот». Кто знает, быть может, это перст судьбы (милая пани Цецилия была идеалисткой старого доброго образца), быть может, работая с таким человеком, я скорее найду себя, свое подлинное призвание?

У «призвания» была русая бородка, и оно едва помещалось в крохотной — два шага на шаг — комнатенке

— Здесь у нас школьная лавка, но сейчас пан доктор записывает «заклады»,— объяснила девочка-подросток, вероятно дежурная, провожая меня через столовую к боковой двери, загороженной столиком, за которым, словно за прилавком, возвышался некто в серо-зеленом бумажном халате. На столе лежала внушительных размеров книга и стояла картонная коробка с карамелью.

— У тебя что?

У доктора в неврачебном халате был голос мягкого тембра, глубокий и чуть приглушенный, как бы задумчивый.

Мальчишка лет десяти ответил без колебаний, видно было, что он пришел сюда с готовым решением:

— Запишите, что буду драться один раз в месяц.

— Не знаю, могу ли я записать тебе такое. Это будет нечестно с моей стороны.

— Почему нечестно?

— Потому что ты наверняка проиграешь. Ты дерешься каждый день и не сможешь так с ходу бросить. Даже от морфия отвыкают постепенно, уменьшая дозы. Слыхал, что такое морфий? И что такое дозировка?

— Нет, не слыхал, но уж если я что решил... Вы меня не знаете!

Они поторговались, поторговались и сошлись на одной драке в неделю. Одной-единственной, что и было четко зафиксировано в книге.

Впоследствии мне не раз доводилось наблюдать эти «заклады». Их предметом бывали драки, приставанія, вранье, ругательства, плохие отметки... Иногда, особенно в переходном возрасте, интимные дела. Тогда записывали преимущественно иксы. Потому что разрешалось ставить на что-то «неизвестное», ничего ие называя, записывали только «х» и количество допускаемых нарушений.

Играли на совесть. Ведь в большинстве случаев только ты сам мог себя проверить. Доктор лишь записывал, придавая этому своеобразному тотализатору вес своим авторитетом, выслушивал признания, советовал, выплачивал выигрыши. С надеждой, отчаянием, торжеством, а порою и с подлинной страстью ребята проигрывали или выигрывали по две карамельки из картонной докторовой коробки. Простые, дешевые карамельки, по три штуки за грош ничего интересного. Просто символ. Явственный, ощутимый, сладкий плод трудной победы! Всякий раз, когда мне случалось быть свидетелем этих закладов, я видел в них что-то от исповеди и что-то от матча.

Вот как протекал один такой поединок с собой Парень хотел отучиться ругаться. В первую неделю он обязался не более тридцати раз употребить слово «холера». И выиграл, так как сумел ограничиться пятнадцатью. Осмелев, он рискнул поставить на ноль. Проиграл. Выговорил себе двадцать. Сказал тринадцать. Выговорил гринадцать. Сказал десять. Выговорил пять, сказал восемь. Выговорил восемь, сказал три. Выговорил пять, сказал два. Еще через пару недель дошел до нуля и удержался на нем.

— Когда я отвык ругаться «холерой», то от «черт возьми» было уж совсем легко отвыкать. Я раньше еще и другие ругательные слова употреблял, но иа них даже биться об заклад не пришлось. Сами уже как-то на язык не лезут.

...Так-то оно так, но в тот день я всего этого не знал, не понимал. Мне все казалось странным и немного смешным. Я стоял в сторонке у самой дверн, и Корчак меня не видел. Когда ушла девочка, решившая перестать обзываться, я шагнул вперед и подошел поближе. Розоватая лысина приветливо сверкнула мне навстречу. Записывая что-то в книге, Корчак машинально спросил:

— А у тебя что?

— Да я насчет секретарской работы...

Ои поднял голову и, поправляя очки в никелированиой оправе, улыбнулся из-за стекол по-детски чистыми голубыми глазами.

— А-а, это о вас говорила пани Цецилия...— и протянул руку, сухую, теплую, приятную.— Пойдемте ко мне, там будет спокойнее.

С коробкой и книгой под мышкой, слегка сутулясь, он зашагал по залу, ловко обходя играющих детей.

У двери иа лестницу его догнал какой-то мальчуган.

— Пан доктор, вот, гляньте!— Он разинул рот и засунул туда палец.— Купите!

Корчак недоверчиво заглянул.

— Да, верно... Но, видишь ли, Бенюсь, я на корню не покупаю.

— Но ведь шатается!

— Ну и что же? Выпадет, ты потеряешь, а денег не вернешь.

— Нет, я буду следить, не потеряю.

— Но можешь проглотить. Такой зуб — долго ли? Достаточно любой корочки...

— Я не буду есть горбушки!

— Ну, Бенек, у тебя, я гляжу, серьезные неприятности. Да?

Мальчуган обхватил его обеими руками за талию и потянулся к наклоненному лицу. Доктор, подняв брови, внимательно слушал его шепот.

— В самом деле, кто бы подумал...

Он взглянул на молчавших свидетелей сделки, словно спрашивая совета.

— Вот она и обозвала его жуликом,— объяснил стоявший рядом парнишка.

— Лучше отдать ей сразу,— добавила девчонка,— нечего связываться с такой жадиной.

— Ладно, но неужели нельзя подождать, пока товар будет у иего на руках? Обязательно надо купить сию мнуту, когда он только шатается? Вы еще подумайте. Если иначе нельзя, что ж, я рискну, хотя пятьдесят грошей — это большая порция мороженого или два батончика. Скажете, когда я буду возвращаться. Но сначала подумайте.

Мы стали взбираться по лестнице, все больше удаляясь от детского шума, поднялись на второй этаж, третий. На четвертом, в сущности уже чердачном, Корчак открыл ключом железную решетку. Лязг металла и мрак коридора напомнили мне тюремную камеру на Холодной горе, от которой осталась склонность к насморку и какая-то идиосинкразия к замкам.

Он постучал. За дверью раздалось чириканье, шум крыльев.

— Постояльцы пугаются, когда я вхожу внезапно. Один как-то чуть не разбился насмерть. Вот и приходится предупреждать стуком.

Мы вошли в светлую, просторную комнату, вызывавшую у меня с тех пор всегда ассоциации со студенческой мансардой или с дежуркой маяка. Воробьи, усевшись на подоконнике распахнутого окна, глазели на нас с любопытством старых сплетников.

— Здесь мы могли бы работать. Садитесь, пожалуйста.

Повинуясь его жесту, я сел за огромный, заваленный бумагами письменный стол, все еще храня в душе трепет воробьиных крыльев и образ решетки, открывающейся навстречу какому-то солнечному приключению за порогом.

— Вы первый человек, который не спросил, на что мне молочные зубы, зачем я их покупаю. Неужели вам не интересно?

— Очень интересно, пан доктор, но меня уже однажды судьба наказала за ненужные вопросы. В моей профессии, как я убедился, любопытство противопоказано.

— А профессия-то у вас прибыльная, говорят.

— Да, вполне. От десяти до двадцати злотых в час.

— Шутка сказать! Увы, я смогу вам предложить всего сто пятьдесят злотых в месяц. За три-четыре раза в неделю по два часа... Боюсь, что это вас не устроит.

Я вздрогнул. Уж не отказ ли это? Эдакая тонкая, будто бы в моих же интересах, форма отказа... Как объяснить, что дело совсем не в сумме, что меня привело сюда желание иметь, наконец, твердый заработок.

— Что вы, вы были бы правы, если бы у меня всегда была работа, все время съезды, или судебные процессы, или лекции одна за другой. Но это не так. Бывают перерывы. Раз густо, раз пусто.

— Ну что ж, если условия вас не пугают, то давайте попробуем Не знаю, как у нас получится, я привык работать один,— он, как по клавишам, провел рукой по корешкам книг на полке, взял одну, раскрыл.— Допустим, так: «Если кто-нибудь поступит дурно, лучше всего его простить...» Не слишком быстро?

— Нет, вы, пан доктор, диктуйте свободно, не обращая на меня внимания.

— Тогда чуть быстрее: «Если он поступил дурно, потому что не знал, то теперь будет знать. Если он поступил дурно нечаянно, то впредь будет осторожнее. Если он поступает дурно, потому что ему трудно отвыкнуть, то он будет стараться. Если он поступил дурно, потому что его подговорили, то впредь не будет слушать таких советчиков...»

Шагая по комнате, Корчак диктовал предисловие к Кодексу товарищеского суда, наставление судьям, слова, которые мне впоследствии столько раз доводилось переписывать, что они врезались в память, как «Отче наш...».

— Все?

— Все.

Он взглянул через мое плечо на испещренный знакамн лист бумаги:

— Ну и арабески. Вы можете это с ходу расшифровать?

— Разумеется,— ответил я уверенным тоном.

Доктор диктовал не быстро, восемьдесят слов в минуту, четко, законченными фразами, неужели не расшифрую? И я стал читать: «Если кто-нибудь поступит дурно, лучше всего его простить, подождать, пока он исправится. Но суд должен защищать робких, чтобы их не обижали сильные; суд должен защищать добросовестных и трудолюбивых, чтобы им не мешали лодыри и лентяи; суд должен следить за порядком, потому что от беспорядка больше всего страдают добрые, робкие и добросовестные...»

Я читал гладко до этого места. А тут запнулся. То, что я записал машинально, теперь, при чтении вслух, казалось ошибкой, нелепостью. На бумаге было черным по белому сказано: «Суд — не сама справедливость, но он должен стремиться к справедливости; суд не истина, но он жаждет истины. Судьи могут ошибаться. Судьи могут наказывать за поступки, которые они и сами совершают, назвать дурным то, что они и сами делают. Но стыд и позор, если судья сознательно выносит несправедливый приговор».

На юридическом факультете нас учили совсем не так, что-то тут неверно, вероятно, надо: «Суд — сама справедливость...» Я так и прочел, но дальнейший текст шел вразрез с этим. Доктор меня поправил, я смутился и в следующей фразе ляпнул, что судьи не могут наказывать за поступки, которые сами тоже совершают. Правда, я тут же спохватился и сам себя поправил, но слово — не воробей... Две ошибки в коротком тексте, продиктованном к тому же медленно, четко, как школьникам в классе.

Я бы такого стенографиста на работу не взял.

Расстроенный, я убрал стенограмму со стола, за которым мне явно не суждено работать. Но у Корчака глаза смеялись.

— Не расстраивайтесь. Все естественно: фиксируешь правильно, а воспроизводишь с ошибками собственных привычек и представлений... Значит, вы не работаете бездумно. Возьмите.

Он достал из картонной коробки и протянул мне две карамельки.

Я взял, не понимая

— Это выигрыш. Вы будете моим секретарем...

Карамельки были в прозрачных бумажках, одна вишневая, вторая с орехами. Я никогда не осмелился их раз-

вернуть, попробовать. Хранил среди дорогих сувениров. Они пропали во время войны. В свою бытность «покойником в отпуске», в Освенцнме нли Бельзен-Бергене, я часто думал о них. И порой мне кажется, что я и пишу все это для того, чтобы отгадать их неведомый вкус.

■

...Корчак забегает в редакцию, а оттуда отправляется на Солец [1].

Вот он сидит на суидуке в комнате ломового извозчика, а кругом — на табуретках, на кровати, на полу — дети.

— Пан Януш, расскажите еще раз про кота в сапогах.

— Нет, ребятки, сегодня мы поговорим о языке. Не о том красном, что у вас во рту а о человеческой речи. Вы, наверное, очень удивитесь, когда узнаете, что человеческая речь, язык то есть, живет, питается, хнреет, совершает всевозможные обмены может быть очень беден илн очень богат

Так вот, разные умные путешественники ездили в дальние страны и заметили, что в речи дикарей очень мало слов, что их язык очень беден. Есть в этом бедном языке сколько-то существительных, потому что им же надо как-то называть свон табуретки, кастрюли и другие предметы: есть горстка прилагательных, потому что одни табуретки большие, а другие маленькие, одни кастрюли — какне? — чистые, а другие — какие? — грязные; есть еще немного того-сего — и все. Почти такой же бедный язык, как у наших малышей-трехлеток.

А чем умнее народ, чем больше он знает и умеет, тем больше у него разных слов: и каждый год у него рождаются новые слова, как у вас рождаются братья и сестры.

Ну-ка скажите сами, какое слово родилось недавно? Да самолет же. Кто-то выдумал телегу, которая сама по воздуху летает, надо было ее как-то назвать — вот и назвали само-лет. Точно так же, пока Гутенберг не изобрел книгопечатания, не было слов «шрифт», «наборщик», «типография», «книга»...

И еще я вам расскажу про одно слово, маленькое, но до того умное — прямо невероятно. Есть такое коротенькое слово «кто» Стучат в дверь, и ты спрашиваешь: «Кто там?» А если б не было этого малыша «кто», тебе пришлось бы спрашивать: «Там Казик или Маня, тетя или лудильщик, кум Петр или нищий?» А тот бы все отвечал: «Нет, нет, нет». Ты мог бы так три часа подряд спрашивать и не угадать. Стоял бы весь потный, злой, голодный, неспавший и спрашивал, спрашивал... А так: «Кто там?» И в этом кратеньком «кто» — имена всех людей на свете. «Кто» — местоимение.

...Так Корчак, словно волшебник, поднимает с земли жалкую, бульварную, растоптанную на Солеце лексику, разворачивает ее перед глазами жадно слушающей детворы, и родная речь начинает шуметь в их ушах, как «старый, таинственный, огромный бор, полный жизни, полный громких, весело поющих голосов и страшного, загадочного шепота, полный веселья и грусти, молодости и старости».

— Но еще надо вам знать, что есть люди, которые говорят и пишут грамотно, красиво даже, но глупо и нечестно, а есть другие, которые не знают грамматики, в школу не ходили, потому что за школу надо платить, а они бедные, и денег у них не было, но стóят они во сто крат больше тех, кто учился в школе... Ну, а теперь — счастливо вам оставаться, до завтра.

■

Из Корчаковского комитета прислали фотокопии «Малого пшеглёнда». Глянцевитые листы, похожие на рентгеновскую пленку. Старый, кое-где неразборчивый шрифт...

«К моим будущим читателям...»

Я почти слышу Его голос. Он диктовал, шагая по комнате у себя на чердаке. Остановился у стола, ожидая с моей стороны какой-нибудь реплики или вопроса. Покрасневшие веки мигали над стеклами очков. Теперь я знаю, что это была его великая минута, старт на новом поприще.

— Пишите: «К моим будущим читателям». Подчеркните. Это заголовок. Дальше с красной строки...

Потом я перепечатывал на машинке текст со стенограммы, останавливаясь над странными фразами, как сейчас, списывая с фотокопии.

«Наша газета будет помещаться в большом угловом доме. Рядом парк; справа огромный стадион, слева пруд с лодками; зимой каток. Разумеется, велосипеды, автомобили и самолеты к услугам сотрудников и корреспондентов. На крыше антенна. Чтобы было легко собирать новости со всей страны, со всего мира. Всюду, где происходит что-нибудь значительное и интересное,— там наш корреспондент и наш фотоаппарат.

Такова будет газета детей и юношества.

Телефонов будет двенадцать. Чтобы каждый мог в любое время поговорить, спросить, передать информацию или жалобу.

Будут два кинозала (на первом этаже). В одном — приключенческие и смешные фильмы, в другом — трогательные и научные.

[1] Улица в Варшаве, район городской бедноты.

Все будет весьма интересным.

Газета будет печататься на ротационной машине. Я не знаю точно, что такое ротационная машина, но на таких машинах печатаются все крупные газеты. Да и звучит это красиво, торжественно: «ротационная машина».

Редакция разместится на втором этаже. Здесь будет приемная или две: одна для взрослых, другая для детей. Потому что взрослые тоже будут обращаться в нашу редакцию по различным вопросам.

Газета будет обсуждать все дела школьников и школ. И будет защищать детей.

Газета будет следить за тем, чтобы все происходило по справедливости.

Редакторов будет трое. Один старый (лысый, в очках), чтобы был порядок. Второй юноша — редактор для мальчиков, и еще девушка — редактор для девочек. Чтобы никто не стеснялся и каждый говорил громко и откровенно о том, что ему нужно, кто его обижает, какие у него заботы и печали.

Кто захочет — сможет рассказать, а другой сможет прийти и написать на месте, прямо в редакции.

У постоянных сотрудников будут свои столы или хотя бы ящики.

Тому, кто стесняется своего плохого почерка или ошибок, редактор скажет:

— Ничего. В корректорской поправят.

А если кто-нибудь совсем не захочет написать, редактор вызовет стенографиста и скажет:

— Вот пожалуйста.

Они войдут в отдельную комнату, и стенографист запишет под диктовку.

Заметки можно будет передавать устно, по телефону, присылать по почте, диктовать или писать.

Чтобы было удобно, чтобы никто не стеснялся.

Есть много взрослых, которые пишут только потому, что не стесняются; есть дети, у которых масса интересных идей, замечаний и наблюдений, но они не пишут, потому что им не хватает смелости или не хочется.

Наша газета приучит ребят писать.

И придаст им смелости...»

Этот проспект был опубликован 3 октября 1926 года и всех развеселил. «Ловко придумано»,— говорили купцы, журналисты и специалисты по рекламе.

Никому в голову не приходило, что всеми уважаемый автор, врач к тому же, принимает всерьез эту затею и попытается хоть что-то воплотить в жизнь.

Только дети отнеслись к делу серьезно — и не ошиблись...

Мечта — это жизненная программа, сказал как-то Корчак. Ее не всегда удается осуществить до конца, но пытаться нужно обязательно.

Он давно мечтал о своеобразной детской трибуне, подчеркивал ее роль и значение, писал об этом в книге «Как любить ребенка» и в статье «О школьной газете». В «Доме сирот» и «Нашем доме» уже ряд лет выпускались свои еженедельники. Корчак не представлял себе воспитания без газеты. Не верил, что в обществе может существовать хорошая пресса, если таковой нету у детей. Ибо хороший вкус, чуткость к правде, потребность в ней и смелость в ее высказывании необходимо прививать и развивать с малолетства. Для этого надо дать детям собственные газеты, которые они будут вести сами. Это вытекало из всего корчаковского педагогического метода, который был, по сути дела, методом детского самоуправления. И Корчаку необходимо было, в конце концов, шагнуть за пределы интернатских газет, поставить более масштабный эксперимент. Замысел газеты не помещался в традиционных рамках издания для детей. Проектировалась газета без предлога «для» — орган, массовое издание с большим тиражом...

В первых номерах, стремясь придать газете определенный характер, тон, направление, Корчак часто публиковался сам, и среди его высказываний бывали подлинные шедевры литературного мастерства. Но по мере увеличения потока писем, а их приходило примерно 100—150 в неделю, он все больше уступал место детям, растворялся в их массе, лишь изредка беря слово.

В обоих интернатах он охотнее всего свел бы свою педагогическую деятельность к функциям секретаря детского суда и эксперта по ребячьим проблемам. А в «Малом пшеглёнде» он ограничивал задачи редактора, сводил их к организации, стимулированию, воздействию на читателей через их собственные высказывания. Тщательная сортировка писем, распределение их по тематическим группам, поощрение к спорам, к обмену мнениями, к рассказам о себе — а дальше пусть жизнь сама говорит, убеждает, открывает свои бесчисленные истины.

Меня всегда удивляло, что именно он, литератор, не признает в детской газете литературы. Газета не печатала стихов, рассказов, новелл.

— Это они найдут всюду. Вокруг них слишком много вымысла, слишком много взрослых суждений и вкусов. Им же нужно, черт возьми, попытаться где-нибудь говорить самим, по-своему, о собственных делах.

В этом решительном отмежевании от общепринятых традиций детских журналов, от сказки и назидания, от экзальтации и громких фраз проявлялась не только корчаковская позиция реалиста,

но и его страсть коллекционера детских документов. И все вместе вело к перегибам в использовании подлинных свидетельств, к переоценке самостоятельности детей, к ущемлению формы в пользу содержания.

В сущности, этих ошибок было достаточно, чтобы затея с газетой провалилась в первые же недели. Я никак не пойму, почему мы тогда этого не опасались. Напротив, все приняли как должное успех «Малого пшеглёнда». Удача казалась нам естественной, неизбежной; как же могло быть иначе, если за дело взялся Пандоктор[1]? Мы радовались, видя, что газета растет и крепнет, тираж увеличивается, число постоянных корреспондентов достигает двух, а затем и трех тысяч, что они есть у нас во всех уголках Польши, в странах Европы, да и не только — нам писали из Америки, Австралии, Палестины, Сирии, Египта...

Успеху способствовали и сам замысел, и личность редактора. Дети, перекормленные безудержной фантазией и слащавым жеманством детской литературы той поры, вдруг в «Малом пшеглёнде» почувствовали себя дома, нашли убежище своим чувствам, мыслям, переживаниям, нашли общий путь и своего Мессию. Доктор, добрый всемогущий Пандоктор, знал их язык и привычки, умел работе придавать прелесть игры, а мелочам — значимость...

Дело удалось, в общем, потому, что было дружно, честно и необычно. Например, редакция. Где найдешь другую такую редакцию, и можно ли вообще назвать редакцией пеструю компанию, собиравшуюся в двух комнатенках на улице Новолипки, дом семь маленькие девочки с куклами, школьники младших классов и старшие подростки. Приходили не только с рукописью, но и за советом, с идеей или предложением, на занятия в удивительных неизвестно когда возникших кружках, как «Кружок дружбы», «Кружок игр и взаимопомощи», «Клуб романистов», «Мастерская изобретателей»... Посетителей принимала высокая, стройная, сдержанная девушка лет шестнадцати, с тихим, словно бы приглушенным, голосом, Магда, секретарь редакции. Она выслушивала, советовала, иногда обещала зайти к кому нибудь домой.

Что это, в сущности, было — редакция? Клуб? Консультация? Кто знает, наверное, немножко и того, и другого, и третьего.

Веселее всего бывало по четвергам, когда приходил Пандоктор. Побеседовав то с одним, то с другим с глазу на глаз, он затем рассказывал сказки и анекдоты, затевал игры, чтение стихов, иногда танцы. И, наконец, гвоздь программы, заветная мечта каждого из нас — в кругу ближайших сотрудников отправиться вместе с Корчаком в колбасную по соседству есть сосиски. Здесь рождались самые блестящие идеи, принимались важнейшие решения.

А первые редакционные конференции, эти пленумы, когда в зале спортивного общества совещались столичные корреспонденты, несколько сот мальчиков и девочек! Таких совещаний Варшава не знала ни до, ни после этого (сцены детского парламента в «Короле Матиуше», несомненно, навеяны ими).

Старый доктор, казалось, играл с ребятами. Но за этими играми скрывались работа и точность слаженного умного механизма. В этом, как и во всем, что делал Корчак, была концепция и техника, была ведущая идея и ее исполнительный механизм, продуманный до мельчайших винтиков...

Постоянным корреспондентам вручались памятные открытки. Они были двух видов, двух степеней, если можно так выразиться: с цветами, в знак памяти и признания со стороны редакции, и с фруктами — в благодарность за заслуги...

■

А потом мы встретились в Майданеке. Из Варшавы привезли остатки гетто после восстания, в том числе триста детей, которым требовался старшой. Это в самый раз для тебя, сказали мне друзья, ты инвалид и педагог, не отнекивайся, как-никак ты работал у Корчака, будешь с ними чистить картошку на свежем воздухе и слушать, как жаворонки поют. Друзья сложились, дали взятку в канцелярию, в общем, купили для меня эту должность: и вот я стою с нашивкой на плече перед своей командой у горы гнилого картофеля, который необходимо перебрать, вырезая здоровые глазки и бросая их в выставленные полукругом бадейки.

Было лето, жаворонки звенели в синем поднебесье, их было невероятно много, и они так залнвались, что сердце щемило от восторга и суеверного страха, что, быть может, в самом деле души умерших вселились в этих птиц и летают, молятся над своим последним полем, над пятым полем Майданека. Опираясь на лопату, я стоял, как журавль, посреди своей стайки, поглядывая на ворота и в проходы между бараками, не идет ли Туман, Шмук или еще какой-нибудь изверг. Хорошая должность, можно отдохнуть и набраться сил, никому не причиняя зла, а возможно, даже с пользой для этих ребят, думал я, пока вдруг кто-то из-за бадейки не сказал: а я вас знаю. Не может быть, ты не обознался? Не успел тот ответить, как другой воскликнул: а мне вы вручали открытку в «Малом пшеглёнде», открытку с фруктами, пан редактор!

У бадеек, как оказалось, скоблила картошку дюжина корреспондентов. Этот

[1] Пандоктор — так дети называли Корчака.

пописывал, тот пописывал, и почти все регулярно читали «Малый пшеглёнд». Подобралась неплохая компания: читатели, сотрудники и редактор. Вот будет эсэсовцам потеха, когда это разнесется по лагерю!..

Пахнуло дымом крематория. Да, тут не поможет то, что я не еврей...

Я пробыл старшим три дня. Первый прошел благополучно, если не считать моего смятения, но на второй день к нам пришел помощник коменданта лагеря, стоял и смотрел, как мы работаем. Бодро мелькали кожи, руки поднимались и опускались, бросая в бадейки с водой кусочки не до конца сгнившего картофеля, плеск стоял, как на озере во время дождя, и только один мальчишка не работал. В первом ряду, на самом виду... Я прошипел: «Чисти». Тот не шелохнулся, словно не ему сказано, руки на коленях, лицо мертвое, лет восемь или десять. «Чисти, на тебя смотрят!» К счастью, соседи догадались, отодвинули его, загородили.

— Почему ты не работал? — спросил я, когда помощник коменданта удалился, ничего не говоря,— я же объяснял, предупреждал...

Никакого ответа. Сосед подтолкнул его:

— Скажи, это же пан редактор.

— Маму взяли... в газ,— сказал мальчишка тихо, таким мертвенным голосом, что я не сразу понял.

А назавтра уже не он один, а все были в таком состоянии.

— Что с вами? — допытывался я, видя, как вяло они приседают у горы картофеля, без разговоров, с изменившимися лицами.— Случилось что-нибудь?

Молчание. Между тем сразу после утренней поверки на поле появился Туман, бог Майданека, о котором говорили, что ему нездоровится, если он перед завтраком, натощак, никого не убьет. Я вскочил, схватил картофелину... Ребята смотрели на меня как неживые, одни нехотя потянулись к очисткам, другие даже не пошевелились. А Туман со своим догом шел прямо к нам, еще минута, и он увидит пустые бадейки, увидит саботаж всей команды; размеренным, упругим шагом на нас надвигалась катастрофа, ее бы не миновать, если бы Туман не заинтересовался по дороге встреченным заключенным, который, не будучи немцем, осмелился идти по новому тротуару, или, может быть, у него отпоролась нашивка, не знаю, потом по-разному рассказывали, во всяком случае, когда тот упал, Туман свернул к костру, на котором кровельщики варили смолу и, разумеется, стряпали тайком какую-то еду. Я принялся ругать ребят за их безобразное поведение, ведь они могли погубить и себя, и меня, и вообще — неужели не понятно, где мы находимся?

Тогда они сказали:

— У нас ночью вешали.

Ну да, в барак пришли два эсэсовца и пара капо из уголовников, все пьяные, и стали вешать детей — просто так, для развлечения или для тренировки, нескольких ребят повесили на потолочных балках, остальные, дрожа на своих нарах, наблюдали эту процедуру...

Мне самому довелось уже сидеть в камере смертников, куда меня швырнули, чтобы «обломать» перед первым допросом, я знаю, что такое предсмертная мука взрослых, но мука детей?! Я заявил в канцелярии, что должность старшего мне не под силу, не психически, разумеется, этого я не сказал,— я с ними физически не справляюсь, инвалид как-никак. «А о чем ты раньше думал, когда хлопотал об этой должности, о чем ты думал?» Кончилось тем, что меня избили, не слишком сильно даже, и отослали в барак.

Потом мы время от времени встречались. После обеда, а иногда перед вечерней поверкой они прокрадывались к моему бараку поодиночке, вдвоем, втроем. Было невыносимо видеть их здесь, разговаривать с ними. Смертельно взрослые, они не питали никаких иллюзий, не искали у меня спасения. Да и что я мог им дать? Пару советов старого узника, какую-нибудь помощь в мелочах. Они просто тянулись к забытому человеческому теплу, к последнему свидетелю той их жизни, которая ведь была в самом деле, если в канаве за бараком с ними беседует редактор их газеты.

Я свыкся с мыслью, что погибну вместе с ними. Кто-нибудь проболтается нечаянно или не выдержит, донесет. Ведь случалось, что зрелые люди, иной раз с безупречным прошлым, предавали за еду, за должность, чтобы хоть немного отсрочить пытку или смерть. А тут были дети или почти дети, и все триста жали обо мне.

Ни один из них не выдал. Они прошли мимо меня к крематорию, шлепая по грязи маленькими ступнями. Эсэсовцы с собаками сопровождали их, а вальс Штрауса, лившийся из репродукторов, забивал их последний след.

■

В Корчаковском комитете волнение: получена открытка из Кельце, пишут, что Корчак не погиб в Треблинке. Кто-то кому-то сказал, что видели Старого доктора с группой детей, странствующих из деревни в деревню в Кельцком воеводстве. Надо, говорят, поехать проверить. Не надо. Это уже было. В 1943 году, год спустя после Его гибели, я впервые услышал, что он жив.

Мы сидели в канаве за бараком — я, трое мальчишек и Стыцкий, наборщик,

с которым мы, верстая «Малый пшеглёнд», восемь лет размешивали сахар в чае одной ложечкой, потому что вторая постоянно куда-то пропадала. Один из мальчиков спросил, правда ли, что Пандоктор в Майданеке. Говорят, он прибыл в эшелоне вместе со всем «Домом сирот»...

— И ты поверил? — сказал второй.— Дурак ты, их давно сожгли...

— А ты не умничай,— накинулся на него Стыцкий — Пандоктор жив, и дети с ним, хотя и не все...

— Почему не все? — спросил я изумленно.

— Потому что отцепили только один вагон...

— Вы сами видели?

Почти что видел. Он был на умшлагплаце [1], когда прибыл «Дом сирот» с Корчаком. Люди замерли, будто появилась сама смерть, некоторые плакали. Вот так, стройной колонной, по четыре человека в ряду, со знаменем, с руководителями во главе, сюда еще не приходили...

— Что это такое? — закричал комендант умшлагплаца.

Ему сказали: это Корчак с детьми. Комендант задумался, начал вспоминать, но вспомнил, когда дети были уже в вагонах. Он спросил у Доктора:

— Это вы написали «Банкротство маленького Джека»?

— Да, а это имеет какое-нибудь отношение к эшелону?

— Нет, просто я читал в детстве, хорошая книга, вы можете остаться, доктор...

— А дети?

— Ах, unmöglich [2], детям придется поехать...

— Ну нет,— крикнул Доктор, дети — это главное! — и захлопнул за собой дверь изнутри.

Комендант постоял, постоял у вагона, позвал эсэсовцев и что-то им сказал. Все это Стыцкий видел своими глазами. Ну, а потом железнодорожники рассказывали, будто ночью на станции Урле этот вагон отцепили. Эсэсовцы выгнали в поле Доктора с детьми и кричали, чтобы те убирались куда хотят, только поскорее и без шума. И семья Сабинки, вы ведь знаете Сабинку?— да, конечно, она работала в швейной мастерской — правильно, так вот ее родные в гетто получили от нее письмо, что она с Корчаком и детьми в надежном месте...

Когда мальчики ушли спать, я спросил у Стыцкого, зачем он рассказал эту байку о спасении.

— Ради ребят, что ли?

— Как, неужели вы не верите?!

— Но ведь невозможно поверить, чтобы комендант умшлагплаца...

— Для чего же книги-то тогда пишут? Неужели все выеденного яйца не стоит? — Он очень удивлен, что наборщик должен такое объяснять редактору...

Мы так и не доспорили с ним, в тот вечер началась поверка, а вскоре после этого пришел день уничтожения, тот самый, под звуки Штрауса...

■

Когда объявили мобилизацию, Корчак вынул из нафталина свой майорский мундир и попросился в армию, объясняя, что он, правда, пожилой и педиатр, но участвовал в двух войнах [1] и может пригодиться. Начальники в соответствующих инстанциях кивали головами, обещали, но мало что могли сделать в невообразимом хаосе, охватившем все — и инстанции, и начальников. Что же делать, что предпринять для защиты родины?

На Варшаву падают первые бомбы. Сквозь их грохот, сквозь шум пожаров люди услышали знакомый, давно не звучавший голос: у микрофона польского радио снова стоял старый доктор. Дети и взрослые подходили к приемникам с привычным вниманием и чувством доверия. Это не были уже сказочные радиобеседы из области «шутливой педагогики для взрослых и детей». Старый доктор говорил об обороне Варшавы, о внешне незаметном героизме, о том, как должны вести себя дети в различных случаях опасности, чтобы было как можно меньше жертв. «Вчера я был пожилым человеком сегодня же стал на десять лет моложе, да что я говорю — на двадцать лет...» Голос был тот же. Несколько приглушенный, подбирающий во время пауз единственно верные слова, правдивые слова, как в разговоре с самим собой или с кем-то близким, создающий интимную атмосферу единодушия, сопереживания.

Варшава пала, и Корчак вызвал меня к себе на Крохмальную. В «Доме сирот», как и во всем городе, в окнах не было стекол. Доктор раздобыл где-то ящик стекла, я же обзавелся алмазом и работал стекольщиком в Общественном строительном тресте.

Разбитые окна позатыкали, закленли чем пришлось, однако осенний ветер гулял по залу. Дети сидели за столами в пальто, а Доктор был в офицерских высоких сапогах, в мундире. Я высказал удивление по поводу того, что все еще вижу на нем эту униформу, вроде ведь он никогда не питал к ней особого пристрастия, напротив...

— То было прежде. Теперь другое дело.

— Пан доктор, но это же бессмысленно. Вы провоцируете гитлеровцев, мозоля им глаза мундиром, которого уже никто не носит.

---

[1] Умшлагплац — площадь в варшавском гетто у железнодорожного тупика, откуда отправлялись эшелоны в лагеря смерти.

[2] Unmöglich — невозможно *(нем.)*.

[1] В русско-японской и первой мировой.

— То-то и оно, что никто не носит, это мундир солдата, которого предали,— отрезал Корчак тоном, не допускающим возражений.

Он снял его только год спустя, вняв настойчивым просьбам друзей, доказывавших, что он подвергает опасности не только себя, но и детей. Во всяком случае, стоит вспомнить о том, что он был в годы оккупации последним офицером, носившим мундир Войска Польского.

Перевод с польского Э. ГЕССЕН

БЕЛ КАУФМАН

Письмо покойному учителю

Дорогой мистер Сток!

Наверно, Вы не вспомнили бы меня, даже если бы еще были живы. В 512-й классной комнате Саутсайдской средней школы Ньюарка (штат Нью-Джерси), где Вы преподавали нам английский и литературу, я сидела позади всех в третьем ряду. Вы поставили мне самую высокую отметку и минус за невыученный урок.

Вы предложили нам написать в классе сочинение о героине одного из романов Томаса Харди (вернее, о Тэсс?), а я забыла прочесть роман, который Вы задали нам читать на дом. Застигнутая врасплох, я принялась с лихорадочной поспешностью строчить что-то свое: описала молодую женщину; комнату, в которой она сидит; косой луч света, падающий сквозь высокое окно; руки женщины, сложенные на коленях; мысли, которые бродят у нее в голове. Я ждала провала, позора и — самое страшное — Вашего разочарования. Вместо этого Вы поставили мне минус за невыполненное домашнее задание и высшую оценку — за творческую самостоятельность. «Это не героиня Харди,— размашисто написали Вы красными чернилами под моим творением,— но свою собственную ты изобразила очень реально».

Пораженная, преисполненная благодарности, я поверила в себя, в свои возможности. Вы п о д д е р ж а л и меня.

А я нуждалась в поддержке. Я была робкой, застенчивой девочкой-подростком, чересчур впечатлительной, чересчур инозе мной. Английский я выучила совсем недавно и говорила еще скованно, с трудом. Завитки волос длинными колбасками свисали мне на лопатки — это в эпоху короткой стрижки «под фокстрот» и прилизанных локонов на висках! Мне позволяли лишь слегка подкрашивать губы бледной помадой — тогда в моде был алый рот в форме лука Купидона! Как я мечтала о тонких каблуках и серых, с отливом, шелковых чулках! Как страстно я желала, чтобы у меня были выщипанные брови, галоши с отворотами, макинтош с цветными буквами — инициалами мальчиков, сами мальчики!

С момента, когда я двенадцатилетней девочкой приехала в Америку, и вплоть до того времени, когда, перескакивая через младшие классы, достигла того возраста, когда переходят в среднюю школу, я постоянно была самой старшей ученицей в классе, которую спрашивали в последнюю очередь и которой уделяли меньше всего внимания. Я была пустым местом, нулем.

По-моему, Вы сами не ведали, что Вы для меня сделали, мистер Сток. Ведь мы, учителя, чаще всего не знаем, на кого нам удалось повлиять, каким образом и почему. Вы отметили не недостатки мои, а достоинства. Впервые я вдруг поняла, что нечто, созданное моим воображением, может быть реальным для кого-то другого. Удачи педагогики каким-то образом связаны с этим «впервые», с этим восторгом открытия: «Эврика!» «О, понимаю! Вижу!» — будь то новая планета в небе или буквы алфавита, вдруг складывающиеся в слово.

Другие учителя обращались с нами иначе. Один имел обыкновение молча, с поджатыми губами ставить аккуратную единицу в зловещий черный кондуит. Другой — его класс был дальше Вашего по коридору — любил с тонким сарказмом и во всеуслышание разбирать все наши прошлые проступки, упирая на то, что последний переходит уже всякие границы.

По правде говоря, я помню лишь очень немногих моих учителей. Учитель латыни заставлял нас сидеть неподвижно, положив руки на парту и глядя прямо перед собой. Это называлось «поддержанием дисциплины». А учитель истории присаживался на подоконник, болтал ногами и пытался подкупить нас фальшивой панибратской манерой.

Вы же исходили из одного простого факта: если урок интересен, мы будем внимательны. Мы были более чем внимательны. Мы жаждали, чтобы урок тянулся подольше, потому что Вы умели в нужный момент поставить неожиданный провоцирующий вопрос «Почему», ко-

торый переворачивал вверх дном весь наш беспорядочный багаж заранее составленных мнений и заставлял нас думать еще долго после того, как прозвенит звонок. Вы не пытались подладиться к нам, понравиться нам. Вы никогда не держались с нами по-приятельски. Вы были у ч и т е л е м. Вы внушали к себе абсолютное уважение. И благодаря тому, что Вы с уважением относились к себе и к нам, мы могли уважать себя.

Через решето памяти выборочно просеиваются... Нет, Вам эта фраза явно не понравилась бы. «Слишком литературно,— сказали бы Вы.— Простота сильнее». Поэтому я только расскажу, как однажды Вы остановились у моей парты и тихо спросили: «Не идет дело? Не знаешь, как начать?» Я кивнула — и начала. В другой раз Вы сказали, что у меня характерный почерк. Или Вы назвали его своеобразным? Я уже не помню. Неважно. Важно другое, как много это для меня значило. Перескочив через младшие классы, я, естественно, перескочила и через пальмеровский метод обучения письму с помощью овалов и линий, вследствие чего мой почерк был иным, чем у моих одноклассников. А он, оказывается, х а р а к т е р н ы й — подумать только!

Впрочем, Вы каждого заставляли почувствовать собственную особенность. Как-то раз Вы привели нам шекспировские строки:

Кто знает те слова, что больше значат
Правдивых слов, что ты есть только ты?[1]

Я знала, что Вы имеете в виду меня. И каждый из тридцати четырех учеников в классе знал, что это — о нем.

Когда кто-нибудь из нас возвращался в класс после длительного отсутствия, Вы говорили: «Нам тебя не хватало». Когда кто-нибудь не был готов к уроку, Вы укоризненно качали головой: «Очень жаль, мы надеялись услышать т в о е мнение». Когда кто-нибудь опаздывал, Вы исходили из того, что опоздание вызвано уважительными причинами, о которых незачем спрашивать. Вы держались с нами на равных, как со взрослыми, и поэтому — на Ваших уроках — мы и ощущали себя взрослыми. «Избегайте казуистики» — могли сказать Вы, считая само собой разумеющимся, что мы либо знаем это слово либо заглянем в один из нескольких словарей, которые всегда были разложены здесь и там в Вашем классе. Мы лезли в словарь. Потому что Вы считали нас порядочными людьми, пунктуально посещающими занятия, добросовестно приготавливающими домашние задания честно, без подглядывания пишущими контрольные работы, преданными учебе и ответственно относящимися к своим гражданским обязанностям,— мы и были такими. Были! Для Вас. Вы д е й с т в и т е л ь н о верили в это — вот в чем все дело. Вы были искренни, прежде чем это слово попало под подозрение; терпимы, прежде чем это слово превратилось в клише. Подростки чувствуют фальшь. Дети и те, кто любит, всегда умеют отличить истинное от поддельного. Подсунуть Вам что-нибудь второсортное, какую-нибудь низкопробную поделку — это было совершенно немыслимо. Только теперь я понимаю, какие огромные требования Вы предъявляли к нам.

Не могу ясно припомнить Вашу внешность; кажется, Вы были невысокий и полный. Но зато я помню раскаты смеха в классе. Вы никогда бы не унизились до того, чтобы потешать класс за чей-нибудь счет или развлекать нас шутками, однако живо подмечая все нелепое и смешное, Вы делились этим с нами.

И еще Вы делились с нами своими литературными пристрастиями. «Послушайте-ка вот это!» — говорили Вы, энергичным движением открывая книгу. Вы не стыдились показать, что стихотворение трогает Вас, не боялись употреблять такие слова, как «прекрасное». Принц Хэл, гордо вышагивающий рядом с Фальстафом; Лир, бредущий по вересковой степи; Гэтсби, слушающий музыку, которая звучит над темной водой,— даже сегодня, перечитывая эти пассажи, я слышу Ваш голос и снова вижу исписанную мелом классную доску, выцветший рекламный плакат с видом Швейцарских Альп, большие часы с круглым циферблатом, доску объявлений с обычными тогдашними объявлениями: КЛУБ ПОЭЗИИ... ДРАМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК... ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР...

То были дни кружковых занятий после уроков (мы называли это «культурным обогащением»), учебного энтузиазма, школьных праздников и ежегодного альбома выпускников с расположенными в алфавитном порядке фотографиями белых (за исключением одной девушки-негритянки), благополучных, аккуратно причесанных подростков и такими подписями под ними: Ч т е н и е р а з в и в а е т ч е л о в е к а или: П л а н ы н а б у д у щ е е — к о л л е д ж и у н и в е р с и т е т.

В те далекие дни учителя были для нас (а для меня, недавно приехавшей из Европы, тем более) людьми особенными, необыкновенными. Помню, как шокирована я была, заметив однажды утром, что у моей учительницы алгебры спустилась петля на чулке, как у какой-нибудь простой смертной. То были дни, когда «полной тишины» требовали даже на пожарных учениях; когда отпросившемуся с урока в туалет выдавался большой деревянный пропуск, свисавший на веревке с шеи, как чучело альбатроса; когда каждую пятницу школьники маршировали колонной по два на священную цере-

[1] У. Шекспир, сонет 84, перевод С. Я. Маршака.

монию общего сбора, чтобы принести клятву верности флагу, торжественно, под звуки слегка фальшивящего горна, вносимому почетным караулом (из числа лучших из лучших): мальчиком в белоснежной рубашке с синим галстуком и двумя девочками по бокам в белых матросках и синих юбках, которые замирали по стойке «смирно». То были дни не только «полной тишины», но и полного послушания, когда плохая отметка за поведение могла сокрушить провинившегося, когда жевание жевательной резинки в классе считалось серьезным нарушением дисциплины, когда сказать учителю «Заливаете!» было неслыханной дерзостью.

То были дни нашей наивной чистоты, и я вспоминаю их с ностальгией, особенно теперь, особенно будучи учительницей.

— А что вы думаете? — спрашиваю я моих учеников с Вашими интонациями.

— Откуда я знаю? — пожимает плечами мальчик.— Я же не учитель!

— Зачем это вам? — спрашивает другой.— Чтобы записать мою фамилию?

— Мы плохие! — вопит девочка, перекрывая шум голосов.— С нами никто ничего поделать не может!

Я предлагаю ученику найти слово в моем настольном словаре. Он своим ушам не верит: «Вы что — шутите?» И тут до меня доходит, что за все школьные годы он так и не научился читать.

Я вызываюсь помочь ученице написать сочинение и прошу ее задержаться после уроков. «Ну нет, я не останусь,— отвечает она.— В квартале, где я живу, того и гляди убьют или изнасилуют».

Миниатюрная смуглая девочка молча сидит на последней парте. Ее родной язык — испанский, английский дается ей плохо. Вспомнив себя в ее возрасте, я осторожно кладу руку ей на плечо. Она, рассердившись — или, может, испугавшись? — резко сбрасывает мою руку.

Дорогой мистер Сток, я часто думаю, каково бы Вам пришлось в сегодняшней городской средней школе, где учителя превратились в заклятых врагов учеников (в большинстве своем — разгневанных черных и разочарованных пуэрториканцев, с самого дня рождения обрекаемых на участь неудачников), которые ведут против нас повседневную войну. Я пытаюсь представить Вас на уроке в известной мне школе, одной из худших в Нью-Йорке, где перепуганные учителя делают вид, будто ничего не замечают, а беспомощные администраторы обрушивают на них поток инструкций, рекомендующих запирать двери и окна и получше следить за своими кошельками. Где в вестибюле дежурят полицейские, на лестницах курят марихуану, в залах отнимают у слабых деньги, в уборной избивают. Где нередки случаи разбоя, бессмысленного разрушения, поджога и кое-чего похуже. Где уповают больше всего на новейшие и усовершенствованные защитные средства: мощные радиопередатчики, которые учителя должны носить на себе; электромагнитные дверные запоры; сигнальные сирены размером не больше авторучки; посты наблюдения по внутренней системе телевидения.

Но ведь Вы не знаете, что такое телевидение, да? Или что такое «схватить кайф»? У нас, мистер Сток, возник целый лексикон новых значений, которых не найдешь ни в одном из Ваших учебных словарей Ребенок, обалдевший от «травки»,— это совсем не обязательно участник загородной экскурсии; «чек» — это не только напиток; «безопасность» означает присутствие полицейских; «конфронтация» — это драка; «демонстрация» — бесчинства и беспорядки.

И Вы не узнали бы старую доску объявлений: объявления, написанные по-испански; объявления, сообщающие о занятиях для лиц африканского происхождения, о курсах излечения наркомании; не узнали бы Вы и классную доску, на которой детская рука вывела мелом надпись: «Долой белых свиней — учителей!»

Вы поражены? Эти дети имеют законные основания для недовольства. Сегодня они, по крайней мере, могут высказываться, сердиться и протестовать, вместо того чтобы неподвижно сидеть за партами, устремив глаза вперед.

«Учителя держатся слишком уж неискренне и повелительно», — письменно формулируют они свои жалобы — конечно, с чудовищными ошибками.

«У нас бессмысленная учебная программа! Зачем учить математику, когда есть компьютеры?»

«Церемонию приветствия флага на общем сборе запретили, потому что у нас нет ни свободы, ни справедливости, а теперь пусть запрещают и общий сбор, раз они не могут справиться с беспорядками!»

«Дисциплинка становится хуже и хуже».

Все изменилось, мистер Сток, и мир стал иным. Это мир коррупции в высших сферах, полетов на Луну, нищеты и загрязнения среды на Земле. Наш учительский авторитет, как никогда раньше, ставится под вопрос, и, как никогда раньше, подвергаются сомнению наши педагогические методы. Мы сталкиваемся с проблемами беспримерной трудности, которые не нами были созданы, и поэтому поистине достижением бывает, когда мы, по горло занятые патрулированием коридоров, наблюдением за порядком в туалетах, предупреждением беспорядков и писанием отчетов в трех экземплярах, в промежутках иногда ухитряемся всеми

правдами и неправдами, идя на хитрости и уповая на удачу, еще и учить.

Чему учить? Чему бы Вы стали учить, мнстер Сток, ребеика, который признается Вам: «В моей семье такое творнтся, что мне придется куда-нибудь смываться»? Какие «планы на будущее» могут быть для школьника, который написал: «О моем будущем лучше не говорить»? Что бы Вы стали задавать на дом девочке, которая вот-вот станет матерью, мальчику, который ие может жить без наркотиков? И как бы реагировали нынешиие ученики на Вашу негромкую речь, учтивую и доверчивую манеру? Может, стали бы жульничать за Вашей спиной? Или подияли бы на смех? Или пырнули бы ножом на лестнице?

Неужели такие учителя, как Вы, и впрямь вымерли?

Я предложила моим ученикам закончить фразу: «Когда-то у меня был учитель (учительница), который (которая)...», припомнив что-нибудь положительное, что-то такое, что имело для иих зиачение. Вот что они дописали:

«...не была предубежденной: когда она просила меня о чем-нибудь по-хорошему, я это делала».

«...не заставлял меня чувствовать себя болваном, если мне не давался предмет; он видел во мне человеческую личность, а не судил по отметкам».

«...не просто болтал языком, а говорил искренне».

«...была такой же черной, как и я, и это нас уравнивало»

«...когда я был маленьким и учился в начальной школе, отдал мне в пургу свой шарф, а он был из стопроцентного кашемира».

«...этот сумасшедший учитель считал меня умнее, чем я был на самом деле, так что мне и приходилось быть умнее».

В этих строках, мистер Сток, заключен мой ответ. Наверно, я всегда знала его, потому что в своем письменном столе я храню дорогую мне рождественскую открытку. На ней изображен слои-циркач в красной жилетке с подписью: «Я НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЮ». А ниже карандашом добавлено: «Я тоже. Когда я вернулся в класс после ареста, Вы не стали спрашивать, за что меня забрали, а сказали: «Входи, пожалуйста» и дали мне чистую тетрадку. Не забывайте меня, пожалуйста, если можно. Ваш никогда, никогда не забывающий ученик Рей».

Вам бы нелегко пришлось сегодия, мистер Сток, но, по-моему, Вас бы это не устрашило. Вы не стали бы делать вид, будто ничего не замечаете, не стали бы «просто болтать языком». Вы с каждым ребенком обходились бы как с человеческой личностью. И что бы там ни было, Вы все равно ожидали бы, что Ваши ученики станут стараться изо всех сил и раскроют лучшие качества, которые имеются у иих,— не у героев Харди или кого бы то ни было еще, а у иих самих, какими бы эти лучшне качества ни были.

Учителя, подобные Вам, ие умрут, покуда есть дети, которые в один прекрасный день смогут сказать: «Когда-то у меня был учитель...» Быть может, как раз сейчас кто-нибудь где-нибудь говорит это об одном из нас. В этом — наше бессмертие.

■

Дорогой мистер Сток, я предалась воспоминаниям о прошлом, желая показать Вам, как не похожи сегодняшние школы на прежние, но, вижу, получилось-то у меня самое настоящее признание в любви к Вам. Что ж, бывают времеиа, когда признаться в любви просто необходимо, пусть даже любовное письмо так никогда и не будет отправлено. Ваша иикогда, никогда не забывающая ученица Бел Кауфман.

Перевод с английского В. ВОРОНИНА

◆

Наши гости

Сэнгийн Эрдэнэ

МОНГОЛИЯ

— А хорошо ли ты знаешь, как живут араты? Когда последний раз на худоне[1] был, помогал овец перегонять, рассвет в степи встречал, с чабанами говорил? Как ковыль пахнет, помнишь? Я эти вопросы порой задаю молодому, «многообещающему» прозаику, который часами готов толковать о генетике и космогонии, о народном фольклоре и западной беллетристике, но цену жизни, повседневной, трудовой, постичь не торопится,— рассказывает секретарь Союза монгольских писателей, главный редактор газеты «Утга зохиол урлаг» Сэнгийн Эрдэнэ.— Мои собратья по перу стремятся как можно больше увидеть, понять. Прошлой зимой послали меня в командировку в аймаки западной Монголии. Морозы стояли тяжкие — до 40 градусов, снега намело столько, что скот не мог подножным кормом литаться, лошади замерзали. Чем мог — помогал скотоводам, а теперь знаю: эту поездку запомню надолго.

«Бесспорно, писатель хорошо пишет о том, что хорошо знает,— писал недавно ведущий монгольский критик Ц. Хасбатор в журнале «Цог».— У нас есть много прекрасных произведений о революции, о жизни аратов, о героях-воинах. Но сейчас перед нашими писателями стоит новая важная задача — отразить в художественных произведениях то новое, что принесла нам жизнь».

Среди двадцати романов и ста повестей, появившихся в Монголии за последние годы, больше всего произведений о современности. Это — «Гобийская высота» С. Дашдорова, «Кочевка-оседлость» Л. Тудэва, «Цаган булак» Д. Гармы, «Серый ястреб» З. Сандаги, «Свет в яранге» Ч. Чимида, «Шаги первого года» Д. Мягмара, «Семь осин» Н. Банзрагча. Интересно заявили о себе молодые писатели: Ж. Лхагва, Ж. Гал, Д. Батбаяр, Ц. Доржготов, Ч. Гомбо. А наш гость опубликовал повесть «Оазис», посвященную проблемам экологии.

— Что значит научиться писать о современности? — продолжает Эрдэнэ.— Стремиться, чтобы твои книги отвечали эстетическим и идейно-политическим требованиям, которые сейчас очень повысились. Вырос читатель, воспитанный на лучших образцах русской классической и советской литературы, хорошо знающий творчество писателей братских социалистических стран и прогрессивных литераторов Запада. Расширился круг проблем, волнующих нашего современника. Конечно, по-прежнему велик интерес к истории страны, к летописи Народной революции. Но нравственные, социальные и психологические процессы, которые сегодня происходят в городе и в деревне, в каждом из нас,— тоже ведь очень важны. Просто сказать: литературы без борьбы нет. Но как передать конфликт, воплотить его в образы художественного произведения? В своей речи на X пленуме ЦК МНРП Цеденбал призывал к ответственности, к честному отношению к труду, к борьбе с разного рода очковтирателями и тунеядцами. Писатель должен вскрывать эти недостатки...

[1] Худон — сельская местность.

Проза самого Сэнгийна Эрдэнэ — новеллы, рассказы, повести, лирические миниатюры — барометр духовных поисков, потерь и приобретений его современника. Советский читатель хорошо знаком с его творчеством по журнальным и книжным публикациям [1]. О чем он пишет сейчас?

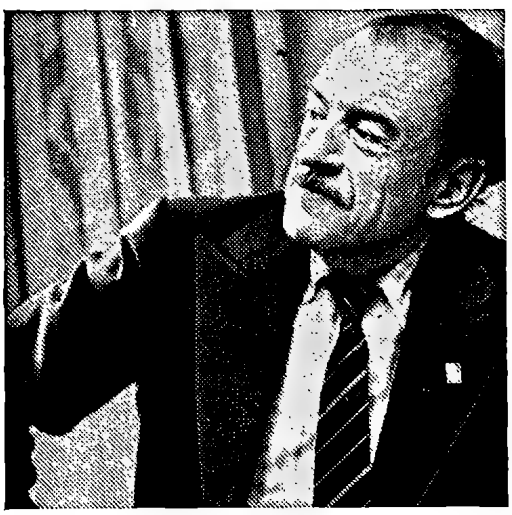
— О тридцатых годах, периоде коллективизации. Героиня моей новой повести «Долгая осень» — та же, что и героиня «Года синей мыши». После учебы на партийных курсах она возвращается в родную деревню, где идет коренная ломка старого уклада, борьба, порой смертельная, за торжество нового. Это был очень важный период в жизни моей республики, но, к сожалению, книг о нем пока мало написано. Я перечитывал «Поднятую целину» Шолохова, «На Иртыше» Залыгина, «Вечный зов» Иванова — короче говоря, работал над своей повестью, памятуя о высоких образцах советской прозы.

Впрочем,— добавляет Сэнгийн Эрдэнэ,— мои университеты — не только книги советских писателей, но и поездки по вашей земле, встречи с геологами, рыбаками, бурильщиками, колхозниками. Совсем недавно побывал на БАМе, проникся мощью великой стройки, которую ведет вся страна. Мне рассказывали, что люди там отсеиваются сами собой — те, что за длинным рублем приезжают, надолго не задерживаются. А кому дорого дело, тех никакими трудностями не испугаешь. Вот так и закаляется сталь... В Сибири целыми деревнями подымается народ и идет на стройку работать. Издалека — за пятьсот и больше километров от Иркутска — приезжают люди. Раньше в такой деревушке, где два-три десятка домов и все Михайловы или Сидоровы, годами никто с места не трогался, разве что по Киринге до райцентра за табаком ходили. Теперь зов великой стройки и сюда донесся.

В Улан-Баторе недавно вышел сборник очерков, посвященных СССР. Мои коллеги рассказывают в них о трудовых достижениях советского народа, чей пример помогает нам строить наше социалистическое общество. А группа советских и монгольских писателей в прошлом году побывала на Халхин-Голе, в богатейшем халхин-гольском госхозе. Они беседовали с участниками исторических боев против японских милитаристов, делились собственными воспоминаниями. Совместный сборник, посвященный Халхин-Голу, который сейчас готовится к печати,— чрезвычайно важная работа. По-моему, наше сотрудничество должно быть именно таким — творческим, конкретным, деловым...

А. Н.

[1] Журнал «Иностранная литература» опубликовал повесть С. Эрдэнэ «Год синей мыши» № 11, 1974 г. В этом номере журнал печатает несколько новых рассказов писателя.



Альфредо Гравина

УРУГВАЙ

Порой от встречи до встречи с Альфредо Гравиной проходят годы. Но все тот же живой и веселый взгляд, все так же за мягкими манерами чувствуется несгибаемый дух борца, неустанно сражающегося за правду пером художника и публициста, горячим словом оратора. Автор рассказов (первый его сборник вышел в 1938 году), романов (один из них — «Границы, открытые ветру» — переведен на русский язык), эссе, очерков, в том числе об СССР и о Кубе, пьес, неоднократный лауреат международных и национальных литературных премий, хорошо известный всей прогрессивной Латинской Америке общественный деятель, он приобрел много друзей и в Советском Союзе, где его произведения знают и любят.

— Уругвайские писатели у нас в редакции редкие гости...

— В Уругвае нас осталось совсем мало,— грустно отвечает Альфредо Гравина.— Большинство писателей, журналистов, деятелей искусства были вынуждены эмигрировать. Они рассеяны сейчас по разным странам. Наш крупнейший прозаик Хуан Карлос Онетти живет в Испании, Марио Бенедетти — на Кубе. Сам я сначала выехал в Аргентину, теперь живу в Гаване.

Мы просим Альфредо Гравину рассказать, над чем он сейчас работает.

— Завершил окончательную редакцию романа «Остров со смотровой вышкой». Это переделка пьесы, написанной 16 лет назад. Ее тогда хотели поставить в Монтевидео. Перечитывая рукопись, я пришел к выводу, что роман даст мне больше возможностей для воплощения волнующих меня мыслей. В романе, как и в пьесе, я

широко использую жаргон жителей района Ла Платы. (Заметим, кстати, что использование народных говоров, поговорок — вообще характерная черта Гравины-стилиста.) Тем не менее содержание этого произведения универсально. Все происходящее на фантастическом «острове» могло бы случиться в любой стране современного капиталистического мира. Я хотел разоблачить фальшь буржуазной морали, ее несостоятельность. Касаюсь также проблемы женщины в современном мире, ответственности художника перед обществом.

— Судя по многим вашим произведениям, юмор — непременная черта вашего стиля. Так ли это?

— Читателю,— смеется Гравина,— даны все права. Он может даже скучать над нашими произведениями. Но если говорить серьезно, к средствам иронии и юмора я прибегаю давно. Наверное, не случайно первые переводы моих рассказов опубликовал в СССР журнал «Крокодил». «Остров со смотровой вышкой» продолжает эту тенденцию — видение мира через юмористические образы и ситуации.

— А в самом Уругвае можно сейчас продолжать писательскую деятельность?

— Можно-то можно, да только...

В голосе Гравины звучит горькая ирония. Она понятна. Из заявлений уругвайских писателей в прессе мы знаем, что для того, чтобы книгу опубликовали в Уругвае, чтобы по сценарию поставили фильм, из них надо выхолостить всякое социально-политическое содержание. В списки запрещенных книг правительство страны включило многие произведения испанской и латиноамериканских литератур, давно ставшие классическими. Далекая от симпатии к прогрессивным политическим движениям в Латинской Америке боливийская газета «Пресенсия литерариа» писала по этому поводу: «Теперь не дозволены ни Антонио Мачадо, ни Рафаэль Альберти, ни Мигель Анхель Астуриас, не говоря уже об уругвайцах — Орасио Кироге, Франсиско Эспиноле, Хуане Хосе Моросоле, произведения которых являются гордостью латиноамериканской прозы. Все это напоминает худшие времена средневековья...»

Гравина достает из папки рукопись.

— Стихов я почти не пишу. Первая и единственная книжка «Час пения» вышла тридцать лет тому назад, а сейчас снова потянуло. И он читает свои стихи:

Изгнанье...
Черный дым клубится мрачно,
алые рубины сердца
разбиваются, дробятся
и, смешавшись с росою,
переплавляются в прощанья —
словно крылья оторвали
у растерзанного тела.

Нет. Я против!
Не сожгу мосты возврата,
лучше руки — чтобы сдержали
взмах прощальный платка,
красного, как сгусток крови.
Самому святому в жизни,
гордому души полету
я «прощай!» не прокричу.
Родина моя, в оковах,
ждет меня — я возвращусь![1]

[1] Стихи даны в переводе автора этих заметок.

Н. БУЛГАКОВА

1878 – 1978

Рисунок БОРИСА АНГЕЛУШЕВА (Болгария)

Антирубрика

У нас в гостях авторы юмористического болгарского еженедельника «СТЫРШЕЛ»

РАДОЙ РАЛИН

ЭПИГРАММЫ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Коль палачу по вкусу Бетховен —
Разве Бетховен в этом виновен?

КВАЛИФИКАЦИЯ

Удача, что назначен он
культурным атташе в Габон,
иначе не узнал бы он,
что в мире есть страна — Габон.

ЭНЕРГИЧНЫЙ КРИТИК

Беспощаден ты к поэтам:
то шаблон, то штамп громишь.
Но сечешь ты сук при этом,
на котором сам сидишь!

КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН

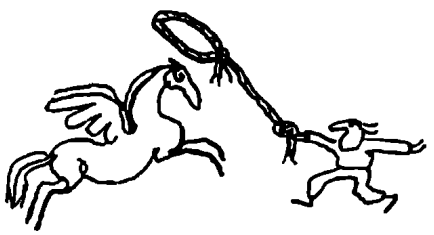
Я книгу открыл, и на первой странице
уже мне понятно, что дальше случится.
Я вспомнить пытаюсь, к концу подбираясь,
о чем эта книга... Напрасно стараюсь!

ЭЛЕГИЯ

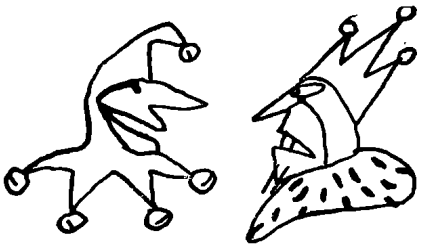
Молодость моя ужель промчится
в эпиграммах, острых, как горчица?
Для меня б куда полезней было,
коль на оды шли б мои чернила!

НАЧАЛО И КОНЕЦ

Ежедневно пусть напоминает
нам поток стихов его, друзья:
человек легко лишь начинает,
но остановить его — нельзя!



Здесь и далее рисунки болгарского художника БОРИСА ДИМОВСКОГО.



АФОРИЗМЫ

Страшно не когда история повторяется, а когда она топчется на одном месте.

Сатира — это усмехающееся лицо философии.

Не добродетели, а пороки уравнивают людей.

О живом классике — или хорошо, или ничего.

Прежде чем радоваться падению тирана, проверь, кто его сверг.

Со старыми друзьями по новым дорогам,
а не с новыми друзьями по старым дорогам.

Положительные люди — это вовсе не люди с положением.

Влезть в чужую шкуру, чтобы сохранить свою.

Смертных писателей эксплуатируют только современники.
Бессмертных же — поколения.

Тебя ни о чем не спрашивают,
но тем не менее ты должен отвечать за все.

Что толку хвалиться, что ты бедный, но честный?
Разбогатей — вот тогда и увидим.

После того как ты изменил себе сам,
как ты можешь хотеть, чтобы тебе остались верными твои друзья?

Оптимисты, не демобилизуйтесь!

Не трудно показать, что правда голая. Разденьте ложь!

Только вера бесплатна. Бесплатных предательств же не бывает.

Жестокое счастье

По убегающим ступеням лет
шагает человек
и постигает вновь и вновь,
что счастья беспощадней нет
и нет критерия суровей,
чем любовь.

Пылает человек.
Страдает человек.
Он за собой мосты сжигает,
связи рубит,
себя он модами,
условностями губит,
но в жизни не поверю никому я,
чтоб женщину —
пусть старую, пусть молодую —
любить заставили, когда она не любит.

Ты можешь создавать ракеты,
она ж предпочитает
(а почему — сам бог не знает!)...
она предпочитает
того, кто продает букеты!

Ты можешь быть самим Шекспиром.
Но Джульетта
безумно влюблена в Ромео — не в поэта.
И что ж,
Шекспир не смеет изменить сюжета!

Вопрос: из-за Шекспира ли Джульетта
известной стала миру
или она
великим сделала Шекспира?

И право,
зачем тебе чины и слава,
когда Она — желанная твоя,
досады не тая,
не хочет знать тебя
хотя бы для забавы?

Пусть у тебя свое авто.
Пусть даже сто.
Ты для нее —
никто.

Другой ей говорит «любимая».
Она лишь в снах твоих мелькает серых,
неумолимая —
как чувство меры.

Баллада об искусстве

Бросили скульптора в тюрьму,
лишив его друзей, искусства, солнца —
всех радостей земных.
Хотели погасить и мысль его, и чувство.

И он сидел в томительном безделье.
Но вот однажды
его идея озарила:
и пайки хлеба, что давалась на день,
сумела его пальцы накормить
и превратилась за какой-то час
в его лицо. Оно живым казалось.
И ахнули товарищи по камере,
и каждый отдал скульптору свой хлеб.

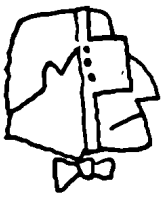
Прошли часы, и был закончен барельеф.
С него глядели лица всех вокруг,
приникшие к решетке,
словно гроздь,
созревшая, чтоб стать вином свободы.
И скульптор улыбнулся и сказал:
— Да разве можно победить искусство!

Но не успели сумерки проникнуть
в окошко, не успела гроздь
во тьме растаять, очертанья потеряв,
как кто-то руку к барельефу протянул
и вырвал образ свой из барельефа.
И потянулись тут же остальные руки
за хлебом. Люди с воодушевленьем,
давясь, жевали части барельефа.
И скульптор начал есть свое лицо.
Ах, как хотел он есть! Но проглотить
не мог куска, что встал поперек горла.

Человек и ветки

Видите ли, дурак рубит ветку, на которой сидит!.. Ничего подобного, он не рубит ветку, на которой сидит. Он никогда не рубит ветку, на которой сидит!.. Он рубит ветку, на которой сидел, а это уже нечто другое... Он рубит только ветки, на которых сидел. Но чем ему мешают ветки, на которых он сидел? Да нет, ветки ему не мешают, он уже над ними, но если их не обрубить, то разве не может по ним подняться и кто-нибудь другой? Может, даже еще выше? А он не хочет, чтобы другой поднимался выше, да и вообще чтобы поднимался. Пусть лучше все будет так, как есть, и чтобы не надо было беспокоиться из-за чужого аппетита.

Но если он отрубит ветки, на которых сидел, как же он будет слезать? А вдруг он тогда упадет? Ах, стоит ли об этом думать раньше времени?..



ЭЗОПОВСКИЕ ВАРИАЦИИ

Почему деревья умирают стоя

Как-то раз нечего было деревьям делать, и решили они выбрать царя. Решили и пошли к дубу, стали коленопреклоненно просить его стать царем.

— Не может быть и речи! — резко оборвал их дуб.— Выходит, я должен бросить заниматься устойчивостью против бурь и приняться за царствование? Это занятие для слабохарактерных.

Обратились к маслине.

— Чего вы хотите? — отрезала она.— Чтобы я потеряла свою маслянистость, которая так необходима богам для миропомазания, поэтам — для елейных стихов, торговцам — для перевыполнения плана, покупателям — для борьбы с артериосклерозом? Чтобы я вместо этого вдруг уселась царствовать? Ищите какое-нибудь другое, суетное дерево!

Пришли к пальме.

— Зачем мне власть? Разве есть власть большая, чем красота? Моя грация давно уже заслужила пальму первенства. Обратитесь к какому-нибудь другому, более тщеславному дереву.

Спросили смоковницу.

— Что? Царствовать? Разве мало вам моей сладости? Зачем мне становиться царицей? Чтобы меня возненавидели все — от мала до велика? У меня нет слабости к деспотизму.

Так ходили и ходили деревья и наконец пришли к кизилу. Стали просить его.

— Только этого мне не хватало! — вспылил кизил.— Я не могу стать царем. У меня нет качеств, которые царю необходимы. Но даже если вы меня выберете, будет ли у меня власть? Я должен буду отчитываться перед вами. А завтра вам придет в голову выбрать другого царя... Что же это за царствование, если у тебя нет силы и никто не трепещет перед тобой? Вот у животных — другое дело. Там лев... Хе-хе!.. Говорите, царь избирается, глупцы? А не становится по наследству? И зачем только вы затеяли эту мышиную возню?

Деревья подумали и решили, что он прав — ни к чему им выбирать царя. Поэтому у животных есть царь, а у деревьев нет. И поэтому деревья не преследуют друг друга, не занимаются самоуничтожением, а мирно сосуществуют. И главное — умирают стоя!

Или их рубят — исходя из нужд народного хозяйства.

Продавец статуй

Фригийская искусствовырабатывающая артель, учитывая нужды населения, запустила в массовое производство деревянные и каменные статуи богов. Один из артельских ваятелей выставил на базаре для обозрения и продажи свое самое последнее произведение — статую бога Гермеса.

Шумно рекламировал он свой товар. Чем меньше становилось покупателей, тем громче он кричал:

— Купите бога Гермеса, бога торговцев и доносчиков! Он принесет вам доход и удачу... Запаситесь идолом бога Гермеса, чтобы преуспеть в жизни. Купите прекрасную статую!

Один из прохожих, которому надоела эта нахальная реклама, прервал продавца:

— Если это уж такая ценная статуя, зачем ты ее продаешь? Купи ее сам!

— Мне неудобно использовать свое служебное положение. Потом сами будете меня обвинять! — скромно ответил продавец и снова стал шумно рекламировать свой товар.

ГЕНЧО УЗУНОВ

Снилось мне, что я Блайберг

Уверяю вас, что в этот день я ничего не пил, а тем более вечером. Наоборот, я рано вернулся домой, замочил белье, приготовил куриный суп из пакета, поужинал, потом постирал, пришил простыню к одеялу и лег спать. Даже не смотрел телевизор, а немного почитал. Пролистал газеты, прочитал массу информации о международных событиях, о выполнении планов и обязательств, о торжествах и открытиях пусковых объектов, пока, наконец, не заснул над статьей о рентабельности. Вы не подумайте, я кое-что смыслю в хозяйственных проблемах и даже, если хотите знать, работаю именно на этом фронте, но статья была уж совсем неудобоваримая. Вот я и уснул. А когда уснул, мне приснилось, что я директор — моя давняя мечта.

Сижу я за роскошным письменным столом, на полу ковры, над головой лепной потолок, вокруг цветы, телефоны, корреспонденция, а через окно моего кабинета видно большо-о-ое предприятие. Трубы его дымят. Мое предприятие. Я курю сигарету за сигаретой, а голова моя трещит от проблем! Трубы дымят и придают родному небу индустриальный вид, а работа не движется, и начальство на меня давит. В чем же дело?

В чем секрет, спрашиваю я себя, почему какие-то вещи ускользают у меня из рук и в чем скрыта тайна успеха, хотел бы я знать?

И в это время в дверь стучат.

— Да.

Входит молодой, стройный, красивый мужчина. Знакомое лицо. Но откуда он — не помню. Не из города, не из округа, не из министерства. Кто этот бесцеремонный субъект? Почему он пришел именно сегодня, когда я пытаюсь разгадать загадку выполнения плана?

— У вас порок.

— Какой порок?

— Сердца. Я вам его поменяю.

— Как это поменяете?! У меня прекрасное сердце, любвеобильное, преданное, горячее, и всеми своими фибрами, даже теми, которые находятся на самом его дне, оно пульсирует в такт проблемам, задачам, мероприятиям.

— Да, но у него порок.

И не успел я оглянуться, как три его телохранителя набросились на меня, сорвали одежду и простыней привязали меня к столу. А он надел белый халат, и тут уже я его узнал. Профессор Барнард.

Но они забыли заткнуть мне рот, и я начал кричать. Потому что по опыту знаю, что, когда начинаешь кричать, все улаживается.

Но на этот раз не уладилось.

Мне сделали укол, и я заснул еще раз. Но не совсем. Глаза мои затуманились, уши оглохли, обоняние притупилось, но благодаря усилию воли я все-таки оставался в сознании. В такой степени, которая необходима директору, чтобы все видеть и чувствовать, пусть даже не реагируя.

Тогда он сказал:

— Начинаем.

Я сказал:

— Нет.

Но он меня не услышал, а хлопнул в ладоши, и в комнату вошли Софи Лорен и Джина Лолобриджида в форме медицинских сестер.

— Дайте нож! — крикнул Барнард.

— Его точат,— сказала Софи Лорен.

— А почему до сих пор не наточили?

— Потому что точильный камень был поврежден и его надо было отремонтировать.

— А почему его не отремонтировали вовремя?

— Потому что сломался четырехмиллиметровый болт, а в Софии таких болтов нет, пришлось его искать аж в Горней Оряховице, а когда нашли, он оказался ржа-

вым, потому что лежал под открытым небом, полдня его держали в уксусе, а вторую половину дня терли наждаком,— откликнулась Джина Лолобриджида.

Пока профессор, дав волю возмущению, говорил, что это ни на что не похоже, они принесли нож. Погрузив его в кипяченую воду, профессор продезинфицировал свои руки сливовой ракией. Потом сказал:

— Дайте вату!

— Ее вот-вот должны привезти,— успокоила его Софи Лорен.— За ней поехал грузовик в Хасково, потому что у нас вата кончилась.

— Боже мой! — воскликнул доктор. Религиозный тип.— Тогда приготовьте хотя бы пинцеты, марлю, риванол и лейкопластырь! Привезите кислородную машину, дайте иглу и нитку!

Джина Лолобриджида поклонилась:

— Пинцет готов, профессор, но у него только один конец. Он сломался в прошлом году, когда рвали зуб у одного журналиста. Мы сразу же подали заявку на новый пинцет, но пока не получили. Марли и риванола у нас много, по полторы тонны, а лейкопластырь мы заказали, но нам прислали вместо него изоляционную ленту, в целях экономии. Кислородная машина ремонтируется на базе обслуживания, но база загружена работой, однако нам одолжили кислородную бомбу на пивной фабрике. Шланг мы взяли в ресторане «Видинская встреча» и продезинфицировали его, но он все равно пахнет «гамзой». Игла есть, вот она. Вот нитки, но черные. Белых нигде на базаре нет.

Я увидел, как профессор начал рвать на себе волосы, и даже услышал, как он закричал:

— Но как же я могу работать!.. Провал, провал, провал!.. Господи, какой провал!..— Он сорвал с себя халат и выскочил за дверь.

Он-то уж ученый человек, а тоже ничего не может сделать! Да зто и к лучшему. Не знаю, как бы я жил с другим сердцем. Я привык к своему, к своему, к своему...

Тут я услышал голос жены:

— Что это ты раскричался?

— Занимайся лучше своим делом!

ХРИСТО МИХОВ-ЧЕРЕМУХИН

Аттракцион

Курорт «Волшебный берег» пришел в запустение.

И здесь море было синее, песок золотистый, воздух свежий, солнечно; курортников становилось все меньше и меньше. Даже солнечные ультрафиолетовые лучи на «Волшебном берегу» были точь-в-точь такие же, как на других курортах, но иностранные гости проезжали мимо его отелей и кемпингов. Они не толпились, как раньше, перед ослом и верблюдом, чтобы сфотографироваться рядом с ними. Будто какая-то злая колдунья заколдовала курорт, и теперь в дансингах гремели оркестры, но нигде не было видно ни одной танцующей пары.

Директор курорта Любен Герчев не был суеверен и не верил в заклинания. Он держал перед собой результаты социологического исследования причин отлива курортников, а на столе у него лежала гора предписаний об их привлечении. Но все это были долгие способы, а ему требовалось что-то быстрое и эффективное.

Любен Герчев собрал своих помощников и сказал им:

— Нужно придумать что-то такое, что, как магнит, будет притягивать гостей. Разумеется, иностранцев. Что-то должно блеснуть, сверкнуть, громыхнуть, но что же это такое?

— Нужно пригласить сюда индуса,— предложил первый заместитель.

— Глупости,— ответил Любеи Герчев.

— Нет, не глупости,— настаивал заместитель.— Ты дай мне валюту, а потом приходи посмотреть... Как выскочит этот индус на центральную аллею, как заиграет на свирели, как выползут отовсюду змеи, как начнут танцевать шейк... Ты только дай мне валюту...

— У нас уже есть опыт с верблюдом,— ответил Любен Герчев.— Сначала народ и народ, а теперь даже дети не хотят фотографироваться.

— Именно,— откликнулся второй заместитель.—И потом... индус — это иностранный аттракцион. А у нас должен быть наш, болгарский.

Всю ночь скрипели мозги, вспыхивали идеи, сталкивались предложения, а на рассвете участники импровизированного совещания, счастливые, покинули зал.

Аттракцион был придуман.

С аэродрома гости должны были ехать на разрисованных повозках, в которые предполагалось запрячь вороных коней. Путь шел через поле, и по пути на караван должны были напасть похитители-женихи и похитить на какое-то время самую красивую иностранку в группе. Как это происходило когда-то. И романтика, и острые ощущения.

Узнав о будущем аттракционе, руководство соседнего хозяйства решительно отказалось отдавать свою землю под дорогу. Существовал закон. Из-за всех этих дорог, трасс, линий электропередач и газопроводов от их полей и так уже ничего не осталось. И чтобы показать, насколько твердо его решение, руководство хозяйства выставило посты — семь человек вооруженной полевой охраны.

АНТИРУБРИКА

Любен Герчев задумался. Эти небритые сторожа могли испугать курортников. И он поспешил от них избавиться, предложив хозяйству выгодный договор на производство пляжных сувениров. Вооруженные посты были сняты.

Дальше по сценарию шли разрисованные повозки, которые должны были петь, как в рассказах Йордана Йовкова. А где в этот автомобильный век взять разрисованные повозки? Причем ослиные повозки еще можно было найти, но где взять конские?

Любен Герчев объявил, что согласен поменять двенадцать повозок. Правда, было непонятно, что делать с мусором, но ничего! Аттракцион обещал слишком многое.

В лесу, через который шла дорога, должно было находиться увеселительное заведение «Разбойничья хижина». Здесь похитители должны были украсть иностранку и здесь же контрпохитители должны были ее освободить. А после всякого освобождения начинается веселье...

Заведение было построено наспех из сосновых досок и покрыто сеном. Инвентарь насобирали по другим заведениям. Раз хижина разбойничья, все должно быть по-настоящему.

Больше всего затрудняли осуществление сценария лошади. Во всем районе были только две престарелые клячи, и хозяйство в Янино держало их лишь для того, чтобы не закрыли ветеринарную лечебницу.

Второй заместитель Любена Герчева предложил, чтобы повозки приводились в движение электрокарами. Конечно, в форме коней, как на ярмарках.

— Бутафория. Дешевая бутафория,— нахмурился Любен Герчев.

— Гораздо проще было бы пригласить индуса,— воспользовался случаем первый заместитель.

— Глупости. Абсолютные глупости,— не соглашался директор курорта Любен Герчев.— Но неужели только из-за лошадей мы откажемся от такой великолепной идеи?..

Кто-то сказал, что лошадиный вопрос может быть решен только Алмазом. В цыганском оркестре играл кларнетист, который в молодости был перекупщиком скота.

— Откуда лошади? — сказал он Любену Герчеву.— Колбасы и то нет, а ты хочешь лошадей... Теперь лошадей нет. Есть пегасы. Но писатели их не отдадут.

— Я говорю с тобой серьезно,— сказал ему директор.— Если найдешь лошадей, я пошлю тебя на целый месяц в Венгрию на экскурсию.

Алмаз подумал-подумал и согласился.

Прошло десять дней, и однажды утром он пригнал лошадей. Пригнал двадцать вороных коней. Любен Герчев очень обрадовался, обнял его и вручил ему паспорт для поездки в Венгрию.

Тут обнаружилось, что нет конюшни. На первое время решили поместить лошадей на пляже нудистов. Место было огорожено, а лошади, как известно, тоже одежды не носят.

День был жаркий, и то ли от жары, то ли напившись соленой воды лошади внезапно взбесились. Они повалили брезентовую ограду пляжа и галопом понеслись по берегу. Курортники в испуге бросались в воду, ища там спасение. Мужчины кричали, женщины плакали, а лошади вернулись назад и начали прыгать через пляжные зонты, как через искусственные препятствия. Напрыгавшись вволю, они отправились пастись в ближайшие сады.

В это время Любен Герчев с балкона отеля «Русалочий родник» начал звать на помощь. Появились двое смелых мужчин, которые стали замаивать и ловить лошадей. Директор ушел с балкона и отправился успокаивать курортников. Никто не пострадал. И через людей лошади перепрыгивали, как через зонтики. Любен Герчев не знал, чем объяснить эту акробатику, и в это время доложили, что укротители лошадей увели их с собой.

С помощью «волги» конокрады были настигнуты на шоссе, откуда открывался красивейший вид, и там начался бесконечный спор:

— Лошади-то наши.

— Не ваши, а наши. Мы со Жребинского конного завода. Вчера вечером мы их выпустили, а они аж вон докуда дошли...

— Мы за них деньги платили.

— А мы их не продавали...

Ни одна из спорящих сторон не могла допустить, что Алмаз лошадей просто украл.

Первого эта мысль осенила Любена Герчева.

— Допустим,— сказал он,— эти лошади ваши, но вы их ночью потеряли и никак не можете найти. Продолжайте их искать. Нам они нужны только до конца сезона. Давайте сядем за столик и все обсудим. Вы умные ребята...

Жокеи согласились и отогнали лошадей в лес, к «Разбойничьей хижине».

— Странно, зачем вам наши лошади? — сказали жокеи, садясь за столик.— Это же верховые лошади. Они будут выступать на международных состязаниях...

— Послушайте, что я вам скажу,— начал директор, поставив перед жокеями бутылку «Белой лошади».— Вряд ли вы хорошо выступите на состязаниях, а если вы оставите лошадей у нас, то у вас хотя бы будут серьезные оправдания. Украли ваших лошадей. Эх, мне бы такое оправдание...

Они разговаривали и пили виски, пили виски и разговаривали, и в конце концов предложение Любена Герчева было принято. Жокеи отправились искать своих лошадей до конца курортного сезона.

Следующим препятствием на пути к большой цели была упряжь. Спасение пришло из этнографического музея. Трое из управляющих отелями и дирижер цыганского оркестра были вынуждены временно вернуться к своей прежней профессии и подремонтировать музейную амуницию.

Лошади, действительно, были верховые и не давали надевать на себя хомуты. Одна из них, наполовину запряженная, вырвалась и перепрыгнула через бунгало. Другая сделала несколько прыжков через продавщиц мороженого.

— Ну и аттракцион! — восхищался Любен Герчев.— И куда только все курортники подевались?

Целую неделю лошадей не кормили, и они покорились. Возникла еще масса вопросов, связанных с извозчиками, сеновалами, оружием для похищения иностранки, но все они терпеливо, один за другим, были разрешены. Дорога была торжественно утрамбована катком, и караван из разрисованных повозок и унылых вороных коней отправился к аэродрому.

Первая счастливая группа была скандинавская.

Гости, жители больших городов, никогда не видевшие повозок, были в восторге. Сено, дополнительно ароматизированное, опьяняло своим запахом. На одной повозке заиграла гайда, на другой послышались крики, как на свадьбе, и караван двинулся к «Волшебному берегу». Когда он въехал в лес, как и было предусмотрено по сценарию, внезапно выскочили похитители. Загремели выстрелы, и самая прелестная скандинавка была похищена.

Гости перепугались. Все на Западе были напуганы нападениями.

— Шоу, фольклор, аттракцион,— кричал через громкоговоритель Любен Герчев, успокаивая иностранцев. Все-таки гости.

Они же, поняв, в чем дело, и снова повеселев, уже въезжали в «Разбойничью хижину».

Там снова раздались выстрелы и взрывы, и, согласно сценарию, похищенная была торжественно освобождена.

Скандинавка, некая фрекен Ленализа, была испугана сильнее других. Похоже, что ее чересчур сильно придушили одеялом, когда временно похищали. Мы, болгары, народ грубоватый.

— Шоу, фольклор, аттракцион,— зашептал ей в ухо Любен Герчев, но скандинавка не хотела его слушать. Она отказалась от еды, закрылась в своей комнате и чуть свет первым самолетом улетела на родину. В Софии она зашла в свое посольство и заявила официальный протест. К несчастью, там оказался и скандинавский журналист, который описал все, что случилось, совершенно не принимая во внимание, что Любен Герчев шептал похищенной, что это всего лишь аттракцион. А по их телевидению показали фрекен Ленализу вместе с домашним психиатром, который лечит ее от испуга.

Разразился невероятный скандал. На курорт «Волшебный берег» была направлена специальная комиссия. Увидев вытоптанные клумбы и особенно конский навоз на них, члены комиссии попросили чего-нибудь выпить, чтобы легче перенести увиденное. После этого комиссия занялась главным. Начали проверять, что сделано для привлечения курортников, и наткнулись на загрязненные санитарные узлы, на неработающие холодильники, на серые простыни и еще на тысячи других мелочей, которые отталкивают отдыхающих. Но комиссии это показалось обычным, будничным и даже прозаичным. Поэтому она предложила снять директора курорта Любена Герчева за бытовое разложение.

Переводы Л. НИКОЛЬСКОЙ

СТАНИСЛАВ СТРАТИЕВ

Пейзаж с собакой

Один прекрасный вечер к нам явился наш благодетель Петров, сунул руку во внутренний карман пиджака и вытащил оттуда собаку.

Собака была величиной с теннисный мячик и такая же белая. Когда Петров поставил ее на стол, она застенчиво опустила глаза и больше уж не отрывала взгляда от скатерти. Можно было подумать, что ей предстоит помолвка.

А Петров сказал:

— Вот она. Исключительная собака.

Мы внимательно смотрели на нее.

— Хорошая собачка,— сказал я неуверенно.— И что ты собираешься с ней делать?

— Как что? — удивился Петров.—Она твоя. Это — подарок.

Я не помнил, чтоб мы с Петровым говорили о собаке. О собаке я вообще ни с кем не говорил; лет шесть уже я говорю со своими знакомыми только о квартире, потому что квартирные дела мои из рук вон плохи. С женой и тремя детьми мы ютились в однокомнатной квартирке. Поэтому теперь я таращился на белый комочек на столе в совершенной растерянности. Перспектива жить в тесной квартире с собакой, пусть даже портативной, меня не соблазняла. Правда, собачка казалась воспитанной и кроткой, но, как известно, эволюция преподносила достаточно сюрпризов.

— Что? — прервал мои размышления Петров.— Неужели не нравится?

— Жилплощадь маловата, — объяснил я.— Сам видишь — одна комната, кухня,

трое детей... еще жена... А собачка хорошая. Беленькая.

— Не валяй дурака,— сказал Петров.— Ты видел, как я ее принес? Она занимает в кармане не больше места, чем ручка.

— Пока — да,— согласился я.— Но она вырастет... И вообще, при чем здесь собака? Мы ведь говорили о квартире...

— Ты знаешь, что такое отчуждение? — сказал Петров.— Отчуждение убивает людей наповал не хуже, чем инфаркт. Разве что постепенно.

— Оно конечно,— согласился я.— Но при такой площади...

— Площадь не имеет ни малейшего значения,— сказал Петров.— Я, при моих пяти комнатах, так страдаю от одиночества, пустое пространство так меня гнетет, что я готов волком выть. Человеку необходимо живое существо, о котором он мог бы заботиться. И которое было бы к нему привязано.

— Но все-таки...— сказал я.

— Собака необходима твоему духу,— сказал Петров тоном, не допускающим возражения.—В наше автоматизированное время человек должен иметь возможность выявлять свою человеческую сущность, быть ближе к природе, ко всему живому. В противном случае отчуждение его погубит.

Я понимал, что приперт к стене.

— А кроме того,— прибавил Петров,— эти собаки вырастают лишь до длины ботинка. Порода такая.

— До какого размера? — заинтересовался мой младший сын.

— До сорок третьего,— сказал Петров.— Не больше.

— И в высоту? — снова спросил младший.

— В высоту — с лыжный ботинок,— ответил Петров.— Без лыжи.

И Петров рассказал нам об уникальном случае, когда собака такой породы выросла однажды до размеров сапога.

— Но за триста пятьдесят лет это единственный случай. В Германии произошел. Сейчас ее восковая фигура хранится в Британском музее.

— А с квартирой что слышно? — спросил я.— Есть надежда? Ведь если снимать частную...

— Я привез тебе собаку из самой Швейцарии,— сказал Петров,— а ты мне про квартиру талдычишь. Квартира — дело наживное. Ты старайся лучше вырваться из когтей отчуждения.

Он бросил прощальный взгляд на собаку, застенчиво стоявшую на скатерти, и ушел.

Собаку мы назвали Мокасин.

Это имя показалось нам подходящим для щенка, которому предстоит достигнуть размеров ботинка.

Через десять дней наша собачка была уже величиной с ботинок сорок пятого размера. Мы специально водили ее в магазин «Гигант», чтобы померить.

Я тут же стал звонить Петрову, но оказалось, что он в составе какой-то делегации уехал за границу.

Через три недели Мокасин был уже величиной с теленка, а когда еще через месяц я вернулся из командировки, в прихожей меня встретила белая лошадь, отчасти напоминавшая собаку.

Я вежливо поздоровался с ней, спросил даже: «Как здоровье?» — и в полной растерянности пробрался в кухню к жене.

— Что это там в передней? — шепотом спросил я.— Или снова приходил Петров?

— Петров еще за границей,— сказала жена.— А это Мокасин.

— Как?! — Я был потрясен.— Ведь та, которая с сапог...

— Та, которая с сапог, в Британском музее, а эта уже величиной с верблюда и съедает по полкоровы в день. Я боюсь, что она съест детей.

— Скажешь тоже. Собака — лучший друг человека.

— Посмотрим,— покачала головой жена.— Сильно сомневаюсь.

Положение было сложное.

Из-за своих габаритов собака могла спать только в нашей единственной комнате, дети спали на кухне, а я — на балконе. Все мои накопления растаяли за три недели — у Мокасина был прекрасный аппетит, и я опасался, как бы он не принялся за детей.

Когда он выходил на улицу погулять, люди в ужасе падали в обморок, прежде чем он успевал игриво лизнуть их в нос. Мокасин вырос физически, но в умственном отношении оставался ребенком. Он крал у соседей обувь и приносил ее нам — это была его любимая игра. При этом он засовывал ее в самые неожиданные места, и когда я клялся, что чужой обуви у нас нет, при тщательном обыске ее находили в платяном шкафу, или в холодильнике, или в хлебнице. В результате я стал любимцем товарищеского суда, который занимался мной не один вечер и после долгого прозябания наконец-то зажил полной жизнью.

Вся улица была против меня — стоило какому-нибудь мальчишке заиграться и не прийти домой вовремя, как ко мне врывалась плачущая мать, за ней шел, сжав зубы, папа с охотничьим ружьем в руках, и Мокасину предъявлялись самые страшные обвинения.

Напрасно объяснял я, что он еще ребенок, что он играет, что он только с виду большой и что намерения у него самые невинные, ибо собака — лучший друг человека.

Ночью я ползал по дворам и тайком возвращал украденную Мокасином обувь — днем я ее прятал, чтоб она не попалась на глаза комиссии общественников.

Жена не выдержала первой и заявила, что я должен выбрать — или она и дети, или собака.

— Ты знаешь,— спокойно объяснил я,— что от этой собаки зависит наша квартира. Петров обещал, что не пройдет и года, как он выхлопочет нам квартиру.

— Это меня не касается,— упрямо ответила жена.

— Ну продам я собаку, ее шкура пойдет на барабан или на обувь, а дальше что? — сказал я.— Так и будем всю жизнь жить в одной комнате? Дети ведь растут...

Она заплакала.

— Мы не можем выбросить подарок Петрова,— сказал я.— А слезы нам не нужны. Нам нужна выносливость.

Мы вынесли еще один месяц.

После этого, чтобы как-то выйти из положения, я написал директору Британского музея письмо, в котором сообщал, что являюсь собственником собаки такой-то породы и такого-то размера и что во имя науки и культурного сотрудничества наших стран я готов подарить ее музею. Совершенно безвозмездно; единственное, чего я прошу,— это чтоб на восковой фигуре была табличка: «Подарено Петровым».

Я надеялся, что Петров будет польщен тем, что его собака выставлена в Британском музее.

Вскоре я получил ответ.

«Дорогой сэр,— значилось в письме.— Имею честь уведомить Вас, что мы бесконечно признательны Вам за Ваше щедрое предложение. В то же время мы вынуждены сообщить Вам, что музей не располагает возможностью принять Вашу знаменитую собаку. Можно сказать, и это будет абсолютной правдой, что мы перенасыщены собаками. Одной больше, одной меньше — это ничего не изменит. Примите нашу искреннюю благодарность и уверения в нашем совершенном почтении».

Письмо порадовало меня только тем, что меня назвали «сэром».

Тем временем я заплатил налоговому управлению двойной налог за «собаку-лошадь», сделал Мокасину обязательные прививки против двадцати болезней, что стоило мне полугодовой зарплаты, и поссорился с Академией наук, которая хотела исследовать психофизические особенности головного мозга моей собаки путем термической обработки.

Тогда я решил ее убить.

Целыми ночами мы с женой разрабатывали план — где, как и каким орудием мы совершим злодеяние, так что дети даже начали называть нас «леди Макбет».

И как раз когда все было готово, топор был уже занесен над головой Мокасина и кровь бешено мчалась по моим жилам, в дверь позвонили и принесли телеграмму.

Телеграмма была из Лондона. Петров спрашивал о собаке. И сообщал, что купил ей очень оригинальный ошейник.

Топор выпал у меня из рук.

Мы продолжали жить по-прежнему, притом я еще оплачивал телеграммы в Лозанну и Милан, сообщая Петрову о состоянии собаки.

А состояние у нее было отличное. Она ела с аппетитом, весело играла и после обеда отдыхала по два часа.

Но вот пожелтели листья, наступила осень, потом иней побил в парках осенние цветы, по серому небу потянулись рваные облака и привели с собой зиму.

Спать на балконе становилось все труднее, начались снегопады, и по утрам меня откапывали лопатой.

А Петров все еще был за границей.

Тогда я дал в газету объявление, что меняю собаку на трехкомнатную квартиру.

Жена посмотрела на меня с состраданием, сказала, что желающие, конечно, тут же объявятся, а потом позвала детей и заперлась с ними в кухне.

Всю ночь они проплакали.

На другое утро явилась энергичная молодая женщина и пожелала видеть собаку. Она пришла по объявлению.

Я показал ей Мокасина.

Она сказала, что цвет у него идеальный, и попросила родословную.

Я объяснил ей, что собака швейцарская и что родословная в данный момент отослана в Цюрих на заверку.

Тогда она взяла Мокасина и без родословной.

Мы переехали в трехкомнатную квартиру, притом оказалось, что при ней есть еще чердачное помещение — пятьдесят квадратных метров с ванной.

Мы зажили в новой квартире и вдруг почувствовали, как отчужденно выпускает свои когти.

Надо будет написать Петрову, который все еще не вернулся из-за границы, чтоб он привез нам собаку. В наше автоматизированное время человек должен иметь возможности выявлять свою человеческую сущность.

Перевод НИКИ ГЛЕН

◆

К нашим иллюстрациям

ЗА СВОБОДУ БОЛГАРИИ

100-летие со дня освобождения Болгарии от османского ига — событие всемирно-исторического значения. Освобождение стало возможным благодаря борьбе, которую на протяжении пяти веков господства завоевателей вел героический свободолюбивый болгарский народ. Освобождение стало фактом в результате русско-турецкой войны 1877—1878 гг.— войны подлинно народной, не знавшей себе аналога в мировой истории. Она была ответом России на призыв болгарских братьев, ожидавших помощи и молившихся о ней. Великий болгарский поэт Иван Вазов восклицал:

Повсюду там, где вздох суровый,
Где неутешно плачут вдовы,
Где цепи тяжкие влекут,
Ручьи кровавые текут,
И узник-мученик томится,
И обесчещены девицы,
И рубища сирот сквозят,
И старики в крови лежат...
По всей Болгарии сейчас
Одно лишь слово есть у нас,
И стон один, и клич: Россия! [1]

Отношение русской демократической общественности к событиям в Болгарии емко выразил И. С. Тургенев. «Болгарские безобразия,— писал он,— оскорбили во мне гуманные чувства: они только и живут во мне — и коли этому нельзя помочь иначе, как войною,— ну, так война!»

И она началась, несмотря на противодействие западных держав, несмотря на колебания русского двора. Хотя Россия оставалась один на один не только со все еще сильной Османской империей, но и с объединившейся против нее Европой, благородные чувства интернациональной солидарности, любви и братства опрокинули, наконец, преграды, и лавина народного гнева обрушилась на поработителей.

В. М. Гаршин отмечал, что русские воины, пришедшие в Болгарию с освободительной миссией, были готовы идти в бой «не по призыву царя», а по зову серд-

[1] Перевод Николая Тихонова.

ца. И они шли и побеждали, поражая противника беззаветным мужеством, стойкостью, самоотверженностью, проявляя чудеса храбрости и неудержимую волю к победе. Так борются только за свою свободу и за свободу своего друга, брата!

Форсирование Дуная, бои на Шипке, освобождение Плевена и стремительное продвижение к Константинополю— таковы главные этапы кампании, на века оставшейся символом чистой дружбы народов России и Болгарии.

О том, что во всех уголках России непрестанно как в дни подготовки к войне, так и в ходе ее ширилось и крепло движение за освобождение болгар, свидетельствуют многочисленные документы: «воинская повинность по призыву ополченцев выполнялась с усердием и без замедления»; крестьяне повсеместно изъявляли желание добровольно вступить в санитарные отряды, ухаживать за ранеными, целыми волостями отказывались от платы за подводы для воинских нужд «на все время войны»; служащие, мастеровые, рабочие отчисляли ежемесячно от одного до пяти процентов из своего жалованья «впредь до окончания военных действий» в пользу воинов.

Вся Болгария была полем боя, и практически весь народ участвовал в национально-освободительной борьбе. Геронически сражалось за свободу Родины Болгарское ополчение. Сформированное еще летом 1877 г. из числа болгарских эмигрантов-добровольцев, оно вскоре превратилось в значительную по размерам и активно действующую единицу в составе русской армии. Гражданами г. Самары ополчению было вручено знамя. Болгарский воевода Цеко Петков, который в течение 32 лет вел борьбу за свободу своего народа, получая его, сказал: «Пусть наши матери, жены и дети вытрут этим знаменем слезы скорби; пусть все нечистое, поганое, злое пятится в страхе перед ним, а там, где мы его пронесем, пусть настанет прочный мир и благоденствие!»

В освобожденных районах и в тылу врага эффективно действовали четы — небольшие, а иногда и значительные отряды болгар. В городах, откуда уходили османские войска, создавалась милиция. В населенных пунктах, которым угрожала опасность, стихийно возникали отряды самообороны. Жители болгарских сел передавали русскому командованию разведывательные данные о вооружении и дислокации войск неприятеля, служили проводниками, участвовали в строительстве оборонительных сооружений, дорог, мостов, обеспечивали перевозку грузов, выносили с поля боя раненых, ухаживали за ними, доставляли на позиции воду, пищу и т. д.

С восторгом и ликованием приветствовало воинов-освободителей болгарское население. «Повсюду народ выходил встречать нас, предлагая хлеб-соль,— писал один из очевидцев этих незабываемых картин всенародного праздника...— Во многих деревнях были возведены триумфальные арки, украшенные цветами и зеленью... Радость населения граничит с неистовством... Многие плачут от радости».

Нерасторжимый боевой союз русского и болгарского народов явился главной, определяющей силой, позволившей довести до победного конца войну с Портой. Свой вклад в крушение Османской империи внесли также румынские, сербские и черногорские войска.

...Прошли годы. Умолкли взрывы снарядов, грохот орудий, ружейные выстрелы. Ушли из жизни участники и свидетели героической эпопеи, сражений, ставших достоянием истории. Но в благодарной памяти народной останется бессмертным подвиг русских солдат, ценой своих жизней принесших свободу братскому болгарскому народу. Молчаливыми символами этой памяти остаются многочисленные памятники, воздвигнутые на местах былых боев.

Главным итогом русско-турецкой войны 1877—1878 гг. явилось воскрешение Болгарского государства для новой жизни. Народ, пять веков боровшийся за свою независимость и свободу, получил возможность вступить на историческую арену как самостоятельная нация для выполнения своей национальной и интернациональной миссии.

Г. ЧЕРНЕЙКО

В этом номере мы публикуем иллюстрации из альбома Драгана Тенева «Эхо Шипки», посвященного памяти болгар и русских, павших в войне за свободу Болгарии. Альбом издан в Болгарии издательством «София-пресс», 1975 г.

▲

Шипка. Дань памяти освободителям

Атака русской кавалерии...

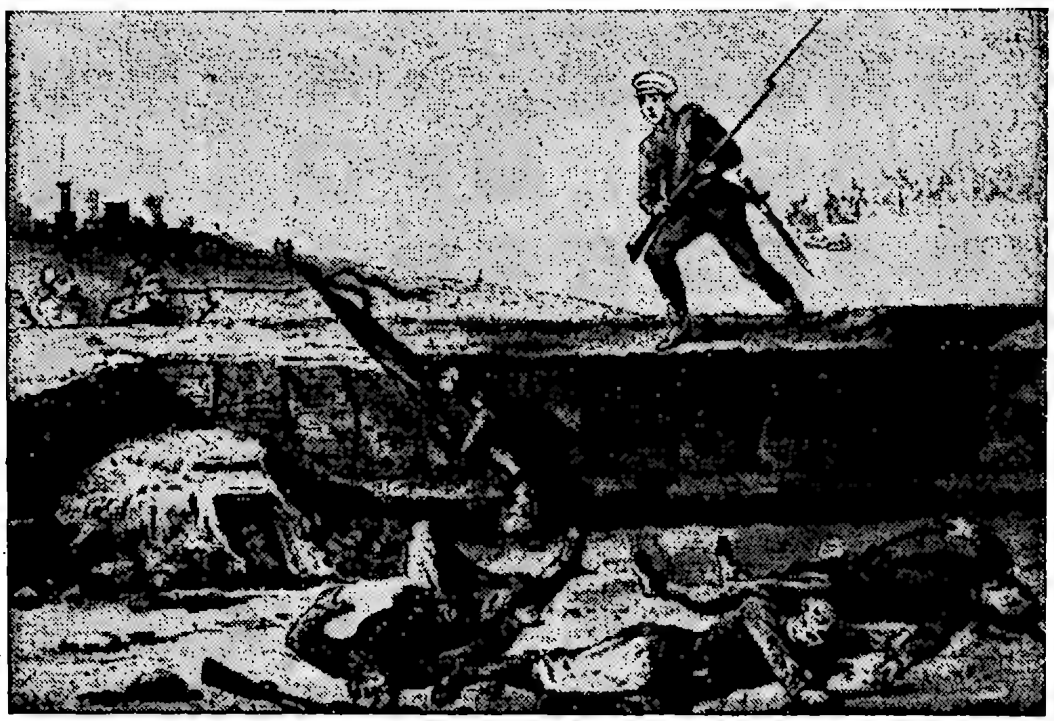
▼

▲

Павшие смертью героев...

Рядовой Иван Овчинников первым врывается во вражеский окоп...

▼



◆

Среди книг

Издано в СССР

МОГУЧЕЕ ДРЕВО

Поэзия Югославии в переводах русских поэтов. Составление Александра Романенко, Бориса Слуцкого. Предисловие Бориса Слуцкого. Примечания Александра Романенко Москва, «Художественная литература», 1976.
Песни Черной горы. Из черногорской поэзии XX века Перевод с сербско-хорватского. Вступительная статья, биографические справки, составление и редакции Владимира Огнева. Москва, «Прогресс», 1975.

Две книги югославских поэтов. Две совершенно разные книги...

Перед составителями «Поэзии Югославии» стояла трудная задача: выбрать лучшее из лучшего, представить поэзию братского народа во времени и пространстве. У составителя «Песен Черной горы» задача была более локальная: познакомить читателя с интереснейшими черногорскими поэтами нашего столетия. Но не только этим определяется несхожесть сборников. Различен самый подход составителей к своей задаче, самый принцип подачи поэтического материала.

Нечасто встретишь такой щедрый комментарий к стихам, какой дан в «Поэзии Югославии». Комментатор стремится докопаться до истоков, не обойти вниманием ни одного глубинного роднячка, питающего могучее древо дружбы, не оставить в тени ни единого литературного имени, причастного к бережной пересадке югославских стихов на нашу национальную почву.

Полтораста лет назад поэт, филолог, лингвист Александр Христофорович Востоков по просьбе Дельвига перевел несколько сербских песен. Ими открывается антология. Поэт допушкинской поры, хотя и переживший Пушкина на двадцать семь лет, Востоков не осуществил в полной мере своего поэтического предназначения, рано отошел от стихотворства, снискал куда большую известность на научном поприще. И переводы сербских песен, исполненных чистой поэзии, были для него, пожалуй, последней попыткой утолить застарелую творческую жажду.

Его перевод бессмертной «Хасанагиницы» («Жалобная песня благородной Асан-Агиницы») и сейчас легко читается и глубоко волнует:

Что белеется у рощи зеленыя?
Снег ли то или белые лебеди?
Кабы снег, он скоро растаял бы;
Кабы лебеди были, улетели б прочь.
Не снег то, не белые лебеди,
А белеется шатер Асан-Аги...

Баллада о матери, оторванной несправедливым мужем от детей и не пережившей этого срама и горя, переведена почти на тридцать языков. На русский ее переводил Пушкин (первые двадцать шесть строк), Ахматова и другие. Составители включили в книгу три названных перевода. Интересно и поучительно сравнивать востоковский, пушкинский и ахматовский «варианты» баллады.

У Востокова тяжелораненого Асан-Агу «посещали» мать и сестра, а «молода жена прийти постыдилася». Из-за этого и разго-

релся сыр-бор, этого и не простил ей вздорный муж... Вместо невозмутимой востоковской строки у Пушкина стоит: «его люба не могла, застыдилась»,— внутренняя цезура взрывает строку, обостряет ситуацию. У Ахматовой более плавный рисунок: «навещает мать его с сестрою, а любимой стыдно показалось»...

Вот разгневанный муж требует удаления неугодной жены. У Востокова: «Не жди меня больше в дому моем, ни в дому, ни во всем роду-племени!» У Пушкина: «Ты не ищи меня в моем белом доме, в белом доме, ни во всем моем роде». У Ахматовой: «В белом доме ждать меня не нужно, ты в семье моей не оставайся». Героиня спешит поделиться обидой с родным братом. У Востокова: «обнимает брата с горькой жалобой». У Пушкина: «и повисла она брату на шею». У Ахматовой: «крепко брата обняла и плачет». Построчный анализ можно было бы продолжить. Цель моя — не доказать, что каждый последующий перевод обязательно совершеннее предыдущего или что у гения всякое слово гениально. Цель моя — дать почувствовать читателю, сколько нюансов может иметь одна-единственная поэтическая фраза. А их в сборнике тысячи...

Переводное стихотворение — всегда дитя любви. В его рождении участвуют две равноправные стороны. В своей антологии А. Романенко и Б. Слуцкий сознательно и даже с некоторым вызовом к бытующим в издательской практике стереотипам сделали главной фигурой переводчика. **Л. Н. Трефолев** — значится в содержании, и далее идут имена переведенных им поэтов: Петар Прерадович, Бранко Радичевич, Джюра Якшич, Владимир Фран Мажуранич. **Н. С. Тихонов** набрано жирным шрифтом и шрифтом посветлее: Франце Прешерн, Радован Зогович, Душан Костич.

Возможно, такой подход к тонкому переводческому делу не у всех вызовет энтузиазм. Возможно, более привычное распределение ролей в сборнике «Песни Черной горы»: ведущий — переводимый поэт, ведомые — поэты-переводчики — многим покажется более правомочным. Мне лично больше импонирует дерзость составителей «Поэзии Югославии».

Скажите, кто это написал:

Для начала — о Гомере:
старец жил на подаянье.
А Овидия скитанья?
Камоэнс и Алигьери
испытали в полной мере,
как судьба жестоко раиит,
и о том же упомянет
нам создатель Дон Кихота.
Вот парнасские высоты!
Лишь слепец стихами занят.

Ну, конечно же Леонид Мартынов! Но у него нет таких стихов. Это словенский поэт Франце Прешерн заговорил его устами... А вот Кирсанов — Крлежа: «батькин брат, маткин брат — бредут бабы из церквиц. Ох, и щиплет ветер лица, иогти могут отвалиться, ведь мужик без руковиц». А это Рождественский — Зогович: «один за другим исчезают, уходят один за другим: этот — в конце атаки, не выпуская винтовки. Этот — с рукой, еще теплой от пожатья моей руки. Этот — на полуслове. Этот — на полувздохе».

Что же хорошего, могут мне возразить, в том, что русский поэт переводит «под себя» инояэычиого поэта? Можно ли верить такому субъективному переводу? По-моему, можно. Поэт переводит не букву, но поэтическую суть доверенного ему произведения. Он не похищает, а усыновляет чужие стихи. Гораздо сильнее меня беспокоят «беспризорные» переводы: они уже не принадлежат автору и, увы, не стали внутренней необходимостью переводчика.

Самим способом представления отобранного материала составители «Поэзии Югославии» как бы говорят: у нас нет стихов-сирот при живых родителях...

Маргарита Алигер и Десанка Максимович — этому творческому содружеству более семнадцати лет. Но Максимович переводили и другие поэты и поэтессы: Ахматова, Инбер, Ладинский, Мартынов, Тушнова, Слуцкий, Самойлов. Вот эти «субъективности» в конечном счете и должны составить объективный портрет выдающейся югославской поэтессы. Точно так же в воссоздании поэтического образа Йована Йовановича-Змая участвуют Бенедиктов, Коринфский, Ахматова, Маршак, Исаковский, Глазков. Отона Жупанчича по-своему интерпретируют Дураков, Благинина, Сурков, Мартынов, Стевана Раичковича — Петровых и Левитанский. Тоне Павчека — Белинский и Винокуров. Не случайно к участию в антологии привлечены многие поэты — от Востокова до Ахмадулиной.

Заключая разговор о «Поэзии Югославии», не могу не остановиться на одном досадном казусе. Общеизвестно, какой резонанс имеет сейчас каждое новое печатное слово о Пушкине. Не секрет, что «Песни западных славян» (то есть южных в теперешнем понимании) в основном являются переложением песен из мистифицированной книги Мериме «Гузла». Понятно, почему составители включили в антологию лишь те четыре перевода, что были сделаны Пушкиным с языка оригинала. Но вот что сказано в примечаниях: «Работами русских и советских пушкинистов убедительно доказано, что с самого начала подлинность сборника вызывала у поэта сомнение. Поэтому просил он близкого своего друга С. Соболевского выяснить непосредственно у автора, на чем основано изобретение странных (подчеркнуто нами.— **А. Р.**) сих песен». В Собрании сочинений Пушкина в десяти томах (т. 2, 1974) черным по белому написано: «Начав работу над «Гузлой»... Пушкин не сомневался (подчеркнуто мною.— **Т. Ж.**) в подлинности славянских песен, помещенных в книге. Поколебал его приятель С. А. Соболевский...» Кто же прав? А. Романенко следовало или не касаться этого спорного вопроса, или основательно мотивировать свою точку зрения.

Но вернемся к собственно югославской поэзии. «Песни Черной горы» предваряет статья Владимира Огнева, где дается сжатая характеристика представленных в книге авторов. Перед нами если не персональные, то коллективные портреты поэтов «межвоенного», «среднего» и поколения «новой волны». Какие бы философские дали ни манили поэтов Черногории, в какие бы формальные изыски они ни уходили, главное для них, как выразился В. Огнев, «черногорское презрение к рабству».

Вторая антология намного моложе первой. Не только потому, что все ее авторы рождены в двадцатом веке, но и потому, что переведена книга в осиовном сорокалетними поэтами — по нынешним меркам почти молодыми. Среди переводчиков Ю. Мориц и Т. Глушкова, В. Цыбин и Ст. Куняев, А. Кушнер и О. Чухонцев, Н. Злотников и Л. Латынин, Г. Плисецкий и В. Куприянов.

Авторская индивидуальность переводчиков не является для составителя самодовлеющей ценностью. Вероятио, поэтому он подобрал русских поэтов с ярко выраженным «пластичным» дарованиием. Так, Юнне Мориц удалось передать «потустороннюю гармонию» Ристо Ратковича и публицистический напор Янко Джоновича. Олег Чухонцев донес до читателя прямолинейную «Красную песнь» Блажо Щепановича и тонкую лирику Гойко Дапчевича. Владимир Цыбин, как бы переступая через себя, отправился в «потерянное далеко» Мирко Баньевича.

Александр Кушнер и тут остался Александром Кушнером Переводимый им Александр Иванович, видимо, близок ему не только формально, но сокровенной своей сутью:

Вот лежу я в комнате без света,
Как в гнезде, в угрюмый час ночной,
И в руке дрожащей сигарета
Одиикой кажется звездой.

Как бы там ни было, а поэзия черногорцев стала достояиием русской поэзии. Не легкое это чтение — отнюдь! Трагичны иные биографии поэтов. Трагичны многие стихи. Но это — еще одна живая трепещущая ветвь на могучем древе русско-югославской поэзии.

ТАМАРА ЖИРМУНСКАЯ

ЧИТАЯ ПОЛЯ ВАЛЕРИ

Поль Валери. Об искусстве. Перевод с французского. Издание подготовил В. М. Козовой. Москва, «Искусство», 1976.

Эту книгу можио читать подряд, от абзаца к абзацу, от страницы к страиице. Но можно открыть ее в любом месте и иадолго застрять на нем — так увлекательна эта книга, так властна. Можио соглашаться, спорить, недоумевать по поводу тех или иных высказываиий или доводов, можно недопонимать автора (и такое здесь допустимо) или считать его взгляды далекими от своих взглядов. Но каждая деталь всего текста книги (а в ней свыше шестисот страниц) выглядит, как деталь обширного полотна большого художника.

Книга разумно составлена из трех разделов. В первый вошли статьи философского и эстетического характера. Второй раздел объемлет статьи об архитектуре, живописи, танце, театре. В третьем — работы о литературе, главным образом о поэзии.

Это издание — и по объему и по значению — превосходит опубликованное у нас в 1936 году «Избранное», хотя в той книге были помещены стихи Поля Валери и некоторые статьи, не вошедшие в рецензируемый сборник.

От последней по времени статьи Поля Валери нас отделяют примерио три с половиной десятка лет. Огромный срок, если учесть стремительность нашего столетия. Однако статьи Поля Валери ие потеряли актуальности, а некоторые из них, благодаря этой дистанции, возросли в своей значимости. Время помогло заложенным в них мыслям доказать их уместность и глубину.

Поэзия прозы, тем более критической, философской,— область, где властвует не ученый, а художник. Как известно, Поль Валери, повинуясь внутреннему чувству, вдохновению, заносил в свои многочисленные «Тетради» разрозненные записи, которые с течением времени выделялись в эссе о Коро и Бодлере, Дега и Мане, подчинялись излюбленным темам и идеям, группировались в циклы.

Не всякий художиик, создавая полотна или книги, стремится к стройной системе взглядов. Он скорее руководствуется взрывами страстей, обостряющейся впечатлительностью, образностью, обновляющейся на каждом повороте жизиенной дороги. Пусть в системе разбирается другой, специально для этого обученный человек, искусствовед, что ли. У Поля Валери редкий случай синхронности образа и мысли о нем, чувства и поиимания того, что оно значит, связь (он называет ее «глубочайшей») лирики и аиализа.

Что это — статьи? Неточно. Эссе? Ближе к истиие, но иеполно. Лирико-философские этюды? Как будто верио. Но сколько поэзии заключеио в самом способе наблюдать и рассказывать о наблюдении. Автору иадо сосредоточиться. Ои должен понять себя. Это его тревожит «Тревога — истинное мое ремесло» (1910). Уже за десять лет до этого Поль Валери находит службу, которая будет заиимать его на протяжении двадцати двух лет и даст ему материальную возможность углубиться в свои размышлення. Каждый день он проводит несколько часов у парализованного директора агеитства, читает ему биржевые и политические сводки попеременно с прозой Боссюэ и Бурдалу. Он в курсе экономических и политических дел Франции, Европы, мира. Это не мешает ему изо дня в день заполнять все новыми и новыми записями свои тетради. Эти тетради, к которым сейчас везде такой большой инте-

рес, полны афоризмов и заметок на разные темы.

Он всю жизнь искал себя, стройности в своих мыслях, системы в своих взглядах, он искал «математики интеллекта», способного постигать всю сложность мира. Склонность к абстракциям выражала между тем не отрешенность от мира и себя, а, напротив, интеллектуальную драму молодого европейца конца прошлого — начала нашего века. Таков трактат «Введение в систему Леонардо да Винчи», созданный двадцатичетырехлетним человеком. Это было вначале. Это нашло свое развитие в дальнейшем, когда Поль Валери отошел прочь от литературной биржи и заполнял «Тетради» выкладками «для кого-то, кто придет потом». Близость к художникам и ученым, к лучшим представителям французской интеллигенции дает ему ощущение плотной среды, заинтересованной в нем и его аналитической мысли. «Он был создан для понимания, и он всегда понимал, где бы он ни находился»,— говорит о Поле Валери его друг поэт Леон-Поль Фарг.

Общими усилиями авторов энциклопедических справочников и историко-литературных пособий создан миф об искателе чистых, изолированных от времени форм искусства, удобного и угодного разного рода гурманам от поэзии и интеллектуальным сладкоежкам.

А тем не менее Поль Валери был наравне с веком в просвещении, знал не только основы, но и высочайшие достижения науки, изучал живопись и музыку. Перед нами — мыслитель нашего века. В прозу Поля Валери доносятся гулы авиамоторов и автострад. Чувствуется, что в эту пору жили, искали, мыслили Альберт Эйнштейн (Валери одним из первых перевел его на французский) и Ферми.

Где-то в первооснове своей Валери — скрытый моралист, в духе великих французских просветителей, знатоков и описателей нравов, характеров, обычаев. Он лукаво и тонко скрывает эту свою первооснову, создавая эссе, исполненные зоркости и словесного изящества. Его заметки о художниках и поэтах, о явлениях культуры нашего века приобщают нас к великой традиции, внося в нее черты эпохи расщепленного атомного ядра. Кстати, проницательный, скептический и вскрывающий диалектику мира Поль Валери произносит удивительный по своей сути парадокс: «Разум есть, быть может, одно из средств, которое избрала вселенная, чтобы поскорее с собой покончить». Здесь есть над чем подумать, а подумав, есть от чего содрогнуться, будучи даже неробкого десятка. В подтверждение неслучайности приведенных слов служат другие, сказанные им несколькими годами раньше (1926): «Трудно проникнуть в мир атомов, но мы уже погрузились в него; наиболее трудное, однако, снова из него выбраться, то есть воссоздать и вернуть, исходя из самих элементов, явления нашего уровня». Как не узнать в этих словах сына нашего века с его интеллектуальной жаждой синтеза!

С годами, уже после смерти Поля Валери, все пристальней изучается его наследие и все более четко возникает перед нами образ этого поэта-ученого, мыслителя-эссеиста. Вслед за академиком М. В. Алпатовым должно повторить, что Поль Валери, «всю жизнь боровшийся с эклектическим духом «модерна», может по праву считаться наследником гениев Возрождения». Рецензируемая книга в этом убеждает каждого внимательного и непредвзятого читателя.

Многие современные художники и теоретики болезненно переживали и переживают, что искусство нашего времени утратило качества, присущие искусству античности и Возрождения. Эти качества потеряны так же, как секреты искусства кремонских скрипичных мастеров. Дело не в одной беспамятности людей. Дело в атмосфере, при которой утрачиваются эти качества и не могут быть уже восстановлены. Среди немногих мыслителей, кто задумывался над всем этим, а заодно и над проблемами синтеза искусства, новизны их, был Поль Валери.

В Поле Валери жива та сладкая и неотступная тоска по классическому идеалу, которая уже боится радостно обнаруживать себя, как у Винкельмана или Лессинга, но еще теплится в человеке не только как его воспоминание, а как его надежда. Перед кем из живущих ныне художников не стоял вопрос: гармония эпохи Возрождения или дисгармоничный модерн? Каков синтез двух различных и столь несхожих эпох? Возможен ли он?

Поль Валери являет пример художника, далекого, с одной стороны, от сальеризма («музыку я разъял, как труп»), но, с другой стороны, чуждого бездумности и умственной лени «стихийных» бардов.

Зачисленный вульгарными социологами в закоренелые модернисты, Поль Валери между тем был проницательным критиком позднебуржуазной культуры. Он говорит о «модернистском духе» этой культуры, приравнивая его к хаосу. А хаос ему ненавистен. Валери полагает, что он человек постольку, поскольку возвышается над хаосом. Своему другу Андре Лебе он пишет: «В любой области меня интересует прежде всего трансформация, благодаря которой хаос подчиняется человеку» (1906). Валери — за систему, за структурную почву, на которой и может произрастать Искусство. Он решительно восстает против «автоматической новизны», против новаций во что бы то ни стало, во имя самого принципа непременного обновления за счет странности и надуманной несхожести с образцами.

В определениях поэзии Поль Валери часто прибегает к музыкальным ассоциациям: «Знакомые предметы и существа кажутся, если можно так выразиться, о м у з ы к а л е н н ы м и; они сочетаются друг с другом отношениями резонанса и стали как бы с о з в у ч н ы нашей чувствительности».

Сарказм появляется в работах Поля Валери, когда он говорит о критике поэзии.

«Случайное ценит она выше сущности» — это определение для него нестерпимо. Он высменивает «школярскую оригинальность», приблизительность, маскирующуюся под истинность, словеса, не обеспеченные золотом мысли.

Есть у Поля Валери положение, которое достойно внимания не только критики, но и преподавателей литературы. Он говорит: «...если орудия духовного наслаждения мы превращаем в средства воспитательные, возлагая на них важную роль в формировании и обучении молодых людей,— надлежит подумать еще и о том, чтобы не извратить тем самым подлинно своеобразного смысла искусства». Если перевести это на язык наших методистов, то будет ясно, что надо соединять момент воспитательный с моментом эстетическим. Иначе искусство перестанет быть самим собой и выродится в более или менее искусный пересказ прописных истин

Словосочетания «чистая красота», «чистая поэзия» (есть в книге статья под таким названием) вызывают у нас протест: эти слова порождают у нас иные, чем у французов, ассоциативные ряды. Возможно, это происходит потому, что в русской поэзии выражена постоянная соотнесенность ее с жизнью общества. Поэтому и другое словосочетание Поля Валери — «абсолютная поэзия»— нас настораживает. «В какой-то мере я несу за это ответственность».— говорит автор. И мы понимаем, что ему была еще неведома общественная реакция на это явление. И Поль Валери поверяет нам свои сомнения и в самих терминах, и в том, что они призваны выразить

Мысль у Валери движется свободно, делая иногда, особенно в заключении, на излете фразы, неожиданный скачок к сути. В этих фразах как говорит автор, «предусмотрены даже мои изумления: они незримо расставлены и участвуют в ритме».

Стремившийся к системе, Поль Валери вместе с тем своими статьями создавал впечатление пестроты, несобранности, фрагментарности и, конечно же, незавершенности. Такова была его художническая задача. И он ее выполнил со свободой, изящно граничащей с необязательностью и раскованностью дилетанта. Слово «дилетант» имеет значение «любитель». В последнем слове нас интересует его корень Любить! — вот чему может научить книга Поля Валери. Любить бытие, которое для него ценнее знания, хотя знание для него бесценно. Любить самую возможность познавать мир в его меняющемся облике, в его сдвигах и смещениях Читая Поля Валери, становишься участником процесса познания мира, людей, культуры Мысль писателя бьется в противоречиях века. И эта обнаженность мысли, выраженной тонко, точно, потрясает. Вы чувствуете, как Поль Валери прикасается к нерву предмета, о котором ведет речь. Над очень многим хочется поразмышлять.

Одни писатели остаются при своем художестве, хотя и без системы. Другие создают систему, хотя их художество сомнительно. Зато третьи запечатлены в памяти людей и своим художеством, и своей системой. К последним, с моей точки зрения, принадлежит Поль Валери, чья книга «Об искусстве» является убедительным подтверждением этого.

ЛЕВ ОЗЕРОВ

ДАВАЙТЕ ЧИТАТЬ ДЕТЯМ СКАЗКИ

Сказки народов Африки. Перевод с африканских и западноевропейских языков. Составители А. А. Жуков и Е. С. Котляр. Предисловие Е. С. Котляр. Москва, «Наука», 1976.
Ветер и птица. Африканская народная поэзия. Составление, предисловие, примечания В. Бейлиса. Москва, «Художественная литература», 1976.

Мы привыкли к сказкам. А к привычному относишься снисходительно.

Снисходительность — это рама, в которую мы для собственного умиротворения помещаем тот или иной объект, раз и навсегда отказав ему в способности явить собой хоть самое маленькое чудо.

Эту снисходительность к сказке мы передаем нашим детям, искренне считая, что мы тут ни при чем и что телевизионная, лазерная, космическая, химическая и прочая и прочая действительность единственно повинна в их не по возрасту зрелом скепсисе.

Пересказывая им изрядно позабытые сюжеты, мы оснащаем их различными пояснениями, которые сделали бы сказки понятными нашим детям: вычисляем подъемную силу и угол атаки ковра-самолета или вооружаем гистологической телевизионной установкой охотников, чтоб обнаружить в животе у волка бабушку и внучку.

Когда на экранах впервые демонстрировалась синерама и камера круто взлетала и отвесно падала, мчась по американским горам, первые зрители испытывали головокружение. Но нашелся среди них и такой, кто никаких романтических ощущений не испытал. «Я крепко держусь за ручки кресла и твердо знаю, где я»,— объяснил он соседям. Вот так и мы — крепко вцепились в ручки кресел, а рядом с нами сидят наши дети. Вместо того чтобы вывести этого неспособного зрителя из зала, мы порой уподобляемся ему сами.

Вот перед нами две книги. Одна называется «Сказки народов Африки», вторая «Ветер и птица» — это сборник африканской народной поэзии. Давайте вместе отправимся путешествовать без успокоительно прочных подлокотников. Отбросим снисходительность — может быть, чудеса еще не перевелись на белом свете.

И раз уж мы пустились в путешествие из зрительного зала, будем следовать правилам игры и записывать дальнейшее повествование в виде сценария. Каждое слово в нем

будет принадлежать оказкам и стихам из этих двух книг. Мы их только переставим чуть-чуть по-своему.

Предлагаю такое начало:

«Внимательно отнеситесь к этой истории. Правда, на самом деле того, о чем вы сейчас узнаете, никогда ие происходило, но вы все-таки представьте, что это действительно случилось. Ведь подобные вещи возможны и в жизии.

У вождя была единственная дочь. И обещал он ее тому из женихов, кто поймает в лесу живую антилопу. Много было юношей, которые мечтали о красавице. Но странное условие отбивало у всех охоту. Правда, некоторые пытались догнать антилопу в лесу — да куда там! И уходили ни с чем.

Однажды пришли к вождю двое юношей, двое друзей из дальней деревни. Одного из них звали Лионго, второго Сефу. Выслушав слова вождя, отправились они в лес и, увидав антилопу, пустились за ней в погоню. Сефу — не такой быстроногий и сильный, как Лионго,— отстал, обессиленный, сел под дерево и вскоре уснул, а когда проснулся, увидел Лионго, который приближался к нему, а за спиной нес связанную живую антилопу. И вот какую песню пел Лионго:

Созданне иежное и округлое,
Как молодая жена.
Шея,
Тяжелая от медных колец.
Глаза,
Ласковые, как у птицы.
Голова,
Прекрасная, как у статуэтки.
Ты убегаешь,
Поднимая тонкую пыль,
Как бабочка крыльями.
Твоя шея кажется длиной,
Очень кажется длинной
Жадным глазам охотника.

И с антилопой за спиной двое друзей предстали перед вождем.

Вождь распорядился сделать из антилопы жаркое. А потом собрал старейшин и сказал:

— Они исполнили мое условие, но мужем моей дочери может стать лишь один. Представьте себе, что это ваша дочь, и выберите ей мужа среди этих юношей.

И Лионго рассказал всю правду.

И Сефу рассказал всю правду и добавил, что когда он устал и сел под деревом, то вот какая пришла ему мысль: «Стоит ли бежать сломя голову? Женщин хватает, и даже из-за дочери вождя не стоит так мучиться».

И тогда старейшины решили:

— Нам не нужен такой зять, как Лионго. Он ие остановится ни перед чем, пока ие достигнет своей цели. А откуда нам знать, какую цель изберет он завтра. А Сефу — подходящий человек, он будет добрым и послушным зятем, пусть станет он мужем дочери нашего вождя.

И Лионго ушел ни с чем. Шел и пел грустную песню, обращаясь к луне:

Возьми мое лицо, а мне отдай свое!
Возьми мое лицо, несчастливое лицо.
А мне отдай лицо свое,
С которым ты приходишь к нам
После того, как умрешь,
После того, как зайдешь.
А ты ведь и нам обещала однажды:
Мы тоже вернемся и счастливы будем
После того, как умрем.

Лионго остался жить и этом селении и даже перевез сюда свою мать. Он оказался самым сильным и самым быстрым. И его присутствие доставляло жителям немалое беспокойство. И вот однажды люди ворвались в его дом, связали его и бросили в тюрьму. У дверей его темницы постоянно дежурили воины, ни на минуту ие оставляя поста.

Так проходили дни и месяцы.

Каждую ночь Лионго пел красивые песни. И часто люди говорили друг другу: «Пойдем послушаем песни Лионго».

И шли, и говорили ему: «Мы пришли послушать твои песни, пой!»

И он не мог отказать им, ибо жители очень полюбили его песни. Тоскуя по свободе, он слагал все новые и новые.

Но вот однажды, когда рабыня принесла ему еду, стража отняла ее и съела, а ему отдала объедки.

Тогда Лионго понял, что его решили убить. И он спросил стражников, когда его убьют. И стражник сказал: «Завтра».

Тогда Лионго запел. И в песне передал через рабыню просьбу к матери принести ему пилу, чтоб распилить цепи. И мать принесла ему пилу, запрятав ее в самый большой и некрасивый хлеб.

Лионго сказал, что хочет попрощаться со всеми жителями, пусть только они принесут кастаньеты, рог, гонг и барабаны — он будет петь. И вот все собрались у стен темницы.

Когда били в барабан, Лионго пилил цепи, а когда барабан замолкал, он пел:

Ночью небо похоже на город,
Там живут и звери, и люди,
Но никто там никого не убивает,
Не стреляет ни в козу, ни в птицу,
И медведь ие трогает добычу.
Ничего там не случается плохого...

А люди не догадывались, что он делает, и били в барабан. И уже упали цепи. Лионго принялся за решетку Но подходил черед ему вступать, и он переставал пилить и снова пел:

Мама, мама, ты ие плачь надо мной!
Мамочка, не зарывай меня во дворе,
Во дворе, где ходят и бродят люди,
Во дворе, где шляются все
Кому не лень!
Там они льют и бросают что угодно!
Не зарывай меня у дорогн,
Где ходят люди взад-вперед.

А люди били в барабаны и гонги, трубили в рог, стучали кастаньетами и плясали. Но упала распиленная решетка, и Лионго, сломав окно темницы, вышел на свободу. Увидев его, люди обезумели от страха и бросились бежать, а он хватал их, сталкивал головами и убивал.

Затем выбрался он из селения и ушел в лес и стал жить там один, по-прежнему беспокоя и убивая людей.

Люди подослали к нему самых хитрых своих хитрецов, чтобы те сделались его друзьями, а потом убили его. Много раз пытались те убить Лионго но всякий раз он заранее распознавал злые их козни.

И вернулись хитрецы ни с чем.

Тогда послали к нему люди его друга Сефу:

— Пойди и узнай, что может погубить его. Потом возвращайся и скажи нам. А если ты убьешь Лионго — ты станешь нашим царем.

— Зачем ты пришел, Сефу? — спросил Лионго.

Сефу ответил, что пришел его навестить.

— Нет, я знаю, что ты пришел убить меня,— сказал Лионго,— но знай, что те люди обманули тебя

— Что же может убить тебя?

— Если кому-нибудь удастся проколоть мне пупок медной иглой. я умру.

И Сефу рассказал об этом односельчанам, и они дали ему медную иглу.

А когда Сефу вернулся, Лионго пел:

Ах, петух, ты смелый воин,
Смелый воин, грозный мститель,
Ты кладешь предел бесстыдству
И нахальству таракана.

И он ничего не сказал Сефу, хотя знал, зачем тот пришел

На третью ночь. когда Лионго спал, Сефу проколол ему пупок медной иглой. Лионго проснулся от боли. взял лук и стрелы и пошел к колодцам. Там опустился он на колено, натянул тетиву, как будто прицеливаясь. и умер.

А утром пошли люди за водой и, увидев его, решили, что он жив. Испугались они и убежали. Три дня никто не осмеливался приблизиться к колодцам и селение изнывало от жажды. Тогда позвали они мать Лионго и велели ей сказать сыну, чтоб тот дал набрать им воды, а не то пригрозили убить ее.

Мать подошла к Лионго, обняла его и увидела, что он мертв. И она запричитала-запела:

Когда умирает крестьянин,
Он оставляет бедность своей мотыге.
Когда умирает охотник
Он оставляет бедность своему луку.
Когда умирает кузнец,
Он оставляет бедность своим мехам.
Ты умер
И мне оставляешь тьму.
Где ты сейчас?

И люди услышали ее плач и поняли, что Лионго умер. Тогда они схватили Сефу, который погубил Лионго, и убили его, чтоб не дать ему обещанного царства. И с ведрами и калебасами побежали к колодцу»

По-моему, эта мудрая и грустная сказка исполнена таких пронзительно обнаженных человеческих чувств, что сжимается сердце. А какие в ней поразительные подробности! Сотни юношей гоняются по лесу за живой антилопой, как за синей птицей счастья, и когда, наконец, она поймана, из нее, как и из всякой другой, делают жаркое. А песни? Недаром в предисловии к сборнику его составитель В. Бейлис пишет: «Народная поэзия африканцев мало приспособлена для чтения. Ее нужно не только слышать, но и видеть, отплясывать, отстукивать на барабане, надо участвовать в ее созданни...»

Эти стихи и песни прекрасны и сами по себе, но когда их возвращаешь в родную стихию, даже в малую каплю ее, какой является сюжетный контекст сказки, как они укрупняются в звучании и многогранности смысла.

Я не стану даже пытаться оценить весь огромный объем работы, проделанной при подготовке этих сборников. Хочу только высказать свою благодарность и передать читателю то счастливое чувство, которое не покидало меня, когда я читал эти стихи и сказки.

Отбросим снисходительность. То, что пересказано здесь,— только малая доля тех чудес, которыми нас одарили. Не стоит забывать, что добро и зло, мудрость и глупость, счастье и недоля еще продолжают сосуществовать на нашей планете.

И давайте будем растить наших детей добрыми и умными. Будем читать им сказки.

А. СИМОНОВ

Издано за рубежом

ЖИЗНЬ-ПОДВИГ

Тодор Гигов. Капитан Райчо Николов. Романизированная биография. София, «Народна младеж», 1977.

В год, когда отмечается столетие нашего национального освобождения, издательство «Народна младеж» опубликовало романизированную биографию капитана Райчо Николова. Эта книга, посвященная бессмертному подвигу, бурной и страстной жизни одной из светлых личностей Возрождения, по-своему обогащает популярную серию «Болгария в образах», утвердившуюся в сознании читателя благодаря своей яркой патриотической направленности. Тодор Гигов, автор с немалым творческим опытом, собрав и изучив большой документальный и фактический материал, попытался в новом свете раскрыть образ смелого четырнадцатилетнего болгарского мальчика с Тревненских Балкан, своим дерзким подвигом разгневавшего турецкого султана.

История нашей героической национально-освободительной борьбы богата подвигами, нашедшими достойное отражение в произведениях литературы и искусства. Однако то, что совершил подросток-подмастерье в разгар крымской войны в июне 1854 года, вызывает всеобщее восхищение и восторг. Держась за полые тыквы, мальчик переплыл Дунай от русенского берега до Гюргево, чтобы предупредить русских о предстоящем неприятельском форсировании реки. Узнав об этом, поражен был и сам султан Абдул Меджид: «Невозможно поверить... За одну ночь маленький гяур покорил Европу, а мой сын неуверенно передвигается но покоям под присмотром нянек... Будь он моей веры, я приказал бы поставить ему памятник при жизни... Какая пощечина моей могучей империи».

Памятник Райчо Николову, его делу и жизни, воздвигнут в сознании нашего народа. Исследуя его трудную и беспокойную жизнь, до конца отданную освобождению родины, автор из многочисленных источников и документов, найденных у нас и в Советском Союзе, сумел отобрать и выделить характерные моменты, не только восстанавливающие историческую хронологию, но и очерчивающие полнокровный образ нашего патриота. Автор открывает читателю внутренний мир героя, неустанно боровшегося против османской тирании, против пошлости и лицемерия окружавшей его действительности уже после освобождения Болгарии. Каждая строка дневника Николова, его писем отражает выстраданную гражданскую и человеческую позицию высоконравственной личности, глубоко осознающей свою ответственность за сегодняшний и завтрашний день отечества.

Книга Тодора Гигова вводит нас в эпоху социальных и классовых столкновений, трагических житейских обстоятельств, в которых живет и борется гордый и несломленный болгарский дух. Трудно перечислить все существенные моменты книги, но нельзя обойти молчанием страницы, посвященные любви нашего народа к России, дружбе между болгарским и сербским, болгарским и румынским народами,— страницы, воссоздающие характерные, запоминающиеся черты соратников главного героя. Правда, местами — при раскрытии психологически эмоциональной характеристики образов — повествование не отвечает избранному историко-документальному подходу. Если встречи и разговоры Райчо Николова с Раковским художественно убедительны, то сцены и особенно диалоги с Ботевым бледны, величавая фигура поэта-революционера очерчена слабо.

Появление книги Т. Гигова отрадно не только в связи с юбилейной датой, это определенный вклад и в историю — она рассеивает немало заблуждений, устраняет ряд неточностей, заполняет существенные пробелы в жизнеописании великого болгарина, совершившего в ранней юности интернациональный подвиг.

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ
(«Литературен фронт»)

«Я В НОГУ ШЕЛ И С БУДУЩИМ И С ПРОШЛЫМ...»

Tamás Aladár. Akkoribau állaudóau fujt a szél. I—II k. k. Budapest, Szépirodalmi könyvkiado, 1976.

Нет ничего удивительного в том, что в заголовок статьи о прозаических произведениях Аладара Тамаша мы вынесли строку одного из его недавно опубликованных у нас в Венгрии стихотворений. Ведь А. Тамаш начинал свой творческий путь как поэт, одновременно «заявив о себе» и в рабочем движении, и в кругу жаждущих перевернуть мир поэтов-авангардистов начала двадцатых годов. Да и сейчас, на пороге восьмидесятилетия и в апогее творческой славы, он вновь обращается к стихам и в тысячах поэтических строк, составивших тома, формулирует основную идею, оттачивает важнейшую мысль, выражающую его отношение к миру — к миру, за который он боролся в течение шести десятков лет и который теперь стал объективной реальностью. Энергичный ум его по-прежнему работает с полной отдачей, в произведениях А. Тамаша мы не обнаружили ни намека на монотонное, высокомерное поучение, ни тени мелаихолии; его отличает подлинно научный подход к реальным фактам и поэтическому их осмыслению в духе эпохи.

Подобное введение необходимо, чтобы правильно оценить самые глубинные побуждения Аладара Тамаша — как творческие, так и чисто человеческие,— лежащие в основе его двухтомной прозаической панорамы «Тогда непрестанно дул ветер». Прежде всего необходимо подчеркнуть единство этих начал. Когда речь идет о художественном отображении мира нашей эпохи, не всегда стоит торопиться с критикой, даже если мы видим в творческом развитии того или иного писателя внезапные срывы, сбои, отходы от правильного пути, являющиеся иногда, быть может, следствием глубоких человеческих трагедий, присущих нашему двадцатому столетию. Однако с пониманием относясь к таким явлениям, тем более пристальное внимание мы должны уделять писателям, чье творчество являет собой яркий пример преодоления внутреннего кризиса.

Творческая и человеческая судьба Аладара Тамаша складывалась счастливо: едва достигнув двадцатилетнего возраста, он открыл для себя истину, оставался ей всегда верен, продолжал развивать, углублять и совершенствовать, открывая ее и другим людям. Убежденный революционер, человек философского склада ума, А. Тамаш и глубоко личные духовные проблемы, и кризисы, сотрясавшие внешний мир, и сложнейшие события в истории рабочего движения «переплавлял» в своем творчестве, всегда оставаясь верным — без колебаний и ком-

промиссов — тому пути, который вел его к цели вплоть до сегодняшнего дня. Но ие нужно думать, будто судьба не подвергала Аладара Тамаша суровым испытаниям.

Из двухтомной эпопеи читатель узнает, что А. Тамаш был узником итальянской тюрьмы и французского концлагеря, не раз представал перед хортистским судилищем, на личном опыте хорошо изучил «знаменитые» венгерские тюрьмы: Марко, Пештвидеки, Пересыльную тюрьму, Этапную и тюрьму «Чиллаг» в Сегеде. Легально и нелегально пересекал он границы — так исколесил он пол-Европы и в общей сложности побывал на трех континентах. (Эта «страсть к скитаниям» сохранилась у него и позднее, когда он — представитель свободной Венгрии — нес дипломатическую службу в Индии, Швейцарии и Париже.) Один из самых волнующих вопросов, который сам собой напрашивается по прочтении его мемуаров, воспроизводящих столь «романтическую» жизнь: как мог стать коммунистом и человеком несгибаемой воли этот скромный, несколько наивный провинциальный студент, доброволец 85-го пехотного полка — ведь он не принял активного участия даже в будапештских событиях Венгерской советской республики и оставался лишь свидетелем падения пролетарской диктатуры.

Поразительный ответ на этот вопрос дает в своем произведении сам писатель: к духовному перевороту его привело оскорбленное чувство национального достоинства. Он собственными глазами видел, как вступали в Дебрецен румынские королевские войска, но больше всего его возмутило то, что венгерские правящие классы с бурным, ничем не скрываемым восторгом приветствовали вступившую на территорию страны чужую армию, поскольку их ненависть к трудовому люду Венгрии была сильнее национальной гордости. В дальнейшем Аладару Тамашу, участнику венгерского, итальянского, чехословацкого и французского рабочего движения, не раз представлялась возможность извлечь практические выводы из уроков классовой борьбы пролетариата, увидеть наглядные примеры патриотизма и интернационализма.

Если наметить лишь вехи бурной жизни А. Тамаша, воссозданной на страницах его книги, тотчас может возникнуть и такой вопрос: как удавалось ему сочетать нередко опасную и требовавшую полной отдачи деятельность легального или нелегального партийного работника, эмигрантские скитания с творческой, писательской работой? Вие сомнения, желанное равновесие ие всегда было достижимо, но когда приходилось выбирать, на первом месте для А. Тамаша были интересы партии, рабочего движения, а поэт — поэт тогда молчал. Этим и объясняется тот факт, что половина всего созданного А. Тамашем, более десятка книг вышли из-под его пера за последние десятилетия, в годы «покоя». Однако со стороны А. Тамаша это не было тяжкой жертвой, он всегда был убежден, что дело важнее слов. «Стало быть, не исканиям следует посвятить свою жизнь, а свершениям. И нельзя бежать от реального, от действительности»,— писал он в Италии, предчувствуя, что ему грозит тюрьма.

В начале двадцатых годов вышли два тоненьких сборника его авангардистских стихов и томик переводов, представлявший венгерской публике новейших французских поэтов, после чего творческая деятельность А. Тамаша обрела другое направление; один за другим он основывает журналы: журнал «365» — в помощь Социалистической рабочей партии Венгрии; журнал «Новая земля», издаваемый при поддержке действующего в Вене Заграничного комитета Коммунистической партии Венгрии, а затем, в 1937 году, он создает легальный журнал, который выходит почти ежемесячно — десять раз в год,— «100%», и этот печатный орган удалось выпускать регулярно в течение трех лет, несмотря на разгул реакции в стране. К наиболее увлекательным разделам книги Аладара Тамаша относятся главы, где он рассказывает о работе в редакции этого журнала, о своих беседах с находящимися тогда в Вене руководителями партии Белой Куном, Ене Ландлером, Дёрдем Лукачем, Йожефом Реваи и другими, рассказывает о писателях и передовых деятелях венгерской культуры, кто не боялся выказывать симпатии журналу «100%». Журнал объединял культурную деятельность тысяч и тысяч рабочих, и все они активно способствовали его распространению. Благодаря их поддержке к 1930 году, когда арест редактора положил конец существованию и самого журнала, тираж его достиг около трех тысяч. По тем временам это была неслыханно высокая цифра.

А. Тамаш — основатель и бывший редактор журнала — рассказывает в книге и о главной его направленности. Журнал последовательно отстаивал марксистскую политику, и это в драконовских условиях, когда опасно было упоминать имя Ленина и Страну Советов. В фактографических публикациях и теоретических статьях, написанных в форме, доступной пониманию широких масс рабочих, журнал неизменно живо откликался на проблемы отечественного и международного рабочего движения, освещал вопросы политики и культуры; особенно большое внимание на его страницах уделялось строительству социализма в СССР. В годы надвигавшегося экономического кризиса, предвидя новый размах революционного рабочего движения, журнал «100%» выполнял свою задачу по пропаганде марксистской теории, за несколько лет он воспитал и подготовил к практической борьбе новое поколение революционеров. В этом — одна из важнейших заслуг журнала «100%», хотя сам Аладар Тамаш сейчас критически оценивает некоторые допущенные в то время перегибы в деятельности журнала, обусловленные сложной политической обстановкой и гнетущей атмосферой реакции.

Дальнейший жизненный путь Аладара Тамаша, отраженный в его произведении, подтверждает, что в условиях антифашистской борьбы он ясно понимал, каким образом коммунист должен участвовать и воз-

главлять движение широких народных масс за демократию, свободу и национальную независимость. Убедительное свидетельство тому — борьба, которую он, будучи редактором журнала «Эзенет» («Наказ»), вел во время парижской эмиграции за духовное объединение венгерских эмигрантов, а также позднейшая его деятельность (1942—1946) в Мехико в качестве редактора журнала «Сабад мадьяршаг» («Свободные венгры»); эта работа, как узнает читатель мемуаров, проходила в трудных, подчас невыносимо тяжелых условиях.

В двухтомнике органически скомпонованы и объединены все предыдущие прозаические работы Аладара Тамаша; повествование доведено до того момента, когда автор после десятилетней эмиграции через Сибирь и Москву возвращается из Мексики и 2 августа 1946 года ступает на родную землю. За строками лаконичного «прозаического» сообщения нельзя не почувствовать, что значило для автора это мгновение. Нельзя читать эти книги А. Тамаша просто как волнующие свидетельства минувших лет или захватывающий исторический роман, от которого трудно оторваться, хотя и ясно, что перед нами незаменимый источник для изучения истории партии, истории рабочего движения, богатый материал для убедительного анализа проблем венгерской литературы в период между двумя мировыми войнами. Секрет притягательности книги Аладара Тамаша в ее жанре: автор описывает — точно и достоверно — историю незаурядной жизни, воссоздает подлинные события; однако сила литературного мастерства автора, теплота личного восприятия событий поднимают произведение до уровня художественной прозы. В этом отношении Аладар Тамаш выступает достойным преемником столь высокоразвитых в венгерской литературе традиций мемуарного жанра.

ЛАСЛО ИЛЛЕШ

г. Будапешт

«ВЫ — НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ»

William Cooper. You'r not alone. A doctor's diary. London, Macmillan, 1976.

Два последних романа видного английского прозаика Уильяма Купера «Любовь на побережье» (1973) и «Вы — не исключение» (1976), при всех жанровых отличиях и непохожести героев в идейном аспекте, составляют своеобразную дилогию.

«Любовь на побережье» — не типичный для манеры У. Купера роман. Это фарс, на примере американской молодежи зло высмеивающий псевдореволюционность «новых левых», их «революционное искусство» как выражение нерефлектированного, спонтанного акта, искусство, лишенное социального и нравственного содержания, и так называемую «революцию» в отношениях между полами, которые, как отчетливо показал У. Купер, из-за отсутствия нравственного потенциала могут стать, по сути своей, не менее порочными, нежели буржуазный брак-сделка.

Книга «Вы—не исключение», в отличие от «Любви на побережье», выдержана в классическом духе английского романа нравов, в котором наиболее полно проявляется талант У. Купера — реалиста, социального критика, комедиографа и проницательного психолога. Вспомним его более ранние произведения «Сцены из провинциальной жизни» (1950) и «Сцены из супружеской жизни» (1961).

«Вы — не исключение» — тоже «сцены», только на этот раз «из жизни врача». Джеральд — главный персонаж, автор заметок и рассказчик, преуспевающий лондонский терапевт, вдовец, которому уже за шестьдесят, отец взрослого сына — вполне доволен жизнью. У него — приносящая материальное и моральное удовлетворение работа, ради которой он отказывается от весьма лестного предложения занять пост консультанта в одной из ведущих американских клиник; он пользуется репутацией хорошего врача, оказавшего многим не только медицинскую, но и сугубо психологическую помощь. Зная, как необходимо бывает человеку выговориться, Джеральд дает своим пациентам возможность «излить душу», а затем почти всегда звучат испытанные временем и проверенные опытом слова: «Не волнуйтесь. Вы — не исключение».

Выбор профессии героя не случаен. Врач по долгу службы наблюдает разыгрываемую перед ним неприкрытую «человеческую комедию». Однако профессиональные медики, с которыми мы встречаемся на страницах книги: Годфри Мэнселл, Жервез Блэкуэлл, Стив Чекели, восьмидесятилетний профессор Смит, интересуют писателя прежде всего как люди, как человеческие индивидуальности — в их повседневных проявлениях, в тех ситуациях, когда для них вполне уместно звучит утешительное: «Вы — не исключение».

Однако книга Купера — это не только «сцены», но и, как становится ясно из подзаголовка, дневник. Сочетание «сцен» и «дневника» оказалось весьма удачным. Богатая человеческими типами, характерами, проблемами (Джеральда волнуют и положение в Ольстере, и события в Португалии, и неблагополучие политико-экономической ситуации в Великобритании), книга Купера написана в вольной, ассоциативно-произвольной форме дневника, допускающей откровенность, непосредственность суждений, свойственную личным записям, которые человек ведет только для себя.

Если в «Любви на побережье» У. Купер показал разрушение традиционной морали, то в новом романе он осмысляет и сатирически изображает последствия этого фено-

мена. Из дневника становится ясно, что Джеральд озабочен сохранностью общечеловеческих нравственных ценностей, которым «массовая культура» нанесла существенный урон. В его кабинете мы встречаемся с людьми, которые так или иначе стали жертвами моральной вседозволенности и распущенности.

Бездуховности «свободной любви» в романе противопоставлено подлинное чувство главного героя к дочери его ближайших знакомых — Полли Мэисел. Собственно, отношения шестидесятилетнего Джеральда и двадцатилетней девушки и составляют сюжетную канву романа, суть его дневниковых записей.

Взявшись описывать любовь стареющего мужчины к молоденькой девушке, У. Купер вступил на весьма рискованный путь, формально уподобив свой роман произведениям «массовой литературы», безжалостно эксплуатирующей этот сюжет. Однако у У. Купера подобная «история любви» прежде всего служит полемическим целям.

«Необычный» роман Джеральда и Полли на самом деле более чем тривиален в среде их знакомых. Друзья и даже родители Полли, немного посудачив на их счет, быстро успокаиваются и воспринимают его связь с девушкой, годящейся ему в дочери, а может быть, даже и внучки, как нечто само собой разумеющееся.

И единственный человек, для кого эта связь необычна, для кого она предмет мучений и терзаний,— сам Джеральд. Он понимает весь драматизм своих отношений с Полли. Потому что, как бы искренне ни было его чувство к ней, разница в возрасте берет свое.

В конце концов Полли выходит замуж за своего сверстника, а Джеральду остается лишь стойко переносить разрыв. Но он благодарен судьбе за счастливые минуты, которые ему подарила судьба на закате дней, за способность любить.

Литературный, расхожий штамп получил в книге У. Купера иное, этико-нравственное наполнение. Сюжет, щекочущий нервы обывателю, благодаря мастерству писателя и такту, с которым изображено в книге таинство любви, приобрел поистине драматическое звучание. Любовь Джеральда к Полли — единственный случай, описанный в романе, к которому не применимы жизненно мудрые, но в общем-то достаточно циничные слова: «Вы — не исключение».

Е. ГЕНИЕВА

КНИГА ДОЛЖНА СЛУЖИТЬ ВЗАИМОПОНИМАНИЮ

Когда я впервые посетил Советский Союз незадолго до того, как мне была поручена почетная миссия возглавить здесь дипломатическое представительство Португалии, я испытал тяжкое разочарование: дело в том, что я почувствовал себя совершенно неграмотным! Абсолютное незнание кириллицы не позволяло мне даже прочесть по слогам слова, из которых были составлены фразы на огромных транспарантах, попадавшихся на глаза на улицах, я не мог ориентироваться в надписях и вывесках, указывающих, что здесь находится—общественное учреждение или торгуют теми или иными товарами. И когда, в простоте душевной, я пытался соединить буквы, обладающие хоть каким-то графическим сходством с латинским алфавитом, получались слова удивительного фонетического звучания, и, уж конечно, они не имели ничего общего с тем, что означали на самом деле.

Проведя два с половиной года в Москве, я научился читать целые фразы, но моего словарного запаса не хватает, чтобы понять все, что читаю. Поэтому если бы меня спросили, какого я мнения о современной советской литературе, я вынужден был бы признаться, что не знаю ее настолько, чтобы честно высказать свое мнение. К этому грустному признанию я обязательно должен прибавить, что не могу назвать ни одной фамилии советского писателя, чье творчество отражало бы мои вкусы и предпочтения. Ведь познания мои ограничиваются в основном кругом писателей, переведенных на Западе, а выбор их там бывает основан не на литературных достоинствах, а обусловлен обстоятельствами иного рода.

В том достоянии культуры, которым я располагаю, русские писатели практически ограничены XIX и началом XX века и представлены они очень широко, среди них прославленные имена Пушкина и Лермонтова, Толстого, Достоевского и Горького,— я прочел их в более или менее точных переводах на французский или даже на португальский язык. Но о поэтах и прозаиках последнего полувека у меня очень неполное представление. Я не стыжусь признаться в этом — мое искреннее признание заключает в себе тревогу, это крик души, и он должен привести к расширению переводов советских поэтов и прозаиков, которые, я знаю это, представляют неиссякаемый источник литературных богатств.

Николай Федоренко, главный редактор журнала «Иностранная литература», в одном из своих интервью затронул именно эту тему, причем выводы его полностью совпадают с моей точкой зрения: зарубежные читатели плохо знакомы с произведениями советских авторов потому, что в западных странах очень мало переводят изданные в вашей стране книги. «Речь идет не только о количественной стороне дела,— сказал Федоренко.— Нередко у зарубежного читателя создается превратное представление о советской литературе». Вот именно эту проблему необходимо выявить со всей прямотой: надо значительно расширить распространение в мире советской литературы посредством перевода этой литературы на другие языки, тщательно и систематически отбирая книги самых разнообразных жанров. Эта не терпящая отлагательств за-

дача — познакомить мировое общественное мнение с различными течениями советской художественной прозы, поэзии и публицистики — должна быть подчинена главной цели: дать западному читателю материал, который позволил бы ему получить правильное представление о ценности этой литературы.

За время, прожитое в Москве, я сделал ряд наблюдений из жизни советских людей, и одно из наиболее интересных — это, с каким вниманием и любовью относятся они к литературе и искусству. Я имею в виду не только статистические данные о тиражах изданий и о количестве посетителей музеев. Достаточно, например, короткой поездки в метро, чтобы увидеть, как увлечены пассажиры чтением, нетрудно убедиться и в том, что всегда много посетителей в музеях, домах писателей или художников прошлых времен, превращенных в места культурного паломничества.

Я знаю, что советские издательства прилагают много усилий, чтобы развить обмен литературными произведениями с другими странами, будь это публикация в русском переводе зарубежных писателей или распространение книг советских писателей, изданных на других, более доступных нам языках. Эту большую и важную работу надо поощрять, ведь она служит очень ценным вкладом во взаимное узнавание народов. Что касается Португалии, я с большим удовлетворением убеждаюсь, что этот обмен расширяется и с нашей страной. Таким образом, и в Португалии, и в СССР смогут лучше узнать характерные черты наших народов.

Находясь в Советском Союзе, я выступал в разделе «Среди книг» журнала «Иностранная литература» со статьями о португальской литературе[1]. Сейчас, возвратившись на родину, я стараюсь вызвать интерес к советской культуре и способствовать укреплению культурных связей между нашими странами. Самого меня глубоко интересует все, что касается советской и русской классической литературы, особенно творчество и биография Пушкина.

Я уверен, что распространение литературы поможет сделать более безоблачной панораму международной жизни, так омраченную безрадостными заботами всего человечества. Разумеется, не случайно в одной из наиболее значительных глав Заключительного акта Совещания по Европейской безопасности и сотрудничеству в Хельсинки утверждается, что культурный обмен и сотрудничество способствуют лучшему взаимопониманию между людьми и между народами, способствуя таким образом длительному пониманию между Государствами. Самая сокровенная мечта человека нашего времени — добиться того, чтобы на земле процветал мир, чтобы воцарилась обстановка здорового братства и завоевания науки и техники использовались лишь в добрых целях. И книга, к сожалению столько раз служившая орудием насилия и непонимания, должна служить отныне миру и взаимопониманию!

МАРИУ НЕВИШ

г. Лиссабон

[1] См. «Иностранную литературу» № 8 за 1977 г.

1878–1978

НЕВА ТУЗСУЗОВА (Болгария). Сбор роз

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

РОЙ ФУЛЛЕР — ДЕТЯМ

В издательстве «Андре Дойч» вышел сборник известного поэта и публициста Ров Фуллера. На сей раз стихи Ров Фуллера адресованы детям. К новому сборнику, пишет рецензент журнала «Букс энд букмен» Д. Бригс, в полной мере применимы слова самого Ров Фуллера о стихах Р. Л. Стивенсона «Детский цветник стихов»: «Поэт не подделывается к своим маленьким читателям, не пытается быть с ними на равной ноге, но вполне серьезно обсуждает в стихотворной форме поставленные проблемы и, благодаря иронии и мастерской остраненности, дает возможность детям и подросткам найти собственные ответы на интересующие их вопросы, сформулировать мнение о предметах и людях, окружающих их». Хотя, замечает рецензент, Рой Фуллер и выступает в новом для него жанре детского поэта, качество его стихов в новом сборнике нисколько не хуже, чем в предыдущих. Их по-прежнему отмечает ясность стиля, четкость нарисованных образов, проблемность.

АНГОЛА

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО, ОТДАННЫЕ НАРОДУ

О роли творческой интеллигенции Анголы в борьбе за освобождение и создание новой жизни поведал в интервью журналу Международного союза студентов «Яит синема энд тиэтр» видный ангольский писатель и политический деятель Жозе Луандину Виейра. Более десяти лет провел он в салазаровских застенках, но и в тюрьме продолжал бороться и творить. В концентрационном лагере в Таррафале ему удалось создать небольшую библиотеку для заключенных, написанные им в неволе рассказы, эссе, короткие повести по листочкам выносились за пределы тюрьмы, тайком переправлялись за границу, а по созданному в эти годы роману Виейры «Истинная жизнь Домингуша Шавьера» был даже снят фильм под названием «Саимбизаига». Прогрессивно настроенные литераторы Португалии требовали немедленного освобождения ангольского писателя. В 1965 году жюри, состоящее из известных мастеров пера, присудило ему литературную премию. Узнав об этом, тогдашний диктатор страны Салазар распустил Ассоциацию португальских писателей и ввел санкции и запреты на деятельность различных культурных организаций Анголы, объявив их «подрывными и коммунистическими».

Но несмотря на запреты, борьба ангольской интеллигенции, все более и более сознававшей себя частью своего народа, продолжала шириться и крепнуть. Как отмечает Жозе Луандину Виейра, все без исключения литераторы страны примкнули к Народному движению за освобождение Анголы. У его истоков стояли известные писатели Мариу Андради и Виринату да Круш, а также поэт и революционер Агостиньо Нето, ныне президент Народной Республики Анголы. В рядах повстанцев сражались многие талантливые литераторы, в условиях сурового подполья создавали свои произведения Арналду Сантуш и Жоржи Маседу, не оставляли свое боевое перо в концентрационных лагерях Антониу Жасинту, возглавивший в новом правительстве Министерство культуры, и Мануэл Пакавира, сочетающий теперь писательскую деятельность с постом министр-

ра железнодорожного транспорта и навигации.

Сам Виейра вышел на свободу и смог вернуться на родину лишь после получения Анголой независимости 11 ноября 1975 года. В настоящее время он возглавляет Национальную службу телевидения Анголы. Как и другие ангольские деятели культуры, Виейра считает, что в условиях страны, только что получившей независимость, пережившей годы тяжелой и упорной борьбы с колонизаторами и гражданскую войну, развязанную силами империализма и их пособниками, заниматься лишь творческой деятельностью было бы непростительной ошибкой, ибо кадры интеллигенции страны крайне малочисленны, а задачи восстановления хозяйства требуют трудового энтузиазма и готовности к полной отдаче каждого ангольца. Возглавляемое Жозе Луанди Виейрой телевидение Анголы основной своей задачей ставит борьбу с ликвидацией неграмотности — этим тяжким наследием колониального прошлого, пока еще охватывающим 85% населения страны. В планы национального телевидения также входит создание серии документальных фильмов о трудовых буднях ангольского народа и истории его борьбы за освобождение.

БОЛГАРИЯ

К 100-летнему юбилею освобождения Болгарии от османского ига болгарские художники создали новые произведения, посвященные героическому подвигу народа. На снимке: плакат художника С. Данчева, на котором изображена со знаменем в руках героическая Райна-Княгиня, учительница из Панагюрище Райна Попгеоргиева, сама вышившая знамя восстания.

БРАЗИЛИЯ

ТРУДНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО КИНОПРОИЗВОДСТВА

Иностранные прокатные компании, в основном американские, почти полностью захватили бразильский кинорынок.

Бразильские кинематографисты в своем творчестве сталкиваются с неразрешимыми проблемами. Если им и удается, несмотря на страшную дороговизну съемок, сделать хороший фильм, он может не попасть на экраны либо по воле иностранных прокатчиков, либо из-за произвола цензуры.

О рогатках цензуры красноречиво свидетельствует судьба фильма «Ирасема», снятого талантливыми режиссерами - постановщиками Жоржи Боданским и Орланду Сеной. В этом фильме, сочетающем приемы документального и художественного кинематографа, рассказывается о том, как капиталистическая индустриализация северо-восточных областей Бразилии не только разбивает вековые традиции, но и калечит судьбы простых людей.

Ирасема — имя молодой индейской девушки. Вместе с родителями на маленькой лодке переплывает она по волнам бурной Амазонки от селения к селению, где продает нехитрые изделия индейского ремесла. Впервые попав в большой город,

Ирасема оставляет родителей и вместе с шофером грузовика отправляется искать счастья по Трансамазонской магистрали. Вместо счастья, широко разрекламированного как «бразильское экономическое чудо», она познает всю горечь унижения, морального и физического.

Роль шофера грузовика исполняет популярный актер Паулу Сезар Перейру — единственный профессиональный исполнитель, занятый в фильме. Его герой, одурманенный буржуазной пропагандой о «великой и непобедимой Бразилии», свято верит во все демагогические лозунги даже тогда, когда сама жизнь опрокидывает их. Шофер бросает девушку, ставшую для него обузой. В конце фильма они снова встречаются, и шофер отказывается подать милостыню Ирасеме, превратившейся в убогую нищенку.

Фильм, с успехом демонстрировавшийся и получивший специальные награды на международных фестивалях в Западном Берлине, Пезаро и Канне, до сих пор не вышел на экраны бразильских кинотеатров, ибо, как отмечено в постановлении цензуры, он «слишком натурально отображает действительность».

ВЕНГРИЯ

«ЗАДАЧА» АННЫ ЙОКАИ

Вот уже несколько месяцев на страницах венгерской печати идет разговор о новом романе Анны Йокаи «Задача». Романи посвящен женщинам, их труду, их личной жизни, месту, занимаемому ими в обществе. Четыре героини романа — археолог Флора, работница Панни, служащие Вера и Марика. Флора человек волевой, живущий прежде всего интересами любимого дела; Панни, слабохарактерная по натуре, целиком подчинена мужу, она замыкается в узком семейном мирке; Марика всеми силами пытается продвинуться по служебной лестнице; Вера ставит целью во что бы то ни стало выйти замуж.

Молодая венгерская актриса Эва Серенчи уже завоевала популярность у зрителей.
На снимке: Эва Серенчи в фильме «Абигель», в основу сценария которого лег одноименный роман известной венгерской писательницы Магды Сабо.

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

«Одна из самых привлекательных черт творчества Анны Йокаи,— пишет на страницах газеты «Непсабадшаг» критик Ласло Заппе,— умение органически соединять личное и общественное. Анна Йокаи как художник и как писатель всегда стремится показать, каким должен быть человек социалистического общества».

Этой задаче подчинен и образ главной героини романа Флоры, которая, по мнению другого критика Анны Фёльдеш (еженедельник «Элет эш иродалом»), является образом собирательным; на его примере Анна Йокаи показывает общие проблемы современной женщины: приносит ли ей ощущение счастья работа, может ли она браться за выполнение задач большой общественной важности, и если да, то как это успешно совмещать с заботами о семье.

Критику Яношу Силади (газета «Мадьяр немзет») видится в Флоре личность яркая, сильная. «Флора интересней своих подруг,— пишет он,— ибо они обедняют свое существование, ограничивая его лишь сугубо личными интересами, а она живет интересами общественными, и это делает ее мудрее, прозорливей, она пользуется особым уважением, к ней тянутся».

Критики по-разному относятся к художественному решению поднимаемой в романе проблемы стиля жизни. Если Силади считает, что Анна Йокаи в этом романе держит читателя в постоянном напряжении за счет динамичности происходящих событий, то Фёльдеш усматривает в романе некоторую расплывчатость, даже легковесность, а Ласло Заппе утверждает, что в нем сделана серьезная попытка как можно глубже проникнуть в суть злободневных проблем времени. По его мнению, новая книга Анны Йокаи — «значительный вклад в ту борьбу, которая ведется в нашем обществе за образ жизни, наиболее достойный современного человека».

ГДР

«ЮЛИЯ, КОТОРАЯ РЯДОМ С НАМИ»

На четырнадцатом Международном фестивале телевизионных фильмов, состоявшемся недавно в Праге, первый приз «Золотая Прага» был присужден фильму режиссера Райнера Бара «Юлия, которая рядом с нами».

Это фильм о первой любви молодого механика Роберта Монтага и ученицы-декоратора Ютты Кашуль. Имена героев не случайно имеют сходство с именами, которые дал Шекспир героям «Ромео и Джульетты». Элементы классической драмы как бы вплетены в действие фильма, хотя никакой прямой аналогии нет. В про-

фессиональном училище, где учится Ютта, она как раз занимается изучением «Ромео и Джульетты». Ей, девушке очень современной, сначала кажутся смешными сильные, трагические чувства, она считает, что время таких чувств давно прошло. Но постепенно судьба героев Шекспира все больше захватывает ее, она все чаще цитирует драму, и эти цитаты становятся своеобразным фоном, на котором разворачивается сложная история взаимоотношений с Робертом.

«Райнер Бар ставит в своем новом фильме важные проблемы взаимоотношений людей в семье, ответственности родителей за «воспитание чувств» детей, за то, какими они вырастут и как сформируется их отношение к семье и к обществу,— пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд».— Сопоставляя семьи, в которых выросли Ютта и Роберт, создатели фильма подчеркивают, что именно неблагополучие семьи Роберта ведет к разладу и в нем самом, и в отношениях с любимой девушкой».

«Фильм поднимает важный вопрос — о месте больших чувств в нашей жизни,— пишет газета «Берлинер цайтунг».— Как и прежние фильмы Райнера Бара, этот новый фильм очень поэтичен».

«В фильме рассказана простая история любви, в которой, казалось бы, нет ничего выдающегося,— пишет рецензент еженедельника «Зоннтаг».— Но недаром фильм удостоен высокой награды. Эта история подана так, что она интересна и важна для всех, кто увидит ее на телевизионном экране».

Рецензенты отмечают хорошую игру актеров и удачную работу всего творческого коллектива.

ДЕБЮТ ИЗВЕСТНОГО СЦЕНАРИСТА

Вольфганг Кольхаазе до сих пор был известен как сценарист (о нем см. «ИЛ» № 6, 1977 г.). За свои сценарии в 1977 году он был удостоен Национальной премии и премии Объединенных свободных немецких профсоюзов. Сейчас в издательстве «Ауфбау» выходит сборник его рассказов «Новогодний вечер с Бальзаком». Рассказ, давший название сборнику, Кольхаазе прочел в Немецкой академии искусств.

Действие рассказа происходит в наши дни. Главному герою Паулю около сорока лет, он пишет для телевидения, но не удовлетворен своей деятельностью. Одновременно Пауль переживает кризис в личной жизни. Не желая поддаваться тяжелым обстоятельствам, он пытается коренным образом изменить всю свою жизнь. Линия главного героя переплетена с историями многих других персонажей.

«На чтении присутствовали многие известные писатели,— пишет еженедельник «Зоннтаг». — Председательствовал на вечере Герман Кант. Около часа продолжалось выступление Вольфганга Кольхаазе. Его слушали с большим интересом. Слушатели отметили удачный дебют Кольхаазе, который показал себя мастером композиции и деталей, рассказчиком, обладающим хорошим чувством юмора».

ФРГ

ТРЕВОГИ ЗАПАДНОГЕРМАНСКИХ ИЗДАТЕЛЕЙ

Деятели многих издательств в ФРГ выражают озабоченность в связи с растущей концентрацией книгоиздательского дела, которая может привести к фактической ликвидации малых фирм. «Все возрастающая стоимость типографских расходов,— пишет в журнале «Меркур» один из руко-

На снимке: кадр из телевизионного фильма «Юлия, которая рядом с нами». В главных ролях: Марина Крогуль и словацкий актер Юрай Дурдиак.

(Еженедельник «Зоннтаг»)

водителей издательства «Лухтерханд»,—особенно тяжело отражается на малых издательствах и на авторах-дебютантах. При начальном тираже 2 000 экземпляров роман начинающего автора объемом в 250 страниц должен, чтобы окупить затраты, стоить 38 марок — цена немыслимая». Поэтому издательства изощряются в погоне за бестселлерами, искусственно раздувая шумиху вокруг некоторых книг, чтобы увеличить их тиражи. Все большую власть приобретают в то же время такие гигантские издательские концерны, как «Бертельсман» или «Хольцбринк». Представитель другого издательства, «Ульштайн», пророчествует на страницах журнала «Бухрепорт»: «Отмирание издательств только начинается... Верить, что литературе это не причинит вреда,— значит предаваться иллюзиям».

ЕГИПЕТ

САБРИ МУСА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРЕМИИ

«Я категорически отказываюсь получать американские деньги от фирмы, которая не имеет никакого отношения к литературе». Такое заявление, по словам обозревателя газеты «Багдад обсервер», сделал египетский писатель Сабри Муса, отклонивший премию, учрежденную американской нефтяной компанией «Мобил ойл» за лучший египетский роман, опубликованный за последние пять лет.

Одобряя этот шаг писателя, обозреватель иракской газеты отмечает, что как сама премия, так и комитет, присудивший ее, носят сомнительный характер. Комитет, в чью задачу входит отбор лучших произведений египетских авторов, состоит из людей, которые в течение ряда лет сотрудничали с американской организацией «Институт Франклина», занимающейся пропагандой западной буржуазной культуры в странах Востока. В комитет также входят некоторые «новообращенные» — такие, как писатель и критик Луис Авад, раньше считавшийся «левым», а ныне ставший «ярым сторонником правых».

Премия «Мобил ойл» в размере тысячи египетских фунтов была присуждена Сабри Мусе за его роман «Гиблые места».

«Гиблые места» — не единственная книга египетского писателя. Начиная с 1958 года С. Мусой были опубликованы три сборника рассказов, две книги путевых очерков и роман «Инцидент длиной в полметра». Однако наибольший успех имел роман «Гиблые места», который ветеран египетской литературы Тауфик аль-Хаким назвал «новым и интересным экспериментом, отвечающим духу современной эпохи».

Роман показывает вырожденне бывшей египетской аристократии, сметенной революцией 1952 года, и раскрывает методы эксплуатации египетских трудящихся иностранной буржуазией, действующей в союзе с местными богачами.

Если вспомнить, что «Мобил ойл», присудившая премию за этот роман,— американская монополистическая компания, эксплуатирующая арабские народы и грабящая их богатства, то можно понять демагогические мотивы, которыми она руководствовалась, присуждая премию автору произведения, как раз разоблачающего неблаговидные действия иностранных компаний. Эта сомнительная премия, по мнению обозревателя газеты «Багдад обсервер», должна была подорвать веру писателя в высокое назначение своего творчества и снизить воздействие его произведения.

ИНДИЯ

НАГРАДЫ ЛИТЕРАТОРАМ

Особое внимание современная администрация Индии — как центральное правительство страны, так и

Фильм «Движение» режиссера Мохана Бхатия рассказывает об августовских событиях 1942 года, когда по всей стране развернулось мощное национально-освободительное движение под лозунгом: «Англичане, вон из Индии!». В ряде районов это движение переросло в вооруженное восстание, жестоко подавленное английскими колонизаторами.
По мнению рецензента газеты «Джан юг», Мохан Бхатия создал высоко художественное, глубоко патриотическое произведение, на котором будет воспитываться не одно поколение зрителей.
На снимке: кадр из фильма «Движение».

(Газета «Джан юг»)

правительства отдельных ее штатов — уделяют деятелям культуры: писателям, поэтам, драматургам, кинорежиссерам, актерам. Примером может служить решение правительства штата Пенджаб отметить творчество ряда видных писателей и поэтов, вся жизнь и деятельность которых связаиа с этим районом страны. Официальным языком штата, как известно, является пенджаби, однако миогие пенджабские литераторы в своем творчестве используют также хинди и урду. Решением правительства премни присуждены как тем, кто пишет на пенджаби, так и тем, кто предпочитает создавать свои произведения иа хинди или урду.

Как сообщает газета «Джаи юг», среди лауреатов, удостоенных первых премий штата,— выдающийся поэт урду Сахир Лудхиянви (род. в 1921 г.), известный прозаик хинди Девендра Сатьяртхи (род. в 1908 г.), новеллист Навтедж Сингх (род. в 1925 г.), который пишет иа пенджаби.

Вторые премии присуждены Прабхджот Каур (пенджаби), а также двум поэтам — Динешу (хинди) и Мелараму Вафе (урду).

Несколько раиее, как сообщает газета «Джаи юг», иа торжествеииой церемонии, проходившей в гор. Лакхнау — столице штата Уттар-Прадеш, губернатор штата М. Ч. Редди вручил премии 36 литераторам и пандитам—зиатокам древних текстов, которые пишут на санскрите. Первые премии присуждены д-ру Б. Б. Мираши из Нагпура, Р. П. Авастхи из Файзадада и д-ру Д. Н. Шастри из Мератха.

Бальбхадра Прасад Шастри из Барели удостоен премни имени великого драматурга и иоэта древности Калидасы.

ИРАК

«АС-САКАФА АЛЬ-ДЖАДИДА» О ВЕЛИКОМ ОКТЯБРЕ

Редакция журнала «Ас-Сакафа аль-Джадида» («Новая культура») — ежемесячника Коммунистической партии Ирака по вопросам идеологии и культуры — опубликовала специальный номер, посвященный 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

В иомере помещеио иитервью с Первым секретарем ЦК Иракской компартии Мухаммедом Азизом, рассказавшим о зиачеиии опыта Великого Октября для народов мира, в частиости для арабского иациоиальио-освободительиого движеиия.

Со статьями, посвященным различным аспектам опыта Великой Октябрьской социалистической революции и его зиачению для арабских стран, в журиале выступают видиые деятели Иракской компартии, историки, экоиомисты, специалисты по вопросам образования и культуры.

Так, решению женского вопроса — проблемы, все еще чрезвычайно актуальной для Ирака,— посвящена статья публицистки Суад Хайри «Октябрьская революция и женщина». Об опыте решеиия иациональиого вопроса в СССР рассказывается в статье доктора Халиля аль-Джазаири. Проблемам ленииской политики в области культуры посвящено исследоваиие доктора Халида ас-Саляма.

О советской литературе и искусстве, рожденных революцией, рассказывается в статье критика Сабах Али аш-Шахир «Октябрь и литература сияющих вершин» и очерке писателя Джияиа «Великий спектакль» (о творчестве кинорежиссера С. Эйзеиштейиа).

Славиому прошлому и иастоящему Леиинграда посвящеи очерк Рашида Рушди.

Интересную вариацию на темы стихов революциоиных поэтов разных стран и народов — Маяковского, Гарсиа Лорки, аль-Джавахири (Ирак), Абдаллы Горана (Иракский Курдистан), Назыма Хикмета, Элюара и Пабло Неруды — иаписал поэт Рушди аль-Амиль (стихотворение «Память...»).

В этом же иомере журнала опубликованы статья товарища Б. Н. Поиомарева «Некоторые вопросы теоретической деятельиости КПСС», а также материалы состоявшейся в Праге международной иаучно-теоретической коифереицни, посвященной 60-летию Октября.

ИСЛАНДИЯ

ЛАКСНЕСС ПИШЕТ НОВЫЙ РОМАН

Известный исландский писатель лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между иародами» и Нобелевской премии по литературе Х. К. Лаксиесс пишет иовый роман.

В беседе с иорвежским журиалистом из газеты «Фрихетеи» Хьелем Гульбраисеиом писатель рассказал, что он много и упорно работает, твердо придерживаясь четко разработаиного плаиа.

Писатель не захотел ничего сообщить о содержании иового ромаиа. «Я никогда никому ие рассказываю, о чем идет речь в моих книгах и что я хотел в них сказать. Читайте сами и тогда узиаете». На вопрос, сколько им всего иаписано кииг, Лаксиесс ответил: «Теперь уже почти пятьдесят. Более двадцати из них сборники эссе. Ведь мие много приходилось писать для различных зарубежных газет. Когда речь идет об эссе, то тут я «всеядеи». Пишу и по вопросам политики, и религии, и обществеиной жизни, и музыки, и живописи».

Говоря о зиачении для своего творчества древнеисландской литературы, писатель сказал: «Я охотнее читаю древние саги, чем современную исландскую литературу. Ведь саги — это лучшее, что зиает мировая литература. Они как бы всегда парят над нами. Для меня лично это — эталон великолепной исландской словесности. Современный исландский язык обеднел. Кажется, что мы теперь не в состоянии создать иичего похожего в сравнении с тем великолепным языком, на котором писали древние ма-

стера литературы. Язык тогда был проще, авторы умышленно обходились меньшим количеством слов для передачи тонкостей мысли. Изучая саги, мы можем в полном объеме познать подлинные красоты литературы».

Лакснесс коснулся издания своих произведений за рубежом и, в частности, в Норвегии. «Я не хочу, чтобы мои книги выпускались в Норвегии — там наборщики делают слишком много опечаток. Зато в Венгрии мои книги хорошо готовят и хорошо издают, так же как в Советском Союзе, ФРГ, Испании».

ИТАЛИЯ

ИТАЛЬЯНСКИЕ РИСУНКИ ГЁТЕ

В 1786 году, разочаровавшись в административной деятельности, Иоганн Вольфганг Гёте покинул Веймар и отправился в путешествие по Италии. Свои впечатления о двухлетнем пребывании в стране древней культуры будущий великий поэт и мыслитель запечатлел в рисунках. Он тогда еще не знал точно, каково его призвание: живопись или литература. Графическое наследие Гёте, хранящееся в Веймаре, насчитывает 3 тысячи рисунков, из них 800 — на итальянские темы. Недавно 75 из этих рисунков вновь совершили путешествие в Италию и экспонировались сначала в Венеции, затем в Болонье и, наконец, в Риме.

Организаторы выставки — Римское общество Томаса Манна, Итальянский институт германистики, с одной стороны, и различные учреждения культуры ГДР — с другой.

Сам Гёте впоследствии очень скромно оценивал художественные достоинства своих рисунков, тем не менее хранил их. Они играли такую же роль в поэтическом творчестве Гёте, как архивные материалы — в труде историка. «Беспредельная красота предметов и явлений, которые запечатлялись в памяти Гёте и возбуждали его фантазию, была перенесена в поэзию»,— отмечается в каталоге выставки. «То, что я рисовал и изучал искусство, взрастило и развило мое поэтическое творчество», — это признание самого Гёте. Изобразительное творчество великого поэта тесно связано было и с его интересами к естественным наукам.

Открывают выставку виды Рима и зарисовки различных замков. По мнению корреспондента газеты «Паэзе сера», они отражают восприятие Италии многими представителями немецкой культуры, в этих пейзажах чувствуется влияние искусствоведческих работ старшего современника Гёте — Винкельмана, его неоклассической трактовки искусства, а также традиции живописи Никола Пуссена и других художников XVII века.

Другая, самая большая серия рисунков — акварели с изображением окрестностей Неаполя и сицилийских пейзажей. В лучших из них, таких как «Лунный прибрежный пейзаж», проявляется, пишет корреспондент «Паэзе сера», неожиданный для нас талант Гёте — романтического художника.

Восторженно отзывается о гётевских пейзажах корреспондент «Униты» Франко Миракко. Останавливается он и на других жанрах гётевской графики, в частности — на этюдах античных голов. Здесь не только совершенство формы, считает Миракко, здесь — попытка художника войти в тесный контакт с историей, как бы воплотиться в ней.

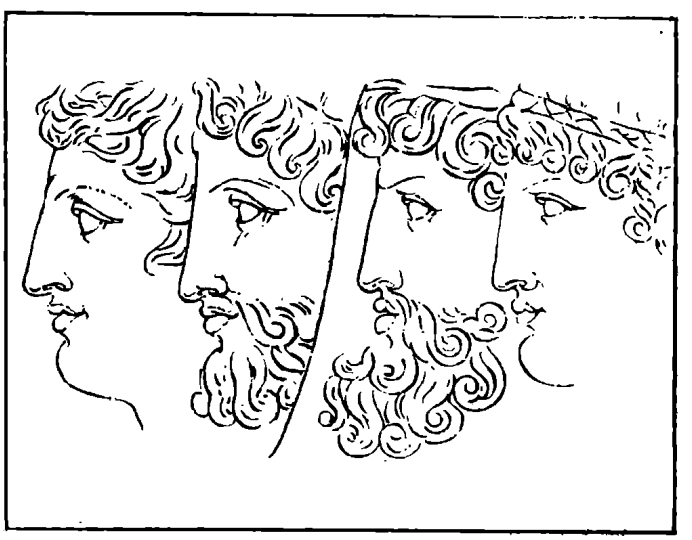
ЧТО СЕГОДНЯ ПИШУТ И ЧТО ЧИТАЮТ

21 октября 1977 года вышел первый номер нового приложения «Либри» к еженедельному журналу ИКП «Ринашита». Цель этого нового литературного приложения, как пишет «Унита»,— «освещать взаимоотношения между книгоиздательским рынком и читателями, между авторами и читателями, тематику произведений, то, как раскрывается в книгах современная политическая и социальная действительность».

Критик Оттавио Чекки пишет в газете «Унита», что «Либри» родились в связи с глубокими изменениями, происшедшими в Италии за последние годы: начиная с 50-х годов книгоиздательское дело значительно разрослось. Намного увеличи-

На снимке: рисунок Гёте «Этюды голов».

(Газета «Унита»)



лось количество издаваемых книг и возросли тиражи, книга превратилась в один из товаров «массовой культуры», спекулирующих на некоторых «модных» темах и проблемах современной жизни. Читателю нужно помочь разобраться в море книг, в том, что издается, дать определенную информацию и рекомендации. При этом имеется в виду в первую очередь читатель массовый, «средний»—рабочие, молодежь, посетители городских библиотек. Это особенно необходимо потому, что «третьи полосы» ежедневных газет, обычно публикующие рецензии на книги, не справляются со своей задачей, они фиксируют некоторые уже вышедшие издания, но не направляют читательский интерес, не способствуют его развитию. В сложных условиях «общества потребления» нужно противопоставить «книге-товару» — «книгу-инструмент» овладения культурой, инструмент роста самосознания, постижения социальной, политической, экономической действительности как в Италии, так и во всем мире, пишет Чекки.

Новое приложение (объемом 12 страниц) будет иметь постоянные разделы и рубрики.

Две его первые страницы будут заняты статьей (или интервью, или отчетом о «круглом столе»), которая, отталкиваясь от какой-либо новой книги или нескольких книг, исследует одну из актуальных проблем — например, вопрос о доходчивости литературного произведения, о причинах успеха или неуспеха книги у читателей, о современной теме в литературе, о политике книгоиздателей и так далее.

Первый номер «Либри», к примеру, открывается отчетом о встрече редакции журнала «Ринашита» с рабочими металлургического завода «Италсидер» в Пьомбино, в ходе которой обсуждался широкий круг вопросов о взаимоотношениях между читателем и писателем, между читателем и книгоиздателем.

В рубрике «Предложения для чтения» вместо обычных рецензий на книги будут помещены аргументированные рецензии-рекомендации, рассчитанные как на специалистов (писателей, критиков, ученых), так и на широкого читателя и охватывающие и художественную, и научную, и научно-популярную литературу. Центральное место занимает специальная рубрика, она будет посвящена статьям и корреспонденциям на тему, что читают в Италии и за границей, в том или ином городе, где и какие проводятся литературные дискуссии, как посещаются библиотеки, что покупают в книжных магазинах, будет даваться информация о том, по каким причинам, где и почему книга не доходит до читателя (например, во многих селениях Юга Италии нет библиотек, а если и есть, то они плохо укомплектованы). Затем важное место занимает раздел «Библиографические карточки»— аннотации на новые книги как художественной литературы, так и по различным отраслям знания. Также будут публиковаться и аннотации важнейших статей из литературных журналов. Последняя страница «Либри» отведена под списки вышедших за последний месяц книг.

На снимке: актеры Монна Таиберг и Тур Стокке в спектакле «Гедда Габлер».

(Газета «Фрихетен»)

НОРВЕГИЯ

«ГЕДДА ГАБЛЕР» НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

Высокую оценку критики и зрителей получил телевизионный спектакль по пьесе Г. Ибсена, 150-летие со дня рождения которого отмечается в марте этого года, «Гедда Габлер».

Написанная в 1890 году, эта пьеса построена на конфликте, характерном для многих поздних произведений Ибсена,— на столкновении сильной одаренной личности с косной враждебной средой.

Гедда Габлер — один из самых ярких женских образов ибсеновской драматургии — не может смириться с заземленной мещанской атмосферой, царящей в доме ее мужа — бесталанного историка Тесмана. Но бунт Гедды Габлер, обернувшийся цепью бессмысленно жестоких, циничных поступков, заканчивается трагически. Ей кажется, что за ней «всюду так и следует по пятам смешное и пошлое», и она кончает жизнь самоубийством.

«Пьеса «Гедда Габлер», с ее напряженным психологизмом, многоплановостью и емкостью образов, с широким диапазоном морально-этической проблематики,

звучит актуально и сегодня», — пишет театральный обозреватель газеты «Фрихетен».

ПОЛЬША

ЭКРАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЗОФЬИ НАЛКОВСКОЙ

Польские кинематографисты осуществили экранизацию сразу двух произведений известной польской писательницы Зофьи Налковской «Роман Терезы Геннерт» и «Граница».

В книге «Роман Терезы Геннерт» (1923), в свое время получившей широкую известность, действие происходит в Варшаве в межвоенное двадцатилетие. Писательница дает яркую зарисовку жизни и быта буржуазной Польши, изобличая порочную систему бюрократического правления, казнокрадство, карьеризм и коррупцию. Показывает несостоятельность распространенной тогда теории «надклассового» положения интеллигенции в обществе, смысл которой сводился в конечном счете к оправданию антинародной политики правящих классов.

Фильм «Роман Терезы Геннерт» снял известный актер Игнацы Гоголевский, это его режиссерский дебют в кино. На роль Терезы Геннерт он пригласил Барбару Брыльскую.

Наиболее значительное произведение Зофьи Налковской — роман «Граница» (1935)—лег в основу фильма Яна Рыбковского. В нем также повествуется о судьбе польской интеллигенции в межвоенный период. В центре романа — судьба Зенона Зембовича, который из рядового журналиста превращается в чиновника городского управления. Писательница показывает перерождение своего героя, утрату им благородства и честности по мере того, как он переходит на сторону реакции и становится защитником социальной несправедливости. Рисуя разные стороны общественной и политической жизни буржуазной Польши, Налковская стремится установить социальную и историческую обусловленность человеческих действий.

Корреспондент газеты «Жице Варшавы» Малгожата Дипоит спросила Яна Рыбковского, почему он обратился к роману «Граница». Режиссер ответил, что автор сценария Юзеф Хен нашел верное решение, очень верный ключ для кинематографического воплощения романа. «Проблемы, которые поднимает в своем романе Зофья Налковская,— сказал он,— не ограничиваются рамками определенной эпохи, они гораздо шире; будь то вопрос служебной карьеры или личного преуспеяния, писательница стремится определить моральный критерий в отношениях между людьми. Эта идея уже заключена в названии романа, так как она говорит о границе дозволенности в человеческих деяниях».

На вопрос корреспондента газеты, почему все чаще мастера, особенно кинематографисты, обращаются к эпохе межвоенного двадцатилетия, случайно ли это, Рыбковский ответил: «Это закономерно, потому что в свое время эта эпоха трактовалась очень упрощенно, схематично, а сейчас наступило время ее переоценки. Это был немаловажный период в нашей истории, когда после долгих лет неволи складывалась наша государственность, стал создаваться единый национальный организм и поэтому очень остро возникла потребность в постановке моральных проблем, проблем ответственности человека перед обществом за свои поступки, проблем, которые и сейчас заставляют нас задумываться».

Характерные для творчества Налковской черты: любовь к простому человеку, глубокое проникновение в его психологию, раскрытие социальных контрастов в буржуазной Польше, разоблачение деловых кругов буржуазии и чиновничества с их грязными закулисными махинациями, моральным ничтожеством, своекорыстием и паразитизмом — польские кинематографисты постарались воплотить на экране.

На снимках: Барбара Брыльская, широко известная советскому зрителю как исполнительница главной роли в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром», в роли Терезы Геннерт. Славомира Лозинская в роли Юстины в фильме «Граница».

(Журнал «Фильм»)

РУМЫНИЯ

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ — ПРОТИВ ФАШИЗМА

«Скынтейя» опубликовала интервью известного критика и публициста, директора

«Зеленая трава родных полей» — новый румынский фильм, поставленный режиссером Стере Гуля по сценарию известного прозаика Сорина Титела. Рецензент еженедельника «Ромыния литерарэ» Д. И. Суяну называет фильм «серьезным и тонким» рассказом о молодых строителях новой Румынии, о тех, кто борется на труднейших участках за социалистическую новь, являя пример мужества, стойкости и влюбленности в свое дело.
На снимке: исполнители главных ролей, чья игра, по словам рецензента, способствовала успеху фильма, Диана Лупеску и Флорин Замфиреску.

(Еженедельник «Ромыния литерарэ»)

журнала «Ромыния литерарэ» Дж. Ивашку, в связи с выходом в свет антологии «Весомость слова (1939—1945)».

Антология, сказал Дж. Ивашку, объединяет материалы, которые свидетельствуют об антифашистских позициях прогрессивных деятелей культуры Румынии, поднявших свой голос против агрессивной политики господствующих классов в мрачные годы фашистской агрессии. В первых рядах этих деятелей культуры выступали писатели, журналисты, ученые, члены Национального антифашистского комитета и Ассоциации друзей СССР.

Расположенные в хронологическом порядке материалы подпольных коммунистических изданий, статьи крупных художников слова М. Садовяну, Г. Галактион, К. Петреску, Т. Аргези, З. Стаику и многих других, обращение работников высшей школы к Антонеску в 1944 году с требованием о выходе из антисоветской войны, призывы к созданию единого фронта демократических сил — вот, в частности, материалы, составляющие антологию, которую предваряет обширная вступительная статья Дж. Ивашку.

США

НОВЫЙ РОМАН ИРВИНА ШОУ

В издательстве «Делакорте» вышел новый роман Ирвина Шоу «Нищий, вор», являющийся продолжением истории семейства Джордаш, которую автор рассказал в одном из своих предыдущих романов под названием «Богач, бедняк». Обе книги занесены в списки бестселлеров.

Действие романа «Нищий, вор» происходит на юге Франции. Томас Джордаш, «паршивая овца» в семье, погибает в портовом кабачке от руки бандита при попытке защитить свою невестку алкоголичку Джин от приставаний пьяного хулигана. Сын Томаса, шестнадцатилетний Уэсли, задается целью разыскать виновника смерти отца и отомстить ему. Об этом опасном замысле узнают родственники Уэсли: двоюродный брат Билли и дядя Рудольф — муж той самой Джин, «честь» которой защищал Томас. Рудольф, миллионер и видный деятель демократической партии, желая избежать скандала, хочет удержать племянника от безрассудного шага и сам разделаться с бандитом с помощью наемного убийцы. Билли, возненавидевший дядю вызволить Уэсли из беды, сам попадает в сети террористической организации, центр которой находится в ФРГ. Через любовницу Монику, с которой он познакомился в бытность ее сотрудницей НАТО в Брюсселе, террористы дают Билли задание подложить бомбу в фестивальном зале в Каине, где демонстрируется фильм его матери-режиссера, сорокалетней красавицы Гречен Берк. Не желая стать виновником смерти матери, Билли решается выдать французской полиции связного, принесшего ему бомбу, вследствие чего становится жертвой преследований террористов. Возвратившись в Америку, он пишет в своем дневнике: «Я становлюсь невротиком... Мне кажется, что за мной постоянно следят... Если меня убьют или если я умру таинственной смертью, то виной этому будет женщина по имени Моника Уолкер».

В конце романа родственники Томаса Джордаша случайно узнают из марсельских газет, что бандита, которого они разыскивали, давно уже нет в живых. Полиция обнаружила его труп за полгода до того, как Уэсли и его дядя Рудольф приехали из США в Европу.

Редакция ежемесячника «Бук дайджест», публикуя отрывки из этого романа, пишет: «Ирвин Шоу — один из прославленных американских писателей, произведения которого — романы, рассказы, пьесы и докумен-

тальные труды — известны по всему миру».

В Советском Союзе переведены его романы «Молодые львы» и «Вечер в Византии» («ИЛ», 1975), а также ряд пьес и много рассказов.

А СУДЬИ КТО?

Ежемесячник «Бук дайджест» за ноябрь 1977 года опубликовал отрывки из книги американского публициста Виктора Ласки «Это началось не с Уотергейта» («Дайел пресс», 1977).

«Когда страсти, разгоревшиеся вокруг уотергейтского дела, начнут (да, пожалуй, уже и начали) утихать,— пишет Ласки,— объективно мыслящие историки резонно спросят: из-за чего был поднят весь этот шум? Что Никсон позволил себе такого, чего не позволяли — разве что в гораздо более широком масштабе — его предшественники? Взлом в Уотергейте и установка подслушивающего аппарата?.. Подслушивание и запись телефонных разговоров при Никсоне? При Джоне Кеннеди это считалось нормой. Использование налогового управления для запугивания политических противников? Но администрация Кеннеди подвергала Никсона еще более унизительным ревизиям с помощью того же налогового управления».

Книга В. Ласки, внесенная в список бестселлеров, содержит обильный материал, уличающий президентов-демократов (Кеннеди, Джонсона) в вопиющих нарушениях конституции, прав человека, использовании секретных служб для слежки за неугодными политическими и общественными деятелями, для организации политических убийств. Все эти «невероятные злоупотребления властью», замечает Ласки, при демократах тщательно скрывались. Лишь спустя много времени после ухода Никсона с политической арены факты неприглядной деятельности президентов-демократов начали всплывать на поверхность. Разумеется, далеко не все, но в достаточном количестве, чтобы «вызвать смятение среди тех, кого так сильно удручало уотергейтское дело».

Автор книги, однако, так и оставил без ответа им же поставленный вопрос о том, почему же все-таки было поднято так много шума вокруг этого пресловутого «дела». Читатель же вправе спросить и другое: почему «свободная» американская печать, которой были безусловно известны факты, порочащие противников Никсона, не обнародовала их своевременно?

ФРАНЦИЯ

СТО ПИСАТЕЛЕЙ НА СТРАНИЦАХ «ЮМАНИТЕ»

В течение летних и осенних месяцев 1977 г. почти во всех номерах «Юманите» вторая страница посвящена новому разделу «Читать страну», где публикуются очерки о разных районах Франции. На призыв газеты рассказать о своем родном крае откликнулись сто писателей. Многие из них знакомы советскому читателю; это — Андре Стиль, Эрве Базен, Бернар Клавель, Жан Пелегри, Паскаль Лэне, Роже Шатонё, Андре Шамсон, Пьер Гамарра, Андре Вюрмсер, Владимир Познер, Морис Понс, Веркор, Мишель Бютор, Арман Салакру, Жан Кейроль, Мишель Батай, Жюль Руа.

Рубрика «Читать страну» из номера в номер печатает писательские очерки, в которых воссоздается картина современной жизни и истории почти всех областей Франции во всем своеобразии их пейзажей и самобытности национальных традиций. В этой рубрике отразилась и панорама современной французской литературы во всем разнообразии ее стилевых направлений.

Так, Жан Пелегри, взяв неожиданную тему — знаменитое кладбище Пер-Лашез,—размышляет не только о бренности, но и о том, что в «мертвом городе» как в зеркале отражено социальное неравенство и приниженное положение национальных меньшинств, в частности арабов (трагедия арабского иммигранта — тема его романа «Лошадь в городе», см. «ИЛ» № 3, 1973 г.).

Многие писатели рассказывают об истории своего края, другие — о его сегодняшнем дне. Например, Андре Бенедетто — поэт и журналист, актер и режиссер — рассказывает об Авиньоне, где он живет и где каждое лето происходит традиционный праздник театрального искусства. Один из старейших писателей Франции Андре Шамсон создал глубокопоэтичный очерк о горных Севеннах. Андре Стиль посвятил свою страницу Северу Франции — рабочему краю, где он родился, вырос и которому посвящено все его творчество. Очерки иллюстрированы фотографиями авторов, а иногда их собственными рисунками.

Каждому писателю газета посвящает заметку, содержащую краткие биографические и библиографические сведения о нем, краткую характеристику творчества.

Собрание очерков ста писателей будет издано отдельной книгой в 1978 г.

На празднике «Юманите», который на этот раз был посвящен французским провинциям, директор «Юманите» Ролан Леруа сказал: «Жизнь провинциальной Франции — это часть нашей национальной реальности. «Юманите» гордится разделом «Читать страну», французский народ должен знать свою страну и своих писателей. Мы благодарим всех писателей - коммунистов, равно как и тех, кто не является членами коммунистической партии, за их вклад в эту работу».

«ДЕТСТВО И ВОЙНА»

Так озаглавил свою статью в журнале «Франс нувель» критик Альбер Сервони о советском фильме «Подранки», назвав его «одним из самых сильных от-

кровений» Каннского фестиваля 1977 года.

«Этот фильм,— пишет критик,— продемонстрирует французскому зрителю, еще очень плохо знающему советское кино, как богата и разнообразна советская кинематография. «Подранки»— прекрасный, по-настоящему большой фильм, умный и вместе с тем волнующий и проникновенный». Работу Николая Губенко, автора сценария, режиссера и актера фильма, критик оценивает как более чем талантливую.

«ЧТОБЫ ПОСКОРЕЕ НАСТУПИЛО ЗАВТРА...»

Как и предыдущий роман Роже Бордье «Демонстрация» (см. «ИЛ» № 10, 1977), его новая книга под названием «Завтра лето» широко обсуждается в печати. Этот роман — своеобразное продолжение «Демонстрации», отразившей мощный коллективный порыв, вылившийся в грандиозный митинг. Перед нами те же персонажи, но символический образ главной героини «Демонстрации» — народной предводительницы Флоры (позаимствовавшей свое имя у Флоры Тристан, революционерки XIX века) — приобретает здесь вполне земные и реальные черты. Другие герои Бордье за те несколько лет, что разделяют временные границы двух романов, выросли и осознали многое из того, что прежде им было неясно. Один из них уже вступил в коммунистическую партию, другие пока еще только готовятся сделать решающий выбор.

Отмечая, что роман Бордье затрагивает множество острых для Франции проблем, рецензент «Франс нувель» Катрин Клод подчеркивает, что с особой силой автор изобличает «дезинформирующую» роль буржуазных средств массовой информации, призванных внушить читателям и телезрителям ложное представление обо всем, что происходит в мире.

«Роман этот рассказывает нам очень важные вещи о том времени, в котором мы живем,— пишет критик.— И о том, как миллионы трудящихся борются во имя того, чтобы что-то изменилось, чтобы поскорее наступило завтра».

ЧИЛИ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СИЛЫ

В МЕЖДУНАРОДНОМ МУЗЕЕ ИМ. САЛЬВАДОРА АЛЬЕНДЕ

Еще одним актом солидарности деятелей культуры, литературы и искусства разных стран с борющимся чилийским народом явилось создание Международного музея сопротивления фашизму имени Сальвадора Альенде.

В интервью корреспонденту газеты «Гранма» ответственный секретарь музея Мирна Контрерас, в прошлом — одна из героических защитниц последней резиденции С. Альенде дворца Ла Монеда, рассказала об истории создания музея и его задачах:

«Этот уникальный музей был открыт в мае 1970 года в научно-исследовательском и пропагандистском центре латиноамериканской культуры «Каса де лас Америкас» на Кубе и теперь превратился поистине в «музей без стен»: его выставки появляются в разных странах, на разных континентах. Сегодня существуют координационные центры — комитеты музея в Колумбии, Панаме и США, в Мексике, Испании и Венесуэле, в Италии, Швеции, Бельгии, во Франции и на Кубе.

Среди членов комитетов— известные общественные деятели, прозаики и поэты: Николас Гильен, Алехо Карпентьер, Хулио Кортасар, Габриэль Гарсиа Маркес, Луи Арагон, Рафаэль Альберти, Лелио Бассо, композитор Луиджи Ноно, балерина Алисия Алонсо, художники Жоан Миро, Роберто Матта и другие.

Музей стал преемником ранее существовавшего в столице Чили Саитьяго Музея солидарности с чилийским народом, который был создан в 1972 году в результате безвозмездной передачи ему художниками и скульпторами страны своих произведений в знак восхищения и поддержки имя народа, в то время уже приступившего к строительству нового общества. Фашистский сапог растоптал это знаменательное начинание, связавшее тесными узами деятелей искусства с широкими народными массами и позволившее собрать за короткий срок в фондах музея свыше тысячи произведений. После трагической ночи 11 сентября 1973 года многие произведения были варварски уничтожены, некоторые стали собственностью приверженцев фашистской хунты, судьба остальных не известна.

Преступления фашистской диктатуры Пиночета вызвали широкую кампанию протеста деятелей культуры, литературы и искусства разных стран, по инициативе которых был создан Международный музей сопротивления фашизму имени Сальвадора Альенде».

Музей устраивает выставки-продажи произведений искусства, как, например, состоявшаяся в Мексике прошлым летом выставка 140 картин 100 мексиканских художников, а также организует различные художественные экспозиции. С большим успехом прошли и июле и августе 1977 года выставки в Барселоне и на Авиньонском фестивале во Франции. Полученные средства поступили в фонд помощи борьбе чилийского народа против фашизма.

Говоря о ближайших планах музея, М. Контрерас отметила, что будут открыты постоянно действующие художественные галереи в Гаване на Кубе, в Польше, Франции и Испании, рассказала о предстоящей первой международной выставке 600 произведений, которая состоится во Флоренции.

ЯПОНИЯ

ВЫСТАВКА ТОСИТАРО АМАСАКИ

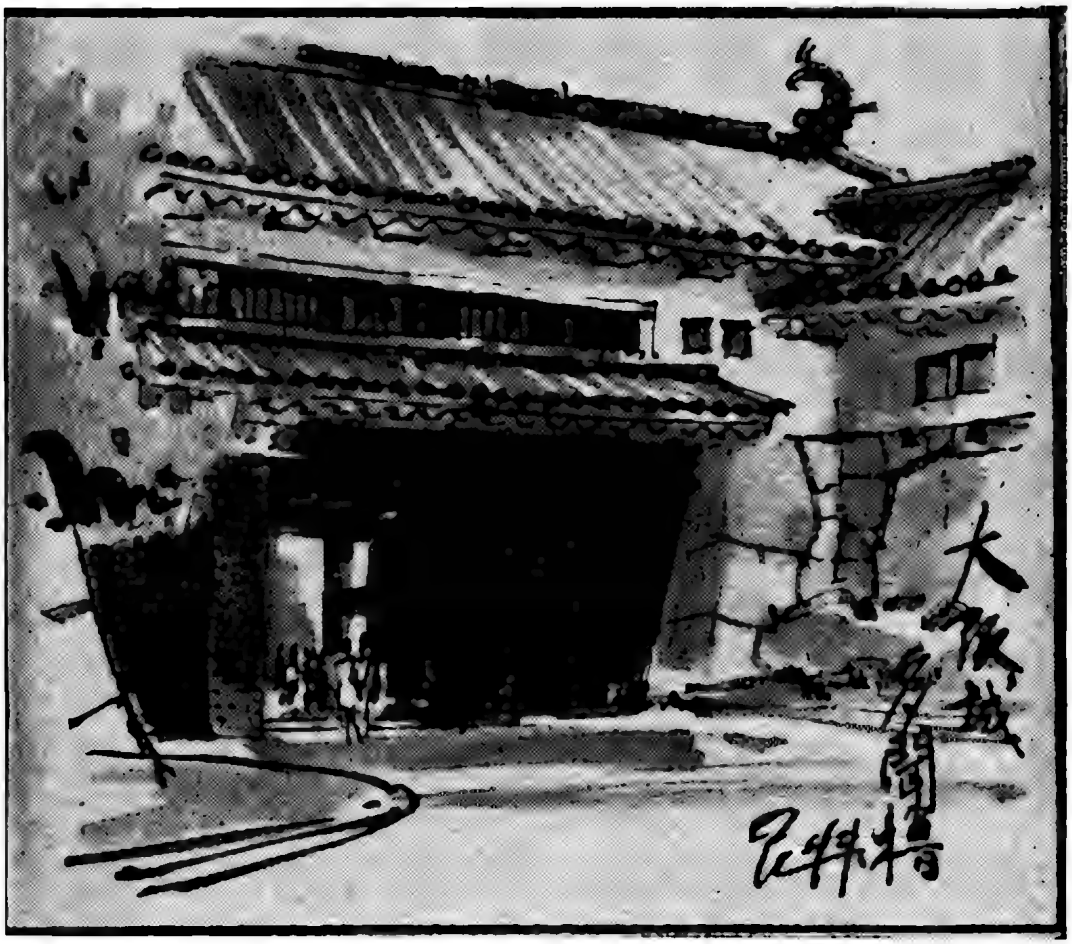
Недавно в Осака состоялся вернисаж видного японского художника Тоситаро Амасаки, который известен не только как живописец, но и как художник-оформитель, автор художественного проекта выставки ЭКСПО-75 на острове Окинава.

На выставке представлено 160 картин Амасаки. На них запечатлены пейзажи старого Осака, жанровые сцены из жизни горожан, театрализованные представления, храмовые праздники, памятники старины.

Как отмечает газета «Асахи», под внимательным взглядом художника на картинах как бы оживают неповторимые страницы истории Японии. Сохранить в живописи и тем самым в сознании современных японцев исчезающие на глазах под пагубным воздействием стремительной урбанизации дорогие сердцу простого японца уголки родного города — вот та благородная цель, которую поставил перед собой художник. «С памятниками старины,— говорит Т. Амасаки,—тесно связаны те или иные предания. И я был бы очень рад, если бы в своей живописи мне удалось сохранить внешний облик и дух старого Осака, которые нельзя забыть».

Рецензент газеты «Асахи» заключает, что «живопись Тоситаро Амасаки создает ощущение старого Осака, который хочется открыть заново...»

На снимке: картина Тоситаро Амасаки. (Из альбома «Старый Осака»)



◆

Авторы этого номера

ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ (род. в 1935 г.).

Болгарский поэт, народный деятель культуры. Первая книга его стихов «Звезды мои» («Звездите са мои») появилась в 1957 г. За сборник стихов «Стрельбище» («Стрелбище», 1971) и поэму «Звездный путь» («Звездопът», 1972) поэт был удостоен Димитровской премии. В последние годы вышли поэтические книги «Дневник для сожжения» («Дневник за изгаряне», 1973), «Свобода» (1974), «Исход» («Изход», 1976).

На русском языке издано две книги стихов: «Громоотвод» (1974) и «Пристрастие» (1977).

Стихотворение «Вкус настоящего» взято из еженедельника «Литературен фронт» (1977).

■

ИВАН РАДОЕВ (род. в 1927 г.).

Болгарский поэт, заслуженный деятель культуры. Автор многих сборников лирических стихов и поэм — «Шумят флаги» («Шумят знамената», 1951), «Растут люди» («Израстват нови хора», 1952), «Весенний рассвет» («Пролетно разсъмване», 1954) и др.

Публикуемое стихотворение было напечатано в сборнике «Один белый лист» («Един бял лист», София, Български писател, 1975).

■

ДИМИТР МЕТОДИЕВ (род. в 1922 г.).

Болгарский поэт, народный деятель культуры, дважды лауреат Димитровской премии. Автор многих поэтических сборников «На штурм» («На щурм», 1945), «Димитровское племя» («Димитровско племе», 1951, роман в стихах), «Шумят тополя» («Шумят тополите», 1958), «Круг замыкается» («Затваряне на кръга», 1967), «Избранное» (1972) и др.

Д. Методиеву принадлежат переводы произведений Т. Шевченко, И. Франко, В. Маяковского, А. Твардовского.

На русском языке вышли две его книги — «Димитровское племя» и «Монолог в пути» (1975).

Публикуемые стихи взяты из книги «И все повторится» («И всичко пак ще се повтаря». София, Български писател, 1975).

■

ЛУЧЕЗАР ЕЛЕНКОВ (род. в 1936 г.).

Болгарский поэт, соредактор болгаро-советского литературно-художественного и общественно-политического журнала «Дружба». Автор сборников стихов «Отвесные города» («Отвесни градове», 1967), «Запрещенная трава» («Забранена трева», 1970), «Спасенное пространство» («Спасено пространство», 1973), поэмы «Гранитово» (1975).

Стихотворение «Ленин» взято из еженедельника «Литературен фронт» (1976).

■

ЛИЛЯНА СТЕФАНОВА (род. в 1929 г.).

Болгарская поэтесса, публицист, заслуженный деятель культуры, лауреат Димитровской премии. Автор многих книг стихов, очерков, путевых заметок. На русском языке вышло несколько сборников ее стихов — «Встают Родопы», «Сестры», «Мой день», «Позывные сердца»; стихи и очерки печатались в журналах и сборниках.

Стихотворение «Счастье» получено редакцией в рукописи.

■

СЭНГИЙН ЭРДЭНЭ (род. в 1929 г.).

Монгольский писатель, лауреат Государственной премии, главный редактор газеты «Утга зохиол урлаг» («Литература и искусство»). Автор книг стихов «Когда едешь по степи» (1949) «Весенняя лирика» (1956), сборников прозы «Когда приходит весна» (1959), «У самого горизонта» (1963), «Рассказы» (1966), «Дневная звезда» (1969) и др.

На русский язык переведены его повести «Жители реки Салхит», «Год синей мыши» («Иностранная литература» № 11, 1974), сборник рассказов «Чистый источник»; рассказы и новеллы С. Эрдэнэ неоднократно печатались в советских журналах, сборниках и антологиях.

Рассказы «Камень в сердце» и «Одиночество» взяты из сборника «Солнечные журавли» (Улан-Батор, 1973), «В зимнем лесу» и «Последний полет» — из книги «Повести и рассказы», 1976.

ДАРМААГИЙН БАТБАЯР (род. в 1941 г.).

Монгольский писатель. Окончил геологический факультет Монгольского университета. Работал инженером-геологом. Литературным творчеством начал заниматься с девятнадцати лет. Его перу принадлежат сборники рассказов «Руки», «Восемь коней счастья», несколько пьес.

Рассказы «Четыре времени года», «Движущиеся пески», «Запах войны» были напечатаны в сборнике «Восемь коней счастья» (Улан-Батор, 1974).

ТЕННЕССИ УИЛЬЯМС — TENNESSEE WILLIAMS (род. в 1911 г.).

Один из крупнейших драматургов США, новеллист и эссеист. На советской сцене ставились его пьесы «Стеклянный зверинец», «Орфей спускается в ад», «Трамвай «Желание», «Сладкоголосая птица юности». На русском языке вышел сборник пьес Т. Уильямса (М., «Искусство», 1967), повесть «Римская весна миссис Стоун» напечатана в журнале «Звезда» (1977). В периодической печати публиковались новеллы, в «Иностранной литературе» (№ 5, 1974) — эссе «Мы идем навстречу друг другу».

Рассказ «Поле голубых детей» взят из сборника «Трое игроков в крокет» («Three Players of a Summer Game», 1960), рассказ «Поздравляю с десятым августа!» был впервые напечатан в журнале «Антей» (1970), мы перепечатываем его из сборника «Восемь одержимых женщин» («Eight Mortal Ladies Possessed», 1974).

Оба рассказа войдут в книгу избранной прозы Т. Уильямса, которую готовит к печати издательство «Художественная литература».

МИТИНА СУЛАМИФЬ ОСКАРОВНА.

Советский переводчик с английского. В ее переводах выходили произведения Грэхема Грина, Трумэна Капоте, Дж. Сэлинджера, Шона О'Кейси, Теннесси Уильямса и других англоязычных авторов.

В этом номере публикуется подборка стихов чилийских поэтов: Фернандо Алегрии (Fernando Alegria), Манузля Родритеса (Manuel Rodriguez), Оскара Ана (Oscar Hahn), Гонсало Рохаса (Gonzalo Rojas), Тито Валенсуэлы (Thito Valenzuela), Сёрхио Масиаса (Sergio Macias), Сесилиа Викуньи (Cecilia Vicuña).

Стихи взяты из рукописной антологии, составленной чилийскими поэтами Хуаном Эппле (Juan Epple) и Омаром Ларой (Omar Lara). (Стихи Омара Лары см. в «Иностранной литературе» № 5, 1977 г.)

Издательство «Прогресс» готовит публикацию этой книги на русском языке.

ГОНЧАРЕНКО СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ

(род. в 1945 г.).

Советский поэт и переводчик, кандидат филологических наук. В его переводе опубликованы стихи Мигеля де Унамуно, Антонио Мачадо, Федерико Гарсиа Лорки, Луиса де Гонгоры, Лопе де Веги, Висенте Уидобро и других испанских и латиноамериканских поэтов. Автор ряда статей по романской филологии и теории перевода.

ГАСТОН ДЮРНЕ — GASTON DURNEZ (род. в 1928 г.).

Бельгийский прозаик и поэт, пишет на фламандском языке. Автор многих поэтических сборников, в том числе «Весна в пустыне» («Lente in de woestijn», 1960), «Сенная лихорадка» («Hooikoorts», 1962), сборников рассказов и путевых очерков: «Слалом» («Slalom», 1962), «Тысяча поцелуев каждому» («Duizend kussen voor iedereen», 1966), «Вы спятите позже нас» («Jullie worden later gek dan wij», 1971).

Удостоен нескольких национальных премий.

Мы предлагаем вниманию читателя главы из двух сатирических книг Гастона Дюрне «Моя жизнь среди бельгийцев» («Mijn leven onder de Belgen», Kessel-lo, De Clauwaert, 1972) и «Смотри-ка, папа, это бельгиец» («Kijk, paps, een Belg!», Kessel-lo, De Clauwaert, 1973).

ОШИС ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

(род. в 1933 г.).

Советский переводчик, литературовед. Кандидат философских наук. Автор многих

работ по вопросам литературы и искусства «малых стран» Запада. Переводит в основном писателей Бельгии и Нидерландов. В «Иностранной литературе» (№ 9, 1972) опубликован в его переводе роман П. Ван Акена «Спящие собаки».

■

КЭНДЗАБУРО ОЭ (род. в 1935 г.).

Японский писатель. Первое произведение, которое привлекло к нему интерес широкого читателя, была повесть «Уход за скотиной», вышедшая в 1958 году. За нее писатель был удостоен высшей литературной премии — премии Акутагава. Затем вышли его романы «Семнадцатилетние» (1961), «Личный опыт» (1964). Перу К. Оэ принадлежит также несколько публицистических работ, в том числе «Хиросимские записки» — о героической борьбе врачей за жизнь пострадавших от атомной бомбы.

Советским читателям Кэндзабуро Оэ знаком по переведенным на русский язык романам «Футбол 1860 года» («Иностранная литература» № 1, 2, 1972), «Опоздавшая молодежь» (М., «Прогресс», 1973) и ряду рассказов.

Мы публикуем в журнальном варианте роман К. Оэ «Объяли меня воды до души моей...», вышедший в Токио в 1973 г. (издательство Синтёся). Полный текст романа выйдет в издательстве «Прогресс».

■

ГРИВНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1923 г.).

Советский литературовед-ориенталист, переводчик, доктор филологических наук, профессор МГУ. Автор работ о современной японской литературе. Переводил с японского произведения Рюноскэ Акутагава, Ясунари Кавабата, Кобо Абэ, Кэндзабуро Оэ и др.

■

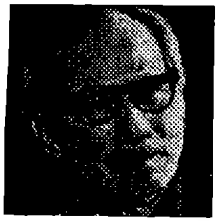
ЖАН ПЕРЮС — JEAN PÉRUS (род. в 1906 г.).

Французский литературовед. Автор трудов, посвященных французской и русской литературам,— «Введение в советскую литературу» («Introduction à la littérature soviétique», 1949), «Ромэн Роллан и Горький» («Romain Rolland et Gorki», 1968), «Методика и техника историко-литературного труда» («Méthodes et techniques du travail en histoire littéraire», 1972).

Составитель и автор предисловия новой антологии «Ленин о литературе и искусстве» («Lénine sur la littérature et l'art»), выпущенной издательством «Эдисьон сосьяль» в 1975 г.

Статья «Поэт нашего времени» получена редакцией в рукописи.

■



НГУЕН ТУАН — NGUYÊN TUÂN (род. в 1910 г.).

Вьетнамский прозаик и публицист. Книги Нгуена Туана, вышедшие в конце 30-х — начале 40-х годов, принесли ему широкую известность. Его перу принадлежит 14 книг повествовательной и документальной прозы. Он — автор эссе о Ф. М. Достоевском и Л. Н. Толстом, переводчик рассказов А. П. Чехова. Произведения Нгуена Туана переводились в разных странах. На русском языке изданы его очерки «Между двумя веснами», рассказы «Тени и отзвуки времени». В «Иностранной литературе» публиковались его очерки (№ 4, 1974).

■

ИГОРЬ НЕВЕРЛИ — IGOR NEWERLY (род. в 1903 г.).

Польский писатель, лауреат Государственных премий ПНР. Юность провел в России; учился на юридическом факультете Киевского университета. В 1943—1945 гг.— узник Майданека, Освенцима и др. концлагерей. На русский язык переведена его повесть «Парень из Сальских степей» — о мужестве советских людей в фашистских лагерях смерти, романы «Под фригийской звездой» и «Лесное море».

■

БЕЛ КАУФМАН — BEL KAUFMAN.

Американская писательница. Ее книга «Верх по ведущей вниз лестнице» напечата-

на в «Иностранной литературе» (№ 6, 1967 г.). Бел Кауфман написано много рассказов о детях, о школьной жизни, об учительском труде, пьесы, тексты для песен.

■

РАДОЙ РАЛИН (род. в 1923 г.).

Болгарский поэт. Автор многих книг стихов, рассказов, эссе, фельетонов и афоризмов.

Публикуемые в этом номере эпиграммы взяты из книги «Безопасные иглы» («Безопасни игли», 1960), афоризмы — из сборника «Юмор и сатира» («Хумор и сатира». София, Български писател, 1976), «Жестокое счастье» — из книги «Все со мной говорит» («Всичко ми говори», 1975), «Человек и ветки» — в рукописи, остальное — из периодической печати.

■

ГЕНЧО УЗУНОВ (род. в 1919 г.).

Болгарский писатель-юморист. Заместитель главного редактора юмористического журнала «Стършел». Начал печататься в 1948 г. Автор нескольких комедий, сборников юмористических рассказов и фельетонов.

Рассказ «Снилось мне, что я Блайберг» был напечатан в еженедельнике «Литературен фронт».

■

ХРИСТО МИХОВ-ЧЕРЕМУХИН (род. в 1936 г.).

Болгарский писатель. Автор многих юмористических рассказов и повестей.

Рассказ «Аттракцион» взят из одноименного сборника рассказов («Атракция», София, 1977).

■

СТАНИСЛАВ СТРАТИЕВ (род. в 1941 г.).

Болгарский писатель, драматург. Автор повести «Дикая утка среди деревьев» («Дива патица между дърветата», 1972), сборников юмористических рассказов «Троянский конь» («Троянски кон», 1971), «Поющий корабль» («Пеещият кораб», 1973) и др.

Рассказ «Пейзаж с собакой» получен редакцией в рукописи.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Ответственный секретарь **М. Г. ФЕДОРОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 6/I 1978 г. А 11832. Подписано в печать 10/II 1978 г.
Бумага 70×108¹/₁₆ = 9 бум. л. = 18 п. л. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 26,26.

Тираж 623.000 экз. (1-й завод: 1—450 000 экз.) Зак. 131.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

БОРИС КОЦЕВ. Райна-Княгиня

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394